

Н О В Ы Й
М И Р

12

Н О В Ы Й
М И Р

12

1956

1956

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 12

Декабрь, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ХАНЬКОВСКИЙ — Год перелома	3
МИХ. ЛУКОНИН — В новогоднюю ночь, стихи	18
КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Лирическая беседа. Две гитары, стихи. Перевод с польского Ал. Ревича	20
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Юность, стихи	22
ФЕДОР ПАНФЕРОВ — Недавнее прошлое, повесть. Окончание	23
К. ВАНШЕНКИН — Весной. Немое кино, стихи	77
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ — Земная тяга, стихи	79
ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ — Семена на снегу, стихи	81
ЛЮБОВЬ КАБО — В трудном походе, повесть. Окончание	82
З. ТЕЛЕСИН, Р. БАУМВОЛЬ — Верблюжонок, поэма	190
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
Б. КОРОТКОВ — Всегда в памяти...	201
ОЧЕРК И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. МЕТЧЕНКО — Историзм и догма	223
ТРЕБУНА ПИСАТЕЛЯ	
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Литературные заметки	239
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. ДУБОВА «КАК ГУБЯТ МОРЕ»	258
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	262
Е. Гальперина. Воспитание правдой. — А. Фадеев. О книге Веры Инбер «Как я была маленькая». — Евг. Евтушенко. Поэзия борьбы. — Л. Исарова. О книжке с секретами.	
<i>Политика и наука</i>	268
Кандидат исторических наук Ю. Шарапов. Путь полководца. — Кандидат географических наук Н. Рыбин. Путешествие по Болгарии.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	271
Александра Бруштейн. Три дня. — Ив. Розанов. Столетие трёх замечательных книг.	
РЕПЛИКИ	275
Иван Кашкин. Особое мнение.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	276
Примечания к примечаниям.— Два серьёзных открытия.	
КОРОТКО О КНИГАХ	278
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1956 ГОД	280

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. ХАНЬКОВСКИЙ

★

ГОД ПЕРЕЛОМА

Речь пойдёт о сельском хозяйстве. Мы хотим познакомить нашего читателя с некоторыми цифрами, фактами и выводами, связанными с сельскохозяйственным производством в Советской стране. Мы хотим рассказать о том, чего добились в этом году труженики земли на необъятных полях нашей Родины. Рассказ наш будет, очевидно, суховат, хотя тема его и вполне заслуживает внимания поэтов.

* *
*

В 1913 году население нашей страны в современных её границах составляло 159,2 миллиона человек, а к апрелю 1956 года оно достигло 200,2 миллиона. Прибавка в 41 миллион человек, соответствующая населению крупных европейских государств, требует, чтобы сельское хозяйство соответственно увеличило и свою продукцию.

Численность населения нашей страны увеличивается ежегодно на три миллиона человек. При царском строе средняя продолжительность жизни людей в России составляла только 32 года, а в нашей стране люди живут в среднем 64 года. Это благоприятное социальное явление также предъявляет очень существенные требования к сельскому хозяйству.

Другая сторона вопроса состоит в том, что на фоне общего роста населения Советской страны в ещё большей степени увеличилась та часть населения, которая проживает в городах. В 1913 году 82,4 процента всего населения России жили на селе и, следовательно, сами добывали себе средства питания. Весной 1956 года сельское население уже составило только 56,6 процента от общего числа жителей. Более того, сельское население уменьшилось за это время не только относительно, но и абсолютно. По сравнению с 1913 годом оно сократилось сейчас на 18 миллионов человек; в то же время городское население возросло почти на 59 миллионов человек.

Достаточно отметить, что только за 1950—1954 годы население Советской страны выросло примерно на 17 миллионов человек. За эти же пять лет из села в город перешло более девяти миллионов человек. Всё это оказывает очень важное влияние на баланс производства и потребления сельскохозяйственных продуктов.

Но острота проблемы подъёма сельского хозяйства объясняется отнюдь не только количественным ростом населения страны и городов. Рабочие и крестьяне нашей страны живут и питаются значительно лучше, чем до революции, лучше, чем до второй мировой войны. Систематическое снижение цен на товары широкого потребления и продукты питания, рост реальной заработной платы трудящихся обуславливают постоянный рост их покупательной способности. Об этом говорят убедитель-

ные факты. Бюджетные обследования Центрального статистического управления при Совете Министров СССР показывают, что в 1956 году семьи рабочих увеличили по сравнению с 1940 годом покупки обуви и всех тканей на 94 процента, в том числе шерстяных тканей — почти в три раза. В семьях колхозников покупка кожаной обуви увеличилась на 95 процентов, тканей — более чем в два раза, в том числе шерстяных тканей — в 3,5 раза. Хорошо известно, что ткани и обувь — это шерсть, хлопок, лён и кожа.

Такую же картину рисуют бюджетные обследования и по продовольственным товарам. В семьях рабочих и служащих потребление продуктов питания увеличилось в 1956 году по сравнению с 1940 годом в следующих размерах: молока и молочных продуктов — в два раза, яиц — на 86 процентов, мяса и сала — на 62 процента, сахара — на 87 процентов. В семьях колхозников душевое потребление мяса и сала увеличилось на 54 процента, молока и молочных продуктов — на 47 процентов, яиц — в два раза и сахара — в 3,6 раза.

Эти факты, лежащие вне сферы сельскохозяйственного производства, — результат больших социальных достижений СССР, но они вместе с тем объясняют причины недостаточности продукции сельского хозяйства. Для того, чтобы сельское хозяйство Советского государства шло в ногу с потребностями жизни, уровень сельскохозяйственного производства должен быть резко повышен. Именно в эту сторону Коммунистическая партия и Советское правительство направляют свои усилия.

Ошибки прошлого

Каковы те факторы, которые вплоть до 1954 года сдерживали, а порой сковывали поступательный ход развития производительных сил сельского хозяйства? Чем объяснить, что на протяжении многих лет крупное социалистическое сельское хозяйство, организованное на кооперативных началах, топталось на одном месте? Как могло получиться, что прямая, постоянно возрастающая помощь государства в деле вооружения сельского хозяйства современной техникой долгое время сколько-нибудь значительно не могла сдвинуть сельскохозяйственное производство с мёртвой точки?

Не подлежит сомнению, что в области сельского хозяйства были в прошлом допущены крупные ошибки. В постановлении ЦК КПСС по вопросу «О преодолении культа личности и его последствий» указывалось на «серьёзные ошибки, допущенные Сталиным в руководстве сельским хозяйством...». Вскрытие этих ошибок имеет громадное теоретическое и практическое значение, ибо позволяет расчистить путь для прочного движения вперёд, для приведения сельскохозяйственного производства в полное соответствие с потребностями коммунистического строительства в нашей стране.

На XI съезде нашей партии В. И. Ленин указывал: «Мы с самого начала говорили, что нам приходится делать непомерно новое дело и что если нам быстро не помогут товарищи рабочие стран более развитых в капиталистическом отношении, то дело наше будет невероятно трудным, в котором будет, несомненно, ряд ошибок. Главное: надо трезво уметь смотреть, где такие ошибки допущены, и переделывать все с начала. Если не два, а даже много раз придется переделывать все с начала, то это покажет, что мы без предрассудков, трезвыми глазами подходим к нашей величайшей в мире задаче... Мы строим свою экономику в связи с крестьянством. Мы должны ее переделывать неоднократно и устроить так, чтобы была смычка между нашей социалистической работой по крупной промышленности и сельскому хозяйству и той работой, которой занят каждый крестьянин...»

Следуя за Лениным, наша партия за последние три года проделала большую работу по исправлению создавшегося положения.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1953) вскрыл, в частности, нарушение одного из важнейших ленинских принципов строительства социализма в сельском хозяйстве — принципа материальной заинтересованности колхозников в развитии колхозного производства.

Выполнение планов поставок хлеба и других продуктов у нас обычно шло таким образом, что совершенно не стимулировало развитие сельскохозяйственного производства. Более того, если, например, слабые, отстающие колхозы не выполняли государственного плана обязательных поставок и закупок хлеба, то руководители районов давали передовым хозяйствам дополнительные задания. Лишь таким путём весь район мог выходить на почётное место и рапортовать о своих успехах. Точно так же поступали руководители областей, краёв и республик. Недобор продуктов по одному району они возмещали дополнительным обложением передовых районов и областей. Так «выравнивалось» положение отдельных хозяйств, районов, областей. До тех пор, пока план в целом не выполнялся, запрещалась продажа продуктов на рынке.

И те колхозы, которые хорошо работали, и те, кто плохо, выходили в конечном счёте с одним и тем же результатом. Члены и тех и других артелей часто получали на трудодни одну и ту же натуральную плату, одинаково плохо обеспечивали поголовье своего скота концентрированными кормами. Такая ошибочная политика неизбежно толкала колхозы и колхозников к равенству на худших. Это, по сути дела, была разновидность продрозвёрстки.

Если добавить, что обязательные поставки и закупки порою устанавливались не на основе каких-либо твёрдых и разумных принципов, не на основе действительного учёта урожая, а на глазок, то легко понять, что вся эта порочная система зачастую подрывала материальную заинтересованность колхозов в развитии общественного производства. Высокая норма поставок продуктов с приусадебных хозяйств колхозников, ошибки в налоговой политике привели к сокращению поголовья скота, к вырубке садов и виноградников, находившихся в личной собственности колхозников. В политике, которую вёл И. В. Сталин по отношению к крестьянству, особенно в последние годы, на первый план выступали методы администрирования и забывался принцип материальной заинтересованности. Эта политика глубоко противоречила интересам масс колхозников и вела к систематическому отставанию сельского хозяйства.

Слов нет, Советское государство сумело за короткий срок оснастить сельское хозяйство огромным парком машин, совершить в сельском хозяйстве СССР гигантскую техническую революцию. Этими достижениями наш народ, безусловно, может гордиться. Однако и здесь были допущены немалые ошибки. Прежде всего утверждение, что сельское хозяйство СССР является наиболее механизированным в мире, не соответствовало действительности. Так, например, уже в 1940 году в сельском хозяйстве США было более полутора миллионов тракторов, а в 1950 году — 3,6 миллиона. На один трактор в этой стране приходилось только 54 гектара пашни. Комбайнов и грузовых автомашин в США было также больше, чем у нас. Энерговооружённость сельскохозяйственного труда в США была выше, чем у нас. Нужно сказать, что в крупном сельском хозяйстве нашей страны машины используются лучше, выполняют за один и тот же сезон больший объём работ, чем в США. Это верно, однако в нашей механизации есть существенный недостаток, который даёт себя знать: ни в одной отрасли сельскохозяйственного производства до сих пор ещё не существует комплексной механизации. А без этого нельзя извлечь из существующего парка машин того, что он может дать. Мы убаюкивали себя баснями, будто наше сельское хозяйство якобы

механизировано до предела, а когда дело доходило до уборки урожая, то из-за слабого уровня механизации ежегодно теряли огромное количество хлеба, кукурузы, картофеля и других продуктов.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС отметил это. «До сих пор, — говорится в постановлении Пленума, — не создана система машин, которая обеспечивала бы комплексную механизацию возделывания сельскохозяйственных культур с учётом разнообразных природных и хозяйственных условий различных зон страны. Даже в зерновом хозяйстве, где достигнут наиболее высокий уровень механизации пахоты, посева, уборки, остаются неудовлетворительно механизированными трудоёмкие работы по послеуборочной обработке зерна на токах, по сбору и скирдованию половы и соломы, внесению органических и минеральных удобрений».

И действительно, если во всей стране уборка зерновых колосовых культур в среднем механизирована на 85 процентов, а в зерновых районах юга — на сто процентов, то послеуборочная обработка зерна (очистка, сушка, погрузка и выгрузка) сплошь и рядом производится с помощью ручного привода, ручного перелопачивания, путём погрузки зерна вёдрами, ящиками и тому подобными подручными средствами. Это приводит к тому, что послеуборочная обработка зерна зачастую обходится дороже, чем все механизированные работы по подготовке почвы (лушение стерни, пахота, боронование, культивация, внесение удобрений), посеву и уборке зерна комбайнами, взятые вместе. Данные Министерства сельского хозяйства СССР говорят о том, что в основных зерновых районах, где достигнут наиболее высокий уровень механизации, на обработку ста гектаров почвы, посев и уборку зерна комбайнами затрачивается 85 человеко-дней, а на послеуборочной обработке зерна с этой же площади на полевых немеханизированных токах — 157 человеко-дней. Другими словами, до сих пор на послеуборочной обработке преобладает ручной труд. Вот где корень зла.

В августе 1956 года, в период уборки, нам довелось побывать на току второй бригады колхоза «Россия», Ново-Александровского района, Ставропольского края. Это — богатое и высокоорганизованное хозяйство, одно из лучших в Ставрополье. И тем не менее мы были свидетелями, когда вялка-сортировка, действовавшая от механического привода, обслуживалась целой бригадой рабочих, загружавших зерно совками.

У нас ещё есть немало токов, где работают простейшие зерноочистительные машины, которые приводятся в движение рукой человека. Есть хозяйства, где взвешивание зерна на токах производится вручную, при помощи ящиков. Отсутствие комплексной механизации процессов труда часто сводит на нет огромные усилия по оснащению сельского хозяйства техникой, снижает эффективность механизации на всех предыдущих стадиях, сдерживает темпы развития сельского хозяйства, парализует рост производительности труда.

Ошибки в руководстве сельским хозяйством имели место и в политике цен на сельскохозяйственные продукты и в налоговой политике. Вплоть до 1955 года в сельском хозяйстве осуществлялся такой централизованный порядок планирования, который лишал колхозы малейшей хозяйственной инициативы. Заготовительные цены в большинстве своём были так низки, что не стимулировали производство. Колхозники получали на трудодень мало денег и мало продуктов. Это подрывало материальную заинтересованность колхозников в общественном производстве. Это в буквальном смысле слова сковывало развитие сельского хозяйства.

Государственные ассигнования на сельское хозяйство были крайне недостаточны. Вследствие этого механизация и электрификация трудоёмких работ, особенно в животноводстве, осуществлялись очень медленно, техническая база сельского хозяйства отставала от потребностей, что мешало движению сельскохозяйственного производства вперёд.

Известно, что В. И. Ленин придавал огромное значение делу электрификации сельского хозяйства. В своём труде «Аграрный вопрос и «критики Маркса» (1901) Ленин, подробно анализируя этот вопрос, пришёл к выводу, что электрификация явится могучим рычагом революционирования сельского хозяйства, превращения его в крупное производство. Он тогда же указывал, что электрификация сельского хозяйства будет означать «гигантскую победу крупного производства». В конспекте брошюры о продналоге Ленин наметил план преобразования сельского хозяйства в следующем виде:

«4. Пути перехода к социалистическому земледелию.
мелкий крестьянин
колхозы
э л е к т р и ф и к а ц и я».

Электрификация сельского хозяйства была составной и органической частью ленинского плана электрификации всей страны. «Если мы построим десятки районных электрических станций (мы знаем теперь, где и как их построить можно и должно), если мы проведем энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточное количество электромоторов и других машин, тогда не потребуются переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриархальщины к социализму или почти не требуется».

И. В. Сталин эту ленинскую идею явно недооценил. Электрификация сельского хозяйства шла чрезвычайно медленно. До XX съезда КПСС наша страна по-настоящему, с должным государственным размахом ещё не приступила к решению этой задачи.

Игнорирование жизненных условий развития сельского хозяйства, недоучёт реальных возможностей, плохое использование действующих технических средств, недостаточность квалификации специалистов в МТС, слабость руководства колхозов и совхозов привели к резкому отставанию уровня производства сельскохозяйственных продуктов, к несоответствию между темпами развития сельского хозяйства и промышленности, между растущими потребностями населения страны и развитием сельскохозяйственного производства.

Программа борьбы за крутой подъём

За истекшие со времени сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953) три года Коммунистическая партия и Советское правительство провели громадную работу по улучшению работы сельского хозяйства и приведению его в полное соответствие с новыми потребностями коммунистического строительства. Едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что со времени Ленина наша партия никогда ещё не занималась сельским хозяйством так тщательно, не уделяла этой сфере хозяйственной деятельности такого огромного внимания, как в последние три года.

Перед сельским хозяйством была поставлена задача резкого увеличения всех видов зерна — продовольственного, фуражного, крупяных и зерно-бобовых культур, чтобы через пять-шесть лет довести валовые сборы зерна до десяти миллиардов пудов в год. XX съезд партии увеличил эту программу до 11 миллиардов пудов.

Используя мощь индустрии и опираясь на активную поддержку всего народа, партия и правительство предприняли ряд мер, направленных к повышению материально-технической мощи сельского хозяйства, в первую очередь его энерговооружённости. Только за два года — 1954 и 1955 — капитальные вложения в сельское хозяйство составили 34,4 миллиарда рублей, или на 38 процентов больше, чем было вложено за всю четвертую пятилетку. В течение этих двух лет наша промышленность поставила сельскому хозяйству более 400 тысяч тракторов (в 15-кратном исчисле-

нии), 228 тысяч грузовиков, 83 тысячи зерновых комбайнов и большое количество других сельскохозяйственных машин.

Машинно-тракторные станции были усилены специалистами, в них созданы постоянные механизаторские кадры, что имеет первостепенное значение. В МТС, совхозы и колхозы за это время было направлено много инженеров, техников, партийных и советских работников. Только в колхозы за два года послано более 120 тысяч специалистов сельского хозяйства, свыше 20 тысяч городских работников рекомендовано в качестве председателей колхозов.

Были резко повышены государственные заготовительные цены на продукты сельского хозяйства и упорядочена налоговая политика, что привело к значительному росту доходов колхозов. Денежные доходы колхозов, составившие в 1953 году 49,6 миллиарда рублей, достигли в 1955 году 75,6 миллиарда рублей. Всё это чрезвычайно благоприятно сказалось на росте материального положения колхозников и их материальной заинтересованности в преуспевании колхозного строя.

Исключительно благотворное влияние на развитие сельского хозяйства оказало решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о введении нового порядка планирования сельского хозяйства.

Сложившаяся на протяжении четверти века система планирования сельского хозяйства до 1955 года страдала крупными недостатками и бюрократическими извращениями. Главнейший порок этой системы — чрезмерная централизация. Колхозам и совхозам преподносились готовые планы посева по всем видам культур, определялся размер поголовья по всем видам скота.

Шаблонизация планирования сельского хозяйства во многих случаях приводила к неправильному учёту конкретных особенностей отдельных хозяйств, их почвенных, климатических и экономических особенностей и возможностей. Так, например, на юге страны планировалось возделывание яровой пшеницы, хотя массовый опыт, экономические соображения и здравый смысл подсказывали, что здесь выгоднее сеять озимые сорта. В Сибири имели место обратные явления. Многолетний опыт сельского хозяйства Прибалтики убедительно доказывал, что здесь наиболее целесообразно практиковать беконный откорм свиней, а сельскохозяйственные и планирующие органы навязывали колхозам и совхозам этого края сальный и полусальный откорм. В ряде пригородных районов, где нет достаточных пастбищ, планировали развитие нерентабельного здесь овцеводства, хотя с экономической точки зрения в этих районах было более целесообразно форсировать развитие молочного животноводства и свиноводства.

Те же недостатки имели место в планировании работ МТС, которым в таком же централизованном порядке преподносились сверху не только общий объём, но и конкретные виды механизаторских работ, что связывало инициативу МТС и колхозов, вносило разноречивость в их хозяйственную деятельность. Наконец, совсем не планировался товарный выход сельскохозяйственной продукции колхозов и совхозов, могущий обеспечить потребность страны.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 марта 1955 года «Об изменении практики планирования сельского хозяйства» установлен новый порядок планирования, соответствующий новым требованиям развития социалистической экономики. Важнейшие принципы этой системы планирования сельского хозяйства СССР состоят теперь в следующем. Исходным пунктом плана в колхозах является не количество засеянных гектаров или содержащее число голов скота, а объём товарной продукции, поставляемой колхозами государству. Планирование начинается в колхозах (совместно с МТС) и совхозах. Оно осу-

шествляется на основе правильного и полного использования земельных угодий. Показателями результатов колхозного производства ныне является объём получаемой колхозами валовой продукции на сто гектаров сельскохозяйственных угодий и на затраченный трудодень, наименьшие затраты труда и средств на единицу продукции.

Теперь колхозы сами определяют размеры посевных площадей по отдельным культурам, размеры и состав поголовья скота, объём намечаемого производства сельскохозяйственной продукции, обсуждают и утверждают выработанные планы на общих собраниях колхозников. Потом эти планы рассматриваются и утверждаются райисполкомами, которые представляют сводные планы колхозов в вышестоящие советские органы.

Новый порядок планирования влил в сельскохозяйственное производство живую струю. Он повышает ответственность самих колхозников за ход развития колхозного производства и вместе с тем даёт им возможность активно влиять на конечные экономические результаты их трудовой деятельности. Теперь государство говорит работникам сельского хозяйства: используйте землю и технику МТС так, как вы считаете для себя наиболее целесообразным, сейте те культуры, которые вам дают наибольшую выгоду, учитывайте общие интересы и требования государства, проявляйте собственную инициативу.

Опыт 1955 и 1956 годов показал, что новая практика планирования во многих колхозах уже привела к повышению рентабельности хозяйства. Колхозы, сообразуясь с экономикой, стали выращивать те культуры, которые дают им выгоду, малорентабельные культуры стали изгоняться из колхозных севооборотов. Всё это увеличивает материальную заинтересованность колхозов и колхозников в общественном хозяйстве. К сожалению, пока ещё большие возможности, которые даёт колхозам новая практика планирования, реализованы в незначительной мере. В одних случаях действует рутинная, слабая инициатива руководителей колхозов, в других — цепко держатся за старые, бюрократические устои различного рода стоящие над колхозами органы, привыкшие к закостеневшим бюрократическим порядкам и боящиеся всего нового, живого. Но новое пробивается сквозь все преграды и одерживает верх.

Опыт работы многих колхозов за последние два года показывает, что чем полнее внедряется новая практика планирования колхозного производства, чем больше инициативы проявляют сами колхозники в определении судеб своего хозяйства, тем выше их общественные и личные доходы.

Первые успехи

Каковы результаты всех этих новых мероприятий партии и правительства в области сельского хозяйства?

Цифры и факты не оставляют никаких сомнений в том, что с 1954 года в сельском хозяйстве СССР начался существенный подъём, который всё более усиливается. С 1953 по 1955 год посевные площади возросли почти на 29 миллионов гектаров, в том числе 25 миллионов гектаров на целинных и залежных землях. Поголовье крупного рогатого скота с 1 октября 1953 года по 1 октября 1955 года увеличилось на 4,1 миллиона, поголовье свиней — на 4,6 миллиона, овец и коз — на 6,7 миллиона.

Кривая сельскохозяйственного производства постепенно повышается. В 1955 году производство зерна в стране увеличилось по сравнению с 1954 годом на 22 процента, подсолнечника — на 95 процентов, сахарной свёклы — на 54 процента и льноволокна — на 74 процента. Удой молока с одной колхозной коровы в 1954/55 хозяйственном году увеличился на 16 процентов, производство молока в колхозах увеличилось в 1955 году на 31 процент.

XX съезд КПСС поручил Центральному Комитету партии «с неослабевающей энергией продолжать работу по подъёму сельского хозяйства» в целях создания обилия продуктов питания для населения СССР и сырья — для лёгкой промышленности.

Итоги работы сельского хозяйства в нынешнем году окончательно ещё не подведены. Предварительные данные, тем не менее, не оставляют никаких сомнений, что 1956 год знаменует собой начало крутого поворота в развитии сельскохозяйственного производства.

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в этом году составили более 194 миллионов гектаров. Это значит, что за последние три года посевные площади сельского хозяйства СССР увеличились почти на 37 миллионов гектаров. Чтобы должным образом оценить эти цифры, следует напомнить, что за предыдущие сорок лет (1913—1953 годы) посевные площади в нашей стране увеличились только на 39 миллионов гектаров. Примечательно, что расширение посевных площадей имело место главным образом за счёт зерновых культур. Площади под пшеницей возросли за последние три года на 14 миллионов гектаров и под кукурузой — на 20 миллионов. Иными словами, пшеничные поля Советского Союза за последние три года увеличились на столько, сколько занимает площадь под этой культурой во Франции, Германии, Австралии, Испании, взятых вместе. По кукурузе эти сравнения ещё более разительны. Достаточно сказать, что во всех капиталистических странах Европы кукуруза возделывается на площади примерно в пять миллионов гектаров.

Другая важная особенность сельского хозяйства в 1956 году — рост культуры земледелия, несмотря на огромный рост посевных площадей.

В первом полугодии этого года в почву было внесено значительно больше химических и органических удобрений, чем за тот же период прошлого года. Условия для весенних работ оказались в этом году весьма трудными. Часть осенних посевов в отдельных районах страны вымерзла, и их пришлось пересеять, весна в южных районах наступила с большим опозданием, оставив в распоряжении хлеборобов меньше времени, чем в прошлом году. И тем не менее весенние сельскохозяйственные работы были проведены в 1956 году организованнее, в сжатые сроки. В период уборки урожая почти повсеместно была очень плохая погода, шли проливные дожди, однако уборочная кампания была проведена лучше, чем в предыдущие годы.

Урожай зерновых культур в 1956 году оказался рекордным, значительно увеличились валовые сборы других культур. Это позволило государству к 5 ноября заготовить 3 миллиарда 281 миллион пудов хлеба, а с зачётом и заменой другими продуктами сельского хозяйства — 3 миллиарда 463 миллиона пудов. Советское государство теперь располагает мощным резервом товарного хлеба. Отныне продовольственный хлеб у нас имеется в достатке; мы можем значительно расширить его обмен на другие товары со странами социалистического лагеря.

Государственные хлебозаготовки за истекшие три года хорошо отражают наметившуюся тенденцию развития сельского хозяйства. В 1954 году колхозы и совхозы сдали и продали Советскому государству на 271 миллион пудов хлеба больше, чем в 1953 году. В 1955 году было сдано и продано на 147 миллионов пудов больше, чем в предыдущем году. В 1956 году государство заготовило хлеба на один миллиард с лишним пудов больше, чем в лучшие урожайные годы. Эти факты трудно переоценить. Они имеют громадное экономическое, политическое и международное значение. «Лишь будучи фактическим владельцем достаточного продовольственного фонда, рабочее государство в состоянии прочно стоять в экономическом отношении на собственных ногах...» — писал В. И. Ленин. Борьба за хлеб — передовая линия борьбы за коммунизм.

Резкие сдвиги имеются также в области животноводства. Валовой надой молока в колхозах и совхозах увеличился за один 1955/56 хозяйственный год более чем на 4 миллиона тонн. К первому ноября этого года государству сдано и продано 15,9 миллиона тонн молока, что на 3,6 миллиона тонн больше, чем на это же число в прошлом году. Производство животного масла за десять месяцев 1956 года увеличилось против соответствующего периода прошлого года на 23 процента. Увеличились также производство и заготовки мяса и яиц.

Эти цифры и факты отнюдь не только достояние статистики. Их на практике проверяет каждая домашняя хозяйка, ощущает каждый ребёнок. Молоко и молочные продукты — сливочное масло, сыр, простокваша, кефир — прочно завоёвывают своё стабильное положение в рационе горожан.

В 1956 году советские люди убедились, что сельское хозяйство начинает резко увеличивать свою полезную отдачу. Производительные силы сельского хозяйства получают простор. Отныне они будут из года в год увеличивать уровень производства всех разнообразных продуктов сельского хозяйства, создавая решающие предпосылки для дальнейшего процветания нашего народа.

Следующая важная особенность итогов работы сельского хозяйства в 1956 году — громадный рост удельного веса совхозов в социалистическом сельском хозяйстве, выход их на передовые позиции в производстве и снабжении государства хлебом.

За 1954—1955 годы создан 581 крупный совхоз, в том числе 425 совхозов на вновь осваиваемых целинных землях. В 1956 году одни только посевы зерновых культур составили в хозяйствах Министерства совхозов СССР 23 миллиона гектаров. Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану ставят перед совхозами задачу довести в 1960 году сдачу государству зерна до 915 миллионов пудов в год.

В шестой пятилетке совхозам отводится важная роль в удовлетворении растущих потребностей населения городов в молочных и овощных продуктах. С этой целью вокруг крупных городов и промышленных центров расширяются существующие и создаются новые овоще-молочные зоны. В феврале 1956 года в системе Министерства совхозов было 340 специализированных хозяйств, из которых 135 по решению ЦК КПСС были специализированы на производстве овощей и картофеля. В первые два года шестой пятилетки организуется ещё сто крупных совхозов овоще-картофельного и овоще-молочного направления.

Передовые совхозы сумели применить новейшие достижения техники, агрономии и прикладной зоологии. Комплексная механизация сельскохозяйственного производства в сочетании с современной агрономией позволила им добиться наиболее высокого уровня производительности труда, высокой урожайности полей, максимального выхода животноводческой продукции на единицу земельной площади, самых больших удоев молока и настригов шерсти. Однако многие совхозы ещё не реализовали все преимущества, которые даёт эта высшая форма социалистического сельского хозяйства. Так, например, на производство центнера зерна в системе совхозов в среднем затрачивается 3,6 человеко-часа, а в передовых совхозах — только 1—1,5 человеко-часа; на производство центнера молока в среднем затрачивается 16 человеко-часов, а в передовых хозяйствах — только от 8 до 10 часов.

В 1956 году совхозы нашей страны сделали гигантский скачок вперёд. Их общая посевная площадь увеличилась по сравнению с 1953 годом в два с лишним раза. Посевы зерновых культур за это же время увеличились с 7,3 до 23 миллионов гектаров, совхозы освоили 13,7 миллиона гектаров целинных и залежных земель. Многие зерновые совхозы произ-

водят теперь по несколько миллионов пудов зерна в год, собирая в среднем более 20 центнеров с гектара площади.

Совхозы Министерства совхозов СССР в этом году поставили государству свыше 900 миллионов пудов хлеба, в 4,6 раза больше, чем в 1953 году. Это примерно составляет около половины годового расходного баланса государства. Значит, совхозный хлеб может со временем удовлетворить решающую часть всех потребностей двухсотмиллионного советского народа.

Шестая пятилетка совхозного производства зерна выполнена в 1956 году!

Это говорит о том, что для реализации шестой пятилетки развития сельского хозяйства приведены в движение могучие людские силы и материально-технические средства.

Новые земли

В 1956 году произошли очень крупные изменения в географическом размещении сельскохозяйственного производства. Освоение целинных и залежных земель — событие громадного мирового значения. За три последних года удалось поднять 35,5 миллиона гектаров целины.

Каких только небыллиц не писали наёмные писаки так называемого западного «свободного» мира в связи с освоением целинных и залежных земель восточных районов СССР! Прошло всего лишь три года, но уже весь мир знает, что пустовавшие земли Сибири и Казахстана превращаются в настоящую житницу Советского государства. Ещё недавно кормильцами Советского Союза были зерновые районы бассейнов Волги, Дона, Кубани и Днепра. Теперь положение круто меняется.

В нынешнем году колхозы и совхозы Российской Федерации сдали государству свыше двух миллиардов пудов хлеба, то есть столько же, сколько в 1953 году сдавали хлеборобы всего СССР. Казахстан поставлял Советскому государству 50, максимум 70 миллионов пудов хлеба, а в 1956 году — свыше миллиарда. Более восемнадцати миллионов гектаров земли казахские хлеборобы засеяли в 1956 году яровой пшеницей.

Сельское хозяйство восточных районов, осваивающее целину, таит в себе большие потенциальные возможности для развития животноводства. Реализация этих возможностей — неотложная задача.

Новое географическое размещение зернового хозяйства нашей страны гарантирует нас от всяких случайностей, от капризов природы. Засуха и недород в одном каком-либо районе уже не представляют для нашего государства той опасности, которая в прошлом всегда висела над народом.

Дополнительные миллиарды пудов!

Успехи в деле освоения новых земель не должны усыпить волю и энергию нашего народа. Борьба за хлеб требует в ближайшие годы ещё много сил и средств. Центральная задача — повышение урожайности и снижение потерь при уборке урожая. Эту задачу поставил перед советским народом XX съезд КПСС.

Уборка урожая до сих пор была одним из самых уязвимых мест сельского хозяйства нашей страны. Жаловались на почву, которая очень скупо отдаёт свои дары. Принимали энергичные меры, чтобы возместить недостатки земли лучшей системой обработки, севооборотов, применением удобрений и тому подобными приёмами агротехники. И долгое время не отдавали себе отчёта в том, что наша система уборки колосовых была настолько порочной, что ежегодно обуславливала потерю миллиардов пудов хлеба.

Сплошная механизация уборки зерна при помощи способа комбайнирования считалась своего рода идеалом. И на этом пути удалось добиться немалых успехов. В 1955 году 85 процентов зерновых культур (без кукурузы) было убрано комбайнами. Руководящие работники сельского хозяйства и многие учёные-аграрники уверовали в то, что комбайновый способ — самый прогрессивный и якобы избавляет от громадных потерь зерна. Они даже подсчитали, что при уборке комбайнами ста миллионов гектаров колосовых получается по сравнению с уборкой лобогрейками прибавка амбарного урожая в размере одного миллиарда пудов хлеба. Отсюда делался вывод, что внедрение комбайна в земледелие — перво-степенная задача.

На протяжении четверти века политика сельскохозяйственных органов была направлена к наращиванию мощи комбайнового парка и ко всё большему охвату уборки зерновых колосовых культур комбайнами. Стремилась превратить этот способ уборки в единственный.

Однако жизнь, реальная действительность на каждом шагу доказывала ошибочность этой политики. Массовая практика на протяжении четверти века убедительно доказала, что господство комбайновой системы комплексной механизации уборки зерна в нашей стране является причиной не сохранения, а потери миллиардов пудов хлеба.

Система уборочных работ лишь тогда достигает цели, когда она обеспечивает уборку хлебов восковой спелости. В этом случае она действительно может явиться серьёзным источником увеличения валовых сборов зерна. Ряд научных наблюдений и опытов доказал, что ещё в процессе созревания зерна, когда оно находится в фазе восковой спелости, постепенно начинается уменьшение его натуре, то есть уменьшается отношение веса зерна к его объёму. От этого получают так называемые биологические потери, которые тем больше, чем дольше зерно находится на корню. По мере же перехода зерна из фазы восковой спелости в фазу полной (твёрдой) спелости к биологическим потерям добавляются ещё и механические потери: осыпаются наиболее ценные зёрна, обламываются целые колосья. Если же мы скашиваем хлебную массу в период восковой спелости, укладывая её в виде валка на стерне, то зерно через несколько дней дозревает и легко обмолачивается при помощи комбайна с подборщиком. Этим путём мы почти полностью устраняем как биологические, так и механические потери хлеба в зерне.

Какова величина этих потерь?

Опыты показали, что они бывают очень велики. В колхозе имени Будённого, зоны Бесскорбненской МТС, Краснодарского края, при уборке зерна восковой спелости двухфазным способом собрали по 21 центнеру с гектара, а когда начали собирать вполне спелый хлеб путём комбайнирования, то с одного и того же массива получили только 14,2 центнера. На каждый гектар площади теряли 6,7 центнера зерна, то есть около трети урожая.

Почему не убирают комбайнами зерно в период восковой спелости? Потому, что сырое и недозревшее зерно нельзя косить и тут же, в один и тот же приём, обмолачивать. Комбайн для этого и не предназначен. Он эффективно убирает только сухое зерно полной спелости. Из этого следует, что для того, чтобы избавить зерновое хозяйство от массовых потерь, надо выбрать такой способ комплексной механизации уборки, который технологически наиболее приспособлен к биологическим особенностям данной культуры. Таким способом является двухфазная раздельная уборка колосовых в период их восковой спелости. Однофазный (комбайновый) способ уборки должен играть не основную, а подчинённую роль.

Но потери, о которых мы писали выше, — это лишь та часть потерь, неизбежная при комбайновом способе уборки, которая имеет место в первые дни уборки. Этими потерями дело ограничилось бы, если бы уборка

продолжалась один-два дня. Однако комбайновая уборка в большинстве хозяйств, к сожалению, длилась обычно двадцать, тридцать, сорок и более дней. В этих случаях с каждым днём потери возрастают, порой теряется от половины до трёх четвертей всего урожая.

Опыты уборки спелых хлебов, произведённые агрономом А. Козырем на Синельниковском госсортиспытательном участке, показали, что за те двадцать дней, когда спелое зерно (пшеница сорт «Пименка») находилось на корню, валовые сборы с гектара площади уменьшились с 29,5 до 18,5 центнера. Уборка спелых, засорённых хлебов в Брюховецком районе, Краснодарского края, показала, что 10 июля, когда впервые начали комбайнировать созревшую пшеницу, намолачивали по 18 центнеров с гектара, а через двадцать дней на том же массиве собирали только по 10 центнеров.

Практики сельского хозяйства постоянно сталкивались с такими явлениями. В колхозе имени Кагановича, Сорокинского района, Алтайского края, в 1954 году в первые дни уборки хлебов комбайновым способом получали с каждого гектара по 19 центнеров, а через сорок дней только четыре центнера. «Было потеряно по 90 пудов хлеба с гектара. Неприятно в этом сознаться, но это правда», — писал председатель колхоза С. Путинцев. Об этом же сообщает директор Мценской МТС В. Афиногенов: «Основные потери урожая на полях Орловской области происходят из-за перестоя хлебов и осыпания зерна. Уборка нередко затягивается на 35—45 дней, и в последние дни в ряде случаев убирают в основном уже не зерно, а солому даже с тех полей, где в первые дни урожай составлял 10—15 центнеров с гектара».

Уже эти данные весьма убедительно доказывают, что сокращение сроков уборки, а тем более переход к уборке хлебов в период восковой спелости, открывает зерновому хозяйству огромные возможности увеличения валовых сборов зерна. Но и эти факты и цифры ещё не дают полной картины потерь зерна, обусловливаемых господством односторонней системы механизации уборки спелых хлебов в один приём.

Огромные потери спелого зерна в результате перестоя на корню при комбайновом способе увеличиваются ещё за счёт суховея. Пагубное влияние суховея хорошо известно хлеборобам южных районов страны, где тучные урожаи хлебов нередко резко сокращаются в результате так называемого «захвата», или «запала». Появляясь часто во второй половине вегетационного периода, суховеи особенно губят хлеба, выращиваемые на землях, запасы почвенной влаги которых незначительны либо истощены. Но суховеи часто иссушают и те злаковые культуры, налив которых совершился до их появления.

Губительное воздействие на судьбу урожая оказывают ветры, которые во многих случаях сопутствуют уборке как в южных районах страны, так и в восточных. В Ставропольском крае, например, такие ветры именуется «астраханцами», на Кубани — «ставропольцами». Когда такой «ставрополец» разгуляется по полям нескошенного спелого хлеба, то он «вымолачивает» значительную часть урожая.

В колхозе «Путь к коммунизму», Александровского района, Ставропольского края, в 1956 году при своевременной раздельной уборке массива зерна в фазе восковой спелости намолачивали на каждом гектаре по 16 центнеров, а один загон размером в пять гектаров, оставленный для опыта и скошенный в пору полной спелости, дал с каждого гектара только по девяти центнерам, то есть почти половину урожая. Сообщая эти факты, председатель колхоза А. Беляев в беседе со мной объяснял это катастрофическое снижение урожая воздействием суховея. «Опыт раздельной уборки хлебов нынешнего года, — сказал Беляев, — окончательно убедил наших специалистов и колхозников в том, что этот новый спо-

соб — вернейшее средство увеличения валовых сборов зерна, спасения выращенного урожая от стихийных бедствий».

Громадный практический интерес приобретает сравнительный опыт уборки хлебов двумя способами в ряде районов Ставропольского края, подвергавшихся в период уборки градобитию. В конце июля 1956 года секретарь Ставропольского крайкома КПСС И. Лебедев демонстрировал перед пленумом крайкома три снопа. Первый сноп был взят с массива, скошенного на свал в пору восковой спелости. При своевременной подборке и обмолоте валков было получено по 21 центнеру с гектара. Второй сноп представлял ту часть валков данного же массива, которая вовремя не была подобрана и попала под ливень и град. При последующей подборке и обмолоте этих валков было уже намолочено только по 16 центнеров на гектар, то есть на пять центнеров меньше. Третий сноп был взят с нескошенного поля, подвергавшегося сильному воздействию градобития. На этом снопице не сохранилось ни одного зёрнышка, ибо колосья нацело оказались сбитыми.

Градом в Ставропольском крае в 1956 году в колхозах и совхозах нескольких районов был значительно повреждён урожай колосовых на площади более 100 тысяч гектаров. Однако в тех хозяйствах, где хлеб был своевременно скошен в фазе восковой спелости и хранился в валках, ему был причинён небольшой вред. В колхозах имени Ленина, имени Хрущёва и имени Горького с валков после градобития намолачивали по 14—17 центнеров с гектара, а с полей, где хлеба были схвачены градом на корню, намолачивали только от 50 до 150 килограммов с гектара.

Таким образом, если в ближайшие годы будет широко внедрён новый способ уборки во всех зерновых районах страны и сведены на нет потери как при уборке урожая, так и при перевозке и послеуборочной обработке, то миллиарды пудов зерна, которые прежде терялись и рассеивались по полям и полевым дорогам, войдут в актив социалистического общества.

В 1956 году новый способ уборки впервые широко применялся во всех зерновых районах страны. Раздельным способом было убрано 22,5 миллиона гектаров зерновых культур. Прибавка урожая на гектар уборочной площади колебалась в пределах от двух до шести и более центнеров.

Исключительный эффект даёт способ двухфазной уборки хлебов в Сибири, где он позволяет начать уборку на двенадцать и более дней раньше, чем при комбайновом способе. Тем самым новый способ уборки позволяет сибирякам убрать урожай ещё в августе, до наступления периода осадков и ранних заморозков.

В 1956 году новый способ уборки, по нашим подсчётам, дал сельскому хозяйству не менее 500 миллионов пудов добавочного хлеба.

Достижения и возможности

Нынешний год был для сельского хозяйства знаменательным годом перелома.

Повсеместно увеличился объём производства сельскохозяйственных продуктов. Значительно выросли денежные и натуральные доходы колхозов и колхозников. Повсеместно заметно увеличилась средняя выработка трудодней колхозников, оплата трудодня становится полной.

Колхоз «Коммунистический маяк», Аполлоновского района, Ставропольского края, в этом году получает 14,5 миллиона рублей дохода — на четыре миллиона больше, чем в прошлом году. На трудодень колхозники получают по 8,5 рубля деньгами и по три килограмма зерна. Денежный доход колхоза «Победа», Петровского района, составит в этом году 15,3 миллиона — почти в четыре раза больше, чем в 1951 году.

Ощущая повседневно благотворное влияние перемен в колхозной жизни, колхозники с каждым днём активнее втягиваются в общественное хо-

зяйство, всё полнее обеспечивающее им зажиточность. Среднее количество колхозников, участвовавших в 1956 году в колхозном общественном труде, увеличилось в Московской и Кемеровской областях на 14 процентов, в Тамбовской — на 24 процента.

Каждый, кому в последнее время довелось наблюдать за жизнью и деятельностью колхозов, не мог не заметить, что в них происходят интенсивные процессы роста, становится больше порядка, успешно изживаются беды того периода, когда немало колхозников относилось безучастно к положению общественного хозяйства. Теперь во многих слабых и отстающих хозяйствах, особенно в тех, где правления колхозов усилены делными председателями, происходит нарастание сил для быстреего движения вперед. Оздоровление слабых артелей, их организационно-хозяйственное укрепление — одно из важнейших явлений колхозной жизни в 1956 году.

Предварительные данные об итогах работы сельского хозяйства в 1956 году не оставляют сомнений, что большой рост колхозных доходов и личных доходов колхозников повысит материально-технический уровень колхозного производства и создаст условия для усиленного капитального строительства, с одной стороны, для роста материальной заинтересованности колхозников — с другой. А это окажет положительное влияние на дальнейший подъём сельскохозяйственного производства.

Всё это свидетельствует о том, что в 1956 году социалистическая система добилась крупного успеха в сельском хозяйстве.

Но нельзя обольщаться достигнутыми успехами. Для того чтобы наша страна производила ежегодно 11 миллиардов пудов хлеба в год, необходимо, чтобы амбарный урожай с гектара площади колосовых достиг в среднем по всей стране 85 пудов, или 14 центнеров.

Является ли эта урожайность чем-то таким, чего советским хлеборобам трудно добиться? Ничего подобного. Передовые колхозы и совхозы нашей страны получают по 25—30 центнеров с гектара, а колхозы целых районов устойчиво собирают по 20—25 центнеров с гектара. Высокие средние урожаи из года в год получают и целые края нашей страны.

В Краснодарском крае, например, в этом году собрали в среднем с каждого гектара колосовых по сто пудов зерна. Но, быть может, такие урожаи объясняются особыми условиями, могут быть получены только в сравнительно хороших почвенно-климатических условиях долины реки Кубани? Нет. Богатый опыт нашей страны показывает, что высокие урожаи зерновых культур передовые хозяйства СССР получают повсеместно в самых разнообразных климатических условиях, а отстающие хозяйства, где низок уровень культуры земледельческого производства, умудряются снимать с богатейших и плодороднейших чернозёмов низкие урожаи. С такими порядками давно пора расстаться.

Приведём некоторые факты. В Омской области, в зонах Москаленской, Пикстинской, Шербакульской, Полтавской МТС и в ряде совхозов, получили в этом году в среднем по 120—130 пудов зерна с гектара. Колхозы зоны деятельности Мамонтовской и Берёзо-Чарышской МТС, Алтайского края, получают ещё более высокие урожаи: в этом году они сдали и продали государству в среднем по 120 пудов с гектара. В Новосибирской области, в Кочновском районе, на площади в 60 тысяч гектаров собрали в среднем по 111,6 пуда хлеба с гектара, а на паровых полях, где земля обрабатывалась по системе Т. Мальцева, получили по 170—180 пудов. Этот перечень можно было бы продолжить.

В 1955 году колхоз имени Будённого, Советского района, Краснодарского края, собрал только по 14,1 центнера пшеницы с гектара. В этих местах такой урожай считается заурядным. Колхоз и Бесскорбненская МТС над этим призадумались и приняли некоторые действенные меры. При очередном осеннем севе они тщательно соблюдали нормы высева

зерна, произвели посевные работы в сжатые сроки, поля были осенью удобрены тысячами тонн навоза, а весной на площади более двух тысяч гектаров произвели подкормку посевов минеральными удобрениями с самолёта. Более 70 процентов всего озимого клина было засеяно высокоурожайными семенами пшеницы сорта «Безостая-4». Наконец, значительную часть хлебов убрали раздельным двухфазным механизированным способом. В результате всех этих мер последовало «чудо» — урожай пшеницы с гектара площади увеличился в 1956 году на 73 пуда зерна.

О чём говорят эти факты? О наличии в зерновом хозяйстве СССР таких громадных резервов, которые позволяют в ближайшие два-три года кардинально решить зерновую проблему. На площади примерно в 130—140 миллионов гектаров земли, на которой крупное социалистическое сельское хозяйство СССР теперь возделывает зерновые культуры, оно может не только обеспечить выполнение программы XX съезда нашей партии по производству зерна, но и значительно превзойти её. Огромные резервы имеются также и в животноводстве.

Решение зерновой проблемы и мощный подъём всего земледельческого хозяйства являются фундаментальным основанием для форсированного развития производства всех разнообразных продуктов животноводства.

Многое ещё нужно сделать, чтобы привести сельское хозяйство в соответствие с нуждами всего народного хозяйства, с нуждами народа. Но отраднo, что этот процесс уже начался, и его благотворное влияние ежедневно ощущают все советские люди.

Сельское хозяйство, двигавшееся долгие годы в обозе нашего общественного развития, выводится на авангардные позиции. Мощная социалистическая крупная промышленность позволяет Коммунистической партии и Советскому правительству уверенно решить в короткий срок эту задачу.



МИХ. ЛУКОНИН

★

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Вы представляете,
у меня уже старость была —
Отсталость,
забывчивость,
чопорность
и усталость.

Она морщины на сердце плела,
Моя почтенная
скоропостижная старость.
Мне начинало нравиться даже,
я даже гордился тайком:
Уже не ругают,
кормят протёртой кашкой...

Был ли красивым и умным я стариком?
Нет, не скажу.
Был обыкновеннейшим старикашкой.
Просили не волноваться, отдохновеньем маня,
Подчёркнуто вежливо, бережно уважали
И под руки поддерживали меня,
Когда в президиум
церемонно сажали.
Я начал подумывать,
что старость
удобней, чем то,
Что молодостью зовут
и что связано с болью
Неизвестности,
с поисками,
с сильно̄ потёртым пальто,
С непризнанием,
С неразделённой любовью.
Я сначала блаженствовал,
Но потом неожиданно стал замечать,
Что завистников у меня не осталось
хотя бы для виду.
А враги мои почему-то стали молчать.
В эту минуту
я почувствовал
Неслыханную обиду.
Я мягкие руки отстранил в этот миг,

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ



Константы Ильдефонс Галчинский (1906—1953) — один из крупнейших поэтов современной Польши. Уже первые опубликованные им произведения привлекли внимание польских читателей своей сатирической остротой и яркой самобытностью. Галчинский — глубокий гуманист — в своих сатирических произведениях выступает против ненавистного ему мира буржуазного стяжательства и обывательщины.

В послевоенные годы Галчинский опубликовал несколько сборников стихов, в которых выступает как лирический поэт и сатирик («Обручальные кольца», 1949; «Ниобея», 1951; «Вит Ствош», 1952; «Лирические стихи», 1952).

ЛИРИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

- Как любишь ты меня? Ответь!
— Отвечу.
— Ну, как?
— Люблю тебя, когда мерцают свечи.
При солнечных лучах. И в шляпе и в берете.
В театре. И в пути, когда навстречу ветер.
В малиннике, в тени берёзок и сосёнок.
Когда работаешь, когда ворчишь спросонок.
Когда ты скорлупу с яйца сдираешь ловко,
когда из рук твоих выскальзывает ложка.
В такси. В автобусе. Пешком. В повозке.
На ближнем и на дальнем перекрёстке.
Когда ты гребешком расчёсываешь пряди.
В часы тревоги. И на маскараде.
В горах. И в море. В ботах. Босиком.
Вчера. Сегодня. Завтра. Ночью. Днём.
Люблю тебя весной под сенью шумных веток.
— А летом любишь как?
— Люблю сильнее, чем лето.
— А осенью?
— И осенью. И даже,
когда теряешь зонтики. Когда же
серебряный мороз горит в оконной раме...
— Как любишь ты тогда?
— Зимой люблю, как пламя.
У сердца твоего тепло. Ты здесь. Бок о бок.
А за окном снега. Вороны на сугробах.

ДВЕ ГИТАРЫ

Зазвенели, запели
за стеной две гитары,
в звуке низком и долгом
тонет стонущий звук;

песня первой — про Вислу,
а другая — про Волгу,
обе схожи, как пара
человеческих рук.

За стеной две гитары
зазвенели, запели;
о величье и славе
песни этих гитар:
славит первая Вавель,
славит Кремль вторая,
песня — красное с белым,
песня — красный пожар.

Разливали гитары
звучков полные реки;
песнь одна — про берёзу,
а другая — про клён:
здесь — Мицкевич, там — Пушкин,
здесь — Фарис, там — Онегин —
та же самая тайна,
та же грусть, тот же тон.

Рокотали гитары,
а в своей колыбели
спал младенец, и в кухне
сонно примус ворчал.
А в беседке влюблённые
тихо сидели.
Всё окутав лучами,
месяц мир укачал.

Перевод с польского Ал. Ревича.



ЕВГ. ВИНОКУРОВ

★

ЮНОСТЬ

Я верю, юность покидая,
Со здравым смыслом не в ладу,
Что юность —

 это то, куда я
Ещё когда-нибудь приду.

А той, минувшей, мне не жалко.
Ну что ж, подумаешь, дела!
Она ни шатко и ни валко
Средь шумной суеты прошла.

Не потому ль вдали от дому
Легко впервые стало мне —
Я шёл по берегу морскому,
Раскрывши ворот, при луне.

Под гром волны, о берег бившей,
Я думал, голову склоня,
О юности, ещё не бывшей,
О той, что где-то ждёт меня.

Я шёл тропой береговою,
А Млечный путь — лишь вскинешь взгляд —
Стоял в ночи над головою,
Как будто
 лебеди летят!



ФЕДОР ПАНФЕРОВ

★

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

*Повесть**

6

Всё пошло кругом в моей голове. С эсерами я расстался навсегда. Тогда к какой же партии прикнуть? Ах, как нужен сейчас Николай Петрович! Но от него ни привета, ни письма. Я несколько раз заходил на квартиру, расспрашивал его жену, сына. И им неизвестно, где он и что с ним.

Что делать? С какой партией идти в народ?

А партий много: социалисты-революционеры, народные социалисты, анархисты, кадеты, социал-демократы, почему-то разделившиеся на большевиков и меньшевиков.

В Вольск приехал анархист: не то моряк, не то какой-то воздухоплаватель. Он ходит, задрав набекрень флотскую фуражку, перепоясан пулемётными лентами, по бокам на ремне висят дульками гранаты, на нём сапоги тонкой кожи и генеральские, с лампасами, галифе. Нет митинга, где бы он не выступал, подчёркивая, что он ученик князя Кропоткина и что «анархия — мать порядка».

Однажды я его застал сидящим на открытой веранде в трактире над Волгой. Быстро взбежал на веранду, не спрашивая разрешения, подсел к столику и сказал:

— Слышал вас на митинге...

Он покосился на меня и перебил:

— Не говори со мной на вы — это барство. Говори со мной на ты, так требует анархия — мать порядка.

— Так вот слушал тебя на митинге, — продолжал я. — Скажи мне, какой же порядок вы хотите установить на земле?

— А чтобы никакой власти: ни царей, ни чертей, ни подчёртиков. Власть — отравя, как опиум.

— Как же тогда? Кто управлять страной будет?

— Никто! Народ сам по себе.

— Ну, как же сам по себе? Допустим, кто-то кого-то избыбёт? Кто ж разбираться будет?

— Подерутся и разберутся, — ухмыляясь, ответил анархист.

— Ну, а вот поезда или там пароходы, кто ж ими управлять будет?

— Поезда побегут, пароходы поплывут, кому надо, тот на них поедет, кому не надо, тот не ползет.

В общем, я понял, анархист сам не знает, что такое анархизм и чему учит князь Кропоткин.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

После этой беседы я, посмеиваясь над своей наивностью, ушёл домой и вновь принялся за чтение книг.

Меня в то время больше всего интересовал крестьянский вопрос, и когда речь заходила о крестьянах, передо мной всегда вставал образ тётки Маши, той самой тётки Маши, которая когда-то укладывала меня спать на подушках, угощала леденцами из высокой жестяной банки.

Кстати, в первые же дни революции вскрылось то страшное, чему даже не верится: Царьков действительно сам повесил полубезумную тётку Машу, что явствовало из письменного доноса попа на имя урядника Борзого.

Царьков считал всё-таки «великим грехом» то, что он повесил тётку Машу, и решил через попа откупиться от такого греха, посулив тому корову. Поп на исповеди в великий пост в алтаре простил Царькову грех и на следующий день, встретив того, сказал:

— Чего же ты корову-то не ведёшь?

— Какую? — прикидываясь дурачком, спросил Царьков.

— За грех-то?

— Какой?

— Прощённый-то.

— Прощённый, стало быть, его, батюшка, нет.

Поп разозлился и накатал донос Борзому. Тот сразу не «дал законный ход факту», а потянул Царькова: забрал у него корову, затем суконный отрез на шубу, затем пуховую шаль для жены, затем... затем революция, Борзого со всеми его делами арестовал дядя Вася-«студент», а с ним вместе был захвачен и донос попа.

Вот и это я вспоминал, как вспоминал те буйные драки и страшную вражду, какая порой вспыхивала между моим отцом и его братьями. Я вспоминал настоятельные советы моих родственников — пробиваться в денщики, жандармы, в тюремные надзиратели. Одним словом, как только речь заходила о крестьянах, передо мной вставало моё родное село... И я мучительно искал выхода.

Отобрать землю у помещиков?

Но Декатов уверяет, что это призыв к погрому. Чепуха, конечно. Люди хотят есть, земля их кормит, они забирают землю, а Декатов: «Батюшки! Караул! Погром!» Но разве только в этом выход?

Ведь страной-то надо управлять.

Я ещё раз зашёл на квартиру к Николаю Петровичу Куликову в надежде разузнать его адрес. Встретила его жена, очень опечаленная, и сказала:

— Где-то запропал наш Николай Петрович. И мы все, в том числе и вы, я вижу, осиротели.

Я рассказал ей о своих сомнениях, и она посоветовала:

— Да вы идите с теми, кто хочет передать землю крестьянам. К эсерам, например.

— Был у них. Народ обманывают.

— Это почему же? — спросила она, улыбаясь. — Ведь в газете-то пишут: земля и воля — народу!

— Писать-то пишут, да не тем дышат. Мне бы, Надежда Ивановна, что-нибудь из Ленина.

Надежда Ивановна побежала в рабочую комнату Николая Петровича. Вышла оттуда и положила передо мной довольно объёмистые и потёртые три тетради, на первых страницах которых чётким почерком было написано:

«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (Ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов).

Июль. 1894».

Я недоуменно перелистал их, сказал:

— Не вижу, что это написал Ленин.

— Ленин. Ленин, дорогой мой юноша. Сама полгода переписывала...

7

По привычке конспирироваться, хотя теперь этого вовсе и не надо было делать, я спрятал тетради и направился домой — на горы, где вместе с многолетним учителем Николаем Сутыриным, тем самым, который выпустил газету и под ней подписался: «Редактор, автор и издатель всей газеты», мы снимали одноэтажный каменный дом, в котором мне была отведена отдельная комната.

Придя к себе, я засел за «Что такое «друзья народа».

И Ленин повёл меня по родному селу Павловке...

Михайловский утверждает, что деревня едина, крепко сплочена и мужичок — существо доброе.

То, что деревня не едина, а мужичок — существо вовсе не доброе, я знал очень хорошо, но не мог себе объяснить, из каких корней произошла та страшная вражда между соседями, особенно в среде родственников, которую я наблюдал в Павловке. Наш сосед Царьков... Тётка Маша... Кулак Гусев... Урядник Борзой... Запоротый насмерть Кошелев...

Михайловский возносил общину, как нечто единое и светлое, как силу, противостоящую капитализму. А Ленин показывает, что община разодрана враждой, бедами и управляет ею не народ, а старики. Какие? Богатенькие.

Моему отцу всё казалось, что его не приняли в старики потому, что у него не отросла борода.

Я помню, как он изредка подходил к тусклому зеркалу, оттягивал двумя пальцами бороду и, сокрушаясь, произносил:

— Не растёт, подлячка. Когда не надо — росла, стричь приходилось. Надо — не растёт,— и оттягивал бороду, точно подгоняя её рост.

Нет. Его не приняли в старики не потому, что у него борода «не до pupa», а потому, что он «голяк». А ведь он работает день и ночь: поднимается в два часа утра и тяпает, тяпает, тяпает топором. После обеда мать ещё не успеет убрать со стола посуду, как он уже на ногах. Но его в старики не выбрали, сказали:

— Борода мала.

Против нашей избы стоит дом Крайнова.

У Крайнова десять дочек, один сын, и тот горбатый. Крайнова прозвали Каргой, Каргиным, потому что у него большой выводок, как у вороны. Сам он рыжий, лохматый, огромный, «весь из жил», руки у него втрое больше, чем у обыкновенного человека, силы столько, что на плечах поднимает лошадь. Но своей лошади у него не было. На женскую душу земли не давали, даже говорили, что «у бабы вместо души — лапоть». И Крайнов на всю семью (тринадцать ртов) имел земли на две души, всего одну десятину в трёх полях, разбитую на полоски: на такой земле лошадь не прокормишь.

Вначале Каргин жил в хатёнке с проваленной крышей, подслеповатыми окнами, около которой даже в зимние дни бегали полунагие девчата, похожие на цыплят-рахитиков. Работал он за десятерых и голодал, проклиная отца и мать:

— Пёс их толкнул выпустить меня на свет божий. Лучше бы в утробе придушили.

И вдруг Каргин купил лошадь, исполу снял две десятины земли у Патифора Горелова и перестал сам работать. Во время жатвы придет в поле, выпустит девчат с серпами. Они нажнут снопов, сложат. Каргин

ляжет в тень под скирду — огромный, рыжий, сильный — и посматривает, как орудуют дочки, или спит, оглашая поле мощным храпом.

Но вскоре он построил дом, пообрядил девчат. До этого, когда они полуголые бегали около избушки, мой отец смотрел на них и сокрущённо произносил:

— Куда их столько, девчат? Маята одна.

И вот Каргин «поднялся»: лошадь купил, дом построил, девчат обрядил, а сам в поле не работает. Какая такая манна просыпалась с неба для него одного?

Чудо?

Вскоре чудо объяснилось.

На базар в воскресные дни жители соседних сёл и деревень съезжались в Павловку по пяти улицам, по этим же улицам отправлялись домой. За Павловкой отъезжающих с базара подкарауливали грабители. Они, когда стемнеет, нападали на зазевавшихся, на пьяненьких и обирали их.

Каргин, раздобыв кистень, вечером запрягал лошаде́нку, выезжал за село, раскладывал в телеге мешки, набитые сеном, словно едет с товаром. Подъезжая к «разбойничьему месту», он вытягивается в телеге, орёт пьяным голосом песни. Грабители выскакивают из-под моста или из лесочка, кидаются на Каргина. Он выпрямляется во весь свой богатырский рост и пускает в ход кистень, разя одних насмерть, других глуша. После этого идёт на воровскую стоянку и забирает всё награбленное.

Наутро урядник со стражниками находят на месте побоища оглушённых и убитых грабителей. Борзой отписывает начальству, что именно им, Борзым, изловлена шайка воров, что при столкновении тот-то убит, но «преступное гнездо разрушено», за что получает похвалы и награды от высшего начальства и одновременно некую мзду и с Каргина.

Воры вскоре оставили Павловку. Тогда Каргин стал подолгу пропадать в других базарных сёлах, и однажды его привезли домой с отрезанной головой — одно огромное тулсвище, а голову так и не нашли, что вызвало особый страх у жителей Павловки.

— Явлейские татары башку ему отвинтили: живут ещё беднее нас, жрать нечего — воруют. А он у них воровал. Вот они башку ему и отвинтили. Борзому бы отвинтить,— сказал отец и с силой вонзил топор в чурбак.

Мать ахнула:

— Да что ты, отец? Опомнись: он те, Борзой, шкуру, как Кошелеву, спустит.

А сосед, Михаил Прокофьевич, топтавшийся у плетня, что-то промямлил и скрылся в хате.

Но отец по характеру был взрывчатый и разошёлся:

— А что? Куда теперь бабе Каргина девчат девать? В бардак — одна дорога. А Борзой-то ещё один дом себе построил. На кой он ему — второй! А-а... Сдавать будет. Земского начальника в постояльцы заманивает. Ведь он на крови — дом-то новый.

Мать подбежала и зажала ему рот рукой, со слезами голося:

— Ваня! Милай! Не нады! О своих ребятишках подумай. Придержи язык-то.

А вот дядя Вася-«студент», двоюродный брат моего отца. У него нет детей, и земли на одну душу. Эта земля в самый урожайный год даст самое большее пятнадцать пудов. В самый лучший. А их, лучших, в десятилетие — раз. В худший, что чаще, он потратится на семена, уплатит за посев и ничего не соберёт. И он бьётся: то сапожничает, то разводит поросят — и всё в убыток.

— Удушусь как-нибудь,— однажды сказал он мне.

Андрей Иванович Крашенинников, как казалось мне раньше, благодаря своему скопидомству, находчивости, предприимчивости разбогател: из лоточника превратился в купца второй гильдии. Теперь я вспоминаю: мы, три паренька, четыре года работали на купца за кусок хлеба; у него девять приказчиков, и каждому в месяц он платит не больше двадцати рублей. Я подсчитываю: девять приказчиков по двадцати рублей в месяц, это в год две тысячи сто шестьдесят рублей. А Крашенинников за год получал от торговли более семи тысяч дохода. Значит, скажем, три тысячи рублей на нас — на его торговых батраков, а четыре себе — одному.

А чем живут такие люди, как наш сосед Михаил Прокофьевич? Несколько лет тому назад наряду с богатенькими он вышел на отруб. Земли у него было на две души — на него и на сына. Сын, работающий в Баку на промысле, прислал деньжонок, и Михаил Прокофьевич прикупил шесть наделов у бедняков. Сколотив таким образом четыре десятины, он вышел на отруб. Отруб достался на Винной поляне — пески. И Михаил Прокофьевич вот уже несколько лет «тянет из себя жилы»: возит, скупая по пятаку за воз, на свой участок навоз. Причём делает это под смех и улюлюканье односельчан:

— Чудак, агролом: мы навоз под овраг сваливаем, а он — за пятак — «вези на мою Винную поляну!».

Прошло несколько лет, и пески на Винной поляне исчезли, земля «почернела», но сколько «жил» вытянул отруб из Михаила Прокофьевича? Сын из Баку до последнего времени не переставал «подбрасывать деньгу» и жаловался в письмах:

«Охота мне в Павловку, да ты, папаня, всё тянешь и тянешь с меня. Так отруб обоих нас с тобой угробит. Доктор мне говорит, лёгкие у меня дряблые, и ехать бы мне на деревенский воздух, а ты всё давай да давай».

Сын умер в Баку от туберкулёза, но гибнут и те, у кого Михаил Прокофьевич скупил надель: одни из них подались в сапожники, шорники и полуголодают, другие, как Алексей Алексеевич Мешков, догнивают в общине.

У Алексея Алексеевича был свой расчёт:

— Продам тяткину и брательника души, а свою оставлю: мне с бабой и этой земли хватит. Зато у нас ветряная мельница — кормить нас будет.

Отец и брат умерли незадолго до Столыпинской реформы, и Алексей Алексеевич, боясь, что при переделе полей в общине его лишат земли на эти души, схитрил и продал два надела Михаилу Прокофьевичу, оставшись с клочком земли и с ветряной мельницей.

Но вскоре бурей сорвало крылья с мельницы, и ребята по вечерам стали распевать частушку:

У Лексея Лексеича
Есть бескрыла мельница.

Средств на ремонт мельницы у него не было, и он оскудел, совсем опустился.

Выйдет со двора, сядет на завалинку и высматривает — может, где справляют поминки: с поминок не прогонят, ешь там до отвала. Он так и делал: ходил по поминкам. Сядет за стол, малость оплачется и принимается за еду. Ест до тех пор, пока не свалится, тогда его на руках выносят из-за поминального стола и отправляют домой. После этого он дня три, как насытившийся волк, лежит в сенцах, затем снова выползает на завалинку, сидит, ждёт — кого первого в могилку опустят.

Хорошая земля досталась при выделении на отруб Гусеву с сыновьями. Михаил Прокофьевич, вися на плетне, иногда намекал моему отцу:

— Видно, подмаслил кого-то, шут его дери, Гусев: самая сок земля ему досталась, а мне — пески.

Но старика Гусева как раз и допекал Алексей Алексеевич. Как завидит, так один и тот же вопрос:

— Скоро, что ль, умирать-то собираешься, Нил Нилыч? А?!

— Тебе-то что? — рычал тот.

— Да ведь на поминки охота: вот поем.

— Может, сам скорее меня подохнешь.

— Оно верно... Только к тебе на поминки больно охота.

Гусевы при выходе на отруб «шибко пошли в гору»: прикупили восемнадцать «душ» (наделов), да своих у них было шесть, таким образом получили участок в двенадцать десятин, да ещё лучшей земли. Во время страды занимали жнецов — татар, четвертак с серпа, но главный доход имели от опытного участка: три десятины сдали земской управе под культурный участок, тоже, конечно, за взятку, сговорившись с уездным агрономом. На этом участке «под наблюдением» (он ни разу и не был в Павловке) уездного агронома сеялись люцерна, клевер, соя и всякие «новшества», за что земство платило Гусевым «большие деньги». А Гусевы под диктовку уездного агронома отписывали в земство, что «ничего не уродилось», и делились урожаем с агрономом, забирая большую долю себе. Они же первые на селе получили от земской управы жатку-лобогрейку и на этом нажились: убрав свои хлеба, убирали урожай и соседям. А во время войны стали поставлять, и тоже через земскую управу, скот и мясо на армию...

В тысяча девятьсот семнадцатом году, после февральских событий, старик Гусев был убит: родственники нашли свою одежку, зарытую в риге, и тогда улица вспомнила, как был насмерть запорот бедняк Кошелев. Над стариком Гусевым учинили самосуд на базарной площади...

Мой отец, его братья и другие клещевники делают клещи, не разгибаясь за верстаком день и ночь, и еле-еле выработывают за неделю на пуд муки. Мясо мы ели только на праздники рождества и пасхи, и то коровью голову или ноги. Так же, не лучше моего отца, жили сапожники и шорники. Все они сдавали свою продукцию скупщикам. Скупал хомуты и клещи Илья Яковлевич Пшенцов. Он старовер. Борода у него, как у Саваофа, щёки плотные, румяные, походка важная, голосок тихий, вкрадчивый. В праздничные дни, особенно на масленицу, он катается по улицам на рысаке так, что снежная пыль во все стороны летит. Он не ходит по шорникам и клещевикам — те сами несут ему во двор свой товар и каждый раз с великим страхом: прижмёт, снизит цену, поглумится.

«Как бы опять не поелозить у него в ногах?» — с такой мыслью идут к нему.

И ничего не поделаешь — поелозишь: не возьмёт клещи или хомуты — значит семья голодай.

А в соседнем селе, татарском, Явлейке? Там люди живут ещё беднее: дворы разгорожены, избы из самана, с земляными полами. Или Колмантай — мордовское село. Здесь то же самое, да ещё трахома. В каждом доме люди болеют: глаза слезятся, слепнут... и ни одного врача, никакой медицинской помощи.

...Я третий раз перечитываю «Что такое «друзья народа» и по-новому вижу Павловку, родной дом, общину, крестьянскую жизнь с её нуждой и несправедливостью.

Как мне не хотелось возвращать эти тетради!

Но тетради надо было доставить Надежде Ивановне. Она прислала мне уже несколько записок с просьбой вернуть.

— **Всё ли поняла?** — спросила она, показывая на тетради.

— Как будто.

— Вот что тебе, юноша, надо изучить.— Надежда Ивановна принесла из соседней комнаты и положила передо мной книгу Каутского «Экономическое учение Карла Маркса».

Больше месяца я просидел над Каутским, делая выписки, даже ряд мест заучил наизусть... и окончательно отверг эсеров.

— Они же идеалисты, а я материалист. Я марксист, вот кто! — не без гордости сказал я.

Сейчас, когда пишу эти строки, то улыбаюсь: прочитал юноша три книги и решил — законченный марксист. Даже потом, читая и перечитывая основные труды классиков марксизма, я не всегда правильно разбираюсь в общественных явлениях, а тут сразу — марксист. Ничего не поделаешь: на то были свои законы, законы юности.

8

Дела семинарские я забросил изрядно. Приближался выпускной экзамен, и мне пришлось засесть за учебники. Новая мысль захватила меня: вот закончу семинарию и отправлюсь учительствовать в деревню, самую глухую, самую отсталую, и там буду «крепить революцию».

Из газет я узнавал: в Питер приехал Владимир Ильич Ленин. Меньшевики и эсеры, кадеты и прочие накинудись на него, пустив в ход грязную клевету:

В Царицыне некто Минин объявил Советскую власть, в Самаре появился большевик Валериан Куйбышев и тоже объявил Советскую власть.

В Саратове рабочие, солдаты во главе с большевиками Антоновым и Васильевым громят эсеров.

А у нас, в Вольске, всё ещё говорят, говорят и говорят. Городскую и земскую управы захватили ярые говорильщики Декатовы, а мещане ежедневно на главной площади перед собором учиняют самосуды. То избыют до смерти мальчишку, который где-то стащил горсть семечек, то кого-нибудь из посторонних, не горожан, заподозрив в воровстве.

Однажды я видел, как толпа мещан терзала мальчонку на площади перед собором. Она редела, плотно сбившись вокруг жертвы, а Евстигней Чудин, «филозов» из оврага, всё подпрыгивал и визжал, будто травя собаками:

— Узы его! Узы-узы-узы!

Что же это такое?

Что за зверь выполз из подворотни мещан?

С кем посоветоваться?

В доме у Николая Петровича Куликова я как-то познакомился с реалистом Николаем Краевым. Он чуточку рыжеватый, волосы на голове кудрявятся, нос и щёки усыпаны веснушками, губы тонкие, подбородок выпятился. В ту первую встречу мы сошлись очень быстро и весь вечер проговорили на «народные темы».

Николай Краев оказался в рядах левых эсеров и... правой рукой Декатова.

Встретившись с Краевым, я спросил:

— Как же это вяжется, Коля? Декатов — правый эсер, ты левый и... в пристяжке у него?

Краев говорил быстро, чётко. Быстро и чётко он выпалил:

— Мы заставим их служить народу, в том числе и Декатова, и потому я не пристяжная у него, а коренник.

— Хрен ты, коренник! — грубо сказал я. — Сталкивался я с Декатовым и знаю, он застыл, как камень, и ты застынешь около него.

На какую-то секунду Николай задумался, затем стал меня уверять, что дело обстоит совсем не так, как кажется мне, что они умело воздействуют на Декатова и все вместе поведут народ за собой.

Тут я не выдержал и крикнул:

— Да чего ты обманываешь себя! «Ведём народ!» Народ помимо вас и против вашей воли забирает землю у помещиков, а вы, ведущие, не можете справиться даже с мешанами. Ты что, может быть, считаешь, что самосуд — революционное судилище?

— Нет, — ответил он. — Это — печальное явление. И мы бессильны справиться с мешанами.

— А говоришь: «ведём народ». Вы сами-то себя бессильны вести. Я слышал, Ленин и его партия — вот кто по-настоящему ведут народ.

К кому же обратиться?

Кто же ещё остался?

Ага, вот историк Иван Васильевич Обушкин. Этот предан «фактам» истории. Он порой умел завлекать учеников. Так, например, в частности, он увлёк меня, и я под его руководством чёт знает для чего и зачем не только прочитал, но и изучил толстеннейшие книги под названием: «Царь Кир Персидский» и другая — «Царь Крез Персидский». Ивану Васильевичу нравилось, что я читаю подобные книги, и он всякий раз при встрече со мной говорил:

— Это хорошо, господин Панфёров, очень хорошо, что вы забираетесь в глубь веков. Я вот сам всё мечтаю стать... нет, я не скажу о своей мечте, но она осуществится непременно!

Спустя несколько лет после Октябрьской революции я встретил Ивана Васильевича на пристани в том же городе Вольске. Он подбежал ко мне мелким шажком и радостно заговорил:

— А помните, я вам намекал о своей мечте?

Я задумался и вспомнил:

— Ах, да-да. Но ведь вы тогда мне ничего не сказали?

— Так вот ныне она осуществилась.

— Какая же? — спросил я.

— Я в местном музее архивариус...

К кому же пойти и посоветоваться?

Я искал ясный путь и не видел того, что в жизнь ворвались новые силы, новые идеи. Рабочие, крестьяне изгоняют из промышленности владельцев, с полей — помещиков, и всё это, вместе взятое, диктует взять власть в государстве рабочим и крестьянам... и что промедление тут — смерти подобно.

Надвигалась Октябрьская революция...

9

Надежда Ивановна встретила меня, иронически улыбаясь:

— Явился, юноша? Слышал, что в Питере-то творится?

— Нет. А что?

— Газет не читаешь?

Я смутился и буркнул:

— Мне бы «Капитал» Маркса.

— Придёт время, засядешь за «Капитал».

Она развернула передо мной большую папку и сказала:

— Статьи Ленина и его новую брошюру не читал? Вот они. Прочти внимательно: это — руководство к практической и политической деятельности.

Я посмотрелся: в папке — вырезки из газеты «Правда» и брошюры под названием «Политические партии в России и задачи пролетариата», издана в июле 1917 года издательством «Жизнь и знание».

— А «Капитал» не дадите, Надежда Ивановна? — пробормотал я, хотя меня сразу же заинтересовали вырезки и брошюра.

— Потом, — только и ответила она.

У себя в комнате я развернул папку и принялся читать. Прочитав всё, в том числе и брошюру, я был и восхищён и поражён простотой изложения, ясностью и разумом Ленина. Как это было не похоже на завывания Керенского, на вилияния Милокува, тем более — на «нашего» Декатова. Ленин писал коротко, просто, ясно, с глубоким анализом событий, со знанием быта России.

Вот статья, опубликованная в «Правде» девятого апреля. Называется «О двоевластии». Что это такое? Какое может быть двоевластие, когда в стране Временное правительство?

А оказывается, рядом с Временным правительством, правительством буржуазии, сложилось ещё слабое, зачаточное, но всё-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство: Совет рабочих и солдатских депутатов.

Правда, как всё это просто? Прочтя раз, запомнишь на всю жизнь.

Из кого же состоит это ещё слабое, зачаточное, новое правительство? Из рабочих и переодетых в солдатскую шинель крестьян.

Я читал одну за другой вырезки со статьями Ленина и всё яснее понимал: Ленин прав.

— Надо брать всю землю тотчас и установить в деревне строжайший порядок через Советы, — пишет Ленин.

Землю крестьянам! И я, шагая из угла в угол по комнате, уже видел радостные лица отца и соседей, моих односельчан, которые всю жизнь колотились над полосками.

Надо работать, надо действовать! Но как, с кем?

В Вольске нет Совета рабочих и крестьянских депутатов, нет и большевиков.

Поехать к Николаю Петровичу?

Но Надежда Ивановна словно обдала меня ушатым холодной воды. На мой вопрос, где Николай Петрович, она строго ответила:

— В Питере, юноша. Больше не спрашивай: не скажу.

— Поеду к нему, — решительно заявил я.

— Значит, покинешь учительскую семинарию и поскачешь к нему? Нет, юноша. Семинарию надо закончить. Да и Николай Петрович не примет тебя такого. Заканчивай семинарию, а свободные от учёбы часы отводи здесь на общественную работу.

— С кем? В городе ни одного большевика... кроме вас.

— Какой же большевик? — почему-то печально возразила Надежда Ивановна. — А большевиков поищи — найдёшь. Верно, город тяжёлый: закоренелые и душой прогнившие мещане. А ты — на цементный завод.

— Тогда надо бросать учёбу: до завода расстояние семь вёрст, пешком туда и обратно понадобится часа три...

— Учись. Пока заканчивай семинарию, — настойчиво посоветовала она и распростилась со мной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Под руководством Владимира Ильича Ленина Питерский и Московский Советы рабочих и солдатских депутатов из «зачаточной» и «побочной» власти превратились в Советскую власть и повели за собой рабочих, передовых крестьян, солдат, частично интеллигенцию...

Сошёл со сцены и сбежал за границу «милка» Керенский.

А у нас, в Вольске, всё ещё господствуют мещане и всё ещё в городской и земской управах чешут языками эсеры и меньшевики.

Но вот в городе появился большевик Зелимханов. Говорят, он блестяще выступил в городской и земской управах, «разнёс» болтунов декатовых и даже таких светил, как меньшевик доктор Шоур.

Доктор Шоур тоже был в ссылке где-то в Сибири. Недавно вернулся и теперь то и дело выступает, пересыпая речь выдержками из Маркса, Энгельса, Бебеля, Каутского, но чаще из Гильфердинга. Во всех его речах звучало: «Спокойствие, граждане! Всё свершится само собой», или «Мы не должны отбрасывать буржуазию — это прогрессивный класс» — другими словами, он повторял то же самое, что утверждал в своих писаниях Туган-Барановский.

Так вот, говорят, и Шоура разнёс Зелимханов.

Я на время оставил занятия в учительской семинарии и кинулся на поиски Зелимханова.

Мещане прозвали его «Громилой» и при случае готовы были оторвать ему голову, ибо он всеми своими выступлениями нарушал их вековой образ жизни. На него были непомерно злы эсеры и меньшевики. Видимо поэтому Зелимханова охраняли и скрывали от злых глаз и окровавленных на самосудах рук мещан. Его трудно было сыскать. Но однажды мне кто-то прислал записку: «Зелимханов сегодня выступает на заводе «Портланд-цемент...»

Вот и цементный завод...

Он весь в седой пыли, и трубы его почему-то не дымят, только от карьера с визгом проносятся пустые вагонетки по воздушной дорожке...

Длинное, барачного типа здание, переполненное рабочими — мужчинами и женщинами. Вид неказистый: одежонка плохая, лица у большинства истощённые, бледные, а подчас и серые. Так как зал маленький, то из него вытащили скамейки, и все плотно, сбито стоят перед сценой.

Первым выступил меньшевик доктор Шоур. Он говорил почему-то вяло, всё так же пересыпая речь цитатами из Гильфердинга, доказывая, что если будут продолжаться беспорядки в области промышленности, то рубль потеряет ценность. Поэтому нужно навести порядки и не отталкивать бывших владельцев цементных заводов.

Рабочие слушали Шоура молча, вначале соглашаясь с ним: действительно, дезорганизация в производстве снизила выпуск продукции, в частности того же цемента. Но как только Шоур перешёл к тому, что не следует обижать «хозяев цементных заводов», люди в зале взорвались, и на облысевшую голову Шоура посыпались злые слова:

— Себе на шею посади их!

— А то она у тебя ненадёжная!

— Жирна, как у бугая!

И как раз в этот момент из-за кулис вышел человек, ещё, кажется, совсем парнишка. Он выскочил стремительно, а люди в зале стихли и заулыбались:

— Слышали народного радетеля, меньшевика Шоура? — звонким голосом заговорил юноша.

Я всмотрелся в него и чуть не вскрикнул:

— Да ведь это Свечников! Учился вместе с нами в учительской семинарии, но только классом старше.

До этого мы со Свечниковым иногда встречались в городской библиотеке: были постоянными посетителями и обычно забирали оттуда на дом кипы книг. Порою переглядывались, даже была попытка подойти друг к другу, познакомиться, но что-то удерживало, что-то не позволяло. А теперь вон он кто — Зелимханов! Да как же это: он, юноша, сможет сейчас побить матёрого Шоура, прошедшего огни и воды, знающего наизусть Маркса, Энгельса, Каутского, Гильфердинга?

Но Зелимханов уверенно продолжал:

— Такие господа, как Шоур...

Шоур, сидя за столом на сцене, зло бросил:

— Ныне господ нет! Есть граждане, юноша.

— Да-а, большинство стало гражданами, но остались и господа, вам подобные,— быстро отбился Зелимханов и снова уверенно продолжал: — Такие господа, как Шоур, приходят к вам, рабочим, и уверяют, что надо сначала стать культурными, познать истину, научиться управлять государством, а потом только брать власть в свои руки. А вот Ленин сказал другое: мы, то есть рабочие и крестьяне, взяли власть в руки и теперь будем завоёвывать культуру и учиться управлять государством.

Так он шаг за шагом наступал на Шоура и под конец разбил его наголову, и лица у рабочих посветлели. А Шоур тихонько поднялся из-за стола, отщёл к кулисам и, никем не замеченный, скрылся.

2

Как только кончился митинг, я пробрался за кулисы и тут столкнулся со Свечниковым-Зелимхановым. Он запросто сказал:

— Мы ждали, что ты придёшь к нам и непременно придёшь.

Я молчал, во мне бурлила юношеская досада: как же это так? Он первый пришёл в партию большевиков и приветствует меня, а не я его — ученик Николая Петровича Куликова?

— Ты молчишь? Значит, согласен?

— Да. К чему лишние слова?

— Тогда получай партийный билет.— И Зелимханов достал из грудного кармана несколько свеженьких партийных билетов, отобрал один, присел за стол, вписал мою фамилию, имя, отчество, год рождения и, подписавшись, подал мне.

Это случилось двадцатого марта тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Я поблагодарил Зелимханова и намеревался было отправиться домой, а он, просунув палец за мой форменный семинарский ремень, сказал:

— Куда? Мне говорили, что Ленин свою книгу «Государство и революция» закончил словами, что ныне гораздо интереснее делать революцию, нежели писать о ней. Так давай, брат, делать.

Я подумал: «А учёба? — и тут же: — Доучусь потом».

— Вот тебе задание от нашей партии,— продолжал Зелимханов.

— А велика ли она? — перебил я его.

— Очень велика! Миллионы!

— Ну, шутить не время,— возразил я.

Он наморщил свежий белый лоб и ответил:

— Да, на нашей стороне миллионы: рабочие, беднейшее крестьянство и разумные солдаты.

— Ну, а вот вас-то, таких, как ты, сколько?

— Пока семь человек. Ты восьмой,— решительно ответил он и продолжал своё: — Так вот мы предлагаем тебе немедленно отправиться в деревню и сёла Вольского уезда. Я слышал о твоих выступлениях, когда ты числился у эсеров.— Он горестно усмехнулся.— Попал в бандочку — к эсерам. И хорошо сделал, что порвал с ними. Так вот езжай туда же и выступай от имени партии большевиков. Ищи там бывших фронтовиков, разумных людей среди бедноты, укрепляй Советскую власть в деревне, организуй бедноту. Ну, чему я тебя учу? Сам знаешь, что надо делать.

И я без копейки в кармане пешком направился в деревню.

3

И пошли «исторические» названия деревень и сёл: Нижняя Чернавка, Сукино, Кобелёвка, Паника, Рублёвка, Хомутовка и так далее.

По дороге в Нижнюю Чернавку я столкнулся с тем самым анархистом, который когда-то на митингах кричал «Анархия — мать порядка» и на мои вопросы давал довольно невразумительные ответы. Сейчас он был полунагой. На ногах у него какие-то обрезки от сапог, на плечах — покрытый мешковиной пиджачок, брюки-галифе в заплатках. Глаза жалко слезятся.

— А-а, старый знакомый! — взглядевшись в меня, воскликнул он и протянул дрожащую руку.

— Да-а, старый знакомый, — рассматривая его, согласился я. — А ты это что же, как... — Я не докончил фразу, боясь обидеть его, а хотел сказать: «Как обшаркался?»

Он, посмотрев на пройденный путь, с презрением, будто сплюнул через губу, сказал:

— Бестолочь! Шушера на шушере, шушерой погоняет. Не доросли ещё до анархизма. Сначала, конечно, мне принимали: самогонка, мясочко, даже в бане мыли, клянусь именем князя Кропоткина.

— Ну, а потом?

— А потом? Слышь: «Мы тебя раскусили, пошёл от нас вон».

— И обиделся?

— Не-ет. Я ведь за идею страдаю, клянусь именем князя Кропоткина.

— Ну, иди. В городе уж страдай за идею-то... где-нибудь под лодкой, — тише добавил я и пошёл своей дорогой.

Я намеренно остановился в Нижней Чернавке. Здесь, неподалёку от села, недавно было крупнейшее имение графа Орлова-Денисова. И всё село работало на барских землях.

Сначала крестьяне встретили меня, после посещения их анархистом, довольно косо, потом, когда узнали, что я большевик, что я одобряю то, что они забрали у графа землю и весь скот, инвентарь поделили меж собой, они переменили обо мне мнение.

— А то был у нас тут один такой обтрёпыш, не то анархист, не то монархист, такую околёсицу нёс, упаси бог: жён всех — под одну одеялку, питаться всем из одного котла, какие ни на есть мохры — в кучу: носи кто что хочет. А ты, значит, вон кто? Большевик! Ну, это нам подходяво! — Всё это произнёс пожилой, с густой седеющей бородой крестьянин. Подхватив меня под руку, он добавил: — Айда-ка ко мне. Передохнёте малость, а то ведь, гляжу, двадцать пять вёрст пешочком отстукал.

Это был председатель сельсовета Захар Вавилович Катаев.

Жил он на окраине села в шатровом доме. Семья огромная: три сына, три снохи, полон дом ребятишек и дед ещё живой. Дед, увидав меня, посмотрел на мою обувь — ботиночки со сбитыми каблуками, сказал:

— А ты бы лучше — лапти: в них шагать легче.

— Да ведь у меня, дедушка, лаптей-то нет.

Пока Захар Вавилович куда-то ходил, дед Вавил рассказал мне, как и почему «прилепилась» к ним фамилия Катаевы.

— Когда-то в далёкое время крестьяне наотрез отказывались сажать картошку и называли её чёртовым яблоком. Пороли их, из пушек пугали. Нет, заладили одно: чёртово яблоко! А прапрадед мой наперекор пошёл — посадил. С тех пор — Картошкины. А ныне, сокол, — и тусклые глаза у деда засияли, — ныне, сокол, с меня другое звание пошло.

— Какое же? — спросил я.

— Так это целая история! Не помню уж, в каком году барин Уваров в Черкасском жил — неподалёку от нас село. Гуляка был несусветный. И вот денежки понадобились ему, за границу поехать. Объявил продажу леса с землёй навечно. У-у-у, что тогда было! Все кинулись, до нитки с себя спустили, чтобы денег набрать и барину за лес, за землю отдать. Я тоже, конечно, с ребятами в омут этот сунулся. Купили две десятины. Лес смахнули, потом стали пни корчевать. Устанут ребята, а я в ладоши плюну и в крик: «Катай, ребята! Зато будем есть белые пироги». Ну и катали! В меня иной раз, милай, кишки пригоршнями вправляли: от натуги всю внутренность выворачивало. Вот с тех пор и звание мы другое получили — Катаевы. Значит, с меня иное пошло.

Всю ту ночь, несмотря на то, что я в дороге устал, мы почти до зари провели в беседе с Захаром.

Выяснилось, что если Февральскую революцию вся деревня, в том числе и кулаки и торгаши, приняла с ликованием, как с ликованием, между прочим, кулаки принимали участие и в разгроме барских имений, то теперь уже наметилось резкое расслоение: с одной стороны — бедняки, какой-то слой середняков, а с другой — кулаки со своими приспешниками. Беднота, хотя и получила землю, но у неё нет инвентаря, у большинства — лошадей, и поэтому бедняк не в силах обработать землю и начал её сдавать всё тем же кулакам и зажиточным середнякам.

— Разрубилась деревня, — говорил Захар. — Зажиточные — или, как их теперь называют, кулаки — готовы занять место барина. То барин сосал из бедноты и середноты кровь, теперь они — с удовольствием и почтением. Так что вы, пожалуйста, опишите товарищу Ленину, так и так, мол: подмогу давай, а то пауки затянут в свои сети.

Наутро Захар Вавилович созвал сход.

Я выступил и рассказал крестьянам, кто такие эсеры, меньшевики и большевики (хорошо заучил брошюру В. И. Ленина «Политические партии в России и задачи пролетариата»), затем объяснил, что не случайно на Советскую власть кинулись мерзавцы всех мастей, так же как на бедняков и середняков собирается кинуться местное кулачье. Ну, конечно, я привёл жизненные примеры и нарисовал портрет Декатова такими красками, что слушатели покатывались от хохота. В таких же красках я разрисовал известного им Патифора Горелова.

Крестьяне слушали меня с большим вниманием. Но вон кто-то ледащий стоит позади всех и порывается что-то крикнуть: он то смахнёт с себя потрёпанный картуз, и тогда обнажается его, будто дыня, поставленная на попа, голова, то снова нетерпеливо нахлобучит его. Наконец, уловив паузу в моей речи, он крикнул:

— Сказками пичкаешь честный люд! На кой нам?!

На миг все повернули головы в его сторону и застыли.

Я спросил Захара, сидящего около меня:

— Кто это?

— Мукомол. Кулак заядлый! Железный — прозвища такая. А фамилия Чушкин, да забыта.

Захар поднялся из-за стола, обращаясь к присутствующим, произнёс, показывая на Железного:

— Ему, Железному, конечно, такие сказания на кой: под ложечку они его разят... Мельницу он нажрал на наших хлебах, а теперь опять в дом к нам лезет, чтоб воровать. Мы и дадим тебе по морде, как и всем белякам. Расстаться им со старым режимом тошно, войной на нас пошли. Вдарим их по сопатке.

И вдруг крестьяне зашатались, глаза у них гневно блеснули, и вот уж вскинулись вверх корявые руки, и гул голосов обрушился на Железного и грудившихся около него кулаков.

Крестьянский митинг в селе Чернавке затянулся до позднего вечера. Выступали кулаки и уже появившиеся подкулачники с тонкими дипломатическими речами, прорывались буйные и страстные речи со стороны бедноты, вступали в бой и середняки: разговор шёл о судьбе каждого и, стало быть, о судьбе всего государства.

— Да, да, в деревне опора наша — беднота, — сказал я, идя вместе с Захаром по направлению к его дому.

— Она и беднота-то разная. Есть такая — действительно опора, как и середняк есть вроде нас, Катаевых, — тоже опора, но и середняки есть такие, которые с завистью смотрят на кулацкие крепкие дворы и амбары, а среди бедноты есть и пропащие люди. Вот давайте-ка завернём к Шлёнке. За короткое время получил новую кличку.

— А это что такое — Шлёнка?

— Овцы у графа Орлова-Денисова были шлёнской породы. Ну, Василию достались две овцы такой породы и запаршивели: не кормил, не поил, а шёрстку ждал. Вот его и прозвали Шлёнкой: запаршивел. Глядел я — даже на собрание не пришёл.

— А за что Чушкина, мукомола, прозвали Железным?

— Жадный, как голодный волк, и скупой, как обтрёпанный чёрт.

4

Уже взошла луна.

В сумраке ночи виднелась хатёнка Шлёнки на два подслеповатых окошечка, с соломенной, ветром задранной крышей. Ворот нет. Вместо ворот два берёзовых, даже не очищенных, столбика и поперёк положены тонкие липовые жёрдочки.

Захар хотел было отбросить верхнюю жёрдочку, чтобы перешагнуть во двор, но тут же замер и воскликнул:

— Батюшки! — Он нагнулся, пристально посмотрел во двор, затем за плечо притянул меня к себе и, показывая рукой вперёд, сказал: — Гляди-ка, лошадь! Сидит. Вот диво!

Я присмотрелся.

В самом деле, у плетня сидела лошадь. Она дёргала из плетня свежие хворостинки и хрупала: голодная. Захар, стремглав перескочил через жёрдочки, вбежал в избу и с порога тревожно крикнул:

— Василий! Беда у тебя во дворе!

Василий лежал на полотах, свесив огромную лохматую голову, на которую падал тусклый свет керосиновой лампы. Лукерья, его жена, сучила за столом пряжу, опустив веретено в жестяное блюдо. На окрик Захара Шлёнка встрепенулся, свесил ноги, спросил:

— А что, Захар Вавильч?

— Лошадь-то у тебя — сидит!

— А-а, — уже спокойно, как будто ему сообщили о том, что на небе светит луна, проговорил Шлёнка. — Это у неё с осени. Ноги не ходят. Задние. Бают, каких-то порошков надо, да мне недосуг за порошками в Черкасское сбегать.

Мы сели за стол, и Захар, подмигнув мне, обращаясь к Лукерье, сказал:

— Герой он у тебя, Василий-то. Деятельный!

У Лукерьи, видимо, ещё не пропал стыд за мужа: она опустила над блюдом голову и, затаённо смеясь, произнесла:

— Да уж что говорить: бока на полотах пролежал. У лошади в хлеву по пузо навозу. Говорю, почисть, а он мне: «Сама. Я государственным делом занят».

— Это каким же, Василий? — не переставая иронически улыбаться, спросил Захар.

Шлёнка наморщил лоб, искривил губы, закатил глаза куда-то в потолок и ответил:

— Намедни сон приснился, будто меня назначили комиссаром над хлебом какой ни на есть в Расеи и я будто бы ем его и не наемся. К чему такой сон, Захар Вавилыч? Думаю, государственны это дела или не государственны?

Захар расхохотался. Лицо Лукерьи залилось стыдливым румянцем, а Шлёнка снова с полатей:

— Ежели бы меня назначили таким комиссаром — вот мысль какую тебе подаю, — я бы всех накормил.

Покинув двор Шлёнки, Захар горестно сказал:

— Такие вроде огня: что им ни дай, всё равно сгорит. Шлёнка ещё не вредный: лежит себе на полатах. А ведь из бедноты есть и продажные — кулакам пятки лижут.

В доме Захара нас ожидали передовые общественники села: бедняки и середняки, побывавшие на фронте и испытавшие ужасы войны. Это были те люди, на которых при взятии власти в стране рассчитывал В. И. Ленин.

Среди присутствовавших находился посторонний человек из дальнего села Сукино. Он сидел в тёмном углу и оттуда смотрел на меня расширенными глазами. Захар, спохватившись, сказал:

— Иван Игнатьевич, ты что же это, гость, а забился, как мышь? Иди наперёд и выкладывай, к чему, зачем явился?

Гость стремительно выбежал, сунул мне жёсткую, сильную руку и быстро заговорил:

— Сысуев я, Иван Игнатьевич, уполномоченный народный и председатель Советской власти в селе Сукино. Слух прошёл по нашему селу, что большевик в Чернавку приехал, и народ сказал мне: вези к нам.

5

Село Сукино лежало на пригорке перед долиной речушки Колмантай, которая в половодье разливалась, как «море», а теперь извилистой лентой прорезала долину, ниже образуя болота, тинистые омуты. Леса, когда-то вплотную наседавшие на село, ныне отступили далеко на горизонт, и только по берегам Колмантая кое-где зеленели вётлы да кустарники ивняка. Сама долина, ровная, будто стол, и богатая чернозёмом, раньше принадлежавшая захудалой помещице, сейчас распахана и порезана полосками.

Заметив, как я внимательно всматриваюсь в долину, Иван Игнатьевич, придерживая буланенького коня, сказал:

— Глядите? Эх, не земля, а хлеб... в долине-то! Говорил я на сходке: «Давайте спашем сообща». Нет, порезали на загончики. Да я всё одно добыюсь — сообща.

Впоследствии в этой долине разыгралась та «местная трагедия», которая была описана мной в конце первой книги «Брусков». Теперь долина спокойно лежала перед селом: ни людей, ни скота, только поблёскивает на солнце лента речушки.

— А вы из каких, Иван Игнатьевич? — спросил я.

Иван Игнатьевич Сысуев считался на селе бедняком: имел небольшую хатёнку на задах. Уже после революции приобрёл лошадку, ему же достались во время раздела помещичьей усадьбы корова и четыре овцы. Детей у него не было. Жена Соня — женщина работящая и чистоплотная: несмотря на бедность, у неё в хате чистенько, даже тараканов нет, что тогда было редким явлением в крестьянских хатах.

Иван Игнатьевич, открывая новые ворота, крикнул жене:

— Соня, гостя дорогого принимай: большевика!

Соня, низенькая и кургузая, как ветла, перекрестилась, сказала:

— Слава тебе господи.

— Да не поп, а большевик! Чучело!

— Ин и то! — произнесла Соня, ничего не поняв из слов Ивана Игнатьевича.

А когда накрыла стол, поставила на него самовар, солёный арбуз на тарелке, огурцы и Иван Игнатьевич достал полбутылки самогону-первачу, спросила:

— А что, чин такой — большевик?

Иван Игнатьевич, быстро отпив из стакана обжигающей самогонки, ответил:

— Большевик — это значит всё нам, бедноте, а кулака по шапке, и попа по шапке.

Соня взгрустнула.

— Кулаков валяйте: не жалко. А батюшку к чему? Мешает он вам? Молится и молится, никому не мешает.

— Бога-то нет. Нет! Бог — опиум! — закричал Иван Игнатьевич.

Соня на это ответила:

— Может, есть, а может, и нет. Рука у нас не отвалится, если перекрестимся.

До конца своей жизни — а умер Иван Игнатьевич в тысяча девятьсот сорок восьмом году — он так и не смог «вытравить из Сони опиум».

В шести верстах от Сукина расположилась деревушка Кобелевка. По рассказам стариков, Сукино и Кобелевку когда-то барин выменял у помещика — заядлого охотника — за «знаменитую» борзую суку и такого же кобеля. Неподалёку от Сукина были село Лопуховка, деревня Агарёвка. Лопуховцы в большинстве были крестьяне «основательные» — бородатые, похожие в самом деле на лопухи; агарёвцы, наоборот, — обшарпанные, голытьба, занимающаяся в большинстве сапожничеством, мелкой торговлей, и потому Агарёвка получила от народа новое название — «Лендон»: здесь можно было купить всё — керосин, спички и даже изюм (кишмиш), ежели на поминки понадобится сварить кутью.

Вот эти сёла и деревни, а главным образом Сукино, стали местом моей работы и моих наблюдений: в них кипела та же бурная жизнь, что и в Нижней Чернавке, но эти населённые пункты находились далеко от города и от железнодорожной станции, потому события, происходившие в стране, сюда доходили гораздо позже, а слухи, даже нелепые, жили основательно и подолгу, да и уклад ещё крепко отдавал патриархальщиной. Иные лопуховцы или сукинцы не видели паровоза, парохода, не говоря уже о заводе. Сюда набивались богатеи, изгнанные из городов (из Вольска, Саратова, Астрахани), и под видом бедноты прикидывались сторонниками народа, умело сея нелепые слухи. Здесь шли глубокие процессы расслоения деревни: все сёла и деревни были поделены на отрубщиков и общинников, обычно малоземельных крестьян, за несколько лет Столыпинской реформы обнищавших до того, что не имели в своём хозяйстве не только лошади, но и курицы, и батрачили на отрубщиков.

Особенно заметен был распад общинного уклада в Лопуховке, где крестьяне резко разделились на отрубщиков и безземельную голытьбу. Отрубщиками руководил незаметно для постороннего глаза Маркел Бьков, церковный староста, человек лет под пятьдесят, говорящий при народе почему-то впригнус, видимо подражая староверам, которых тоже немало было в Лопуховке.

Жил Маркел неподалёку от церкви, почти в соседстве с попом: отец Маркела сначала был звонарём, затем заделался ктиторм, то есть торговал в церкви свечами, венчиками, святой водой, с тарелочкой собирал деньги на «угодников»... и на «святых делах» построил дом. Дом ухетил

так крепко, что во двор не только вору, но и комару трудно было пролезть: крепкие, без щёлочки ворота, высокие, умазанные глиной заборы, сараи, крытые железом, как сундуки,— и, умирая, передал всё сыну Маркелу, в том числе и ктиторство, сказав:

— Жизнь, Маркел, пронеслась, будто кто по небу спичкой чиркнул: полоска — и нет её. А на душе один мрак. Радости хотелось... а мрак. Но ты, однако, тяни мою линию: иного хода на земле нет. Уменьшко грешни: бог всемилостивый — простит. Люди не простят, а бог простит: сам он грешный — сказал, что создал человека по образу и подобию своему, а обманул нас — зол человек на земле. Ох, зол!

Всё это мне Маркел рассказал потом, когда мы с ним «сдружились на расстоянии»: он мне не доверял, я — ему, хотя всегда сходились и беседовали, тонко «ковыряя друг друга». Так, видимо, беседуют два дипломата враждебных государств. В одну из таких бесед Маркел и рассказал про заветы отца, и мне тогда же показалось: «Про своё душевное состояние говорит Маркел».

Но вначале Маркел тянул линию отца: ктиторство давало гораздо больше, нежели отруб, и, главное, «копейка» тут доставалась легче, потому Маркел на народе был более верующим, нежели сам поп. Однажды, например, увидав, как ребяташки «палят» камнями в ласточек, он вышел из церкви и гневно прогнул:

— Зачем, греховодники, ласточку казните: она божья птичка. Казните вон чирику (так воробья звал). Они, чирики, гвозди на распятие Христа таскали, а ласточки — водичку: жажду Христа утоляли.

Но вскоре сам стал палить из берданки в ласточек.

От церкви начали отваливаться прихожане, отруба порушились, и вся земля перешла в общинное пользование — стало быть, резко сократились доходы Маркела, и Маркел кинулся на другое: заделался пчеловодом.

На пригорке за селом, отгородив участок бросовой земли, выставил около двадцати «дадоновских» ульев (причём двойных, чтобы платить меньше налога) и повёл борьбу с односельчанами-пчеловодами, а одновременно и с ласточками.

Однажды, подходя к пчельнику, я увидел: пчёлы Маркела всей массой, или, как принято говорить у пчеловодов, всей трубой, летят за взятком и, отяжелевшие, несутся обратно в ульи. Такой день у пчеловодов «год кормит». Недалеко от ульев азартно носились ласточки.

И вдруг из шалаша выскочил Маркел, держа в руке ружьё, и с криком: «Ах вы, ерни! Пра, ерни!» — принялся палить в ласточек.

Я не выдержал, спросил:

— Что же это ты, Маркел Петрович: то ласточка — божья птичка, а теперь — дробью её?

Маркел как-то поник, видимо застигнутый врасплох, застыдился, но, зленько блеснув на меня глазами, ответил:

— Да ведь она, ласточка, говорят, пчелу жрёт... чтобы треснуть! А ну, ерни! — И снова выстрелил.

Так ломала большая, всё разворачивающаяся жизнь маленькие убеждения Маркела Быкова и наконец сокрушила их, нанеся удар «в само сердце».

У Маркела единственный сын и тот стал красным командиром, да ещё каким: слава о нём гремит по всему Поволжью. А Маркел лелеял мысль пустить сына по той же дорожке, по какой шагал его отец, по какой шагал сам: уменьшко грешить, держаться ктиторства... И вот всё легит. Ктиторство даёт уже крохи, отруб отлит, а сын — краском.

На днях сын прислал строгое письмо:

«Папаня! Нога моя не вступит в твой дом, пока ты не перекроишься окончательно на революционный манер и вблизи не плюнешь на поповский алтарь, в бога и крест его...»

Вот как!

Перекройсь на революционный манер!

Это Маркелу-то Быкову?

И в вечерние сумерки, когда пчёлы угомонились, Маркел Быков, сидя у шалаша и поводя прутиком по голой лбине бугорка, сокрущённо жаловался мне:

— И что это, Фёдор Иванович, родители о детях сердцем исходят, а чтобы дети о родителях — этого нет.

— Не понимаю, Маркел Петрович,— намеренно сказал я.

— Ну вон, к примеру, какая ни на есть ворона — птица горькая и та о птенцах своих великую заботу имеет: кормит, на смерть в защиту ребятишек кидается. А ребятишки подросли и — прощай, папаня-маманя. Василий тот же. Пока молочко нужно было, то «папаня-маманя». А теперь вишь ты: перекройсь! Да я что, чапан или портки?

Я внимательно посмотрел на Маркела и подумал: «Не портки, а человек. Но человека-то и труднее перекроить».

Вот в эти сёла — Лопуховку, Агарёвку, Сукино, Кобелевку, Калояр, Черкасское и так далее — я и впоследствии наезжал не раз, принимал участие в свадьбах, похоронах, в общественных делах, особенно в годы коллективизации, порою ко мне приходили за советами по хозяйственным делам, нередко прибегала мужем разобиженная жена и жаловалась: «Изверг он у меня, изверг». Однажды даже участвовал в отвозе барана землеустроителю. На палисаднике землеустроителя была вывешена дощечка с такими словами: «Землеустроитель взятки не берёт». И верно, он сам поднесённого барана в качестве взятки не взял, но его взяла тёща. Но чаще мы с Иваном Игнатьевичем в ночную пору, когда крестьяне ещё не ложились спать, ходили по улице. Нередко слышали, как «влетало» Ивану Игнатьевичу. Он в это время шипел мне на ухо:

— Болтают, Фёдор Иванович. Не верь!

— Да ведь дыму-то без огня, говорят, не бывает,— отвечал я, внимательно прислушиваясь к тому, о чём говорят крестьяне.

Так месяца два прожил я в Сукино, разъезжая отсюда по соседним и даже по отдалённым сёлам и деревням Вольского уезда. Выступал на митингах, организовывал сбор хлеба для государства. Одновременно вёл дневник и, наконец, написал небольшую первую повесть, назвав её так: «Сысуевская республика».

Повесть отослал в Саратов, своему знакомому, бывшему семинаристу Петру Павёлкину, который тогда работал в общественно-политическом журнале, издаваемом губернским комитетом партии большевиков.

Я даже не думал, что моя повесть будет опубликована, но вскоре получил запрос от Павёлкина, какой фамилией думаю подписаться под повестью «в случае, если она будет опубликована». Он не писал, что повесть будет опубликована, а «если будет опубликована». Но и это «если будет опубликована» уже взволновало меня, и я ответил, тщательно и долго подыскивая псевдоним: «Марк Солнцев». Вот какой громкий и солнечный псевдоним придумал я.

И однажды в селе Царёвщине, когда-то принадлежавшем графу Нессельроде, я попал в малюсенькую библиотеку, тут на столе случайно развернул саратовский журнал «Коммунистический путь» и натолкнулся на свою повесть «Сысуевская республика». Радости у меня было океан! Но я никому из присутствующих не сказал, что это моя повесть, а только рекомендовал почитать её. Чтобы дожидаться мнения читателей, недели две кружил по сёлам и деревням около Царёвщины и под конец снова попал в эту библиотеку и стал расспрашивать читателей. Одни из них отплёвывались и ругались, другие чрезмерно восхищались и хвалили Марка Солнцева...

Я сказал себе: «А ты ведь будешь писателем».

Так началась моя литературная деятельность.

И, конечно, передо мной встал основной, главный, в страданиях выношенный вопрос о путях развития многомиллионного крестьянского населения.

К этому времени в Вольске уже был создан уездный комитет партии. Зелымханов выехал в Саратов, и место председателя уездного комитета партии большевиков, к моему удивлению, занял Булыгин.

Тогда я ещё не знал, что он вместе с Алимовым работал в охране, но то, что он прислуживал когда-то попу в семинарии, то, что таился и в одиночку поедал присланные ему из дома посылки, я помнил, да и весь облик его был мне почему-то противен. И я сказал:

— В Вольск не поеду. Буду жить у Ивана Игнатьевича, вести агитацию по сёлам и писать.

И работал в деревне больше года, всё глубже и глубже вникая в быт, нравы, заводя огромное знакомство, и люди потянулись ко мне, приезжая в Сукино или вызывая меня к себе для помощи в «острых боях». А бои в это время разразились весьма острые. Кулаки под руководством эсеров смогли сбить вокруг себя подкулачников, пробирались в сельские, волостные советы и тонко, умело вели подрывную работу.

В уюме какими-то путями узнали, что Марк Солнцев, опубликовавший повесть в саратовском журнале, есть не кто иной, как Фёдор Панфёров. В том, девятнадцатом году нужда в кадрах у большевиков была величайшая. Например, уездную газету редактировал хороший, но полуграмотный человек, и укомовцы решили: раз, дескать, Панфёров пишет повести, да ещё печатает их в саратовском журнале, то ему и быть редактором.

И «без меня меня женили». Я подчинился, выехал в Вольск и принял на себя обязанности редактора.

Шёл в редакцию и горестно думал: «Невольно обижу человека. Редактировал он газету и пусть редактирует... А я готов сотрудничать».

Редактор — рабочий цементного завода Ляльков, тот самый паренёк, с которым я когда-то столкнулся в дизельном отделении у Сивашёва и которому как-то на горах пропорол палкой ногу, — встретил меня с распростёртыми объятиями.

— Товарищ Панфёров! Наконец-то приехал! Ну, снимай с меня эту петлю, а то вот-вот и задушит. Ух, как я рад-то! Ой, как рад! Теперь поеду на завод, стану к станку, и всех ко всем чертям. Принимай моих боевых соучастников! — закричал он, отворяя дверь в соседнюю комнату.

«Боевые соучастники» были таковы: секретарь редакции и бухгалтер.

И вот мы троём стали выпускать газету, назвав её «Рабочий и крестьянин». Газета выходила на рыжей, точно промасленной подсолнечным маслом бумаге; корреспондентов и внештатных сотрудников у нас, конечно, не было, и поэтому иногда, а вернее чаще, всю газету под разными псевдонимами заполнял я один.

Но газета выходила, укомовцам она нравилась, хотя мы передовые статьи не умели даже верстать: начнём с одной колонки и загнём передовую куда-нибудь на вторую страницу, а под ней, на первой же странице, и сообщение РОСТА и мои, под разными псевдонимами, заметки о житье-бытье Вольского уезда. Но газета выходила, и меня уже начали нагружать. Я стал начальником агентства печати, затем членом президиума уездного комитета партии.

Странную, непонятную для нас линию занимал Булыгин: умиротворение классовых конфликтов. Как только где что взрывалось, он направлял туда силы и всё приглушал, будто костёр водой, и спокойненько жил. Придётся в уюме — Булыгин мило улыбается, тщательно чистит ногти или погрызывает их мелкими, беленькими зубками, утешая:

— Всё устроится само собой. Куда спешить? Скачи не скачи, а до коммунизма как до луны.

Но нам-то, наоборот, хотелось как можно быстрее попасть в коммунизм, и потому утверждение Булыгина было не по сердцу.

А кроме этого, его «умиротворение» приводило к тому, что в Вольск со всех сторон опять начали стекаться подозрительные офицеры и кучиться около Декатова и Шоура, выдавая себя то за левых, то за правых эсеров... И им всем приветливо кивал Булыгин.

Ко мне в редакцию стали заглядывать те, кто был недоволен «умиротворением» Булыгина. Первым появился Сивашёв. Встав в двери, загорюничав огромной фигурой свет, он захохотал, произнося:

— А! Семинарист! Так я и знал. Тогда тебя ко мне в хату собаки загнали, а меня сейчас к тебе — думы.

Он рассказал: руководит двумя цементными заводами, рабочие ещё не покинули работу, но...

— Есть нечего, семинарист. Многие за куском хлеба подались в деревню. Этак, семинарист, мы скоро зубы на полку положим, чего и желают Шоур со всей своей компанией. А уком? Ноготки там Булыгин чистит да улыбаётся, как девица на выданьи.

Я вспомнил статью В. И. Ленина «О двоевластии», написанную до Октябрьского переворота. Тогда Ленин зорким глазом усмотрел «зачаточную власть» в лице Советов. Ленин призывал освободить Советы от влияния буржуазии и бороться за их единовластие. Я и рассказал об этом Сивашёву. Тот так и вцепился в меня:

— Знаю. Читал. А теперь мозгами пораскинем, что творится у нас в Вольске. Вывеска — вся власть Советам, даже имеется уездный исполком, а фактически — власть в руках эсеров да меньшевиков. Ты, семинарист, в газетке своей всё о коммунизме поёшь, медовые реки рисуешь, а готовится другое — реки из рабочей крови. Ты думаешь, к чему опять к нам в город стягиваются белогвардейцы всех мастей, офицерики в первую очередь? Газетку, что ли, твою читать? Не сердись: правду говорю. Одно восстание было, теперь второе готовят.

Теоретически я, пожалуй, был подготовлен лучше Сивашёва, но он сейчас впервые открыл мне на всё глаза:

— В прошлом году перед восстанием уком возглавлял Булыгин, исполком — Струин. Первый пальчики грыз, второй — левый эсер, ничего себе был человек, даже энергичный, но больше всё говорил, говорил... Произносил страстные речи на собраниях, на митингах, грозил «красным террором», а город уже переполнился белогвардейцами...

Я вспомнил.

Матрос Семёнов — комиссар Вольской флотилии (она тогда состояла из двух пловучих пассажирских пристаней и нескольких лодок да одного пулемёта) — задержал идущие вверх два парохода, переполненные чехословаками во главе с полковником и офицерами.

Я как раз был на берегу, ожидая парохода сверху, чтобы на нём съездить в редакцию саратовского журнала. Вдруг услышал пулемётную очередь. И тут же увидел, как на пароходах взвились белые флаги и пароходы стали заворачивать к пристани.

Семёнов, с которым мы раньше были знакомы, увидав меня, крикнул:

— Чёрт те что плывёт. Фёдор, айда со мной! — И добавил: — Рыпаться будут — гранатками в них. Айда!

Идя за ним на пароходы, я произнёс:

— Гранатки-то взорвутся, и нам конец.

— За революцию! — строго произнёс он.

Пробегаю по нижней палубе, мы заметили, что всюду сидят вооружённые солдаты, по-русски не говорят, а только винтовками показывают на потолок. Мы поднялись на верхнюю палубу и тут увидели: за столи-

ком сидит полковник, окружённый офицерами. Он плохо говорит по-русски, однако объясняет, что плывут военнопленные чехи и словаки, что они останутся в Самаре, а оттуда через Сибирь направятся на родину.

— Военнопленные, а вооружены? Почему? — дерзко спросил Семёнов, не отнимая рук от гранат, уничтожающе поглядывая на полковника и его окружение.

— Нам так разрешил ваш Лев Давыдович Троцкий. Вот, пожалуйста.— И полковник из бокового кармана вытащил грамоту, подал Семёнову, а тот мне:

— Читай.

Да, действительно, в грамоте сказано, что им разрешён проезд через Сибирь на родину, и подпись «Лев Троцкий».

— А почему в Самаре хотите остановиться? Там Учредилка. Э-э! Нет, брат, не на тех нарвался. Айда в исполком!

Один из офицеров тронул на себе кобуру револьвера и что-то шепнул полковнику, кивая на нас. Семёнов сорвал с пояса две гранаты и, размахнувшись ими, прикрикнул:

— К чёртовой матери полетите. Айда! Нечего рассусоливать! — И отвёл их к Струину, на прощание сказав мне: — Ты с ними, гнидами, вот так расправляйся.

Я не успел выехать из Саратова в Вольск, как там произошло восстание белогвардейцев, во время которого зверски был убит и Струин.

Семёнов же недавно рассказал мне:

— Отвёл я их к Струину, а тот, прочитав филькину грамоту, облобызался с ними: он сам, оказывается, был в плену. Затем ужин им устроил, речи у него сладкие полились, и со стороны полковника полились. Полковник наутро уехал, оставив в Вольске якобы для «охраны революции» роту солдат. Эти соединились с белогвардейщиной и под руководством самарских «учредилковцев» вместе с мещанами убили и самого Струина. В этом кровавом деле и Декатов нос замарал.

А ныне опять во главе укома Булыгин, и снова по городу расхаживают декатовы, шуры, переряженные офицерики.

— Ты прав, Пётр Савельевич, — сказал я. — Накличем беду, ежели не примем революционных мер.

— Что? Накличем? Она уже тут, у нас под боком, а он — накличем, — резко возразил Сивашёв.

— Ну, а что же делать?

— Ленин учит — власть брать. Булыгина надо отослать в городской сад: пусть там цветочки восстанавливает, а на его место сам садись.

Я даже перепугался.

— Что ты? Целый уезд, цементные заводы, город — и я во главе... мальчишка!

— Ничего. Пока взрослых у нас нет, ты поуправляй. Призови нас, опытных рабочих, в уком, в исполком. Человек ты грамотный: вижу, Ленина читал, значит понимаешь, что к чему, и валяй, а мы подхватим.

Сивашёв, видимо, повёл агитацию: вскоре ко мне в редакцию стали приходить рабочие с других заводов. Пришёл на вид молодой, но уже с большим стажем рабочий Подклетнов и тоже заговорил о том, что Булыгину «надо дать решительную отставку... ну, хотя бы назначить его к нам на завод. Пускай молодёжь танцам учит».

Потом в редакцию стали приходиться рабочие группами, требуя «взять власть в свои руки». Затем заявили медицинские работники во главе с фельдшером Константином Андреевым — человеком красивой наружности, боевым, который от имени пришедших заявил:

— У нас в городе как будто Советская власть, а руководители занимаются только разговорчиками. Водоливы какие-то.

Одним словом, события развивались помимо моей воли, и я, втянутый развивающимися событиями, сначала осторожно, затем всё более и более открыто с группой коммунистов повёл атаку на Булыгина.

Тот, догадавшись, что мы ведём на него наступление, что около нас группируются лучшие силы города и особенно рабочие цементных заводов, даже не стал сопротивляться: видимо, понимал, что мы в борьбе против него можем докопаться до его делишек в охранке, и потому однажды на заседании президиума укома сказал:

— Товарищи! Меня приглашают на работу в губернский комитет партии. Я думаю, для Вольска это будет хорошо: я ваш представитель в губкоме.

— С богом,— насмешливо, со злой издёвкой выкрикнул член президиума, мой друг фельдшер Костя Андреев.— Я — за! И скатертью тебе дорога, Булыгин. Мы, конечно, проживём и без представителей, но валяй, валяй.

На этом же заседании меня выбрали ответственным секретарём уездного комитета партии, и мы тут же начали готовиться к выборам делегатов на Восьмой съезд партии.



Мы с Костей Андреевым (ныне профессор, убелённый сединами) стоим на самой высокой площадке Ленинских гор.

Шелестят листья лип, да иногда откуда-то с Москвы-реки доносятся всплески вёсел.

Над нами висит чёрное, лакированное небо, усыпанное огоньками-звёздами.

Необычайно тихо здесь, в Парке культуры и отдыха: молодёжь давным-давно отгуляла, смолк весёлый говор около нового величественного здания Московского университета.

Казалось, должна бы спать и Москва.

Но вон она — расхлестнулась перед нами из конца в конец, нет края, вся залитая электрическим сиянием.

Волны света то на миг притухают, то снова ярко вспыхивают, колеблются, горят. Над морем огней высятся многоэтажные здания и шпилями уходят куда-то в бездонность неба.

По улицам несутся трамваи, автобусы, машины, смущая прожекторами притротуарные фонари.

И только к утру — да и кажется, на какой-то миг — вздремнул древний, всякое видевший на своём веку огромный город.

Лучи восходящего солнца оттесняют на небе пламенеющие отблески электрического моря. Солнце заиграло на крышах, лиловато раскрасило окна, и перед нами выступил всегда красивый, чарующий Кремль...

И снова москвичи широкими потоками двинулись во все стороны, загудели машины, загрели трамваи.

На ноги поднялась вся трудовая Москва.

Москва!

Когда-то бельгийский поэт Эмиль Верхарн написал поэму «Города-спруты». Страшный город: он давит, уничтожает честных людей и все людские отношения превращает в чистоган.

А перед нами советская столица Москва — город трудолюбия, честности и правды.

И, глядя на эту Москву с Ленинских гор, мы с Костей Андреевым вспоминаем ту Москву — девятнадцатого года.

В тысяча девятьсот девятнадцатом году мы из Саратова на Восьмой съезд партии ехали восемнадцать дней: то не хватало топлива для паровоза, то вдруг машинисты уходили в деревню и гуляли там день-два, то

вдруг начинали гореть буксы. Через несколько дней у нашего вагона загорелись буксы: не было масла, нечем было их смазать. Железнодорожное начальство предложило другой вагон, переполненный пассажирами. Мы отказались. Но буксы выли, как самые громкие сирены. Тревожили, беспокоили, не давали спать. Тревожила и другая опасность: в Тамбовини «гуляла» банда Антонова.

Разруха, разгильдяйство, мешочники, и со всех сторон на страну наседали колчаки, юденичи, деникины.

Но вот и Москва.

Выйдя из вагона, на всякий случай захватив с собой по буханке хлеба, мы облегчённо вздохнули: наконец-то прибыли в столицу. Сейчас трамвай довезёт нас на Садово-Каретную в Третий дом Советов, там передохнём и утром — в Кремль, на съезд...

Выходим на площадь. Она не очищена от снега, вся в кочках и ямах. В воздухе — вонючая гарь. Трамваи не ходят. Изредка только проносится одинокий, с отбитыми подножками (это чтобы не садились в него), переполненный дровами или бочками.

Мы постояли, посмотрели на площадь, и руководитель нам сказал:

— Видно, пешком придётся.

И мы от Павелецкого вокзала отправились на Садово-Каретную.

Москва!

Иззябшая, голодная Москва.

Все улицы не чищены, изредка горит электрический свет, в домах холодно, магазины пусты и закрыты, извозчики — на клячах.

Грустная Москва, нищая Москва, промёрзшая Москва.

Но такая же разрушенная, истерзанная империалистической войной и вся полуголодная страна.

Грустные мысли овладели нами, когда мы шагали по кочкастым, грязным, провонявшим какой-то гарью улицам Москвы.

7

Кремль.

На его башнях ещё золотые орлы.

Мы входим в круглый Колонный зал. До открытия съезда около часа. Выдают книги по мандатам. Жадно забираем всё, что можно. Затем через узкое окно смотрим на кремлёвскую площадь и ждём — скоро придёт Владимир Ильич Ленин.

Увидеть Владимира Ильича собственными глазами — какая это радость!

Ведь мы, молодые большевики, до сих пор не видели его, хотя жадно читали, изучали его статьи, а его книги «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Государство и революция» являлись нашими путеводителями в сложной, ещё неведомой практической деятельности создания нового государства.

И вдруг кто-то до крика шепчет:

— Ильич!

И все, кто был в зале, хлынули к окнам.

Легко накинув на плечи пальто, площадь пересекает Владимир Ильич Ленин. Он что-то говорит своему соседу, то и дело взмахивая рукой. Сосед слушает его, шагая в ногу, и через очки смотрит ему в лицо.

Ленин!

Какой он могучий!

Смотришь на него отсюда, из окна Колонного зала, и кажется, больше Ильича ростом на земле человека нет. У него большая с большим лбом голова, широкие плечи, крупный, уверенный и твёрдый шаг.

Да, такой вождь сломит любого врага.

Но что ему говорит идущий рядом с ним человек? Возможно, он высказал и наши тревожные мысли:

— Трудно, товарищ Ильич! Чем и как будем бить врага? Вот и этого, внутреннего: железнодорожный транспорт почти не работает, водный закован во льдах, магазины закрыты, в Москве не достать и осьмушки хлеба, не говоря уже о масле, мясе, сахаре. Чай пьют с сахаринном. Фабрики и заводы работают с грехом пополам. Жутко становится на душе, товарищ Ильич.

Возможно, это и сказал идущий рядом с Ильичём человек. И Владимир Ильич, резко взмахивая левой рукой, видимо, возражает ему.

....Зал переполнен.

На небольшой сцене — руководители партии.

Напряжённая тишина. Все — и делегаты в зале и люди на сцене — ждут Ленина.

Из-за кулис стремительно к трибуне подходит Ильич.

Да нет: он даже ниже среднего роста. У него большая голова, со светящимся, как солнце, лбом, маленькая борода и острые всевидящие глаза. По всему видно, он очень занят государственными делами: каждая минута и даже секунда у него на счету. А мы бурей аплодисментов встретили его и не умолкаем. Он чуточку поморщился, махнул рукой в нашу сторону, как бы говоря: «Хватит, товарищи: не тратьте время попусту». И мы на какой-то миг оборвали аплодисменты. Ильич одобрительно улыбнулся, и делегаты, помимо своей воли, послушавшись его, бурей аплодисментов потрясли зал.

Нет, нет!

Я не могу сидеть где-то в задних рядах. Нагнувшись, перебегаю вперёд, легонько толкаю в плечо делегата, сидящего с краю в первом ряду. Он потеснился... и я на расстоянии пяти-шести метров вижу за трибуной голову и плечи Ильича.

Он опять передо мной, могучий и мощный: светится лоб, глаза чуть вприщур пронизывают меня и всех нас. Говорит он без всяких выкрутосов, чуть картавя, глухим голосом.

Я внимательно слушаю Владимира Ильича, и мне кажется: он высказывает мои мысли. Да, да, вот так думал и я. Да, вот так. Но я тут же опровергаю сам себя: да нет. У меня, конечно, было что-то смутное, идущее от жизни. Но почему же мне кажется, что-то подобное я где-то говорил?

Во время перерыва я расспрашивал делегатов, какое впечатление они вынесли от выступления Ильича.

Все в один голос утверждали: «Наши думы высказал!» — в чём и были глубоко уверены, но вскоре выяснилось, что мы, практические создатели Советской власти, весьма приблизительно и туманно думали о том же самом, что высказал Ленин, но силой своего разума он пронизал и оформил наши думы.

Так он народен, наш Владимир Ильич.

А он говорит, косо вскидывая правую руку:

— ...Крестьянину, который не только у нас, а во всем мире, является практиком и реалистом, мы должны дать конкретные примеры в доказательство того, что «коммуния» лучше всего... Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» (т. е. за коммунизм)...

Мы знаем хозяйственное, политическое и военное положение нашей страны: поля почти не засеваются, рабочие выпускают зажигалки — в виде танков, пушек, снарядов и так далее. Транспорт? Восемнадцать дней ехали из Саратова до Москвы — это вместо полутора суток...

Ильич, конечно, всё это знает лучше нас, и, однако, он вон о чём:

— Если деревне дать сто тысяч тракторов!

Признаться, мы и не видели трактора. Что это за штука такая? Хоть бы посмотреть. А Ленин — сто тысяч тракторов. Раз они произведут такой переворот в умах крестьян, то рабочий класс, безусловно, эту «фантазию» превратит в быль. Не теперь, так завтра, не завтра, так через год-два, но тракторы поползут по крестьянским полям.

А Ильич за другое:

Электрифицировать страну — эту старую, материально нищую Русь, где землю всё ещё ковыряют сохой и редко — самой «крупной машиной», которая является двухлемешным плугом.

Временами хочется крикнуть: «Трудно ведь, Ильич? Страна-то оголена».

А он своё:

Бодрость! Больше бодрости: силы народа неиссякаемы. Народ пробудился только ныне. Умейте находить эти силы и направляйте их на использование неисчерпаемых богатств природы.

Владимир Ильич говорит, временами хмуря солнечный лоб, сердится... и мы мурим лбы, сердимся. А вот он захохотал над наивным заключением противника. И как хохочет! Громко. Раскатисто. Убийственно.

Я, содрогаясь, думаю: «Ох! Если он так захохочет надо мной — умру!»

Но Ленин хохочет не над нами, а над теми, кто против нас.

Нам же Ильич — всё своё внимание, все свои думы, мысли, мечты.

Действуйте, товарищи: история за нас!

Владимир Ильич нас тогда так вдохновил, что мы забыли промёрзшую Москву: перед нами предстала вся наша необъятная страна с её неисчерпаемыми богатствами природы и с исполинскими народными силами...

И вот теперь она перед нами, новая Москва: вся в россыпях огней, с чудесным метро, с новыми улицами, украшенными многоэтажными домами, с трубами заводов-гигантов...

Красивая она, Москва, как и вся наша страна...

Вернувшись со съезда партии в наши родные места, мы, вдохновлённые Ильичём, засучив рукава принялись восстанавливать хозяйство, или, как говорили тогда, «по-революционному бить разруху».

8

Интересная работа в укоме.

Но... мне хочется писать: меня всё время тянет к столу, в комнатку, занимаемую мною на чердаке.

Хорошая комнатка, вроде мансарды: ни одного окна, только застеклённая дверь выходит на балкон, а балкон — во двор.

Сиди и пиши.

А писать-то есть ведь о чём: жизнь богатая, бурная, небывалая в истории человечества, люди — душевно богатые, героические.

Я во всю стену выписал из Верхарна:

«Двери открой или — руки разбей».

Эти слова подхлестывали меня, заставляли по целым ночам «сочинять»: писал длинные поэмы под Верхарна, Тагора, Уитмена... и потому утром приходил на работу хотя и с мечтательными глазами, но «зачумлённый», и получалось: я не тут и не там.

«Надо делать то, что тебе по сердцу», — наконец-то решил я и стал добиваться, чтобы меня освободили от обязанностей ответственного секретаря уездного комитета партии, что выполнить оказалось не так-то просто.

Друзья, узнав о том, что я собираюсь уходить с работы, каждый по-своему возроптали. Костя Андреев весь взъерошился, громогласно заявляя:

— Революция ещё в опасности, а он — на задворки! Такое отступление равно отступлению Каутского от марксизма.

Вот как обвинял меня Костя Андреев, не зная истинной причины моего ухода с работы.

Нахмурился и Сивашёв. Этот с глазу на глаз донимал меня:

— Ты что, семинарист, сдрейфил, что ли? К чему отступление? Убедением пошатнулся?

Я ему единственному сообщил о том, что мне хочется писать и какие «мучительные» ночи провожу я вне уюта.

Сивашёв просветлел:

— Вот чего. А я думал — вера пошатнулась в рабочее дело. Так ты, стало быть, в дом собираешься въезжать, а он ещё только о трёх стенах и без крыши. Недостроен.

— Не понимаю. Какой дом?

— Собираешься писать о делах революционных, а революция, как младенец, ещё только на дыбках стоит. На такого младенца тигры разные со всех сторон рвутся, а ты в комнатку, писать сочинения. Нет слов, свои писатели нам нужны, но сначала положено укрепить революционные позиции, а потом пиши, потом учись. Костя Андреев, как тебе известно, хочет из фельдшера в доктора. Пускай, хвала, но — потом, когда твёрдо на ноги станем.

Всё это было весьма убедительно, и потому прошло года два, пока партия не подыскала мне замену, а меня, по моей просьбе, послала в деревню со школой-передвижкой.

И вот я снова в «Сысуевской республике», отсюда разъезжаю по пяти волостям, веду беседы с коммунистами о законах политической экономии, по вопросам диалектического материализма и одновременно «встречаю» в практические дела деревни, веду дневник...

А в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году меня вызвали на работу в «Крестьянскую газету».

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Редакция и издательство «Крестьянской газеты» разместились в огромном здании на Воздвиженке. Отсюда выходят миллионными тиражами «Крестьянская газета» и журналы: «Сам себе агроном», сатирический журнал «Лапоть», «Деревенский театр», «Крестьянская молодёжь», «Наука и техника», двухнедельный иллюстрированный художественный «Крестьянский журнал» и многие другие.

В «Сам себе агроном» подвизаются сторонники «индивидуального культурного хозяйства». Они ратуют за четырёхполку. Они даже выкинули лозунг «Свинья — крестьянская копилка» и не понимают того, что бедняку в эту «копилку» класть нечего: сам голодает. А эти ратуют за хозяйство с двухлемешным плугом, с конной молотилкой, с жаткой-лобогрейкой, с травой суданкой, то есть за всё то, что под силу только кулаку или середняку, устремлённому в кулаки. Это же самое проповедуется и на страницах «Крестьянской газеты».

Владимир Ильич Ленин ещё в тысяча девятьсот девятнадцатом году мечтал о ста тысячах тракторов, и тогда ещё рабочий класс подхватил эту мысль и теперь, в тысяча девятьсот двадцать пятом году, готовится дать свои отечественные машины, а правительство уже закупило у Форда не одну сотню «Фордзонов», и они уже бороздят артельные поля, производя переворот в крестьянских умах.

А работнички «Крестьянской газеты»:

— За двухлемешный плужок!

— За четырёхполку!

— За свинью — крестьянскую копилку!

Порою задумываешься: да кто же стоит во главе этого гигантского комбината печати? Во всяком случае они крестьянского быта не знают и не представляют даже себе, какие процессы произошли и происходят в деревне. Помешаны на общине и «молятся» на неё с таким же вдохновением, что и народники, с той только разницей, что одни проповедуют «индивидуальное культурное хозяйство», другие — отруба. И ни звука в защиту первичных сельскохозяйственных товариществ, коммун, каких уже немало разбросано по Советской стране. Читаешь все эти «эсеровские призывы» и думаешь:

«Да ведь они и Ленина не признают. Владимир Ильич в самом начале революции участвовал в совещании представителей сельскохозяйственных коммун, а в девятнадцатом году на Первом съезде представителей коммун и артелей произнёс речь, утверждающую именно вот этот путь — артельный. А тут — отруба. А тут — четырёхполка. А тут — «индивидуальное культурное хозяйство». А тут — «свинья — крестьянская копилка»...

Меня назначили редактором «Крестьянского журнала».

Наша редакция помещается в одной комнате.

Мне случайно достался раз в два длиннее обычного письменный стол. Днём я за ним принимаю посетителей, редактирую материал для журнала, а ночью из ящиков вытаскиваю постель, стелю и сплю на столе. Сотрудников нас трое. Но мы неплохо знаем деревню, а кроме того, тщательно изучили статьи, речи, крупные труды В. И. Ленина по аграрному вопросу... и наш журнал вдруг заговорил против индивидуального крестьянского хозяйства, против отрубов и решительно за колхозы.

— Белая ворона появилась, — сначала чуть перепуганно, потом всё более и более грубо, с насмешкой и анекдотами заговорили о нашем журнале сторонники «свиньи-копилки».

Меня вызвал редактор «Крестьянской газеты», шеф всех журналов, брошюр. Он оригинал: каждый месяц выпускал брошюру и делал это очень даже просто. Брал какой-либо труд по аграрному вопросу, длинными ножницами вырезал оттуда цитату, затем «растолковывал» её своими словами и — опять за цитату.

Искривив брезгливо губы, он встретил меня такими словами:

— Вы что же, против моих трудов выступаете?

— Против каких ваших трудов? — спросил я.

— Вот против этих, — и он ткнул ножницами в стопочку брошюр, лежащую на столе.

— А разве это ваши труды? — недоуменно произнёс я.

— Мои.

— Это труды вот этих ножниц. — И я в свою очередь показал на ножницы, которыми пощёлкивал редактор, как бы разрезая меня вдоль.

— Дерзите! В нашей системе без году неделя, а туда же — нос. Ведь то, что вы пишете в «Крестьянском журнале», идёт вразрез с тем, что утверждаем мы, — резко произнёс он.

— Со всей той вреднейшей белибердой, какую утверждают ваши сотрудники на страницах газеты, в журналах, и надо идти вразрез... и за Лениным! — сказал я. — Вы давите молодые ростки в деревне, как кабанчики, ворвавшиеся на бахчу.

— Надо доказать, а не оскорблять! — воскликнул он, багровея полным лицом и колыхая отвисшим, лежащим на коленях животом.

Идя сюда, я захватил с собой мою тетрадь с записями из Ленина и тут же с жаром стал читать места, говорящие о том, что В. И. Ленин стоял за создание артельного хозяйства.

— Мы за Ленина и за те жизненные процессы, какие сейчас происходят в деревне, а вы за народника Михайловского,— так закончил я, ошарашив редактора.

— Подумать надо... подумать,— пробормотал он.

— Подумайте, на чью мельницу воду льёте,— и по-юношески задорно, грубо и глупо брякнул: — А ножницы со стола уберите: они не думают, а просто режут.

2

Я в Москве живу один в той же комнате, где и работаю. Семья осталась в Вольске. По ночам меня одолевают крысы. И откуда их столько? Иногда с визгом начинают так возиться, что я просыпаюсь, включаю свет и вижу: они, на миг застывшие, косматые, седые, недоуменно и брезгливо смотрят на меня, как бы говоря: «Чего мешаешь?» — и рассыпаются во все стороны.

Порой мне становится тоскливо, как перед смертью. В выходные дни не знаешь, куда себя деть. Все кинокартины просмотрел, в театрах побывал, и вот опять выходной: выйдешь на кольцо «А» и шагаешь по кругу, пока снова не очутишься на Воздвиженке, в пустом здании «Крестьянской газеты».

Нужна квартира.

Но где и как её достать?

Я на этом помешался: иду ночью и вдруг где-либо в доме замечу — в окнах не горит свет. Стою и думаю:

«Наверное, эта квартира свободная».

Или вот — в большом доме три подъезда.

К чему три? Ведь один могли бы закрыть и построить столько комнат.

Где и как достать квартиру?

В Москве много строительных кооперативов, но, чтобы получить квартиру, нужно время, а главное, деньги — внести определённую сумму на паенакопление. Сумма порядочная: полторы тысячи рублей, а я получаю партмаксимум — сто восемьдесят два рубля в месяц.

Случайно натолкнулся в газете на сообщение о том, что издательство «Московский рабочий» объявляет конкурс на рассказы. Первая премия (помимо гонорара) пятьсот рублей.

Стал подсчитывать: премия пятьсот рублей, да если рассказ напишу листа на два — это по сто пятьдесят рублей с листа, ещё триста рублей. Восемьсот рублей. Стало быть, половина квартиры.

Начинаю торопливо подбирать тему: надо ведь спешить, иначе опоздаю к конкурсу.

Что же выбрать? Что-нибудь злободневное, даже занозистое.

А что?

Да вот — «индивидуальное культурное хозяйство». Или другое — «свинья — крестьянская копилка».

Сел за вторую тему. Набросал даже план рассказа: бедняк крестьянин сколотил деньжонок и купил поросёночка... Фантазия заработала: поросёночек превратился в свинью, свинья принесла сначала двенадцать, потом четырнадцать поросят... В самом деле, чем не копилка?.. И вдруг в памяти всплывает, как когда-то мой отец «воспитывал» поросёнка.

Руки опустились.

Узнав об этом, редактор «Крестьянской газеты», тот, у которого «ножницы писали», удивлённо сказал:

— Что же это вы? Бросили?

— Свинство какое-то получается.

— Э-э, батенька мой... в каждом свинстве есть кусочек ветчины,— не без цинизма сказал он, на что я ему ответил:

— Да. Но больше свинства.

Взялся за первую тему.

Что такое?

То ли потому, что я тороплюсь, то ли ещё что, но «огонька» нет. Всё как-то прямолинейно, а чаще будто в старых паспортах: рост такой-то, глаза такие-то, на носу бородавка.

Нет. Надо поехать на место и там посмотреть на жизнь-бытьё представителя индивидуального культурного хозяйства.

Достаю комплект «Крестьянской газеты», просматриваю. Всюду мелькает Пётр Степанович Кульков — яростный пропагандист «индивидуального культурного хозяйства», практик-опытник. Его хозяйство находится в Центрально-Чернозёмной области.

Еду к нему.

3

На окрайке дубового леса, втискиваясь в него сарайчиками, хлевушками, стоит шатровый, будто литой из меди сосновый дом с венецианскими окнами и с парадным резным крыльцом.

Дом явно не «крестьянского происхождения», да об этом говорит и конюшня из калёного кирпича, под железной крышей... А вон ещё признак деревенской роскоши — скелет тарантаса.

Но здесь живёт Пётр Степанович Кульков и вся его многорукая и «напоказ трудолюбивая семья», как писали в «Крестьянской газете».

Я всматриваюсь в окружающую обстановку: за домом густой тёмный лес — это начало Саровской пустыни. В этой пустыни жил и подвизался Серафим Саровский. Церковь готовилась произвести его в святые: перед революцией по всей России монахи и особенно монашки распространяли жизнеописание Серафима и картинку: на камне, опустившись на колени, стоит, воздев руки, Серафим, а рядом — медведь.

Фантазия работает: вместо Серафима Саровского пришёл Пётр Кульков, мастер земли.

Здорово!

И опять всматриваюсь...

Перед домом река, за рекой великолепная пойма, за поймой на пригорке деревушка — и всё залито яркими лучами раннего солнца...

С этого и начать рассказ...

И неожиданно мои мысли прерывает грубый окрик:

— Эй! Что-чего всматриваешь? Валяй-ка, валяй! Ишь, цыгарку палить. А тут — сухмень, чистый порох.

Неподалёку от меня стоит человек не человек, но что-то похожее: голова открытая, волосы всклокочены, рубашка и штаны самотканые, кисти рук натруженные, с загнутыми, как у медведя, ногтями, а лицо всё в бороде, видны только злые глаза.

— Да я вот прибыл к Петру Степановичу Кулькову... из Москвы... от «Крестьянской газеты»,— для пущей важности добавил я.

Глаза у человека дрогнули. Нет, не радость, не приветствие мелькнуло в них, а какая-то насмешка.

— А-а! — протянул он.— Это где Петькин-то патрет обрисован? Ну, прямо-таки Серафим Саровский, а то и хлеше.

Оказалось, это старший брат Петра Кулькова, Ермолай Степанович; человек так «прикован к земле цепями», что ни разу не бывал не только в городе, но даже на железнодорожной станции.

— Я вроде жука навозного: жук лезет глубже в навоз, а я — в землю,— говорит он, сидя против меня за столом, не зная, куда деть руки: они всё стремились что-нибудь делать.

Вся семья — сыновья Петра и Ермолая, их жёны, снохи, ребятишки, — все сегодня находятся в поле: идёт жатва. А сам Пётр отправился куда-то на Северный Кавказ:

— Проповедовать свою линию. Ну и ухац! Опять мешок червонцев привезёт. Я вот червонец вижу — цена. Сто — тоже цена. А мешок — что это? Не сосчитать, — говорит Ермолай и мотает головой, точно лошадь, отбивающаяся от наседающих мух.

Какой-то он по-детски откровенный, даже расспрашивать его стыдно вато. Однако тут я, невольно насторожившись, задаю вопрос:

— Откуда же червонцев-то мешок? Это ведь, почитай, миллион?

— Мильён! А что мильён? Пусто для меня. Иной раз Петьке скажу: «На кой нам? Наше дело — земля». А он мне: «Навозный! Знай своё — копайся». Навозным зовёт меня. Эх, курица-то переварится. — Он шумно, словно медведь, поднялся из-за стола и вскоре поставил на стол блюдо, на котором лежала варёная курица в горячей дымке.

— Откушай, — произнёс Ермолай и сильными руками моментально разодрал курицу на части.

— Ну что ж, давай поедим, да и в поле, — проговорил я, беря куриную ножку, и, видя, что Ермолай не дотрагивается, сказал: — А ты-то что ж?

— Э-э... нам не положено, чтобы отдельно: загрызут, особо снохи.

— Ругаются... снохи?

— У-у! Униму нет, хоть огнём пали. Да ещё моему младшему сыну женёнка негодная попалась: класс какой-то окончила и кричит: «Я образованная, а у вас тут в яре!» На кой нам? И поедом друг друга едят!

Я положил куриную ножку на блюдо, чувствуя то, что называется: «кусок в горло не лезет», и предложил:

— Пошли... в поле, Ермолай Степанович... есть что-то не хочется. Рано.

— Ну, ин потом, — согласился он, сгоняя с курицы громаду мух.

«Батюшки! Да что же тут, в этом доме, культурное? — мысленно воскликнул я и тут же сам себя одёрнул: — Что же это ты так скороспело решаешь? Увидал мух — и нá вот тебе».

По дороге в поле Ермолай всё так же откровенно рассказал, что дом (или, как он назвал, «усадьба») принадлежал когда-то «барину-леснику».

— Петька! Вот ухац! Вырвал у барина-лесника усадьбу задарма в голодный год... Восемнадцать пудов муки отвалил, и усадьба теперь наша.

«Чёрт знает что!» — подумал я, но промолчал.

У Кульковых отруб — восемь десятин, и на отрубе развёрнуто «индивидуальное культурное хозяйство».

Осмотрев яровые посевы — пшеницу, проса, овсы, подсолнух, которые тоже уже дозревали, мы направились на озимый участок. Попали сюда в обеденный перерыв: жатка стояла на меже, кони кормились в тени у колод, а люди — малые и взрослые — спали мёртвым сном.

— Тяжело приходится вам с уборкой? — спросил я Ермолая.

— Туго. Поднять бы кого-никого. А Петька — своё: баит, запрет на такое. Ну и тянем из себя жилы.

Поздно вечером, уже в сумерки, вся семья приехала в «усадьбу».

Я устроился на сеновале и отсюда, стараясь не показываться, наблюдаю за тем, что происходит во дворе.

Сыновья — кожа да кости — выпрягли лошадей, поставили их под навес к корму, снохи — тоже кожа да кости — доят коров, жена Петра и жена Ермолая, преждевременно состарившиеся, варят картошку: готовят ужин. Ребятишки, как побитые, сидят на пороге дома.

Все молчат то ли перед бурной руготнёй, то ли уже «натешились».

Сам Ермолай кружится: переведёт лошадь на другое место, поправит на телеге колесо и всё что-то недовольно гудит-гудит.

Впечатление: вот-вот все отчаянно закричат и разбегутся.

Позже, когда в доме появился тусклый огонёк, а с неба нахально тарасилась луна, я слез с сеновала во двор и заглянул в окно.

За столом сидела вся семья и молча, мрачно ужинала: картошка, чёрный хлеб и вода.

Я вышел за ворота.

Лунный свет, тихий и покорный, томился на реке, на пойме, покрыл прикорнувшую деревушку и ласкал широкие, а сейчас ещё, кажется, тяжёлые, налитые листья дуба.

В такой час хочется всё и всех на земле любить.

Но вот в доме дрогнул, мигнул и погас огонёк... и тут же прорвалась буря и в буре криков истошный голос молодайки:

— Удавлюсь я! Сил больше нет! Училась-училась, чтобы на вас чертоломить?!

Какой же рассказ написать об этом гнезде индивидуального культурного, расхваленного на всю страну хозяйства?

Не горечь вспыхнула во мне, а ненависть к проповедникам подобной жизни.

И тут же я невольно вспомнил другое.

Широкий Буерак, село на крутом, высоком берегу Волги, напоминающее орлиное гнездо, два горных орла — Степан Огнев и Давид Панов — «зачинатели новой жизни». Это они сколотили несколько семей в артель и под улюлюканье богатеев принялись на себе, на коровах пахать землю, под названием «Бруски», отведённую им обществом, — там всюду разбросан камень, пригодный для точки кос.

Мучились, маялись, но держались, веря в светлое.

И светлое пришло.

Советская власть дала артели трактор, жатку, молотилку, и, казалось, до этого незначительная сила на селе — артель сразу выросла, стала ведущей, расколола широкобуераковцев...

Вот об этом я и написал рассказ, назвав его «Огнёвцы».

Отослав рукопись в «Московский рабочий», терпеливо стал ждать результата конкурса.

Прошёл месяц, другой, третий. Дошло до меня, что комиссия собиралась, рассказ читала. Вскоре узнал, рассказ «Огнёвцы» одобрен комиссией и что:

— Ваш рассказ получил первую премию.

Я уже некую сумму заработал в другом месте, заимообразно взял деньги в «Крестьянской газете», внёс пай в кооператив... и вот почти в один день получаю ключи от квартиры в две комнаты с кухней и премию с гонораром — восемьсот рублей.

Часть денег я послал в Павловку отцу, сделав непонятную для него приписку, что это «мой гонорар», часть — семье на Волгу и тоже с хвастливой припиской: «мой гонорар», а на остальные накупил вин, закусок. И только когда все деньги истратил, вдруг вспомнил, что на квартире нет даже табуретки. Перехватив у кого-то небольшую сумму, я приобрёл кухонный столик, один стул (поедят и попьют стоя: было бы что!), лампочку, несколько тарелок, вилок и один нож (нарежут одним: было бы что!). И после этого пригласил на новоселье своих друзей.

Так я потратил первую премию.

Но премия за рассказ вдохновила меня: я начал расширять «Огнёвцев» и вскоре, используя свои жизненные наблюдения, написал под тем же названием повесть и отнёс её в ОГИЗ, в литературном отделе которого тогда работал Дмитрий Фурманов.

Я не ждал, что встречу Фурманова в издательстве, и сейчас ступал, однако не отрывал взгляда от его лица: что-то жизнерадостное светилось в нём, а лоб высокий и какой-то квадратный, из-под нависшего лбища выглядывают большие и добрые глаза. У меня даже мелькнула мысль, что вот такими хорошими глазами он и покори́л буйного Чапаева.

Взяв рукопись, Фурманов сказал:

— Зайдите ко мне через две недельки,— и распростился со мной.

Я к нему зашёл не через две недельки, а через месяц, да и то не верил, что он смог за это время прочесть повесть. Но, войдя в его кабинет, увидел: перед ним на столе лежит рукопись «Огнёвцы» и заполненный договор. В договоре моя фамилия и фамилия Фурманова, размер — четыре печатных листа, двести пятьдесят рублей с печатного листа.

«Великолепно!» — мелькнуло у меня.

А Фурманов, положив одну руку на рукопись, другую на договор, произнёс:

— Нам ваша вещь нравится. Вот и договор подписан, но... А вы садитесь, товарищ Панфёров. Садитесь, садитесь,— повторил он, затем вышел из-за стола и заходил из угла в угол, посасывая погасшую трубку.

Я же недоумевающе водил за ним глазами, ничего не понимая, пугаясь этого фурмановского «но», а Фурманов остановился, накренил голову, исподлобья, в упор посмотрел на меня и сказал:

— Вы, товарищ Панфёров, напали на очень ценную литературную жилу. Но не разработали её. Так, чуть-чуть, поверхностно, ковырнули и результат своего ковырянья... хотя и хороший... поднесли нам. Мы его принимаем и договор с вами готовы подписать: в течение месяца-другого вашу повесть издадим. Но...— И опять заходил из угла в угол, а я уж, обливаясь потом, окончательно растерялся.

Фурманов, видимо, находился в затруднении. Возможно, боялся спугнуть меня и в то же время желал как можно лучше помочь мне.

— Вы, товарищ Панфёров, очевидно, читали про золотонискателей?

— Мамин-Сибиряк, Джек Лондон, например,— ответил я.

— Ну, вот-вот.— Фурманов даже обрадовался.— Помните, как там разрабатывают золотонисные жилы?

— Да, конечно.

— Так вот, дорогой мой, вы напали на народную жилу, она гораздо ценней золотонисной. Пишите роман и не перебегайте себе дорогу этой повестушкой.— Он чуточку помолчал и с сияющими глазами воскликнул: — Бери шире! На такое нам, литераторам, народ дал право.

«Почти слова Ивана Петровича! Тот сказал: «Шире шагай, брат». ЭТОТ: «Бери шире». Но издание повести срывается? Чем и как мне его убедить?» — подумал я и ничего глупее не мог произнести, как вот это:

— Товарищ Фурманов, я получил новую квартиру, и у меня нет мебели: не на что купить.

Он некоторое время молчал, снова шагая из угла в угол, и по его хорошему лицу пробегала то хмурь, то досада, то добрая простая улыбка, и под конец произнёс:

— Это, конечно, не пример... но я ведь иногда писал «Чапаева» в трамвае: в вечернюю пору, когда народ схлынет, сяду на «букашку», то есть на трамвай «Б», он круг-то по Садовому кольцу огромный делает, внутри-то никого нет, а электрический свет яркий. Сажу и пишу. Круга два-три дашь, потом проводница говорит: «Молодой человек, мы сейчас в парк направляемся».

Он подошёл почти вплотную, положил руки мне на плечи, затем сжал ладонями мои щёки и, заглядывая в глаза, сказал:

— Пишите без мебели. Мебель и прочее и прочее наш читатель вам даст, если вы подарите ему хороший роман.

Мне стало до того стыдно за свою нелепую реплику о мебели, что я был готов без оглядок бежать из кабинета, и, только переборов это властное желание, заговорил:

— А в чём вы усматриваете народную жилу?

Дмитрий Фурманов снова задумался. Его глаза, запавшие до этого, вдруг стали больше, раскрылись и глянули куда-то мимо меня, мимо стен.

— Самое огромное население земного шара — крестьяне, то есть люди, добывающие основной продукт — хлеб... и они-то больше всех бедствуют... из года в год, из столетия в столетие. Не только материально, но и духовно: бескультурье властвует в деревне, особенно в таких угнетённых странах, как Китай, Индия, арабские страны. А ведь по существу это замечательные люди, когда-то владевшие высокой культурой. Ознакомьтесь с материальной культурой этих народов, и вы увидите, какие ценности эти люди дали человечеству. Так что же с ними случилось? Изменилась сама природа людей? Нет.

— А что? — Я уже глазами ловил взгляд Фурманова, но он всё так же смотрел мимо меня, куда-то, очевидно видя перед собой угнетённые страны, перенаселённые крестьянами.

— Многие писатели прошлого... и очень крупные... брались за крестьянскую тему. Одни рыдали... и как же не рыдать над судьбой крестьян! Другие утверждали, что оно так и должно быть. А жизнь строила своё, она из года в год, из столетия в столетие закладывала свою золотonosную народную жилу: единственный выход для крестьян из нищеты и бескультурья — это артельный труд. — Взгляд Фурманова «вернулся» и проник в глубину моих глаз. — Советский строй открывает эту народную жилу, что в своей повестушке отметили вы. Но только отметили. А надо написать такой роман, который читался бы не только у нас в стране, но и в Китае, Индии, арабских странах, на Балканах... во всём мире.

«Ох, как он расширяет тему — на весь мир», — подумал я и, поднявшись, затряс руку Фурманова.

Тряс я молча, долго, что есть сил и до тех пор, пока Фурманов громко не рассмеялся.

— Идите, подумайте и денька через два-три сообщите мне о своём решении.

4

Я не позвонил Фурманову. Зачем беспокоить его? Но дни и ночи, одновременно работая в «Крестьянском журнале», писал роман, назвав его «Бруски». Писал около года. В это время, к величайшему моему огорчению, Дмитрий Фурманов умер, и я, написав первую книгу романа «Бруски», отнёс рукопись в издательство «Круг». Рукопись прочёл Сергей Клычков — автор «болотных антютиков» — и поломал роман. Затем, видимо под его давлением, редактор выскоблил из романа всё, что Дмитрий Фурманов рекомендовал развить и углубить, чем сгустил чёрные краски, и предложил мне в таком виде роман выпустить.

Ах, как хотелось иметь свою книгу!

«Пойду в «Московский рабочий», — решил я и направился к директору издательства Кантору.

Кантор — человек небольшого роста, с чёрненькой бородкой, весьма обходительный и умный.

— Это хорошо, опять к нам вернулся, — без упрёка заговорил он. — А мы-то уже подумали, ушёл от нас Панфёров к антютикам. Они ведь там все болотные антютики. Хорошо, прочитаем.

В первой книге «Брусков» в лице Кирилла Ждаркина я не только развенчал «индивидуальное хозяйство», но и показал, как Кирилл, искренний сторонник Советской власти, член партии, благодаря «индивидуальному культурному хозяйству», то есть тем обстоятельствам, в какие он попал, сам превращается в кулака.

Кантор, прочитав рукопись, вызвал меня и с сожалением сказал:

— Хорошо, даже здорово вы написали роман, но ведь напечатать-то мы его не сможем. Сейчас курс на индивидуальное культурное хозяйство, а вы вон чего: крест на нём ставите и зовёте в артель. Знаете, что я вам посоветую: вы переделайте картины, в которых Кирилл-то Ждаркина разоблачаете. Ну что вам — две-три недели поработаете и всё сделаете. К стати, прочтите-ка Бунина... его повесть «Деревня». Ценная штука.

Я повесть Бунина не просто читал, но и изучал. Несмотря на то, что повесть была написана блестяще, я её отверг: Бунин утверждал, что крестьяне по природе своей рабы, пропитанные жадничеством, я же придерживался взгляда пастуха Ивана Петровича и считал, что в деревне по существу люди хорошие, но «судьба», или, по-другому, обстоятельства, коверкает характеры людей, стало быть, надо ломать эти обстоятельства и создавать другие.

Кантору я сказал:

— Подумаю.

Но когда сел за стол, то передо мной снова всплыл образ тётки Маши, всё то зверство, какое когда-то я наблюдал в родном селе, и особенно те зверства, какие творили кулаки в годы гражданской войны, вспомнилась семья яростного защитника «индивидуального культурного хозяйства» Петра Кулькова...

На следующий день в редакцию «Крестьянской газеты» пришёл я в очень расстроенных чувствах.

«А может, ошибаюсь? — думал я. — Ведь газеты восхваляют индивидуальное культурное хозяйство. Но почему же Фурманов сказал мне: «Ты напал на настоящую народную жилу»? А мне подсовывают чёрт знает что! Нет, нет, надо больше читать», — и снова взялся за труды Ленина.

Кантор продолжал барабанить по телефону и однажды сообщил:

— Нам молодой автор прислал роман. Называется «Рёбра». Он утверждает индивидуальное культурное хозяйство. Вы зайдите, посмотрите. Мы уже имеем вёрстку.

Я, признаться, дрогнул. Как же, писал-писал, изучал-изучал, и вот теперь кто-то другой выпустит роман о деревне.

А тут ещё Кантор по телефону:

— Упрямый вы. Плохо это: вредит вам. А зря.

Но вскоре события в деревне настолько созрели, под вывеску «индивидуальное культурное хозяйство» поналезло столько матёрых и новопечённых кулаков, а бедноту они так прижали, что партия громко и уверенно сказала:

— Пора создавать колхозы.

Однажды из издательства раздался звонок и послышался голос Кантора:

— А знаете что? Нам пришлось срочно разобрать вёрстку романа «Рёбра» и...

Я уже предчувствовал, в чём дело, однако спросил:

— И зачем же вы это мне сообщаете?

— Я отдал распоряжение, чтобы в срочном порядке набирали ваш роман.

— «Бруски»?

— Да, «Бруски».

5

Передо мной лежит книга в зеленоватом переплёте. Наверху написано: «Ф. Панфёров», ниже — «Бруски», ещё ниже — «роман», и ещё ниже — «Издательство «Московский рабочий». На оборотной стороне: тираж четыре тысячи экземпляров, год тысяча девятьсот двадцать восьмой.

Вскоре «Бруски» вышли в только что организованном своеобразном журнале «Роман-газета» сотысячным тиражом, затем и книжный тираж стал стремительно увеличиваться. Вот уж после четырёх тысяч выходит семьдесят пятая тысяча, кроме этого, издано сто тысяч в «Дешёвой библиотеке».

Я засел за вторую книгу, и она оказалась гораздо сложнее первой.

Если до этого я, разъезжая по деревням и сёлам, наблюдал больше за устоявшимся бытом и за незначительными ростками нового, то ведь во второй книге мне следует отразить то, чего раньше никогда не было в истории крестьянства: эпоху коллективизации, движение миллионов, ломку вековых устоев и рост нового, ещё невиданного.

Увлёкся — писал днём и ночью, почти не отрываясь от стола. Получалось как будто хорошо. Нет. Очень хорошо: события назревали, прорывались — страстно и буйно, люди действовали... и, конечно, всё было направлено на победоносную концовку.

Читаю друзьям.

Им нравится: хвалят, восхищаются, находят необычные литературные комбинации.

Здорово!

Но чем дальше, тем муторнее становится у меня на душе, появляется какая-то тошнота.

Из Павловки приехал отец — погостить.

Читаю ему вторую книгу.

Вечер, другой... десятый читаю.

Отец слушает. Временами смеётся — это меня радует: фальшью у него смех не вызовешь. Но иногда он как-то отворачивает нос, словно что-то вонючее преподносят ему, а то закатывает глаза в потолок.

Кончил читать.

Отец молчит, точно воды в рот набрал.

— Ну, что? — донимаю я.

Он наконец раскачался.

— Твою первую-то мы в колхозе читали. Вслух. Хорошо: правда, значит. А тут вот — да-а.

— Что «да-а»?

— Видишь ли, не сердчай: отец зла тебе не пожелает. А вот видишь ли... Однажды лошадь я купил у шаромыжника Ешкова. Помнишь? Ты хотя ещё мальчонка был, но дело при тебе произошло. Помнишь, пегашку?..

Да, это печальное событие произошло при мне.

Рано утром отец разбудил меня, сказал:

— Федярка, пойдём на базар. Лошадь купим.

— Лошадь!

Впервые у нас будет лошадь!

На базаре в конных рядах лошадей столько, что не перечесть. Вороные, гнедые, буланые, чалые, пегие — всех цветов, всех окрасок. Меринны, жеребцы, кобылы. Все разные — высокие, длинные, коротенькие, сбитые, как колобки.

И все продаются.

Пожалуйста, выкладывай денежки и любую веди к себе во двор.

— Не влететь бы нам,—говорит отец.— Попадётся с норовом: убей, с места не тронется.

— А ты не влетай,— по-взрослому советую я.

В эту минуту и наскочил на нас шаромыжник Ешков. Он налетел на отца, как коршун на воробья.

— Иван Иванович,— кричал он,— лошадь хочешь приобрести? Царство тебе небесное, хоть ты ещё жив. И кто тебе по совести продаст? Жулики. Сплошь жулики: любому в глаза посмотри — жулик. А я? Тоже жулик, царство тебе небесное. Но ты ведь мне почти кум: помнишь, в мальчишковые годы в церкви у купелей вместе стояли — ты мальчика принёс крестить, я принёс крестить, клянусь всевышним и крест сниму.

Было это так или не было, но мы вскоре очутились на постоялом дворе, и тут Ешков из-под сарая вывел пегого меринка. Меринок в чернобелых пятнах и весь дрожит. И вот он уже запряжён в телегу и тащит нас в гору — удержу нет.

— Не лошадь, а огонь! — орёт Ешков, перебивая гул колёс.— В плуг запряги — так же попрёт, и попрёт, и попрёт!

Отец поторговался, как положено, выложил деньги за лошадь и за телегу — и вот пегашка уже несётся к нашему дому.

Мать, увидав нас, выбежала за калитку с иконой в руках, на которой намалёван святой Егорий — покровитель лошадей.

А отец кричит ей:

— Ворота отвори, а она с иконой! Видишь, удержу коню нет. А она — с иконой. Нашла чего!

Пегашка прожила под сараем два дня, привыкая к отцу, ко мне, перестав дрожать.

На третий день отец со всеми предосторожностями, рассыпая перед пегашкой самые ласковые слова, запряг её в телегу, затем вручил мне вожжи, сказав:

— Держи. А то в ворота рванётся и телегу разобьёт,— и, открыв ворота, крикнул: — Давай! Айда, пошёл!

Лошадь ни с места.

— Чего ты? — растерянно спросил отец.— Давай пошёл! Малость отпусти вожжи, а то натянул!

Я отпустил.

Пегашка ни с места.

Я, осмелев, ударил её вожжой. Она покосилась на меня, как бы спрашивая: «Эй! Ты чего это? К чему?»

— Но! Но! — крикнул отец.— Но, милая. Не бойся ворот: твои они... наши... и ты наша, чай!

Пегашка мёртво уперлась ногами в землю.

Отец с усталой развалкой обошёл лошадку, затем, догадываясь, со злом босой ногой пнул её в живот, сказал:

— С норовом, проклятая!

Оказалось, Ешков, прежде чем вывести пегашку на базар, подтянул её к перекладине сарая и, поливая водой, три дня порол ремённым кнутом. Теперь она кнут забыла... и ни с места.

— Ну, и при чём же тут пегашка? — недоуменно спросил я отца.

— Сначала удержу нет, а в самделе с норовом. Вот и у тебя вторая... вроде нашей пегашки.

Досадно было слышать такое сравнение, тем более от родного отца...

Через несколько дней я принялся в одиночку перечитывать рукопись, и мне сначала как-то туманно, а потом всё яснее и яснее стало казаться, что роман походит на искусственные, сделанные из бумаги, цветы: красивые, но пчела на них не сядет — нет нектара.

В романе нет жизни.

«Дурак! — крикнул я себе. — Ведь когда ты писал первую книгу «Бруски», то не просто разъезжал по деревням, хватая всё, что попадалось на глаза. Ты изучал законы жизни, диктующие человеку делать то-то и то-то. Кирилл Ждаркин намеревался строить коммунизм, корчю пни на Гнилом болоте, а закон жизни превратил этого по существу прекрасного мужика в новоявленного кулака. Рукопись — в печку, а сам в деревню и там прощупай жизнь собственными руками, памятуя, что народ никакими сладостями не обманешь».

Как мне напоследок отец-то сказал?

— Мужик, когда за колхоз голосует, не пустую руку поднимает: на руке-то у него и лошадь, и корова, да и вся жизнь. А у тебя — чирик да чирик. Бура идёт. Эх вы, чирики-воробы, народу плохие помощники.

Стыдно было!

И — горестно!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ещё в восемнадцатом году я случайно попал в Воронцовку, тогда Тамбовской губернии. Вот теперь и надо побывать там и посмотреть, что же произошло за эти годы.

Еду.

Вот и станция Кориан-Строганово.

Звучит, конечно, громко — Кориан-Строганово! Но это такая станочка с одной железнодорожной будкой, мимо которой проносились не только курьерские, но и вообще-то более или менее «уважающие» себя поезда...

Вспоминаю: тогда, в восемнадцатом году, была весна, и солнце уже согнало снег с полей, обнажив неумытый лик земли... Набухла верба. Засинели почки берёз. По боковинам дорог бродили худые, как измученные монахи, грачи, а на скворечне, около будки, заливался пёстренький скворец, оповещая мир о том, что скворчиха занята своими неуклонными делами: готовит деток.

«Как же мне добраться до Воронцовки? — подумал я. — Ведь всего восемь вёрст», — и тут же увидел за углом будки крестьянина в санях, запряжённых буланеньким меринком.

— До Воронцовки доведёшь?

— Один путь — туда, — скупо ответил тот.

Мы сторговались и направились в Воронцовку...

Возчик сидит впереди меня и хриповатым голосом напевает какой-то заунывный мотив не то песни, не то так — что-то выдумал сам. Из-за воротника пёстрого чапана видна шея, чёрная, точно вар, а в ушах столько грязи, что впору огурцы садить.

Лошадёнка местами трусит. Там, где на дороге попадается растопленная солнцем грязь, лошадёнка, изгибая спину, напрягается и еле тащит нас. А кругом весна: поют птицы, синеет лёд на реке Цне, да и воздух поёт что-то радостное, зовущее. В такую пору хочется с кем-то говорить, смеяться, чему-то радоваться, и потому я вступаю в переговоры с возчиком:

— Как тебя, дядя, звать?

— Митрий.

— Дядя Митя, значит?

— Угу, — отвечает он.

И снова тянет свой неопределённый и, как мне кажется, невозможный для записи на ноты мотив.

Я не отстаю:

— Митрий, значит? А по отчеству?

— Оно к чему отца-то мово тревожить? Ни к чему.

Я, всматриваясь в его грязную шею, начинаю с другого конца:

— Дядя Митя, а бани у вас есть?

— На кой их нам?

— А как же? Помыться.

Он повернулся, посмотрел на меня пустыми глазами и ответил, показывая черенком кнута на реку Цну, ещё закованную посиневшим льдом:

— Мыться? Вон — в Цне.

— Но это летом. А зимой?

— Зимой? Подождём весны, откроется река, мы в неё и бултых.

Тут я иду на него в поход, восклицая:

— Да ведь так вошь может заест!

Он опять повернулся. Его тусклые до этого глаза посуровели, заполнились какой-то большой думой, и он ответил мне, как несусветному чудаку:

— Во-ошь заест? Чай, она только с мёртвого бежит.

И я был сражён: он уверен, что вошь бежит только с мёртвого, как крыса с утопающего корабля, а раз человек жив, то на нём и должна быть вошь на тех же законных основаниях, как имеется нос, глаза, уши...

Вот всё это всплыло в моей памяти, когда я на этот раз подходил к избушке Воронцовского сельского Совета.

Тогда шла весна...

Сейчас лето овладело всем. Из гнёзд вместе с родителями высыпала вся птичья молодёжь. Вон скворцы так облепили стог прошлогодней соломы, что он посерел. В заводях и глухих озёрах утки последние дни «пекутся» о детках: встанут детки на крыло — и прощай! Да и жители Воронцовки как-то от жары размякли. Поспать бы теперь в прохладе подвала. Просмеют:

— Жатва на носу, а он спать завалился.

2

В избушке сельсовета за самодельным столом сидит крупный, лет тридцати, тщательно выбритый, в голубой рубашке, человек и напряжённо что-то пишет. Так напряжённо, что у него высунулся кончик языка, которым он шевелит, как бы помогая писать. Руки у него огромные, и потому ручка с пером, как соломинка, торчит меж пальцев.

Я подошёл к столу и всмотрелся.

Человек написал:

«Ивану Герасимычу Пшенцову предлагаю тебе немедленно Явиться, в сельский совет председатель сельсовета П. Козловский».

Я спросил:

— Почему вы слово «явиться» написали с большой буквы?

Он вскинул на меня удивлённые глаза и ответил:

— Да ведь он должен явиться.

— А-а. Ну, а почему вы после «явиться» поставили запятую?

— Да ведь это слово-то должно ему в башку запасть, — решительно и уверенно произнёс он.

Я подумал:

«Вот это председатель: свой синтаксис и свою грамматику придумал на пользу Советской власти».

Так началось моё знакомство с Павлом Артамоновичем Козловским, человеком могучей физической силы и хорошего ума. Он сразу своим внешним видом, своеобразной сообразительностью, приёмами напомнил мне уже нарисованного мной в первой книге романа «Бруски» Кирилла Ждаркина. И, естественно, я вцепился в него, как репей в гриву коня.

Мы прошлись с ним по хатам. Он рассказывал мне о житье-бытье

хозяев хат, давая очень меткие характеристики, а под конец я его спросил:

— Павел Артамонович, а не поможете ли мне отыскать дядю Митю? Он живёт где-то у вас тут, в Воронцовке.— И я рассказал ему, как в восемнадцатом году меня сюда со станции Кориан-Строганово подвёз дядя Митя.

Павел Артамонович задумался, затем, кривя губы в усмешке, проговорил:

— Задача. У нас их тут, дядей Митей, из двора во двор. Дядя Митя да дядя Ваня. Павел и то редкость.

Я более подробно описал того, моего, дядю Митю: и то, как он пел, и как скупно отвечал на мои вопросы, и как под конец заявил, что «вошь только с мёртвого бежит».

Павел Артамонович, догадываясь, так хватил себя ладонью по лбу, что раздался треск, и, звонко смеясь, сказал:

— Да ведь это Пузырь. По-уличному его тогда звали — Пузырь: надуетя и молча сидит в хате, не выглядывая на улицу. Даже с родными и то не разговаривал.

— Ну, а теперь-то он что, как?

— Пузырём перестали звать: тракторист.

— Да что вы! И трактор принял всем сердцем?

— Ну, где там. Когда первый трактор пришёл на село, дядя Митя бегал по улицам и кричал: «Нам эта машина не надобна: всю землю прокоптит и хлеб керосином пахнуть будет».

Я вцепился в его сильную руку:

— Павел Артамонович, ради бога, сведите меня к нему.

— К чему «ради бога»-то?

— Привычка.

— Избавляться надо,— поучительно произнёс он и задумчиво:— Пойдём. Около парка живёт дядя Митя. Может, дома.

Мы идём заросшей дорожкой парка, расположенного на возвышенном берегу реки Цны. По обе стороны дорожки виднеются в два обхвата дубы, кора на которых покрылась глубокими морщинами, точно шкура престарелого слона. На столетних липах тоже наросты. Могучие деревья сплелись в кронах, создав внизу благодатную прохладную тень. Справа от нас видна тихая, в заводях, река Цна. Заводи усыпаны жёлтыми и белыми лилиями, которые здесь называются кувшинками. Дальше, за рекой, просторы, заросшие камышами, высокими травами и мелким кустарником. В центре парка старый, с колоннами, полуразрушенный дом.

Павел Артамонович поясняет:

— Имение Болдырева тут существовало. Сам хроменький, а блудливый, как откормленный кот. И вот жил он здесь вместе с женой-красавицей. Наездница: каждое утро на коне гарцевала, вместе с любовником, конечно. Любовник у неё был сосед — помещик. Сама гарцует на коне, и он, любовник, за ней на коне. Гончих собак свору держала. Уедет барыня с любовником в лесочек куда-нибудь, а этими часами барин свои дела проделывает: девок портит. Говорили, хромой он потому, что ногу на дуэли повредили: из-за этой красавицы жены стрелялся. А потом вон что: она с любовником, а барин — девок калечить.

Я засмотрелся на реку Цну, на камыши, на зеленеющие травы, уходящие вдаль, и почти не слушал Павла Артамоновича. Он опустил мне на плечо тяжёлую руку, сказал:

— Вот тут живёт Митрий Петрович Маркушов. Дома,— добавил он.

На краю парка красуется новенькая хатка, срубленная из сосновых золотистых брёвен. На окнах витиеватые наличники. Плотно сколоченные тесовые ворота покрашены в зелёный цвет. Из окна выглядывает девушка и ласково улыбается Павлу Артамоновичу.

— Настя, крестница моя. В мединститут готовится. Счастливые они, ребятишки-то наши: все двери храма науки перед ними открыты,— с затаённой завистью произнёс Павел Артамонович, отворяя калитку.

3

Дядя Митя сидел за столом и что-то на бумаге подсчитывал. С того времени он чуточку постарел, но отмылся: чистенький, борода подстрижена лопаточкой, волосы на голове тоже подстрижены и расчёсаны. Я его сразу узнал. И он, конечно, меня узнал, но почему-то виду не подал, хотя у него и был такой порыв, когда он хотел, видимо, произнести: «А-а, старый знакомый»,— но он этого не сделал, а чересчур шумливо поднялся из-за стола и пошёл навстречу Павлу Артамоновичу, восклицая:

— Власть! Советская власть. Садитесь, пожалуйста: всегда рады таким гостям.

— Да ты что, дядя Митя, наперёд радуешься? Может, я фининспектора к тебе привёл. Вот опишет твоё хозяйство и оциплет, как белка синичку.

— С хорошим человеком, Павел Артамонович, плохой не ходит.

В комнате тоже чистенько — видимо, прибрано девичьими руками. Да вон и Настя сидит под окном, всем корпусом повернувшись к нам. А на подоконнике учебник химии. Глянув на девушку, я подумал, вспомнив того, давнишнего дядю Митю: его ли это дочь? Аккуратная в своём сереньком платье, красивая, с умными глазами. И ещё раз посмотрев на дядю Митю, мысленно произнёс: «Да и он-то стал другой».

Подмигнув Павлу Артамоновичу, чтобы тот занялся своей крестницей, я подсел к дяде Мите и сказал:

— Мы с вами старые знакомые.

— Годков мне много, мало ли людей я на своей жизни видал,— уклончиво ответил он, видимо, не желая восстанавливать то наше старое знакомство.

Но я настойчиво продолжал своё: мне хотелось вызвать в нём воспоминание и ещё хотелось услышать от него, как он относится к утверждению, что «вошь только с мёртвого бежит». А он всё увиливал, уходил от прямого ответа.

«Ведь это мой Никита Гурьянов,— спохватившись, подумал я.— Тот ещё весь во власти земли — своих загончиков-полосок, а этот уже переступил черту собственника-единоличника и вошёл в иной мир, мир коллективизма, мир культуры»,— и я упорно начал бить в одну точку:

— Людей, конечно, за вашу жизнь перед вами прошло много, что и говорить... Однако зачем скрываете, ведь вы узнали меня?

А он, как бы не слыша моих слов, продолжал:

— Много людей прошло передо мной за мою длинную жизнь. Одни такие, чтобы о них и не помнить, другие в сердце вошли и в разум. Вот долго я слепой был,— задумчиво произнёс он, через окно глядя куда-то вдаль.

Я подумал было, что он в самом деле за эти годы физически ослеп, и я спросил:

— Кто ж излечил вас?

— Учителка. Марья Акимовна.

— Не понимаю.

— А так. Читать не умел — значит, слепой был. Марья Акимовна говорила, стало быть, слепоту мою ликвидировала...

«А ведь и правда,— подумал я.— Какой огромный переворот произошёл в человеке с созданием сельскохозяйственной коммуны и с приходом трактора, которым овладел Дмитрий Петрович, бывший дядя Митя, по

прозвищу Пузырь, в ушах которого когда-то лепилось столько грязи, что можно было садить огурцы.

И всё-таки мне интересно знать, как он сам, вот этот Дмитрий Петрович, относится к тому давнишнему дяде Мите, и я настойчивыми вопросами стал тянуть его вспять. Он старался увильнуть от прямого ответа, говорил и то и другое: что нынче жизнь иная стала, что нынче вон дочка Настя в «вышину» науки пошла, что вот по вечерам ему иногда приходится слушать лекцию агронома,— и вдруг резко поднялся из-за стола и громко произнёс:

— Ну что, милый? Было: в вошь верил, а теперь в человека верю. Плохо, что ль? Пристал ты ко мне, как банный лист.

Я, ошарашенный таким ответом, смутился и пробормотал:

— Да нет! Что вы? Хорошо — верить в человека. Только как же тогда-то утверждал, будто вошь только с мёртвого бежит...

Дмитрий Петрович снова посмотрел через окно куда-то вдаль и задумчиво пояснил:

— Живучи на веку, повертись, брат, и на сиделке и на боку.

Услыхав эту фразу, Павел Артамонович (до чего у него тонкий и звонкий голос, не соответствующий всей его громадной фигуре) заливисто расхохотался, выкрикивая:

— Ух, урезонил ты, дядя Митя, писателя!

4

В хату ворвался стремительно и бурно, как иногда в затишье вдруг врывается вихревой ветер, энтузиаст, инициатор колхозного движения, председатель сельскохозяйственной коммуны «Прогресс» Михаил Антонович Алёшин, человек небольшого роста, лет под пятьдесят. Борода у него курчавая, с сединой. А глаза молодые, юношески задорные, из которых то и дело брызжет искорками то насмешка, то одобрение, то какая-то радость.

— Мир вам. Мир! Эх, лет бы по тридцать нам с тобой, Митрий Петрович, сбросить, закрутили бы мы верёвочку по-другому. Ну, чего нельзя, того нельзя.

Поздоровавшись с нами, он ткнул в бок Павла Артамоновича.

— Растёшь, племяш? Да не телесами. Телесами-то и так вон какой выпер! Положи тебя поперёк бурной реки — плотина образуется: ставь мельницу, мели муку. Я говорю, духовно растёшь ли?

— Прислушиваюсь к вашим советам, Михаил Антонович, и не забываю книжки,— хотя с почтением, но и со скрытым превосходством ответил Павел Артамонович.

Но Михаил Антонович, видимо, уже не в первый раз слышал такой ответ и потому, не дослушав Павла Артамоновича, узнал о том, что я тот, кто написал книгу «Бруски», наскочил на меня:

— Дельно и справедливо: на нас писатель нужен, потому что мы, бывшие крестьяне, а ныне коммунары, старый крестьянский мир взрываем. По указанию самого Владимира Ильича идём.— Михаил Антонович встряхнулся и, став как-то моложе, ещё шумливее заговорил: — Я вот в декабре девятнадцатого года на съезде коммунаров и колхозников в Москве участвовал и Ленина Владимира Ильича там слушал. Ильич с трибуны нам говорил, дескать, один ваш путь, товарищи крестьяне,— это сообща землю обрабатывать, по примеру рабочего класса жить. Истина! Великая истина, только до неё трудно добаться: жизнь всегда крутая была, а тут ещё нам приходится нрав ломать, привычки скоблить и ржавчину из мозгов вычищать. Так ты, писатель, поживи у нас, познакомься с нами, да вплотную, так, чтоб мы тебя своей роднёй

считали. Где надо — поругаемся, где надо — поцелуемся. А люди у нас из старья растут. Прошлая да старая жизнь вроде навоза — для новой. Видал, как на навозе хлеб, огурцы особенно, дыни всякие, яблони и прочее растут? Вот и мы в коммуне, как новая посадка, растём на старой жизни — навозе.

Я с восхищением смотрю на Михаила Антоновича и думаю: пожалуй, ведь это Захар Вавилыч Катаев, которого я ещё только чуточку описал в первой книге «Брусков». Сейчас я представляю себе Захара Вавилыча, «сливаю» его с Михаилом Антоновичем и по-писательски радуюсь — получается образ. И я уже готов беседовать с Михаилом Антоновичем дни и ночи, отправиться к нему в хату, посмотреть на его семейное житьё-бытьё. Но в комнату вошла женщина, черноволосая, глаза карие, на щеках пылают румянец. Лицо той русской женщины, которая так часто появлялась на картинах наших знаменитых живописцев. Сначала мне показалось, она застесняется при виде меня, незнакомого человека, да и при виде председателя сельского Совета, председателя колхоза: наверное, пришла по каким-то домашним делам. Но она смело вскинула глаза на Павла Артамоновича, пожала ему руку, затем поздоровалась со всеми нами, в наступившей тишине потрепала за кудерьки на затылке Настю и сказала так же, как перед этим Михаил Антонович:

— Мир вам.

Я заметил, что она беременна и ходит последние дни. Но беременность никак не уродует её, а, наоборот, делает очень красивой.

— Кто это? — еле слышно спросил я Павла Артамоновича.

— Варвара... Сергеевна... Боевая. Но на сносях — и приутихла.

Я же подумал, глядя на Варвару:

«Да ведь это моя Стеша: обаятельная, с чертами лица русской красавицы. Вот в следующей книге я Стешу и напишу такой — в последние дни беременности».

Так я «засел» в Воронцовке: часто выезжал туда, переписывался с жителями села, изредка меня навещали в Москве Михаил Антонович и Дмитрий Петрович, писала мне и Варвара Сергеевна, у которой я стал кумом: участвовал в октябринах, и мы все вместе назвали её новорождённого сына Кимом. Воронцовка стала вторым местом моей литературной работы.

5

Вечером того же дня мне довелось наблюдать за тем, как Павел Артамонович врывал массивные дубовые воротные столбы. Он их засыпал дроблёным кирпичом и колом со всего плеча утрамбовывал, покрывая. От его спины шёл пар, как от коня, везущего воз с кладью по окрайке топкого болота. Тут же, около отца, бегали ещё без штанишек его три сына и дочка. Все они в Павла Артамоновича: рыжеватые, пятки толстые, красные, кисти рук крупные, как лапы у львят.

Я смотрел на Павла Артамоновича, на его львят и думал:

«Могучей силы человек. И дети растут тоже сильные. Не помоги, может тоже выродиться в представителя индивидуального хозяйства: вон с каким старанием заколачивает воротные столбы. Сколотит крепкое хозяйство, и сыновья после его смерти во время дележа так же схватятся за колья, как и сыновья Якуни-Вани. Закон».

По приезде в Москву я рекомендовал Павла Артамоновича на работу. Он был вызван из Воронцовки редакцией «Крестьянской газеты» и выдвинут в отдел крестьянских писем. Ему дали отдельную комнату, в которой он и поселился со всей своей семьёй, навсегда расставшись с Воронцовкой, передав дом и хозяйство в коммуну.

Встретил я Павла Артамоновича приблизительно через год на одной из улиц Москвы и спросил, как он живёт.

— У-у-у, шурую! Москву вдоль и поперёк изучил. Я ведь на трамвае-то не езжу, а всё пешком по улочкам, переулочкам.

— Это хорошо,— ответил я.— А вот теперь, когда обжился, не пора ли учиться?

— Это как — учиться? За парту, что ль, сесть?

— Да, за парту.

Павел Артамонович опустил глаза и, склоняя голову на левое плечо, произнёс:

— Чай, мне стыдно, за партой-то: вон я какой — и за парту!

— Не на воровство зову, а на учёбу,— сказал я и посоветовал поступить на рабфак.

В первый же день во время диктанта он на четырёх страничках сделал семьдесят восемь грамматических и синтаксических ошибок — и взмыленный прибежал ко мне.

Я посмотрел странички и ахнул: Павел Артамонович, конечно, в диктанте применил все свои «Явиться». Покачивая головой, я, успокаивая его, сказал:

— Ничего. Пробьёмся, Павел Артамонович. А то, что тебе стыдно за такого грамотея, какой ты есть, очень хорошо. Поехали к учительнице, которая диктовала тебе.

Разыскав учительницу, я стал уговаривать её, чтобы она «пропустила» Павла Артамоновича, на что получил решительное возражение. Тогда я кинулся на другое:

— Послушайте, Елена Герасимовна. Послушайте меня и присмотритесь, какие оригинальные ошибки он сделал. Ведь, честное слово, таких ошибок мы с вами даже не придумаем. Вот смотрите-ка: ведь это всё его выдуманная им грамматика и синтаксис. Умный ведь человек: свой смысл вкладывает и в каждую заглавную букву и в каждую запятую,— и тут же рассказал ей о своём первом знакомстве с Павлом Артамоновичем и о том, как он тогда писал записку, чтобы в сельский Совет явился некто Пшенцов.— Давайте пропустим его, а уж если ничего не выйдет, скажем: «Извиняемся, Павел Артамонович, на учёбу ты не способен».

Елена Герасимовна улыбнулась и стала совсем похожа на девочку.

— А ведь вы убедили меня. И я, как комсомолка, должна помочь этому вашему слонушке.

Павел Артамонович блестяще окончил рабфак, затем поступил в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, которую закончил тоже блестяще, и ныне он директор сельскохозяйственного училища.

Но не только он один вышел в люди: его два сына — инженеры, инженер и дочка, младший сын — майор и находится на ответственной работе в армии.

А в те далёкие дни однажды я видел Павла Артамоновича в другом «переплёте»: он пронёсся улицей Воронцовки на рысаке, запряжённом в тарантас. Тарантас поднял такую пыль, словно с бешеной скоростью промчался танк: на тарантасе не было задних колёс. Павел Артамонович по пьяному делу не то пропил колёса, не то у него их сняли. Примчавшись к школе, он забрался на крыльцо и, будто перед ним была толпа, грохнул:

— Пей, гуляй: однова живём!

— Что такое с ним? — спросил я подвернувшегося Михаила Антоновича.

— Отец Артамон в нём проснулся. Тот, бывало, не пьёт, не пьёт, да как вдарит, аж небо запыляет,— загадочно ответил Михаил Антонович. Но Нюра, дочь Дмитрия Петровича, тайком передала мне:

— В учительницу влюбился. А та от ворот указала ему поворот.

Вот ведь какие дела бывают, товарищи!

Я многих знал таких, как Павел Артамонович, и всякий раз, беседа с ними, радовался их кипению: хорошие они люди — честные, энергичные, сообразительные, но порой срывались, уходили так далеко в сторону, что многих и «вернуть» было невозможно. Физически сильные, предприимчивые, они в жизни временами наталкивались на такое, что ломало им хребет или, во всяком случае, наносило такую рану, что они душевно становились инвалидами.

Вот теперь Павла Артамоновича за нелепый-то поступок будут «судить» на партячейке. К «тарантасу без задних колёс» присовокупят и другое: мелкое, случайное, но раздутое до невероятной величины, даже могут исключить из партии... и Павел Артамонович — душевно инвалид. А я понимаю его, сочувствую ему и... пришлось мне вступить за него.

Тогда же, во время второго моего приезда в Воронцовку, мне довелось познать и те процессы, какие назрели в деревне, и то, что вскоре прорвалось (не только в Воронцовке) так буйно, что потрясло государство.

Сначала я наблюдал за тем, как воздействует крупная сельскохозяйственная машина на умы крестьян-единоличников, каковых было ещё большинство на селе. Это происходило во время обмолота хлеба. Михаил Антонович Алёшин добился и получил на коммуну две крупные по тому времени молотилки. Обмолотив хлеб в коммуне (а урожай всюду был богатый), он объявил единоличникам, что за такую-то плату коммунары готовы обмолотить и их снопы. Единоличники придерживались тогда такого лозунга: «Погодим: поглядим-посмотрим» — и не трогались с места.

Но вот тронулся один, другой, третий... и все увидели: обмолот идёт быстро (не успеешь оглянуться, а копна уже в пасти молотилки), без потерь и гораздо дешевле, нежели молотить конной молотилкой, тем более цепами.

И трактор начал то и дело перетаскивать молотилку с гумна на гумно, а на селе уже поднялась буря: кому хлеб молотить первому, кому второму.

Беднота во главе с рыженьким Петром Ломакиным — говоруном и забиякой — подступила к Михаилу Антоновичу, и Ломакин, затислав кисти рук за ошкур посконных штанов, повёл наступление.

— Михаил Антонович,— начал он в присутствии столпившихся жителей села.— Михаил Антонович, вы, как бы это сказать, есть вождь коммуны в мировом масштабе, и если в корень...

— Петька! Короче. А то вон трактор на другое гумно потащился,— перебил его кто-то из бедноты.

— Коротко и ясно, вы за бедноту, Михаил Антонович? — угрожающе спросил Пётр.

Михаил Антонович еле заметно улыбнулся.

— Иного пути пока нет,— ответил он, однако добавляя: — Но и молиться на бедноту не собираюсь. Ты что её, бедняцкую-то икону, выставил? Пора ведь её и в костёр.

Но Ломакин был захвачен другим и поэтому, не обращая внимания на последние слова председателя коммуны и на то, какой дружный смех они вызвали у середняков, выпалил:

— Раз так, должен молотить в первую голову нам, что ни на есть бедноте.

Михаил Антонович задумался и, чтобы не разобидеть середняков, ответил:

— Да ведь мы снопы молотим, и машине всё одно — бедняку, середняку или даже кулаку сноп принадлежит: она сноп хам-хам...— И тут Михаил Антонович сделал такое движение, как бы что-то глотал. Но линию повёл разумную — сначала стал молотить хлеб бедноты, но не

поряд, а выборочно: податливый бедняк и готовый уже вступить в коммуны — в первую очередь трактор к нему на гумно тащит молотилку, вертявый беднячок, вроде Петьки Ломакина, подождёт. Таким же порядком Михаил Антонович обмолотил хлеб середнякам и даже некоторым «тихосопящим» кулакам, — вот когда село треснуло, расколосось, и мужик очутился на перепутье.

Куда идти, где буйную голову приклонить?

У меня в рукописи первого варианта второй книги, что я читал отцу, уже был отражён этот процесс — воздействие крупной молотилки на крестьян, но всё это «умозаключительно», «чирик-чирик», как сказал отец, а тут вот она, жизнь, бурная, скандальная, с неожиданными вывертами. И ещё я не отметил главного — молотьба артельной машиной хлеба единоличников помогла тому бурному, что вскоре разразилось во всех сёлах и деревнях всей страны.

Вскоре долго назревавший процесс прорвался, как вулкан. Я это наблюдал в станицах Северного Кавказа, на Кубани, Украине, в Поволжье и здесь вот, в Воронцовке. И миллионы людей-хлеборобов, иные с песнями, с великими надеждами, иные со скрежетом зубов, хлынули в колхозы.

6

Но что же это такое происходит?

По всем деревням и сёлам несётся буря, небывалая в истории человечества. То и дело в печати объявляется, что такая-то и такая-то область сплошь коллективизировалась, что на Урале Краснополянский район — десятки сёл — вступил в единую сельскохозяйственную коммуны. То же самое свершилось в Шатровском районе там же, на Урале. Что-то подобное же появилось в Сибири, на Волге, на Северном Кавказе, в Центрально-Чернозёмной области.

— Ба-а! — кричали «восхитители». — Так скоро все колхозы сольются в единую коммуны, — и уже подыскивали оправдывающую теоретическую базу, и некоторые предлагали ликвидировать в деревне органы Советской власти, а их «функции передать правлению колхоза».

Да и верно, в деревне происходило что-то невероятное: целые районы — единая сельскохозяйственная коммуны. Вот тебе нá, так быстро! Тут есть над чем поломать голову теоретикам.

Я заканчивал вторую книгу «Брусков», но события, происходившие в деревне, оторвали меня, и я направился под Пятигорск, в сельскохозяйственную коммуны «Пролетарская воля»; уж очень расхваливали её в печати, а иные даже говорили:

— Это, знаете ли, будущее! Если хотите познать будущее, езжайте в коммуны «Пролетарская воля», — и снова подводили теоретическую базу.

«Базы» хороши, а что в жизни?..

Коммуны «Пролетарская воля» расположилась за селом в старом, полузаброшенном саду. На здании клуба во всю ширину стены висит плакат с кричащими словами: «Подгонка рублём — позор для коммунар!»

Прочитав призывные слова, я подумал: «Хорошо-о! В самом деле, какой же это коммуны, если его надо подгонять рублём?» — и пошёл осматривать хозяйство.

Бросается в глаза: все коммунары носят одинаковые соломенные шляпы. Спрашиваю председателя коммуны, чем-то похожего на попарасстригу:

— У вас что ж, коммунары сами плетут шляпы?

— Нет. Покупаем. У нас так: нужны шляпы, так все одинаковые, сапоги — всем одинаковые, костюмы — тоже. Равенство, понимаете?

Опять с восхищением думаю: «Замечательно!»

А вон бежит доярка. Белотелая, шустрая и, слышу, острая на язык. Такие для нас, литераторов, клад: всё расскажут. Вынимаю блокнот, хочу взять её «на память».

— Как её фамилия? — спрашиваю председателя.

— Фамилия? А у нас же частные фамилии ликвидированы. Единая у всех фамилия. Это доярка Пролетволя. Название коммуны «Пролетарская воля», а сжато «Пролетволя». Тот вон, на углу, Тихон Петрович Пролетволя. Я Николай Николаевич Пролетволя. Так-то, — с передыхом закончил председатель.

Я опять с восхищением подумал: «А пожалуй, и это хорошо».

— Знаете что, ходите по хозяйству. Ступайте на коровник. Вам всё всё порасскажут. Нам танть нечего: у нас налицо только добротное. А я добегу до конторы. Кое-что надо сделать, — заявил Николай Николаевич Пролетволя и скрылся.

Вот и коровник.

Это, видимо, старые конюшни, потому что каждый станок отделён досчатой перегородкой. Теперь в станках — коровы. И какие клички! Например: «Роза Люксембург». Или «Красная заря». Или «Пламя революции». А бык — «Вперёд». Позвольте, не шутка ли? Может, нарочно, взяли да и написали, чтобы посмеяться над нашим братом?

Снова обхожу станки, перечитываю клички и задерживаюсь, думая: «А впрочем, что ж, может, так и надо?» Заглядываю в первый станок, над дверью которого написано «Роза Люксембург», и, ошарашенный, отшатываюсь: навозу столько, что корова сосками достаёт до разжиженной массы.

Обалделый, несколько секунд стою как истукан. Вижу, бежит мимо та шустрая доярка, Татьяна Пролетволя. Безотчётно спрашиваю её:

— Сколько же молока даёт «Роза Люксембург»?

Та ухмыляется:

— С чирышек!

— Что такое — чирышек?

— С напёрсток: губы помазать и то не хватит.

— Вот так «Роза!» — растерянно бормочу я, уже чувствуя, понимая, как вся та романтика, навеянная на меня в Москве, вытряхнулась, вытесненная неожиданным, но весьма горестным. «Да это всё случайное», — утешаю я себя и отправляюсь под Бештау, где расположилась в бывшем монастыре животноводческая ферма коммуны.

Мы на лошади долго крутились по извилистой дороге, взбираясь на возвышенность, и вот сидим в тени сарайчика, беседуем с коммунарами.

Здесь коммунары тоже довольно упитанные, в одинаковых шляпах и все под одной фамилией. Доярки белотелые, полногрудые и толстощёкие. Во время беседы я всё время ждал, вот-вот кто-нибудь из них на что-нибудь пожалуется, как это часто бывает в других колхозах, а эти сидели, слушали мои рассказы: женщины щёлкали семечки, мужчины беспрерывно курили табак-самосад, или, как они же в насмешку называли его, «вырви глаз».

В такой утомительной беседе прошёл, может быть, час или два. И вдруг вижу, из-под горы поднимается швицкой породы сизо-серый бык. Он идёт и мучительно приседает на все четыре ноги так, словно они у него обожжены.

— Что такое с быком? — встревоженно вскрикнул я и кинулся было ему навстречу.

Но коммунары безучастно посмотрели на быка, и только один из них спокойно, как о чём-то весьма обычном, произнёс:

— Та это ж у него копыта отросли: не может двигаться нормально.

И в самом деле, у быка копыта загнулись, словно концы лыж. Я не выдержал и выругался:

— Что ж, не знаете, как обрезать копыта быку?

— Знаем. Да нечем же,— с украинским акцентом ответил всё тот же коммунар.

— Обломок косы есть?

Коммунары переглянулись, затем кто-то сказал:

— Та вон же в плетне торчит. Ржавый, страх.

Я выдернул из плетня обломок, попросил молоток, и мы в течение десяти—пятнадцати минут «остригли» копыта быку.

Бык сначала присел на все четыре ноги, затем встал твёрдо, посмотрел на нас, взмахнул хвостом и тронулся к стаду, уже издавая пронзительный, зовущий рёв.

— Обрадовался! Эх, ты! — воскликнула полногрудая доярка.

Я сказал:

— И как вам не стыдно! Государство вам отпускает огромные средства, чтобы коммуна стала для крестьянина показательным хозяйством, а у вас? Коровы молока дают с напёрсток, быку копыта обрезать не хотите. Да на такое хозяйство крестьянин плюнет.

Так слетела с меня романтика, навеянная «восхитителями», и я занялся самыми прозаическими вопросами, почему это при хорошем пастбище, породистом рогатом скоте одни коммунары щёлкают семечки, другие, сидя на брёвках, курят «вырви глаз», и никто не хочет убрать из-под коров навоз или быку обрезать копыта?

В чём дело?

Как выяснилось потом, всё упиралось в систему распределения и оплаты труда. Лозунг «Подгонка рублём — позор для коммунаров!» порушил принцип социалистических производственных отношений и внедрил потребительский принцип, то есть то самое страшное, что разрушает любое хозяйство с той же силой, с какой, например, рак разрушает организм: коммунары ели, пили, бродили и ничего не делали. А «восхитители», сидя где-то там в Москве, всё ещё продолжали восхвалять коммуны «Пролетарская воля».

7

Из-под Пятигорска я, признаться, терзаемый думой, направился в Тюмень.

Тюмень того времени — это городок, похожий на большое село с деревянными тротуарами на центральной улице, а за тротуарами «по шейку» невылазная грязь.

Шёл уже май месяц, а грязь ещё не подсохла.

На базаре я натолкнулся на крестьянина, который собирался ехать в Шадринск. С ним вместе я и решил отправиться в Шатровский район, где все сёла и деревни вошли в единую сельскохозяйственную коммуны.

Колёса по ступицу утопают в грязи: временами идёт дождь, а то выпадает невероятно белый в эту пору снежок. Он ложится на черноту пашни, как сахарная паста на пряник.

Ехали мы долго.

По пути к нам приставали всё новые и новые, чем-то озлобленные люди. Порою они обгоняли нас на жирных конях, обрызгивая грязью. Но большинство тянулось вместе с нами, вместе останавливались на постоянных дворах и гудели, изливая ненасытную злобу.

Это бежали кулаки от коллективизации. Они неслись широким потоком, одни в глубь Уральских гор, на Волгу, в башкирские просторные степи, на чёрные полупустынные земли, на Кавказ, а навстречу шёл другой поток — в Сибирь, в непроходимую тайгу, в горы Кузнецкого Алатау и даже на Памир.

Меня они тоже признали за «бегущего», но «более благородного» происхождения, потому во время ночёвки отводили мне особое место и откровенно, до омерзения, костерили Советскую власть и колхозы. Я молчал: узнают — убьют.

Вот когда мне удалось познать всю душу кулака.

В центре Шатровского района я наконец расстался с кулацким потоком и со своим возчиком, чему был весьма рад: кулаки стали озираться, видимо понимая, что я для них чужой, и что-то замышляли.

Меня поместили на втором этаже бывшего кулацкого домика. Здесь пусто. Стоит стол, деревянная кровать, да в углу висит чей-то фотопортрет. Я сижу в «задней» комнате, заношу в тетрадку впечатления от «кулацкого потока» и думаю:

«Какая звериная злоба кипит в кулаках. Нет. Этому кулацкому потоку надо противопоставить широченный поток колхозников. И, пожалуй, правильно: весь район — в коммуну. А подрезают ли быку копыта? А не дают ли коровы молока с чирышек-напёрсток?» — вдруг забились во мне тревожные мысли.

Наверх поднялся и сел за стол против меня председатель объединённой коммуны Ланцов, с которым мы познакомились ещё вчера. Вчера он был в приподнятом настроении, на мои вопросы восклицал:

— Да, мы двинулись, океаном-морем двинулись в коммунизм. Мы теперь всему кулачью распродокажем. Вот посмотрите-ка, что делает наша молодёжь, — и повёл меня в церковь.

На улице тьма.

А в церкви при тусклом свете керосиновых ламп со сводчатого потолка мрачно глядят святые и под баян комсомольская молодёжь танцует кадрили.

Мне стало как-то жутко, а Ланцов с восхищением произносит:

— Ладно? Бога побоку, и танцуй, танцуй, ребята!

И сейчас вот он, Ланцов, сел за стол и вцепился руками в голову.

— Что? — спросил я его.

Он долго раскачивал голову на ладонях рук.

«Видимо, вчера изрядно выпил», — подумал я.

Ланцов поднял на меня глаза и тоскливо произнёс:

— Летит всё к чёртовой матери. Коров согнали, а кормить нечем. Гадали: выгоним на пастбище, а оно вон чего — то дождь, то снег. Сплошной отёл пошёл — телят принимать некому:дохнут. Кур стащили в одно место — дерутся куры-пегухи в кровь. Вот оно как. Ну, пойду. Что-ничто, а придумаю.

Вскоре после ухода Ланцова порог переступил низенький, плотный, похожий на дубовый пень человек лет тридцати.

— Здравствуйте, — смело произнёс он, поблёскивая выбритым розоватым лицом. — Вы из Москвы?

— Да, из Москвы, — ответил я.

— Роман написали, «Бруски»? Евангелие, крестьянское евангелие. Розами дорожку мужичку посыпали.

Я молчу и внимательно слушаю, не перебивая его, а он всё говорит и говорит. Говорит, и всё какими-то афоризмами.

— «Высказанная мысль уже есть ложь», — так сказал древний философ Гераклит.

«Эге, загнул», — подумал я.

— «Преждевременно высказанная мысль — всё равно что бисер, брошенный свиньям», — так сказал Гомер, — продолжал он.

Постепенно уяснил: он владелец «индивидуального культурного хозяйства», председатель сельского Совета. За несколько лет вырос и распух на индивидуальных дрожжах. Наступил момент, и его хозяйство вот-вот ликвидируют.

— А мы корни Советской власти. Мы в землю ушли глубоко, нас не искоренишь, да и искоренять не надо: если за что возьмёмся, так сделаем на славу всего нашего государства. Вы видели, что творится в коммуне? Каждый друг друга сейчас поедом ест.

Я ответил:

— Нет, я ещё хозяйство не изучил.

— Увидите — станете моим союзником. Ещё древний Аристотель сказал: «Не всякую пропасть может человек перепрыгнуть». А тут согнали всех крестьян района и говорят: «А ну, махай через эту широченную пропасть — от нищенского хозяйства к коммунизму». А мой лозунг таков: «Через отруба — к коммуне».

Я улыбнулся и спросил:

— А вы от своего лозунга «Через отруба — к коммуне» не отрубите потом слово «к коммуне»?

— Там видать будет.

Этот самый ярый защитник «индивидуального культурного хозяйства» недели через две после моего отъезда оказался во главе восставших кулаков и заживо сжёг председателя объединённой коммуны Ланцова.

Накануне моего отъезда из Шатровской коммуны ко мне зашёл человек в рыжеватом чапане, подпоясанный кушаком. Когда он остановился на пороге, то лица не было видно: оно сплошь, вплоть до глаз, заросло бородой, а на голове — лохматая шапка. Вот он снял шапку, посмотрел в углы комнаты и, не видя икон, закрестился прямо на меня.

«Старовер: волосы подстрижены в кружок», — мелькнуло у меня.

Глаза у него синие, синие и чистые, как у ребёнка.

— Вы что, ко мне? — спросил я.

— Приезжий тут, из Москвы.

— Значит, ко мне. Садитесь, пожалуйста.

Он посмотрел на пол, затем, стуча пальцем по виску, глухо произнёс:

— Шумит... В башке чего-то шумит. Я уж постою.

— Да нет, садитесь.

И я силой усадил его на табурет.

Отдышавшись и чуточку придя в себя, он рассказал мне о том, как сегодня рано утром выехал на базар с мукой. Вскоре к нему прискакала жена и сообщила: «Батюшка, ликвидну́ли нас: лошадок забрали, коров забрали, из дома выгон наметили».

Я посмотрел на его заскорузлые пальцы, в его синие, чистые, детские глаза и спросил:

— Семья-то у вас большая?

Он не сразу ответил:

— Семья-то? Баба да я.

— Ну, а лошадок сколько у вас?

— Шесть. Да три сосунка.

— А коровок?

— Четыре да два нетеля. Теляточки, конечно, весенники.

Я задумался.

— Двое. Шесть лошадей да жеребята, четыре коровы да нетели и телята. Ничего себе! — И начал разъяснять: — И для чего вам двоим такое огромное хозяйство? Ведь оно же душу вашу пожирает. Вам бы отказаться от него и на добровольных началах вступить в колхоз, стать сознательным человеком, и вас за ваше прошлое простил бы народ.

Так увещевал я его минут пятнадцать, стремясь растолковать «смысл жизни», а он снова постучал заскорузлым пальцем по виску и глухо выдавил:

— Шумит чего-то, круговорот.

Мне стало жаль его: хапал-хапал — и в один час всё лопнуло.

Впоследствии выяснилось: этот посетитель с детскими синими глазами по-своему принял участие в кулацком восстании — деревянным вальском, которым крестьянки полощут бельё, дробил черепа убитым коммунистам.

Вот вам и синие детские глаза!

Несмотря на такие перехлёсты, как создание Шатровской коммуны, кратковременная жизнь которой закончилась трагической смертью её вдохновителя Лапцова, несмотря на такие левацкие заскоки, какие мы видели в коммуне «Пролетарская воля», движение всё равно ширилось, росло, захватывая миллионы крестьян, а такие коммуны, как Воронцовская, превратились в образцовые колхозы: Михаил Антонович Алёшин и такие, как он, руководители делали огромное народное дело.

Из этой бурной жизни выросли мои «Бруски».

Как роман написан? Судить не мне. Тут судья — советский читатель. Я же уверен в том, что пройдут какие-то годы и появятся писатели, которые смогут более ярко отразить эпоху коллективизации. Но я не могу не подчеркнуть: в «Брусках» я нигде не кривил душой, и это радует меня. Порою мне было туго, и тогда я снова покидал Москву, шёл к трудовому народу, и он своими героическими подвигами вдохновлял меня.

На четыре тома «Брусков» было потрачено десять лет труда, хотя создавались они, как мне кажется, гораздо больше лет: жизнь в Баку тронула мою детскую душу, и потому, когда я очутился в селе, меня поразила раздробленность крестьян, их ненасытная вражда друг к другу, их нужды, голодная смерть, бегство от голода к куску хлеба.

— Что делать? — такой мучительный вопрос возник ещё тогда, в те гнетущие, мрачные времена.

После Октябрьской революции возник не менее сложный вопрос:

— Как делать?

На этот вопрос могла ответить своей практикой только сама жизнь. И она ответила, а нам, литераторам, надо было отыскать этот ответ в бурном потоке жизни.

Мне казалось, я его нашёл.

Но вскоре я получил неожиданный удар.

8

С Алексеем Максимовичем Горьким я встретился в редакции «Крестьянской газеты» в первый его приезд из Сорренто.

Вон он сидит за длинным столом, окружённый сотрудниками газеты, журналов, издательства. Они буквально облепили его, закрыв от меня, сидящего в полутёмном углу, и это раздражает: мне хочется молча, сосредоточенно смотреть и смотреть на него — живого.

У него волосы подстрижены ёжиком. Это я вижу впервые: на портретах всюду непослушная шевелюра. Лоб широкий, изрезанный продольными глубокими морщинами, такими же морщинами изрезано и лицо.

Он всех выслушивает, вцепившись рукой в подбородок так, точно подпирает голову, и временами тихо улыбается: нижняя толстоватая губа по-детски расплывается, а глаза поблёскивают, говорят: «Удивительно!»

Красивый он, Алексей Максимович!

Я смотрю на него, и передо мной мелькают герои, созданные им: Челкаш, Орловы, протестующий и буйный Фома Гордеев, неудачник в жизни Матвей Кожемякин... Сотни героев. Все они от природы хорошие люди, и как поломала их жизнь! Но не сломила вот этого великого художника слова — Максима Горького.

«Ах! Хоть частицу создать того, что создал он», — с хорошей завистью думаю я, неотрывно всматриваясь в черты лица Алексея Максимовича,

одновременно перекладывая с коленки на коленку только что вышедшую из печати первую книгу романа «Бруски»: прихватил с целью передать Горькому и задержался, думая: «Зачем детской писаниной отнимать время у гениального художника?»

Ко мне подошёл редактор «Крестьянской газеты», тот, кто при помощи ножниц «написал» десяток брошюр, и шепнул:

— Алексею Максимовичу подана машина. Он сейчас уедет. Немедленно передайте «Бруски».

Понимаю, ему хочется поддержать марку «Крестьянской газеты»: вот, дескать, и у нас писатели завелись.

Я стремительно подошёл к Алексею Максимовичу, положил на стол книгу и почему-то грубо сказал:

— Вот,— и, вспыхнув, как девица, так же стремительно отправился в свой угол.

Алексей Максимович надел очки, осмотрел книгу с внешней стороны, перелистал её и, отыскав меня глазами, сказал по-нижегородски окая: — Прочту. Непременно. Это отраднo: молодёжь такие романы пишет.

Он вскоре уехал в Сорренто, и я долго бичевал себя:

«Ну, зачем полез к нему? И книгу-то мою он, наверно, где-либо забл... да и читать не будет»,— хотя мне очень хотелось, чтобы он прочитал и, чего греха таить, конечно, чтобы похвалил...

И вдруг получаю из Сорренто «Бруски» с пометками Алексея Максимовича и письмо, написанное его почерком: буквы с наклоном в левую сторону.

В начале письма он назвал меня даровитым, затем последовало то горьковское, хотя и заботливое, но весьма суровое: Алексей Максимович критиковал меня за небрежность письма, за то, что я иногда писал так, как слово произносят, например, «што», а не «что». Или: «Я пойду в сад,— шагнул он к калитке». Он ведь не шагнул, а сказал.

Одним словом, Алексей Максимович дружески критиковал меня за язык «Брусков». Но я тогда, подогретый похвалами, был «горяч» и ответил ему задиристым и весьма неразумным письмом.

— Я тему-то какую поднял — новую. Да и деревенскую жизнь с ног до головы знаю. А он? Что же это он меня так? — сказал я, словно обращаясь к кому-то, и надулся, как индюк.

Тема была, конечно, ещё не затронута литераторами, но разве это давало право писать небрежно? А главное, я не усвоил, что Алексей Максимович ещё тогда ставил вопрос: не только о чём писать, но и как писать.

И вот ныне удар: на страницах печати появились резко критические статьи в мой адрес: «О прозе», «Открытое письмо А. С. Серафимовичу», «По поводу одной дискуссии», «О языке».

Алексей Максимович на основе своего огромнейшего жизненного опыта учил меня и нас, молодёжь, писать лучше, выбирать из огромнейшего словесного народного потока слова яркие, звенящие, а не случайные и критиковал в «Брусках», например, такие слова, как «скукожился», «трюжильный», критиковал неудачные сравнения, фразы.

Много ценного в этих статьях и по сей день.

Но тогда задор владел ещё нашими умами, в том числе и моим. Мы ещё твердили:

— Нам всё нипочём.

— Сожжём Рафаэля, растопчем искусства цветы.

— Создадим новое на голой земле.

Да и досада овладела мной, даже как-то ослепила меня, и, ясно, я, вместо того чтобы прислушаться к голосу Алексея Максимовича, стал искать в его статьях то, к чему бы придаться.

Ага. Вот. Он резко критикует моё утверждение, что молодые писатели пошли в литературу, как плотва, заявляя, что «плотва» — дрянная ры-

бёшка. Плотва из «рыбёшки» вырастает в рыбу, и довольно вкусную, а во-вторых, я говорю о количестве, о массовом потоке молодых сил (плотва ходит всегда косяками), а не о качестве.

Наивно?

Конечно, такое возражение, если рассматривать его с позиций нынешнего дня, когда у нас у самих засеребрились сединами головы,— конечно, возражение наивное. Но в те годы частенько задор затемнял разум, и это порой толкало на такие поступки, за которые краснеешь и теперь.

Взъерошенный, я стал добиваться, чтобы Алексей Максимович принял меня, и получил согласие.

Иду к нему.

Дорогой старательно взвешиваю свои соображения, а главное, горечь. Горечь! Батюшки, какая горечь-то на душе! Какая обида! Даже мир потемнел.

Ну-ка, на всю страну раскатал меня.

И вот передо мной Максим Горький.

Ещё раннее утро, и потому резкие морщины на лице Алексея Максимовича не разгладились. А как я их люблю, эти морщины, эти свисающие усы, эти губы в доброй улыбке... И из меня вдруг вытряхнулись все так тщательно продуманные мною возражения.

— Проходите, проходите,— глуховатым голосом произнёс он, усаживая меня перед собой за столом.— Как живёте? — всё так же понижегородски нажимая на «о», спросил он.

«Что же мне делать-то?» — мелькнуло у меня, и я, вспомнив, что он любит слушать, стал рассказывать ему о сельскохозяйственных коммунах. Когда рассказал про клички коров в коммуне «Пролетарская воля» (а там были такие клички: «Роза Люксембург», «Пламя революции» и бык «Вперёд»), он добродушно, как-то в себя, весь содрогаясь, распяливая нижнюю губу, рассмеялся, а когда я нарисовал перед ним быка с необрезанными копытами, он нахмурился и глухо произнёс:

— Вот они какие, мужики. Не обрезали, значит? И поглядывают?

— Поглядывают, Алексей Максимович. Я даже грубо выругался.

— Оно и выругаешься. А как же? Общее дело портят. Я ведь тоже немножко мужика знаю. Тугие они. Трудно их будет переплавить. Очень: собственность пропитала всю душу.

Но я тут же рассказал про Воронцовскую коммуну на Тамбовщине, про тракториста дядю Митю и главным образом про председателя коммуны Михаила Антоновича Алёшина, влив при этом и «капельку фантазии».

Алексей Максимович выслушал меня, наклонив голову, затем поднял её, посмотрел мне в глаза.

— Хорошо... если это так. А не фантазируете? За нами, литераторами, такое водится.

Я вспыхнул и ответил:

— Малость, Алексей Максимович.

— «Малость»-то вот тут и не нужна. То, что там ребята, как выражаетесь вы, сдельщину ввели, славно: мужик на такое пойдёт и работать будет. Однако...— Он постучал по столу длинным пальцем.— Однако фантазировать в таком деле вредно: себя обманываете, читателя обманываете, правительство обманываете. Вы жизнь всегда изучайте недоверчиво: это заставит вас копаться в ней, вгрызаться в неё... И глядишь — нашёл самородок весом с пуд.

— Это верно, Алексей Максимович,— согласился я и рассказал ему о судьбе Павла Артамоновича Козловского, который за несколько лет окончил академию и стал агрономом. Рассказал просто, без прикрас, не

утаив и о том, как тот влюбился в учительницу и как пропылил улицей на тарантасе без задних колёс.

Алексей Максимович глухо произнёс:

— Вот оно какое дело. Академию кончил! Да-а. Факт великий, подтверждающий основы основ нашего строя. И положено нам, литераторам, изучать результаты этого строя. У большевиков есть хорошее и для нас с вами выражение: «Обстоятельства создают характеры». Понятно, какие обстоятельства вашего Павла Артамоновича вывели в люди. Это замечательно!

Я воспользовался паузой и спросил о том, что меня давно интересовало:

— Алексей Максимович, мы вот, например, считаем ваш роман «Дело Артамоновых» мировым литературным шедевром.

— Громковато.

— Нет. Вы не улыбайтесь. Ведь ваш роман...

Алексей Максимович взмахом руки прервал меня:

— Есть такая индусская поговорка: «Не будь настолько кислым, чтобы на тебя не плюнули, но и не будь настолько сладким, чтобы тебя не скушали».

А я своё, искреннее, пережитое:

— Его всегда хочется читать и перечитывать. Ведь вы же смогли в нём на характерах и деятельности Артамоновых показать зарождение и гибель капитализма в России.

— К чему это вы? — снова перебил он меня, уже хмурясь.

— Расскажите, пожалуйста, если это возможно, как вы писали «Дело Артамоновых»... как изучали жизнь? — И я ступевался, видя, как Алексей Максимович всё больше и больше хмурится, а ус у него дёргается.

— Трудна задача,— спустя какие-то секунды заговорил он.— Я, пожалуй, расскажу вам про некоторые купческие семьи...

Часа полтора Алексей Максимович рассказывал о трёх купческих семьях, за которыми наблюдал в Нижнем, Самаре и Арзамасе, и поразила меня красочностью языка, меткими характеристиками, глубоким анализом, и передо мной, как живые, встали купцы, их быт, их энергия, борьба... и вымирание.

Когда он кончил, я невольно воскликнул:

— Алексей Максимович! Да ведь так вы могли бы написать три романа.

Он улыбнулся, растягивая нижнюю губу, и, опять окая, сказал:

— Однажды Толстого... не этого, а того — Льва Николаевича, спросили, как он пишет. Ответил: положено наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определённый образ. Вот вам, молодёжи, этому надо учиться. А вы иногда наоборот — одного Ивана узнаете, а пишете тысячу. Три романа? Мог бы, конечно, написать я и три, но тогда вы бы и сказали: «Ничего себе романчики... вроде как у Мордовцева». А я один написал, и вы вон чего — мировой литературный шедевр. Шедевр не шедевр, а роман хороший: самому мне нравится.

Казалось, всё шло отлично. Алексей Максимович даже посоветовал написать пьесу.

— Вы знаете, как нашему народу сейчас нужны пьесы! А у вас в основном-то язык хороший, только небрежность порой выпирает. Читали, как меня Короленко критиковал? Вот если бы я тогда с обидой принял его критику, ничего путного и не вышло бы.

Я подумал, есть ли у меня в данную минуту обида и горечь? Нет. Я чувствовал одно, что я тоже какая-то хотя и маленькая в сравнении с Алексеем Максимовичем, но ценность, и потому от всей души сказал:

— Я не обижаюсь, Алексей Максимович. Наоборот, очень благодарен вам. Учусь!

— Вот и хорошо. Работайте: на пользу пойдёт. Айдайте завтракать,— с шуткой, подчёркивая волжское «айдайте», предложил он, и его нижняя губа снова расплылась в детскую улыбку.

Я вышел от Алексея Максимовича, переполненный радостью и от встречи с великим художником, и от того, что он мне дал замечательные, нужные в моей жизни указания, и ещё потому, что он так охотно рассказал мне о том, как писал «Дело Артамоновых». Одним словом, я вышел от него взволнованный, радостный и уверенный, что выправлю свои ошибки и напишу такое произведение, которое целиком и полностью понравится Алексею Максимовичу.

Да, казалось, всё закончилось благополучно.

Но вскоре снова появилась статья на страницах «Правды» под названием «Литературные забавы № 3» и с более резкой критикой в мой адрес.

Да что же это такое?

Нет, на этот раз я не искал придирок: был просто расстроен до слёз. В самом деле, что же это такое? Неужели Алексей Максимович не понимает, что он своим словом может убить человека... во всяком случае на всю жизнь исколечить. Сердца, что ли, у него нет? Литературные забавы! Хороши забавы! По номерам идут. То номер первый, затем номер второй... А там, глядишь, появится и десятый. Нашёл, чем забавляться!

Вот таким я предстал перед Алексеем Максимовичем.

— За что же вы меня опять? Ведь критику вашу я признал правильной,— произнёс я с нескрываемым упреком и в доказательство своих слов показал наклейку «Брусков», всю испещрённую поправками.

Алексей Максимович подумал и вдруг сердито:

— А это что? — и развернул передо мной журнал, где была опубликована моя статья с «возражениями».

— Да ведь это же опубликовано до беседы с вами,— сказал я.— А после беседы я всё признал.

— Мои статьи опубликованы в «Правде», ваши возражения — в журнале, значит читатель это знает, а то, что вы «признали»,— кто знает об этом? Это ведь не только ваше личное дело. Почти всё ваше поколение заражено: выхватываете из жизни уродливые слова и — в книгу. В жизни очень много звуков, но ведь разумный композитор не тащит без отбора их в музыку. А ваше поколение даже хвастается: вот какого уroda откопал. Чем хвастаетесь? Уродом.

Да, тут он полностью прав.

Я хотел было подтвердить это, но Алексей Максимович продолжал:

— Мне кажется, вы до сих пор не понимаете, что я ставлю извечный вопрос: не только о чём писать, но и как писать. О чём писать? Вы знаете. Очень даже. Позавидуешь. А вот как писать — хромаете. Учиться надобно. Прилежно... и не вам одному.

Не только о чём, но и как писать.

Верно, извечный вопрос.

Слово! Оно зачастую бывает неуловимым, особенно тогда, когда нужно такое тонкое сочетание, дабы излить на бумаге самое волнующее, пережитое. Его, такое слово, надо искать так же старательно и с таким же напряжением, как мы ищем законы жизни, обстоятельства, создающие характеры людей, стало быть, и их поведение,— вот всё это дошло до меня только после второй беседы с Алексеем Максимовичем.

После «Брусков» я написал ещё несколько книг. Об этом периоде, о моих встречах с людьми, я думаю рассказать в следующей повести.

Подмосковье — Николина Гора.

1955—1956 гг.



К. ВАНШЕНКИН

★

ВЕСНОЙ

Первый ливень над городом лупит,
Тарахтит в водосточной трубе.
— Ах, никто меня в мире не любит,—
Врёт девчонка самой же себе.

Брызги тучей стоят над панелью.
А девчонка в квартире одна —
Врёт от радости и от веселья
У раскрытого настезь окна.

Дождь с размаху по улицам рубит,
По троллейбусным крышам стучит.
— Ах, никто меня в жизни не любит! —
Звонко голос счастливый звучит.

НЕМОЕ КИНО

Мы без разбору — летом и зимою —
Дотошными мальчишками давно
Смотрели отходящее, немое
И всё-таки прекрасное кино.

Летит возок. Мелькают грязи комья.
И королевы шлейфами пылят.
Пожалуй, детских фильмов я не помню,
За исключением «Красных дьяволят».

Нам всё тогда показывали кряду,
Один сеанс нам выкроив с утра.
Идёт отряд. Но подлую засаду
Устроили рабочим юнкера.

Погибнут наши. Выдержат едва ли.
Подмога мчится в бешеном дыму.
Мы надписи читать не успевали,
Мы сердцем понимали, что к чему.

Мы восхищались питерцем бывалым,
Мы закипали яростью: «Буржуй!»
Мы, издеваясь, чмокали всем залом,
Когда был на экране поцелуй.

На нас, сидящих в затемнённом зале,
Катилась черно-белая земля.
Но мы иначе мир воспринимали,—
На красное и белое деля.



ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ

★

ЗЕМНАЯ ТЯГА

В краю, с которым был на ты,
Урывками свиданий
Я рвал сезонные цветы,
Не помня их названий.
Однажды, выйдя из села,
Я шёл неспешным шагом,
Пока тропа не привела
К заречному оврагу.
Спустился осыпью на дно,
Цветы в руке топыря,
Там было пусто, и темно,
И холодно, и сыро.
И настороженная тишь
Как пустота колодца —
Откинешь галечный голыш,
А в даях отзовётся.
Я сел на древнем валуне,
Несмело оглянулся
И вдруг услышал в глубине
Толчки земного пульса.
И, леденеть душе веля,
Поставив дыбом волос,
На тихий оклик:

«Ты, земля?» —

«Земля! —

ответил голос. —

Тебе на пользу мой упрёк,
Останься без опаски.
Я так соскучилась, сынок,
Не видя прежней ласки.
Ведь это ты, набухшей, мне
В сырых отвалах дёрна
Давал работу по весне —
Растить литые зёрна.
В жару, на осыпи гряды,
Пласты во мне раздвинув,
Ты открывал струёй воды
Родящие глубины.
Теперь я сохну, знаешь сам.
Ведь я тебя растила
И в город к лучшим мудрецам
Учиться отпустила.
Ты шёл, витринами рябя,

Среди гудков и гвалта,
А я смотрела на тебя
В расщелины асфальта.
Я любовалась: возмужал,
И всё ждала в надежде,
А ты, когда и наезжал,
Не так был рад, как прежде.
Ты первым делом шёл на луг,
Забыв проведать поле,
И равнодушно трогал плуг
Руками без мозолей.
Сынок, я жду, я не сержусь,
Что ты иным заполнен,
Но я вовек не откажусь
От прав моих, запомни...»

...Росинки светятся в тиши.
Ногой тропы касаюсь.
Кого я слышал? Ни души.
Похоже, показалось.
Но с той поры, за что бы я
Ни взялся, где б я ни был,
Меня зовёт земля моя,
Суглинистые глыбы.
То в ночь бессонную войдёт,
Отвалами чернеет,
То в книге сказок оживёт,
Дыханьем трав повеет.
Как будто в ветхие листы
Вложили новый вкладыш —
Цветок куриной слепоты
И заповедный ландыш.
Я знал и помнил до сих пор,
Что некогда, отважась,
Пытался старый Святогор
Поднять земную тяжесть.
Но никогда не думал я,
Что мне в отлучке где-то
Работа прежняя моя
Напомнит тягу эту.



ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

★

СЕМЕНА НА СНЕГУ

Здесь сучья лип чернеют строго,
Морозный блеск и тишина,
И облетают понемногу
С продрогших веток семена,

Кружат над снежною поляной
И падают, оцепенев,
И странно видеть бездыханный,
На снег лежащий посев,

Но час придёт: весна растопит
Невозмутимый белый пласт
И всё, что в нём зима накопит,
Земле разбуженной отдаст.

Для невнимательного взора
Природа Севера бедна.
Но разве беден лес, который
Доверил снегу семена!



ЛЮБОВЬ КАБО

★

В ТРУДНОМ ПОХОДЕ

*Повесть**

19

Об этом можно мечтать, но это никогда не сбывается: Тусе предложили сниматься. То есть не предложили ещё, но наверняка предложат. Туся по секрету поделилась сначала с одной подружкой, потом с другой — к концу учебного дня весь класс, даже весь этаж знал, что у Туси есть один поклонник, давнишний уже, дядя Ляля, что дядя Ляля имеет прямое отношение к кинематографии и что скоро ему поручат — так, во всяком случае, он утверждает — экранизацию «Двух капитанов». Очень шикарно получались у Туси все эти слова: кинематография, экранизация, и не случайно — Туся со вчерашнего дня имела ко всему этому самое непосредственное отношение. Дядя Ляля так прямо и сказал: если уж он возьмётся за дело, Тусе не миновать играть роль Кати Татариновой. У Туси, оказывается, очень фотогеничная внешность, очень, — глаза, волосы.

Валя осторожно спросила:

— А что, Женя знает об этом?

Туся возмутилась: при чём тут Женя! Валька сама влюблена в него, как кошка, так думает, что выше её Женечки авторитета нет. Что в конце концов важнее — дружба с каким-то там учеником или то, что называется призванием?

Душный девичий мирок взволновался. Как же теперь поступит Туся — уйдёт она из школы или не уйдёт? Ведь роль Кати Татариновой — большая, ответственная роль, над нею надо серьёзно работать. И как будет теперь с комсомолом? И как с причёской? Придётся, наверное, выстригать чёлку — Катя Татаринова, кажется, ходила с чёлкой. Туся, выкладывая на лбу прядь волос, озабоченно оборачивалась к гомонящим подругам.

— Девочки, пойдёт мне чёлка или не пойдёт?

В этот день она ошеломлённо получила двойку по химии, потом по литературе. На упрёки Тани со слезами досады отвечала:

— Ах, оставь, пожалуйста, я всё равно из школы уйду...

Кончилось всё это тем, что Глафира Григорьевна вызвала её к себе, назвала дурой и о чём-то серьёзно предупредила, — Туся выскочила из директорского кабинета вся в слезах. Потом была вызвана Валерия Николаевна. Ей, опечаленной и томной, было сообщено, что бывает с девочками, когда они слишком избалованы и предоставлены самим себе. Валерия Николаевна торопливо соглашалась, кивала головой, вздыхала: «Ах, я так благодарна вам», «Моя дочь так всегда о вас отзывается». Расстались они совершенно довольные друг другом.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

А дома мать, сгоряча отвесив дочери две-три пощёчины, совершенно недвусмысленно, как она это умела, объяснила ей, что ни о каких встречах, ни о каких разговорах с дядей Лялей больше не может быть и речи.

— Но ты же ничего не говорила, — возражала Туся, — ничего, когда я дружила с Женей Соколовым.

Да, тогда Валерия Николаевна действительно ничего не говорила. Почему? Неужели Туся сама не понимает? В суждениях Валерии Николаевны была завидная определённая и прямота. Просто Женя не казался ей опасным, телёночек ещё, не то что этот потасканный чёрт. Ишь что придумал — роль какую-то, киносъёмки... Матери, небось, ничего не сказал. Надоело, видно, цветочки да конфетки даром дарить — заторопился. Пусть только нога его в дом ступит...

Очень хорошо! Теперь Туся больше, чем когда-нибудь, чувствовала себя никем не понятой, словно героиня какого-то увлекательного романа. Не понята в благороднейшем стремлении своём к искусству! Поэтому на первый же осторожный звонок дяди Ляли, нога которого и впрямь не ступала больше в дом Огарышевых, — на первый же его звонок она отозвалась робко и благодарно: наконец-то! Придёт ли она тогда-то и туда-то? А надо прийти? Конечно, придёт. С этого и началось: Туся стала исчезать из дому под любыми предлогами или вовсе без предлога. Тайные встречи, условленные свидания — всё это само по себе имело немалую ценность: Туся чувствовала себя романтической, значительной и, конечно, совсем взрослой. Меланхолично и покорно позволяла она дяде Ляле водить себя по каким-то кафе и на сомнительные вечеринки, где она, как объяснял дядя Ляля, должна была обратить на себя чьё-то внимание, и Туся обращала на себя внимание, как могла. А потом, когда дядя Ляля уже на прощание, уже в подъезде, надолго прикинул к её руке, или к её лицу, или к шее мокрыми губами, Туся, грустно улыбаясь, качала головой и сердце у неё сладко замирало от сознания своей недоступности и тревожного девичьего любопытства.

Пошлость! Это слово не сразу пришло Женьке в голову, когда он обо всём узнал, оно как-то не укоренилось ещё в Женькином лексиконе, но чувствовал он именно так: пошлость. Всё это могло быть трагичнее — Женька инстинктивно чувствовал и это, — если бы не было так откровенно пошло.

Как он узнал? Мудрено не узнать об измене любимой девушки, если школа, в которой она учится, находится в том же переулке, что и твоя школа, если мальчишки на перемене говорят о новом Тусином романе, оглядываясь на тебя с презрительным, как тебе кажется, сожалением, и если сама Туся стала в последнее время уклончива и небрежна.

А тут ещё после уроков подходит Жора и, глядя, как всегда, нагло-вато, ласково и спокойно — ничего неприятного он, видимо, и не собирается сообщить, что особенного, дело житейское! — трогает Женю за локоть.

— А я их, между прочим, встречаю иногда в одной компании...

— Кого это «их»?

— Будто не знаешь! Туську твою и этого её чувака. Сценарист он фиговый, между прочим, это все говорят, Туська могла бы и получше кого-нибудь найти...

Пошлость, пошлость! Он должен знать всё наверняка, он не может так больше...

— Туся!..

Туся вышла в сквер к будке телефона-автомата рассеянная, заплаканная — только что ей опять попало дома: от Валерии Николаевны вовсе не просто было скрываться.

— Туся, что между нами происходит? Скажи...

На лице Женьки было незнакомое Тусе выражение отчаянной решимости, готовности ко всему, что бы ни сулил ему этот разговор. Это тронуло Тусю. Никто ничего не понимает: не такой уж телёночек Женя, и вовсе не хотелось бы Тусе его терять — вот какие жертвы приходится иногда приносить искусству. Туся сказала очень искренне:

— Я такая несчастная, Женя...

Ну, это всё он уже слышал однажды. Женя требовательно спросил:

— Почему?

Нежный взгляд, полный мольбы и робкого упрёка, перед которым Женька всегда чувствовал себя неловким и виноватым, на этот раз не смягчил его. Он спросил всё так же настойчиво, холодно:

— Почему ты несчастна?

— Женя...

— Ты с кем-нибудь другим дружишь, да? Это правда? Ты пойми, мне говорили, а я не верил, я только тебе верю...

Женька считал, что для их отношений это самое важное — то, что он, что бы там про неё ни говорили, никому не хочет верить, верит прежде всего только ей. Туся, казалось, не придавала этому ни малейшего значения. Она рассеянно скользнула припухшими глазами по его лицу и капризно протянула:

— Ну, что я тебе скажу...

— Это правда?

— А если правда? Женя, ты с ума сошёл, ни с кем я не дружу!

— А с этим пижоном, как его, с дядей Лялей?

— Ах, с дядей Лялей? — Туся словно теперь только вспомнила это имя. — Это же не дружба, Женя, это так...

— Что значит «так»?

Объяснение не на шутку затруднило Тусю: в самом деле, что значит «так»? Сказать про роль Кати Татариневой? Туся инстинктивно чувствовала, что в глазах Женьки всё это её не оправдывает. Всё-таки сказать? Туся сказала. Женька ничего не ответил, только лицо его как-то странно вдруг исказилось, в быстром его взгляде были и испуг перед тем, что должно сейчас неминуемо произойти, и боль, и брезгливость, и короткий, безмолвный крик о пощаде. Туся, сама испуганная, поднесла руки ко рту.

— Женя...

Что она могла сказать ещё? Она заплакала. Она и сама не знала, о чём, почему вдруг плачет: Женьки уже не было рядом. Женька уходил неровной, стремительной походкой, время от времени вздрагивая всем телом и всё убыстряя шаги: как он любил её сейчас, всё равно любил, виноватую, жалкую, с этими полными слёз нежными, лживыми глазами!..

С негодованием отметал от себя Женька всякую мысль, которая могла бы его хоть сколько-нибудь утешить. Туся раскается, Туся поймёт? Не нужно ему её раскаяния! Он встретит другую, полюбит, забудет? Не хочет он никого встречать... Зачем? Для нового, для такого же обмана? Обманывают все. Вот люди идут по улице навстречу Женьке и, переговоря его, идут и делают вид, будто ничего не происходит: смеются, разговаривают, легонько прижимаются друг к другу. Обман — это обман, как ты его ни скрывай; он повсюду, и если им не угодно видеть его, пусть притворяются, что не видят. У них своя жизнь, а у него, у Женьки, своя...

Так он теперь живёт: сосредоточенный только на собственных мыслях, недовольный собой, ожесточённый. Валя при встрече в коридоре провожает его странным, глубоким взглядом. Догадывается? Он не просил её догадываться. Сочувствует, ему? Не давал он ей права сочувствовать. Мама пристаёт: поешь, опять не поел, спишь мало... Ничего не понимают! Подумаешь, трагедия — недоест, недоспает. Бывает кое-что и похуже.

Женька всё больше времени проводил у Мирзоянцев; мужская дружба — это мужская дружба, её ничто не разобьёт. Здесь, у Мирзоянцев, никто не выспрашивал, хорошее у тебя настроение или плохое, сделал ты уроки или вовсе не собираешься их делать. Никому и в голову не приходило, что пришёл ты прямо из школы и поэтому, наверное, голоден, как собака. Как-то само собой разумелось, что голодный человек в любую минуту может полезть в шкаф и отрезать сам себе хлеба, — руки-ноги у этого человека, слава богу, есть, нож и хлеб, как говорится, к его услугам. Здесь была вольная республика: Катюшка, с ногами забившись в угол дивана, занималась какими-то своими несложными делами, Женька и Алик занимались своими.

Женька не без мрачного удовольствия доказывал — получалось это у него в последнее время как-то особенно убедительно, собственно, только это и получалось, — доказывал, что ничего святого в жизни нет, так, придумывали люди всякой идеалистической чепухи, чтоб жилось легче. Типичная трусость! Алик, задумчиво пощипывая верхнюю губу, понимающе помалкивал. Он только позволял заметить себе — очень осторожно, почти предположительно, — что кое-что святое в жизни всё-таки есть: наука.

Женька горько смеялся: наука! Отрицать так отрицать. Какое дело человечеству, пересекутся две параллельные прямые или не пересекутся где-то там, в бесконечных пространствах? Кто от этого станет счастливее, если они всё-таки пересекутся? Ну, кто? Кому это всё нужно?

Глаза Алика смотрели ненавидяще, страстно, он нетерпеливо морщился: чёрт знает что, нельзя же доходить до такого маразма! Женька, стараясь не глядеть ему в лицо, только больше ожесточался: железный, электрический, атомный век — люди не стали ни лучше, ни опять-таки счастливее...

Споры чаще всего кончались неожиданно — природа есть природа, её не переспоришь: Алик и Женька начинали осторожно подвигаться друг к другу, поталкивать друг друга в грудь и бока, потом, со злодейским хохотом, яростно друг на друга кидались. Стол с грохотом ехал в одну сторону, учебники и тетради сыпались в другую, Катюшка со счастливым щепчым визгом кидалась спасать чернильницу. Уворачиваясь от катающихся по полу тел и взлетающих ног, слабея от смеха, умоляла:

— Женечка, ой, Женечка, миленький, дай ему как следует, чтобы не воображал...

Алик вылезал из-под Женьки, самолюбиво хмурясь и подтягивая брюки:

— Хватит баловаться...

Иногда Женька в поисках хоть какого-нибудь духовного пристанища надолго прикидал к пухлому однокласснику — в эти дни он многое выучил наизусть. Вот кто, оказывается, знает жизнь — Маяковский! Говорят о каких-то там чувствах, сентименты всякие разводят — вот что такое любовь, пожалуйста! Читал Алик четвертую часть «Облака»? «Тело твоё я буду беречь и любить...» Вот что такое любовь!..

Оба невольно оглядывались на Катюшку, как будто и она могла заглянуть издали в жаркие, словно плавящиеся строки. Потом, всё так же оглядываясь на Катюшину хитрющую мордочку, начинали дискуссию по насущнейшему вопросу: что же такое в конце концов любовь. После истории с Тусей Алик презирал женщин ничуть не меньше, чем Женька, но просто в интересах справедливости, как сам он выражался, «абсолютно объективно», вынужден был обратить внимание Женьки и на другие строки. Алик знал Маяковского наизуток, он любил его за то, за что его всегда любят такие вот горячие, болезненно скромные ребята, — за мужественную иронию, деловитую, уверенную поступь. Нужные строки Алик находил безошибочно. «Расцветают глаза твои, два луга! Я кувыркаюсь в них,

весёлый ребёнок...» Любовь это? Колоссальная любовь! «Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьею, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». Есть любовь? Есть!

Мечтательно устремив глаза в тёмное окно, до половины прикрытое пожелтевшими газетами, Алик делился с Женькой совершенно законченными, как выяснялось, соображениями о том, какова будет та девушка, которую Алик когда-нибудь полюбит. Прежде всего она будет очень красивой, просто сверхъестественно! Обязательно блондинка. Умная, конечно. И, конечно, добрая, милая, женственная, такая, чтоб по ней все с ума сходили...

— Ах, чтоб все с ума сходили? — В сердце Женьки словно вновь трогали чувствительную, болезненно на всё отзывающуюся струну. — Вот тебе Раечка — влюбляйся, пожалуйста! И глаза кошачьи какие-то, и блондинка, и вообще — воплощённая женственность, если уж тебе эту самую женственность нужно...

Туси Огарышевой в их разговорах словно бы вовсе не существовало. Для доказательства того, что такое эта самая ненавистная женственность, Женьке совершенно достаточно было и Раи, или, как все её называли, Раечки, новой школьной медицинской сестры.

Худенькая, похожая на подростка своими узкими плечами и ласковыми плутовскими глазками, Раечка не была даже хорошенькой в общепринятом смысле этого слова. Что-то в ней, тем не менее, было: с тех пор, как она появилась, на учеников семнадцатой мужской школы, особенно почему-то на мальчишек девятого «Б» класса, по уверению немногих скептиков, обидно стало смотреть. Каждую перемену девятый «Б» осаждал медицинский кабинет — одному требовались таблетки от головной боли, у другого разболелся зуб, третий чувствовал, что поднимается температура. Раечка, видя, что нравится, старалась вовсю. В кабинет не ходили только Бесёнок — по молодости лет, конечно, — и по вполне понятным соображениям Алик с Женькой.

— Вот она, твоя женственность, — с ожесточением продолжал Женька. — К чёрту всю эту зоологию, нет любви!..

Алик спохватываясь, дёргал Женьку за рукав, Катька поспешно утыкала нос в книжку.

— Могу я так жить? — с отчаянием восклицал Алик. — Нельзя привести к себе человека!..

— Но я же ничего не слышу, — трясла Катька бантиками. — Я вот так зажму уши, и ничего, ничего... Миленькие, не уходите!..

Они захлопывали книжки и уходили на улицу. Иногда, если уроков было слишком много, Женька уходил один.

На улицах была весна — в едва уловимом запахе земли, доносящемся с бульваров, в женском смехе, в весёлом стуке растворяемых над головой оконных рам. Весна, когда душа так полна, что ничего не стоит от какого-нибудь пустяка заплакать или, например, закричать. И не поймёшь — то ли несчастен ты и неудовлетворён, то ли как-то осббенно, мучительно счастлив. Ты полон сил, ты всё можешь, ко многому готов. Как это у Маяковского говорится? «Вёрсты улиц взмахами шагов мну...»

• Этот день Ольга никогда не забудет. Москва, похожая на неубранную квартиру, где всё не так, всё не на месте: какие-то надолбы посреди улицы — даже страшно думать, зачем они тут! — мешки с песком за мутными стёклами витрин, пёстро раскрашенный пустынный асфальт площадей. Шуршащие вдоль тротуаров осенние листья, завывающиеся вокруг вывороченных воздушной волной тумб. Песня, оставленная на улице проходящим отрядом ополчения, отдающаяся в приглушённом радио, в дребез-

жании стёкол, в тяжёлой поступи военных машин. Отзывающаяся в сердце, звучащая там широко, упрямо, через тревогу, горечь, тоску — сквозь всё:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Лоснящиеся, мокрые доски платформы, негромкие, как-то по-особенному спокойные голоса около тёмных, прильнувших к перрону теплушек, мокрые ворсинки шинели, к которой Ольга прижималась в этот последний вечер нежно и страстно. Саша был озабочен, рассеян: «Передрейчук, распорядись насчёт хлеба. И пришли ко мне Кондратенкова, срочно...» Ольга с усилием предложила: «Может быть, мы пойдём, Саша?» Он взглянул на неё быстро и виновато: «Ты только не обижайся, Ольгунька...» Она даже испугалась: «Что ты!»

Если бы она знала тогда, что целует его в последний раз — эти глаза, эти губы, эти щёки, — её унесли бы с вокзала замертво. Этого никто никогда заранее не знает. Она ушла с вокзала сама, не оглядываясь, уводя сынишку. Оглянулась лишь в дверях, уже не ожидая увидеть, и увидела — увидела приподнятую в приветствии руку, грустную-грустную, откуда-то очень издалека улыбку.

Только на площади ощутила она в своей руке тёплую ручонку сына, вспомнила про него и оглянулась: Женечка, мученически перебирая ногами, смотрел на неё с молчаливым отчаянием. Ольга торопливо нагнулась к его многочисленным и сложным застёжкам.

— Беденький мой!..

Потом они шли через площадь, и Ольга кое-как отвечала на вопросы повеселевшего ребёнка: «Папа? Да-да, папа скоро вернётся, вот только фашистов разобьёт. В метро? Что — в метро? Ах, нет, ночевать в метро они не пойдут сегодня — мама плохо чувствует себя...» Сын всё понял, пожалел маму: «Головка болит, да?»

А потом завывала сирена, и Ольга прижала к себе мальчика. Не могла она так вот рисковать им в припадке безразличия, не могла! Они спустились в метро. Женя устроил тут же, на шпалах, положив голову ей на колени. Женщины кругом сочувствовали: «Давно пора вывезти ребёнка, чего вы смотрите, все вывозят...» Ольга не отвечала, заново чувствуя у самых губ запах табака и мокрого шинельного сукна. В это время что-то мягко, настойчиво толкнулось у неё в животе: ей не одного, ей двух детей надо было сберечь, она как-то совсем забыла об этом.

Пришлось уехать. В далёком сибирском городке, в небольшом родильном доме на восемь коек, она родила крохотную девочку, весёленькую, спокойную, с необычно осмысленным и настойчивым взглядом: это не взрослые рассматривали её, это она их разглядывала — удивлённо, чуть испуганно и, как зверёк, бесцеремонно. Однажды, когда девочка, так вот поглядывая на мать, вдруг обнажила дёсны и радостно задёргалась, забилась, как бьётся задком узнавшая хозяина собачонка, Ольга радостно засмеялась и неожиданно для себя, упав головой на руки, заплакала при мысли о том, что вот Саша нет рядом и он не видит этой первой улыбки дочери, даже о существовании её не знает, и о том, что писем нет, и надежды нет, надежды совсем мало, — заплакала тяжёлыми, первыми за все эти месяцы слезами.

А девочка в ту же зиму умерла от менингита. За то время, что Ольга просидела у её горячей постельки, целуя слабо шевелящиеся от боли, беззащитные, на глазах истаявшие пальчики, она постарела лет на десять.

Писем с фронта не было. Прошла зима, прошло лето, прошла ещё одна зима. Из Москвы по-прежнему сообщали, что сведений об Александре Соколове нет. Возвращались обратно скромные треугольнички,

которые Ольга, не выдержав, время от времени посылала всё на тот же, видимо давно уже не существовавший, адрес.

Очень много было забот. Дрова кончаются, надо достать разрешение на порубку, выхлопотать подводу. Надо бы вставить выбитое ветром стекло, но стёкла не продают даже на городском толчке, где доставали в ту пору всё, вплоть до спичек и мыла. Картошка помёрзла — хорошо бы сделать крахмал; крахмал можно поменять на штанишки для Жени, Женечке скоро в школу идти, а идти ему не в чем...

Заголовки передовиц, короткие, энергичные, как приказ стоять на смерть. Крепкие, кованые сибирские холода. Простые, суровые женщины, вместе с которыми Ольга шила солдатское бельё, напевая «Землянку» и роняя скупые слёзы на грубую бязь. Оленька, ласковая хохотушка Оленька, которую Саша когда-то носил на руках, как ребёнка, и любовно посмеивался: «Залился колокольчик». Идут твои годы, Оленька, гаснут глаза, блёкнет кожа. Идёт наша любовь, Саша, единственный мой, идёт в разлуке, в мертвящем ожидании, в тревоге — сколько уже отнято у нашей любви!..

А мальчик, между тем, захлёбываясь, увлечённо рассказывал ей о чём-то своём, детском, рос, играл в войну посреди широкой немощёной улицы. Потом пошёл в школу, важно и озабоченно неся холщовый портфельчик на вытянутой руке и преувеличенно прогибаясь, — так женщины носят вёдра с водой. Стал настойчивее приставать к матери: «Почему нам папа не пишет?» — «Скоро напишет, потерпи...»

Возвращение в Москву было невесёлым. Ольга почти бегом бежала вверх по лестнице, уговаривая себя: «Ничего там нет, ничего, ты не надейся...» Ничего там не было. Почтовый ящик был пуст, на спинке стула висел Сашин галстук. На пыльном полу валялись какие-то ненужные мелочи: старая записная книжка, кисточка для бритвы... Женя испуганно глядел на мать: у умершей Леночки было такое же бледное и старенькое личико, как сейчас у мамы. «Мама, ты очень устала, да? Ты посиди». — «Ничего. Давай вещи вносить, сынок...» Двое, двое на всём белом свете!..

Знакомые при встрече на улице или в метро перечисляли: «Погиб... Без вести... Этот? Этот пишет. Этот тоже погиб — под Сталинградом. Этот сына потерял. Этот пишет. У этой мужа тяжело ранили, умер в госпитале...» Мало осталось друзей, очень мало. Какие-то совсем другие лица в городской толпе. Между собой друзья говорили то, чего никогда не говорили при Ольге: «Саша Соколов тоже без вести пропал. На Смоленщине, в сорок первом...»

Однажды Ольга разбудила Женю среди ночи: «Пойдём на улицу, вставай!» Женя со сна капризничал, потом сразу всё понял, вскочил: победа! Пошли на Красную площадь и дворничиха Фатьма с мужем, муж у неё без руки пришёл, и Алина Андреевна с Валею, и другие соседи. Все были счастливые, оживлённые, кого-то целовали, совсем чужого, пели, только у мамы лицо светилось печальной такой, тихой радостью. Женя невольно тоже притих. Прижавшись к матери в медленно плывущей через площадь толпе, спросил негромко: «Мамочка, придёт папа?» Ольга провела по его лицу мягкой, лёгкой рукой: «Будем ждать, милый. Помни: для нас с тобой ещё ничего не кончилось...»

И опять она ждала. Ей услужливо сообщали всякие невероятные случаи: один был контужен, забыл все адреса, потом выздоровел, вспомнил, вернулся домой. Другой в Руре работал, освободили. Она ждала, ждала. Ещё год. Ещё два года. Ещё один год. Потом перестала ждать.

Так это и бывает: сначала ждёшь, потом перестаёшь ждать. Жизнь возвращалась к Ольге медленно, как вновь приливает к щекам схлынувшая кровь. Друзья радовались при встрече: «Ольгунька-то всё молодеет, смотрите, ничего с ней не делается». Сын восклицал удивлённо и сни-

сходительно, когда ей случалось чересчур расшалиться: «Мама, ты совсем как девчонка». А ночами острая тоска сдавливала горло: «Зачем мне это всё? Хоть бы постареть скорее, что ли... Так невыносимо — жить хочется, и всё одна, одна...»

Она нравилась, за ней ухаживали — Ольга стыдливо размыкала обнимавшие её мужские руки: нельзя жить с человеком, который хуже Саши. Этот, пожалуй, и неплох и к Ольге очень хорошо относится, но нельзя, нельзя, даже думать нельзя: у него жена, ребёнок. Другой равнодушен к Жене, скользит по нему нетерпеливым, холодным взглядом. Иди, милый, от нас, иди, прибивайся к какому-нибудь другому порогу, я своих мальчиков в обиду не дам. Своих мальчиков!.. Когда-нибудь они сравняются, станут ровесниками, отец и сын; Ольга к тому времени будет старенькая-старенькая...

Очень нелегко это — когда сын рассеян и занят собой, когда по вечерам приходишь в пустую комнату. Он осторожно прокрадывается к себе, когда ты давно уже в постели, лежишь, не смыкая глаз, прислушиваясь к каждому звуку.

— Женья?

— Спи, мама, спи...

— Почему ты так поздно?

Поутру она жадно смотрит на спящего сына: красавец мой, мой ненаглядный... Спокойный юношеский сон, тонкая мускулистая рука, закинутая на подушку. В ворот рубашки видна грудь, порастающая золотистым волосом: мужчина. Мужчина растёт для своей жизни, для своих забот. Когда-то он весь принадлежал ей, в горе и испуге прежде всего прикипал к материнским коленям. Кричал «мама», когда что-нибудь было ему не под силу. Был такой беспомощный, такой доверчивый и открытый. Сейчас всё не так. Сейчас какая-то посторонняя, тупая, безжалостная сила вытесняет её из его жизни — грубо, неотвратимо. Ей уже знакомо это! Во время той страшной разлуки всё внутри неё протестовало, всё кричало: «Не хочу! Хочу любить одного тебя, знать одного тебя, вернись...» — а их с Сашей так же вот растаскивало, растаскивало в разные стороны бесповоротно...

Ольга осторожно будит сына. Если бы он почувствовал, если бы он понял, как мало ей нужно, — только убедиться, что он ещё здесь.

— Женья!

Он не говорит ей ни слова, не смотрит на неё. Холодное, безразличное:

— А, мама...

Молча, рассеянно ест то, что она ему придвигает, хмурится своим мыслям.

— У тебя готовы уроки?

— Готовы, да.

— Когда же ты их делал?

Отвечает раздражённо, сухо:

— Я сказал — готовы.

— Ты опять пришёл в первом часу, где ты ходишь? Послушай, нельзя так жить...

Болезненная гримаса:

— Мама, ты же ничего не знаешь...

Вот и всё. Молча собирает книги, молча уходит на весь день. Что его мучит, что тревожит?

Бодрые юношеские шаги — на этот раз он по крайней мере чем-то развлечён, весел. Лицо его гаснет — он увидел мать.

— Ты ещё не спишь?

— Мальчик, что с тобой делается? Скажи мне. Я места не нахожу...

Притворное, удивлённое:

— Со мной? Ничего, абсолютно.

Голос его чуть вздрагивает. Если бы она в свою очередь знала, как ему хочется припасть к ней, почувствовать на своих плечах её тёплые руки, сказать: «Мама, защити меня, укрой, как в детстве укрывала когда-то. Мне так плохо, я потрясён, я сам не знаю, что со мной». Сказать: «Мама, зачем на свете есть плохие люди? Зачем есть грязь, неверность, неправда?» Как он может сказать ей это всё? Он уже взрослый человек, мужчина...

Так они живут рядом — каждый со своими мыслями, со своими обидами. Он забывает о ней тут же, едва выходит на улицу, — в блеске весеннего дня, в звоне трамваев, шуме голосов. Она несёт его отчуждённость, его неуклюжую мальчишескую замкнутость через весь свой рабочий день.

— Что-нибудь случилось, Ольга Сергеевна? Вы нездоровы?

— Нет, что вы! Ничего не случилось...

Может быть, её мальчик придёт сегодня пораньше — сегодня суббота, может быть, с ним сегодня удастся поговорить?

Десять часов, одиннадцать, двенадцать...

— Это безобразие, Женя...

— Почему, мама? Завтра выходной.

— Дом тебе тут родной или ночлежка?

— Хуже ночлежки. В ночлежках никто не пристаёт, наверное.

— Ах, вот как — никто не пристаёт! Или слушай меня, или убирайся, куда хочешь...

Ничего он не понимает, ничего! Смотрит ненавидяще.

— Ну и уберусь.

— Куда?

— Найду куда.

— Ну и пожалуйста. Чем скорее, тем лучше.

— Пожалуйста!..

Ночью он спит, а она лежит и беззвучно плачет, глядя в темноту. «Женечка, родной мой, что ж это делается между нами?..» Утром он неохотно говорит, глядя в сторону:

— Ты меня извини за вчерашнее...

Она благодарно вспыхивает: ей, собственно, больше уже ничего не нужно.

— Опять куда-то уходишь?

— Да, в Измайлово. Мяч побросаем, покатаемся...

— Только не приходи поздно, очень тебя прошу.

— Не знаю. Ты ложись, не жди, почему ты никогда не спишь? —

В голосе его опять раздражение.

— Где же ты будешь есть?

— Поем где-нибудь, не беспокойся. К Алику зайду.

— У Алика столовая? Каждый день к Алику! Обязаны там тебя кормить?

— Ты опять, мама?

Ничего не понимает! Три, четыре часа. Восемь, девять... Где можно шляться целое воскресенье, когда на носу экзамены?

Да, в самом деле, ведь экзамены скоро! Нет уж, на этот раз она знает, что делать. Ведь сказал же ей Виктор Васильевич: будет какая-нибудь нужда — не стесняйтесь, пожалуйста!.. Как он на неё смотрел тогда, на собрании, — так Женя в детстве смотрел волшебные картинки!..

Вот она придёт к нему, а он и подумает... Взрослые люди всегда что-нибудь думают, на то они и взрослые: между ними ничего не бывает просто. Глупости какие: вот шла бы к Анатолию Лукичу — ей это и в голову, не пришло бы, что он может что-нибудь такое подумать!..

Ольга даже засмеялась: господи, зачем бы это ей мог понадобиться Анатолий Лукич? Она уже спускалась по лестнице. Да, а не слишком ли поздно? Нет, не слишком поздно — десятый час. Адрес в сумочке: тот же переулок, где живут и Соколовы, дом совсем близко, второй этаж. Высокая дверь со множеством фамилий. Здесь. Звонить четыре раза...

Виктор Васильевич открыл сам. Лицо его выразило удивление, радость, стало совсем таким, как в тот раз, на собрании: «Как это хорошо, что вы пришли!» Прошёл вперёд по коридору. Сейчас откроет дверь в комнату, скажет кому-то там, в глубине: «Встречай гостей, знакомься». Выйдет молодая женщина — по-домашнему, в халате... На этот раз Ольга даже не подумала: «Небось пришла бы к Анатолию Лукичу...»

Никого. Виктор Васильевич шагнул вперёд, снял пиджак, висящий на спинке стула, надел в рукава.

— Проходите, Ольга Сергеевна, садитесь...

21

Есть в человеке что-то, какая-то упрямая, радостная сила — она сопротивляется подавленности, грусти, унынию, всяким тревожным сомнениям, она властно заявляет порой: хватит, довольно, не могу больше! И человек счастлив. Всё очень просто: не может больше чувствовать себя несчастным и только поэтому, наперекор всему, счастлив!

Что изменилось в жизни Виктора Васильевича? Ничего! Правда, было что-то, один вечер, но что такое, в сущности, один вечер, что он меняет? Что меняют в жизни два-три часа очень вежливой и сдержанной, несколько неловкой беседы? И если к этому одному вечеру присоединился ещё один, и ещё один — что из того?

На улицах Москвы пахнет липами. Дворники, поливая улицу, поднимают шланг, сбивая пыль с листьев, и запах становится сильнее, а в брызгах воды играет и переливается низкое, бьющее вдоль улицы солнце. Очень много женщин в Москве, особенно почему-то весною! Они похорошели, и сами чувствуют это, оживлены, нарядны — приятно так вот идти по улицам и встречать их смелые, смеющиеся, рассеянно скользящие взгляды. На углу продают цветы — очень кстати! — сейчас, на учительском вечере, каждой молодой учительнице Виктор Васильевич подарит по цветку. В качающихся тяжёлых головках цветов блестят розовые капли, продавщица, понимая улыбаясь, обёртывает стебли влажной бумагой.

— Дамочке?

— Многим, — свирепо откликается Ушаков.

— Что вы говорите!

— Пользуюсь успехом, — доверительно сообщает он.

Впрочем, скоро Виктор Васильевич начинает чувствовать себя стеснённо и глупо: идёт, как жених к невесте, прохожие поглядывают на букет с таким значением. Навстречу — час от часу не легче! — Юрка Шнырёв, смиренный, в чистой рубашечке, под руку с какой-то черномазой девчуркой. Завидев Ушакова, Юрка выпускает руку девочки, стараясь проделать это возможно незаметнее, а Виктор Васильевич только большим усилием воли не прячет букет за спину.

— Виктор Васильевич!

На лице Юрки радостное ошеломление и растерянность: то ли кинуться к учителю, то ли, трезво взвесив все обстоятельства, не стоит? Виктор Васильевич приветствует ребят издали широким жестом и вдруг — о ужас! — игриво подмигивает собственному ученику. «Эх, Виктор, не быть тебе путным педагогом...»

Виновицу сегодняшнего торжества он встречает уже на школьной лестнице — сегодня Таисье Васильевне, отмечая пятьдесят лет её безупречной учительской работы, как и полагается, вручили орден в Кремле. Таисья Васильевна спускается навстречу Ушакову в чёрном шёлковом платье с нитью старинного жемчуга на груди, сухие руки её кажутся совсем маленькими и очень лёгкими в широких, схваченных у запястья рукавах. В седых висках играют вырвавшиеся из-за спины последние отблески солнца.

— Таисья Васильевна! — восклицает Ушаков и вдруг, припадая на колено, прижав на миг букет к груди, округло подаёт его Румянцевой. — Таисья Васильевна — вам! Вы здесь сегодня самая красивая, самая милая, самая молодая...

— Будто бы никого и моложе нет? — очень довольная, спрашивает Таисья Васильевна, с лукавым сомнением поглядывая на Ушакова.

— Душенька, никого! Не откажите: сегодня ухаживаю за вами — весь вечер!

Они под руку идут в зал. В зале уже сдвинуты и накрыты столы, и члены месткома суетятся вокруг них, расставляя закуски. В глубине, у рояля, что-то бравурное играет Давид Наумович, высоко подбрасывая руки и покачивая в такт склонённой над клавишами лохматой и лысой головой. Вокруг него смех, писк, протестующие голоса молоденьких учительниц, которым никаких этих музыкальных воспоминаний не нужно, а только хочется танцевать, танцевать!..

— А с нами что-то неладно сегодня, — убеждённо говорит Таисья Васильевна. — Уж не влюблены ли мы часом?

— Я? — пугается Ушаков. — Нет, что вы! Сегодня — милая! — только в вас...

Таисью Васильевну приглашают в тот конец стола, где уже рассаживается всякое начальство — начальства сегодня много, больше, чем нужно, — собственное и приглашённое со стороны, знакомое и никому не известное. Распоряжается начальством Анатолий Лукич, подчёркнуто скромный, деловитый и в высшей степени предупредительный.

— Таисья Васильевна! — кричит Варвара Павловна и, совсем как на собрании, стучит вилкой по графину. — Таисья Васильевна, заставляете ждать!..

Таисья Васильевна тянет за собой Ушакова, тот делает страшные глаза и вырывает руку.

— Будет вам! Так далеко моя любовь не заходит...

Предлагаются тосты и произносятся застольные речи — всё идёт так, как и должно идти на подобных вечерах. Марцышевская — а она тоже тут, та самая полная благожелательная дама, что осенью присутствовала на диспуте, — Марцышевская от имени министерства поздравляет Таисью Васильевну, обстоятельно и как-то чрезвычайно милостиво говоря о заслугах этого педагога, одного из старейших педагогов столицы. Все гуськом тянутся к Таисье Васильевне чокаться и целоваться, образуется весёлая неразбериха, сама Таисья Васильевна отбивается, как может, со смехом отталкивая чьи-то головы и отмахиваясь платком, потом, не без вмешательства Анатолия Лукича, порядок снова восстанавливается.

Какой-то сангвинического типа мужчина — судя по всему, из Академии педагогических наук — провозглашает тост за педагогическую науку как таковую. В общем шуме это сходит ему более или менее благополучно. Что-то неразборчивое от имени месткома пытается изъяснить Фёдор Иванович. Анатолий Лукич, встрепенувшись, предлагает выпить «за наших дорогих гостей» и, показывая зубы, с каждым из дорогих гостей отчётливо и очень осторожно чокается.

Таисья Васильевна скучает. По тому, как она издали улыбается товарищам, словно говоря: «Видите, как тут надо мной нынче мудруют», по тому, как поглядывает поверх очков с этим своим добрым старушечьим юмором, видно, что тянет её сейчас к Федяевым, Ушаковым, Лапшинским — к молодёжи, пошумливавшей на другом конце стола всё более откровенно. Она никогда не называет их своими учениками, ей это даже в голову не приходит. Она только твёрдо знает одно: большая часть жизни прожита, и по-настоящему хорошо ей всегда бывало только с ними — ученики не ученики, кто там разберётся! — с теми, кто неизвестно за что любит её и кому — независимо от их возраста — она чувствует себя необходимой.

И когда Таисья Васильевна поднимается для ответного слова, говорит она всё о них же и для них, говорит негромко, душевно и совсем просто, — о большом счастье учить молодёжь и учиться у неё, о вечном, несмолкающем прибое молодости, в шуме которого учитель не замечает собственных лет. Говорит о людях, которые, по стариковскому её разумению, всегда бывали необходимы школе больше всех прочих, — людях беспокойных и ищущих, не всегда, правда, опытных, — на этот раз, словно ходатайствуя, Таисья Васильевна улыбается взыскательному и непримиримому начальству, и начальство снисходительно кивает головами, — может быть, даже совершающих ошибки иногда, но талантливых и искренних. Смотрит она при этих словах на Ушакова, и Виктор Васильевич, чувствуя себя как никогда талантливым и искренним, кричит «ура» и тормозит сидящую между ним и Борисом Зиначку: «Зинаида, кричи!» — и Зиначка тоже кричит так, что оба они с Лапшинским, смеясь, зажимают уши.

Что же всё-таки случилось? Может, всему виной так властно завладевшая душой эта вот беспричинная радость? Почему чувствуешь себя так легко и свободно, и препятствия кажутся преодолимыми, и люди кругом лучше, чем всегда?..

Вон Давид Наумович — в нём даже известное обаяние есть, честное слово! Ухаживает за девушками, целует им руки — танцует! — танцует старомодно, слегка подпрыгивая, живот его то и дело вздрагивает от благодушного смеха. Подсаживается к Ушакову.

— Ну как, справились ваши ребята с теорией относительности? Хе-хе...

— Подите вы! Спорить с вами сегодня не хочется.

— Десять лет даю — от силы, молодой человек! Через десять лет переменитесь, будете, как и мы, грешные, здоровье беречь, про сердце вспомните, про печень...

— Я через десять лет сдохну на этой работе. Бог вас знает, живёте же вы без нервов, а я с ума схожу.

— Ничего, остынете.

— Таисья Васильевна вон не остыла.

— Ну, Таисья Васильевна! Таисья Васильевна — святая, ей за то и орден Ленина дали...

Подошла Варвара Павловна, с обычным своим холодком, словно боясь, что мимолётное внимание её могут использовать в своих целях, спросила:

— Ну как, товарищ Ушаков, нравится вам в школе?

— Нет.

— Что вы говорите! Почему?

— Долгий разговор. Анатолия Лукича спросите, он знает.

— Вы что, уходите собираетесь?

— С чего вы взяли? Никогда! — Виктор Васильевич даже засмеялся. — Скорее вы все уйдёте...

Варвара Павловна сморщила лоб.

— Не понимаю.

— Эх, Варвара Павловна, что вы ко мне пристали, право! Учебный год кончился, давайте водку пить...

Варвара Павловна растерялась — именно это выражало её напряжённое, озабоченное лицо. А Виктор Васильевич уже протягивал ей бокал с портвейном.

— Ну, поехали,— интимно предложил он.— Пейте, пейте! Окажите мне хоть какую-нибудь любезность — ну, как мужчине, что ли...

Как мужчине, Варвара Павловна любезность эту с удовольствием ему оказала. Она даже повеселела несколько.

— Скажите, милая,— всё так же продолжал Ушаков,— давно хотел вас спросить, почему, собственно, вы пошли в школу? Серьёзно, почему? Почему не в лёгкую промышленность, например, или не по министерству связи?..

— Виктор Васильевич!..

— Или, например, министерство стройматериалов — бетон, кирпичи всякие, а? — Варвара Павловна быстро взглянула на него, Виктор Васильевич отпустил её руку, даже слегка оттолкнул.— Ладно, идите... В будущем году разберёмся. Я вот проедусь по Кавказу, сил наберусь...

Послонялся по залу, невесело отшучиваясь на замечания девушек и мешая танцующим, подошёл к Таисье Васильевне, пожаловался, как маленький:

— Мамочка Таисья Васильевна, очень настроение испортилось: жабу в руках подержал...

— А зачем связываешься?

Виктор Васильевич смотрел удручённо.

— Не могу, ненавижу. Ненависть — это ведь тоже страсть, тоже к человеку тянет.

Таисья Васильевна рассмеялась.

— Экое наказание!

— Хоть бы вы уж меня разговорили...

— Что я тебе скажу? Я, милый, таких, как Варвара Павловна, столько перевидала, батюшки вы мои! Сердца бы не хватило — каждый раз заново переживать. Я ведь, Витюш, хитрая, я так: она своё, а я своё. Она себе откритится, накомандуется вволю и уйдёт, а с ребятами-то ведь всё я, всё я... Ради кого мы работаем? Ради ребят, только!.. Это ведь в нашем деле главное: чувствовать, что прав, что пользу приносишь. Делай своё дело тихохонько, лишь бы толк был,— нет? Вот оно и счастье наше. Я вон какая сегодня счастливая, на пятидесятом-то году — не оттого ведь, что дама эта, как её, большая начальница, меня тут, как покойницу бездыханную, расписала...

— Давид Наумович говорит, вы святая...

— Ну, святая! Обыкновенная...

Что-то такое было в интонации Румянцевой — Виктор Васильевич хитро прищурился.

— А что это вы важничаете сегодня: «Я такая, я сякая» — орден на вас, что ли, подействовал? Миленькая, не надо...

— С чего ты взял?

— И не правы вы, по-моему: «она своё, а я своё» — это ведь не очень по-партийному, а?

— Может быть, не знаю.— Таисья Васильевна делала, видимо, большие усилия, чтобы не рассердиться.

— А я одно знаю: ненавижу! Бабу эту, Чулкову, ненавижу, Чича нашего...

— Кого, кого?

— Чича. Вы разве не знаете? Про него один поэт в моём классе целую поэму написал, стойте:

У нашего Чичика
Тошенькое личико.
Купим, братцы, калача,
Подкормить надо Чича...

Таисья Васильевна смеялась — развеселилась она так же неожиданно, как только что рассердилась. Отмахиваясь и вытирая слёзы, участливо спросила:

— Стихи эти откуда ты знаешь?

— Уж знаю.

— Смотри! Рыльце-то, видно, в пушку?

— В пушку, Таисья Васильевна.

— А ребята твои, Витенька, умнее тебя. Вой они его как воспринимают: Чич, тошенькое личико — господи, это надо же придумать! А ты, небось, переживаешь, ночей из-за него не спишь...

Виктор Васильевич вспыхнул, лицо его упрямо замкнулось.

— Ну, знаете! Человек это злой и вредный — очень. Вы подождите, он ещё развернётся, дай срок...

Таисья Васильевна, качая головой, перебила его:

— Ты посмотри лучше...

Посреди зала учителя, что помоложе, держась за руки, прыгали и пели подхваченную где-то у первоклашек песенку:

Баба шла, шла, шла,
Пирожок нашла...

Зиночка, расшалившись, втащила в круг и директора. Добросовестно и невесело, как всё, что он делал, Анатолий Лукич приседал, выпрямлялся, подпрыгивал, выбрасывая вперёд то одну, то другую длинные свои ноги; очки его уныло поблёскивали, волосы на голове подпрыгивали тоже. Учителя, пригибаясь от хохота к земле, пели всё задорнее:

Баба шла, шла, шла...

— Витька, а ты что же? — спохватилась Зиночка. Отпустила руку Анатолия Лукича, потянулась к Ушакову. — Иди скорее, ну...

— Виктор Васильевич! — оглянулся и Анатолий Лукич. — Что же вы? Нельзя, нельзя, стыдно! Сегодня нужно всем веселиться...

Виктор Васильевич вошёл в круг, со смехом взял протянутую директором руку.

22

Женю вызвали в коридор к телефону.

— Женя, это ты?

Виктор Васильевич! Женя, ковыряя провод, ответил приглушённо:

— Ну, я.

— Может, пройдемся немного? Ты ничем не занят?

— Нет, чем же?

Он не очень удивился. Виктор Васильевич часто так делал: подхватит одного, или двух, или целую группу — и ходят, ходят весь вечер, пол-Москвы обмерят шагами. Его гораздо больше удивил вопрос, который Виктор Васильевич задал при встрече:

— Что, братишка, плохо приходится?

Женька ничего не ответил, а Виктор Васильевич, казалось, совсем забыл о своём вопросе. Расспрашивал о каких-то пустяках, о том, где Женька намеревается провести лето. Женька, кое-как отвечая, думал своё: откуда Виктор Васильевич узнал, что ему плохо?

Шли бульварным кольцом. В свете редких фонарей видны были лишь колени сидящих людей, плечи их и головы прятались в густой тени. Поблёскивали в темноте улыбки, взгляды, изредка доносились негромкий женский смех, порхали в воздухе огоньки папирос. Виктор Васильевич, завидев пустую скамью, предложил:

— Посидим, может?

Сели. Виктор Васильевич, помолчав, заговорил вдруг о том, о чём Женька меньше всего ожидал от него услышать: о своей любви. Он когда-то тоже, оказывается, любил — и очень несчастливо. Мучился. Ребёнка имел от той женщины, потом в войну потерял ребёнка.

Женька смятенно слушал: кто не знает, что так по педагогической обязанности не говорят! Как Виктор Васильевич догадался, что ему, именно ему, Женьке, он может всё это доверить? Женька помолчал, потом осторожно спросил:

— Значит, бывает, что любовь проходит?

— Как тебе сказать? Бывает. Настоящая-то любовь не проходит, положим, а вот такая — такая проходит, да. К счастью. Так-то, брат Женька...

«Брат Женька» взволнованно гмыкнул. Очень ему хотелось, чтобы Виктору Васильевичу было хорошо, очень!

Виктор Васильевич сказал:

— А ты счастливый.

Женя горько засмеялся.

— Что вы!..

— Очень счастливый! Ведь в юности на девушку, если уж она понравится, всё что угодно навешивают, что только в голову придёт, как на новогоднюю ёлку. И красивая-то она, и умная, и справедливая, и... Какая ещё?

— Добрая?

— Она, может, самая что ни на есть заурядная дурочка или злючка даже, а юноша, который в неё влюблён, чего только ей не припишет! — Виктор Васильевич вдруг засмеялся. — У меня девочка есть, соседка, она матери говорит: «Ты у меня, мамочка, самая-рассамая...» Вот покажется девушка такой «самой-рассамой», а потом — разочарование, крушение каких-то там идеалов... Так у тебя было?

— Так.

— Видишь! Я же говорю: счастливый ты. Она, глупенькая, сама поторопилась, вывернулась наизнанку: вот она я какая... Не дошло дело до детей, до женитьбы...

Ну, положим, почти дошло. Всё-таки они целовались раза четыре, Виктор Васильевич не знает... Женька вздохнул.

— Ничего, — потрепал его по колену Виктор Васильевич. — Ещё многое в жизни будет...

Так все говорят. Ничего у него больше в жизни не будет. Женьке захотелось послушать, как будут его опровергать, он сказал вслух:

— Ничего у меня не будет больше...

Виктор Васильевич согласился неожиданно легко.

— Может быть. Значит, сердцу твоему не нужно любви, и жалеть, значит, не о чем. А будет нужно — полюбишь, ничего. Людей вокруг хороших много, да и сам ты у нас парень неплохой, а?

Женька неохотно улыбнулся. Собственно, грусти уже никакой не было. Секрет такой знает Виктор Васильевич, что ли, словам его, может, и не всегда веришь, а вот голосу его, этой его уверенной и простой, какой-то очень мужской повадке — этому веришь. А главное, Виктор Васильевич сам через это прошёл, он-то уж знает.

— Виктор Васильевич!

— Да?

— Зачем вы на свете живёте?

— Вот так вопрос! — Виктор Васильевич казался не на шутку озадаченным. — Живу, потому что родился, потому что умирать не хочется, рано вроде. Как тебе сказать? Может, слышал ты такое слово — «коммунизм»?

— Может, слышал.

— Так вот, понимаешь, для меня это не просто слово...

Женя вяло усмехнулся.

— Я не про то.

— Нет, про то. Чудаки вы. Вам всё кажется, что взрослые из педагогических, что ли, соображений вам говорят одно, для домашнего употребления оставляют другое...

Несколько отрешённый вид Женьки говорил о том, что что-то в этом роде за взрослыми, между прочим, водится.

— А что же мне делать, если для меня это не просто слово, Женя, а? Как ты ни верти, с какой стороны ни рассматривай — это для меня самое важное в жизни. Понимаешь, я себе так всё это представляю: коммунизм — это прежде всего люди, человек. Настоящий человек — сердечный, умный, умеющий и трудиться от всей души и от всей души любить. От всякого этого хлама свободный: от мелочных забот, от лжи, от страха... Очень мне хочется таких людей вокруг себя видеть. Побольше, чтоб все были такие! Я потому, может, и с вами вожусь...

Женя уклончиво сказал:

— По-моему, всё надо таким видеть, какое оно на самом деле есть...

— Ну?

— Вы только не обижайтесь, Виктор Васильевич, вы нас идеализируете очень...

Виктор Васильевич, очень, видимо, довольный, подвигался, усаживаясь поудобней, достал портсигар, постучал папироской о его крышку.

— Вот-вот, это я не от тебя первого слышу! Мне часто говорят: идеалист ты, жизни не знаешь, жизнь жёстче, грубее, хуже. А я про себя думаю: милые...

На какую-то долю секунды Ушаков, как это часто с ним бывало в последнее время, поймал себя на мысли о том, что с ребятами ему говорится как-то свободнее, проще, чем со взрослыми, во всяком случае не менее откровенно и просто: никому, например, не мог бы он рассказать о своей личной жизни так, как только что рассказал Женьке. О так называемом идеализме заговорил — давно ни с кем не говорил о своём отношении к жизни!..

— Думаю я про себя: милые, плохое-то заметить нетрудно, оно всегда на виду, плавает, как... как, извиняюсь, цветок в проруби, для того, чтобы заметить плохое, большого знания жизни не требуется. А вы вот хорошее заметьте! Найдите его, раскопайте, вытащите на свет божий, сумеете опереться на него — вот оно и настоящее знание жизни. Не обывательское, а коммунистическое, наше... Ты, Женя, согласен со мной?

Женя молчал: не мог он так сразу согласиться! Виктор Васильевич, поморщившись, сильно затынул.

— А я людей люблю, не скрою. И верю в них. Почему бы нет? Не отказываться же мне от всего этого только для того, чтобы Женя Соколов меня считал значительней, интересней...

— Что вы!

— Я человек примитивный: много видел от людей хорошего и сам по мере сил пытаюсь добром платить. Это вы хорошее ни за что считаете, принимаете, как должное, нет?

Женя промолчал. Про себя он упрямо подумал: «Ничего я хорошего не вижу...»

— Помню, товарищ у меня был — такой, знаешь, домосед, тихоня. Я всё, бывало, подсмеивался над ним. А началась война — он первым ушёл, в ополчение, добровольно, в армию его по глазам не брали. Сколько я, Женя, видел таких! А отец твой, ты вспомни отца... Ранен я был под Гомелем, меня какой-то хлопец из-под огня на себе выволок и имени не сказал. Няня, помню, одна в госпитале была — какие, подумай, Женя, женщины на свете есть, всем людям матери!.. Я её и фамилии-то не запомнил...

— А что сами вы жизнью рисковали, этого вы не считаете?

— Не считаю, нет. Так ведь и живёшь, чудак ты: с людьми и для людей, просто...

Оба замолчали. Виктор Васильевич задумчиво, словно себе отвечая, продолжал:

— По мелочам не считаемся. Было со мной однажды, знаешь, после ранения, письмо я тогда получил в госпитале, грубое такое письмо. Очень мне в ту пору жить не хотелось — ты не поймёшь этого...

— Почему? Я понимаю.

— А рядом со мной парнишка один лежал, совсем молоденький, обе ноги ему оторвало. Лежит чёрный весь, глаза — какие глаза были у него! — от еды отказывается. «Э, — думаю, — так дело не пойдёт, тут уж не до собственного нитя». И стал я к парню этому подъезжать — целые ночи, бывало, напролёт толкуем. В общем, не о чем рассказывать — оттаял парень. Письма мне потом писал: устроился на завод, ничего, не пропал, квалификацию приобрёл, женился — история обыкновенная. Только, знаешь, к чему-то самому важному для себя каждый человек своим путём приходит. Вот и я пришёл, через этого парня, — не знаю уж, кому наши ночные разговоры нужнее были, ему или мне. Вот понял вдруг, что это и есть настоящее счастье: чтоб всё, что в тебе есть, кому-то нужно было, чтоб вокруг тебя люди светлели...

Женька терпеть не мог говорить в лицо эти, как их, комплименты, но и промолчать в данном случае не мог. Он неловко пробормотал:

— Вы это умеете.

Не ожидал он, что Виктор Васильевич так обрадуется. Смешно обрадовался, совсем как мальчишка. С заблестевшими глазами сказал:

— Женька, умею, не умею — не в этом даже дело. Если б ты только понял, как важно всё это через душу свою пропустить!.. Я, например, теперь иначе жить — согласишься ли? — не могу...

Что-то было в лице Ушакова, в азартном блеске его глаз, в том, как он сказал это: «Иначе жить я уже не могу», — так, словно сам для себя только что нашёл объяснение всей своей жизни, — было что-то, что запомнится Женьке надолго, может быть, навсегда. Женька уже не торговался с собой, соглашаться ему с Ушаковым или нет, или согласиться кое с чем, — больше всего хотелось ему сейчас, чтобы Виктор Васильевич потребовал от него что-нибудь такое, что-нибудь трудное-трудное...

А Виктор Васильевич ничего не требовал, сидел, курил, задумчиво шурился.

— Я, знаешь, в школе учился, потом в институте, преподавателем работал, в армии был — и всюду чувствовал себя в коллективе. Я иногда диву даюсь на вас: как вы можете...

— Большими эгонстами растём, вот что...

— Ты думаешь?

— А вы не думаете? Вон хорошо как взяли в феврале — казалось, горы своротим. Очень здорово было, никакая эта хандра в голову не ползет. А потом расплозились по углам, как тараканы, э... — Женька выразительно махнул рукой.

— Я тебе всё-таки одну вещь предложить хочу, слушай...

— Какую вещь?

Предложение Виктора Васильевича было простое: подумать за лето, с чего и как начать новое наступление в сентябре: «Не думаешь же ты, что мы со всеми своими планами окончательное поражение потерпели, а? Мы — как бы это сказать? — окопались, позиционную войну ведём. И не такие уж эгоисты наши ребята...» В общем, пусть Женя обо всём этом хорошо подумает со своими друзьями, с Аликом, конечно, с Юркой, с Лёней Лицкевичем. И Виктор Васильевич тоже подумает.

— Ты говоришь, умею я. Кабы уметь! Я, как видишь, выхода вот никак не найду.

— Ничего, найдёте!

— Вместе-то мы найдём! Слово даю.

— Попробуем, Виктор Васильевич.

— По рукам?

— По рукам.

Озорно и звонко ударили по рукам. Вот с кем дружить бы по-настоящему — с Виктором Васильевичем! Для Женьки-то Виктор Васильевич, положим, и сейчас один — такой. А сколько у Виктора Васильевича таких, как Женька, — добрых три десятка? Со сколькими Виктор Васильевич сидел на скамеечке, разговаривал так же вот, по душам?

Думать об этом было почему-то очень неприятно, просто невозможно — Женька честно пытался не думать. Ничего, Виктор Васильевич сам увидит, сам разберётся со временем, кто больше достоин его дружбы, кто меньше.

Вот и вожатым в пионерлагерь на всё лето Женька уехал по совету Виктора Васильевича. «Жить с людьми и для людей» — очень хорошо это Виктор Васильевич сказал.

С мамой простился нежно, обещал писать каждую неделю — «сама понимаешь, чаще никак нельзя». За маму от Виктора Васильевича тоже попало, очень он Женькину маму хвалил. Это всё зря, Женька и сам знает, что лучше его мамы никого на свете нет. Ну, хам он, это верно. Как у Маяковского: «Все мы немножко лошади». Лошадь Женька!

В общем, всё! Вот заработает он денег за лето, маме поможет. Посмотрит, как это, если от слов перейти к делу, с людьми живут...

23

Лагерь расположился на берегу Волги, чуть пониже небольшого старинного городка, чистое отражение которого, словно взвешенное, висело в спокойной, прозрачной воде. В городке были крутые, размытые дождями улицы, рябина в палисадниках, множество церквей, старые торговые ряды на мощённой булыжником площади. Ребята, находя под тяжёлыми сводами полустёршиеся надписи, чувствовали себя первооткрывателями древних миров: «Василий Семёновъ и сыновья», «Съдовъ и К°» — не каждый сразу понимал, что это значит — «К°».

В город из лагеря приезжали на тяжёлом баркасе с тяжёлым кормовым веслом. Иногда шли краем леса по шуршащему гравию и горячему песку до перевоза; на отработавшем свой век буксирном пароходике со странным названием «Снегурка» вечно сохло какое-то бельё, и капитан, подвернув штаны, свесив за борт босые ноги, удил на припёке рыбу в дремотном ожидании пассажиров.

В отряде у Женьки было двадцать восемь предприимчивых мальчишек с ободранными коленками и лоснящимися носами. Они откровенно презирали лагерный режим, откуда-то то и дело доставали карты, из спортивных игр признавали только футбол, а играя в футбол, ссорились и сквернословили. Женька, как и все другие вожатые, лучшие силы души тратил на поиски и дознания и ни на минуту не сомневался, что ребятам попросту скучно и их надо чем-то занять. На каждом совете лагеря

Женя не очень уверенно начинал разговор на эту тему, и каждый раз его же ругали: его отряд сорвал подготовку к вечеру самодеятельности, не собирает гербарий, не готовится к торжественному костру, который и проводится-то нечасто, раз в смену, отказался от участия в походе — пятичасовую прогулку к Лебяжьему озеру в лагере почему-то гордо называли походом. Женька сердился, краснел, несчастными, ненавидящими глазами смотрел на старшего педагога лагеря, который напал на него всех больше, но спорить со старшими не умел и раз пятнадцать на день собирался всю эту свою работу послать к чёрту. Так это ведь говорится только — «послать к чёрту». Как её пошлешь? Что он, такой уж несчастный и неумелый?..

Так прошла половина лета. В середине июля одни мальчишки сменили других. У этих, новых, были те же носы и коленки, и Женьке они доставляли всё те же огорчения. Вожаком их и зачинщиком всего того, с чем Женька призван был бороться, явился паренёк лет четырнадцати, Пашка Башилов, развязный и строптивый, с выражением невесёлого вызова в тёмных красивых глазах. При первом же знакомстве с Женькой он повёл плечом и равнодушно отвернулся: «А, Сокол...» Лагерь принадлежал министерству, шефствующему над семнадцатой школой, и ребят из семнадцатой школы, особенно почему-то в Женькином отряде, было немало.

Через несколько дней после первого знакомства с отрядом, как-то после обеда, Женьку с его ребятами послали в город за хлебом. Пока искали пекарню, возились с нарядами и мешками, пока сносили вниз, к реке, пахучие буханки, пока погрузились, отплыли, солнце почти вовсе село. Река словно замерла, остановилась, отражая разметавшиеся по небу огненные языки, и облака, похожие на клубы багряного дыма, и разлившиеся по самому горизонту ручьи пламени, и светящуюся кое-где неожиданно спокойную, глубокую, чистую лазурь. Зеркальная гладь реки была почти неподвижна, лишь редкая чайка чертила её остро отточенным крылом да чуть слышно всплскивали вёсла. Ребята притихли, лица их в свете заката странно похорошели, стали значительнее, серьёзнее. Только на носу Пашка Башилов негромко спорил с Эдиком Пановым. Эдик подзадоривал, издевался:

— Брось ты, ну, брось! Не переплывёшь...

— Переплыву запросто.

Ребята невольно прислушивались. Пашка заговорил громче. Это кто не переплывёт — он? Волгу? Волгу он уже переплывал, если на то пошло. Что значит «когда» — не теперь, конечно, прошлым летом. Это кто — это он-то, Пашка, не был на Волге? Был! Под Сталинградом был, там Волга вовсе, знаете, какая? Переплывал вдвоём с братом, брат у Пашки районное первенство по плаванию держит... Не верите? Ну, не верьте, не верьте, вернёмся в Москву, спросим...

Пашка говорил лениво, словно вовсе не горячась, и через каждое слово как-то очень привычно и подчёркнуто равнодушно ругался. Подлые, бессмысленные слова, как тяжёлые, смачные плевки, падали в этот нежный, задумчивый вечер, на очаровательную водную гладь, на этот закат, тихий и ненавязчивый и в каждую минуту неповторимый. Женька вдруг почувствовал, как кровь ударяет ему в голову.

— А ну, бросай ругаться! — окликнул он Пашку.

Пашка вызывающе поглядел на него, отвернулся.

— Брат у меня, тот — ого! — тот, знаешь, как плавает, ..., кролем!..

— Бросай ругаться, — повторил Женька.

Пашка, наклонившись к Эдику, тихо сказал:

— Барышня,

Оба засмеялись. Потом Эдик примирительно тронул Пашку за локоть.

— Брось.

— А какого он...

Женька дёрнулся. От руля, где он сидел, пробраться можно было, лишь перешагивая через колени и плечи ребят, с риском опрокинуть глубоко сидящую лодку. Пашка смотрел на Женю с интересом.

— Сброшу с лодки к чёртовой матери,— мрачно побещал Женя.

Кажется, он действительно готов был сбросить Пашку в воду, до середины лодки он во всяком случае уже добрался. Лодка, потеряв управление, медленно повернулась поперёк реки и несколько раз резко качнулась.

— Сокол, хлеб потопим! — тоненько крикнул Игорь Малинин и, озадаченно глядя на Женьку снизу вверх, обеими руками охватил ближайший мешок.

— И потоплю,— не столько ребятам, сколько себе упрямо сказал Женька.— Ничего не понимает, пацан ещё, а так ругается...

— Ты-то понимаешь много! — огрызнулся Пашка.

Женька опять дёрнулся, кто-то отчаянно закричал: «Хлеб!» Пашка чуть побледнел и прищурился. Игорёк поспешно сказал:

— Он больше не будет, честное пионерское даю! Сокол!..

Кое-как доехали. Хлеб Пашка разгружал вместе со всеми так, словно ничего не произошло, но слишком близко к Женьке не подходил и ни с чем к нему не обращался.

А ночью Женька не нашёл Пашки на его койке. Делал последний обход перед сном уже глубокой ночью, после затянувшегося совета лагеря, после сдачи дежурства, и не нашёл. На койке Пашки лежало только артистически сложенное одеяло, так, словно человек под ним спит скорчившись. Женька обегал весь лагерь, заглядывая в самые укромные углы и тревожась всё больше, потом, словно что толкнуло его, побежал на Волгу.

Так и есть! Пашка, скинув рубашку и трусы, сидел на берегу, охватив руками колени. Не шевелясь, широко открыв невесёлые громадные свои глаза, неотрывно смотрел на чернеющий вдали противоположный берег. В самой позе его, в этом одиноком силуэте на фоне большой молчаливой реки было что-то покинутое и печальное.

Под ногой у Женьки скрипнул гравий. Пашка вздрогнул, вскочил, шагнул в воду — и уже оттуда, с реки, оглянулся.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Женька, удивляясь тому, как странно в этой тишине звучит его голос.

— А ты что?

— Волгу переплывать собрался?

— Ну, и переплыву. Кто мне запретит, ты, что ли?

— Хоть бы и я.

— ...вы мне нужны! — плачущим голосом воскликнул Пашка.— Плевать я на вас хотел!..

Он заходил всё глубже, нерешительно трогая перед собой дно и не спуская с Женьки испуганного, вызывающего взгляда.

— Боишься! — презрительно сказал Женька.— Ты только хвастаться мастер, а сам боишься, вот ты какой!.. — И неожиданно для себя командовал: — А ну, плыви, живо!..

Пашка остановился.

— Плыви! — с внезапно созревшим решением совсем другим голосом твёрдо повторил Женя.— Раз нахвастался, значит надо, так? Плыви, ничего, я рядом буду...

Пашка, всё так же глядя на Женьку, оттолкнулся и поплыл. Женька быстро разделся, ступил в воду. Щекощущее прикосновение воды словно отрезвило его на какое-то мгновение, он подумал: «Ох, и попадёт же!

Страшно попадёт, если узнают. Пусть! Пускай выгоняют, что угодно, я всё-таки не жандарм им тут, я вожатый...»

Сильными рывками Женя нагнал Пашку, поплыл рядом.

— Ровнее дыши, ровнее. Реже взмах! Ритм, главное. Раз... раз... раз...

Пашка, при каждом взмахе поворачивая голову, молча, серьёзно взглядывал на Женьку. Черты лица его в темноте казались округлённее, мягче, в глазах было какое-то новое, доверчивое, глубоко трогавшее Женьку выражение.

«Совсем ведь пацан ещё, дурачок», — с неожиданной нежностью подумал он.

У него было странное чувство, словно они не просто плывут с одного берега на другой, а поднимаются, медленно, с трудом восходят на какую-то высокую, бесконечную гору, и что это очень нужно, чтобы они вскарабкались на самую её вершину, прежде всего Пашке Башилову зачем-то нужно, и что это очень хорошо будет, если они всё-таки её достигнут. Женька хотел спросить: «Правда, похоже, будто в гору идём?», но удержался, не спросил — силы нужно было беречь.

Потом они добрались до середины, и Женьке на какое-то мгновение стало страшно, когда он подумал, какая жуткая, многометровая бездна у них под ногами. Плавно, беззвучно катила свои сильные, тугие волны большая река, поверхность её была похожа то на серебристый, легко колеблемый щёлк, то, слегка взъерошенная набегающим ветром, на серебро с чернью. Вода чуть сносила, сопротивлялась всё упорнее, становилась упругой, пружинистой, как резина. Пашка всё так же молча плыл рядом, пофыркивая и отплёвываясь, мерно поворачивая голову и загребая всё тяжелее — он, видимо, тоже очень устал. Никого на свете не было для Жени сейчас, кроме этого вверившегося ему Пашки.

Пашка вдруг подкатил глаза, сказал: «Сокол!», глотнул воду, с усилием поднялся, снова глотнул воду.

— Ты что? — подплывая вплотную, испуганно спросил Женька, стараясь поймать его за ускользающий сведённый подбородок.

— Судороги, зараза! — Пашка скрипнул зубами. — Подожди, прошло. Сокол!.. — Он опять скрылся под водой.

— Держись, держись, — бормотал Женька. — Держись, вот он я...

Женьке казалось, что барахтаются они здесь, теряя силы, уже целую вечность. Пашка внезапно отпустил его шею, со вздохом сказал: «Ну, ладно» — и, отчаянно гребя, поплыл дальше.

— Спокойнее, спокойнее, — заторопился за ним Женя.

И они опять плыли. Вода под руками была уже совсем как плотно сбитое тесто, с той только разницей, что очень легко проваливалась и ежеминутно готова была их поглотить.

— Может, полежим на спинке? — предложил Женя.

Пашка яростно мотнул головой — он, видимо, больше всего боялся сбиться с взятого ритма. По тому, как почернела вода, Женя, не глядя, почувствовал, что берег близко.

— Держись, недолго осталось, — сказал он.

Пашка ничего не ответил.

Потом они изнеможённо лежали на песке и думали о том, что ведь надо ещё плыть обратно. Пашка не очень уверенно сказал:

— Ну, что, переплыл я?

— Переплыл.

— А вы говорите! Я завтра днём опять поплыву.

— Не поплывёшь больше.

— Почему это? Сокол, я же могу. Судорог у меня никогда не бывает, сегодня только...

— Нужны мне твои судороги! Ты что, один на свете: «Я могу, я переплыву...» Ну, а другие за тобой поплывут, ты о других думаешь? Тот же Игорёк поплывёт, выдержит он, нет?

Пашка промолчал. Потом нерешительно предложил:

— Поплывём назад, что ли?

— Подождёшь.

— Слабó?

— На «слабó» дураков ловят.

— Сокол, я поплыву завтра. Они же смеются, ну...

— Побольше хвастайся!

— Должен я им доказать?

— Ты себе доказал? И всё. Чего тебе ещё нужно? Ты доказал себе?

— Поплывём?

— Лежи ещё.

— Сокол, с тебя же голову в лагере снимут, думаешь, я не понимаю?

Плывём лучше.

— Лежи!

— Я доплыву, не думай...

Ещё лежали, чувствуя приятное изнеможение и непобедимую истому.

Пашка вдруг сказал:

— А насчёт брата я наврал, нет у меня брата.

Женька удивился, но на всякий случай ответил:

— Знаю.

— Видишь, как... — Пашка легонько вздохнул.—Здорово это — брата иметь, да? Старшего. У тебя есть?

— Нет.

— А отец есть?

— И отца нет. У меня отец на фронте погиб.

— И у меня на фронте. Проклятая эта война, верно? А с кем ты живёшь — с матерью?

— Да.

— И я с матерью. Тебя мать бьёт?

— Что ты!

— А меня бьёт, говорит, чтоб уходил. Она плачет всё.

— Почему?

Пашка промолчал.

— С блатными путаешься?

Положив подбородок на руки, Пашка, не отвечая, смотрел в темноту печальным, серьёзным взглядом. Потом покосился на Женьку, сплунул, возможно небрежнее предложил:

— Что ж, поплывём?

— Поплывём, пожалуй.

Странная это была ночь! И что-то произошло после неё, хотя никто так ничего и не узнал, и никто так и не хватился их обоих, и оба они, Женья и Пашка, молчали о происшедшем. Что-то в отношении ребят к Женьке тем не менее изменилось: они стали сдержаннее, подчинялись веселее, охотнее. Стоило кому-нибудь, как они выражались, забыть, Пашка первый недружелюбно одёргивал: «Поговори мне ещё...»

Может, дело было в изменившемся отношении Пашки? Может, в самом Женьке было дело? После той ночи он чувствовал себя каким-то другим, более убеждённым, что ли? Он уже не боялся брать ответственность на себя. Женья твёрдо знал одно и не мог постичь, почему взрослые этого не понимают: мальчишки перед ним — будущие мужчины, а не какие-то там пряничные детки. И душа у этих мужчин не удовлетворена и смутно тоскует о чём-то из ряда вон выходящем: об опасности и усталости, о напряжении всех сил, о геройском подвиге, наконец. Идёт лето — могучее, щедрое, с глубокой прохладой лесных троп и ослепи-

тельной голубиной волжских просторов, идёт лето, а двадцать восемь полных жизни ребят гоняют мяч по пыльному стадиону, лениво переругиваясь опостылевшими словами. Женька пришёл к начальнику лагеря и твёрдо сказал:

— Я хочу со своим отрядом в поход пойти. В настоящий.

— Далеко?

— Не знаю, вы посоветуйте. Очень далеко — на неделю, не меньше...

— Ого!

Начальником лагеря была учительница из Женёной же школы, Зинаида Алексеевна, или, как все её за глаза называли, Зиночка, — очень красивая и весёлая. Она с сомнением спросила:

— Башилова потащишь, всех этих?

— Да.

— Не справишься ты с ними, смотри, уйдут или заплывут куда-нибудь, подведут, в общем...

— Ничего, справлюсь!

— Смотри! Тебе там Башилов этот — как вы выражаетесь? — даст жизни...

— Я за Башилова лично поручусь.

— Подход, что ли, к нему нашёл?

Женька поморщился. Терпеть он не мог всех этих слов. «Ключ к сердцу ребёнка» — кажется, так ещё говорят?

— Живу с ними, вот и всё, — словами Виктора Васильевича ответил он.

Зиночка, с явной симпатией разглядывая его, удивлённо воскликнула:

— Смотри, пожалуйста!..

Что-то, наверное, на этот раз было в словах Женьки, в самом голосе его. Зиночка поставила тысячу условий: больше двадцати километров в день не делать, с маршрута не сбиваться, не купаться поодиночке, но Женькину идею одобрила, даже позавидовала.

— Жаль, мне с вами не придётся пойти...

На совете лагеря старший педагог решительно высказался против.

— И не думайте, Зинаида Алексеевна, мы с вами за каждого мальчика отвечаем. Мы, а не Евгений Соколов.

— Ну, и Соколов тоже, — явно из педагогических соображений возразила Зиночка. — Ничего, мы ответим.

— Смотрите!

— Я лично отвечу, ничего...

Маршрут Зинаида Алексеевна, Женя и привлечённый к этому делу Пашка составили «классический»: до Горького — вдоль берега, с небольшой петлей в сторону одного знаменитого на весь Союз колхоза, в который грех не зайти по дороге; обратно, от Горького, — парходом. Пашка сидел на совещании с таким видом, словно самое присутствие его тут — дело совершенно обычное, пренебрежительно бросал «бузня», когда речь шла о том, стоит ли брать палатку и не слишком ли тяжёл получается груз, но, в общем, был страшно доволен.

Решено было выходить не сразу, а неделю-другую себя как следует в лагере зарекомендовать. Женька настаивал, чтобы отряд его послали в ближайший колхоз на какие-нибудь работы потяжелее: «Я их воспитываю, мне нужно...» Зиночка, ещё раз крупно поспорив со старшим преподавателем, согласилась и на это. Отряд бросили сначала на прополку, потом на уборку сена.

Как они воображали, Женькины мальчишки! Ходили по лагерю заносчивые, высокомерные, стараясь кстати и некстати показать свои набрякшие от физической работы руки. Женьку иначе не называли, как «наш Сокол»... «Наш Сокол почище всякого учителя будет!» Это было и безусловное уважение, и своего рода аванс, и самая грубая лесть,

потому что каждый из ребят боялся, что в последнюю минуту что-нибудь непременно случится и его, именно его, в поход не возьмут.

В общем, всё шло хорошо, именно так, как и хотел Женька. Только под самый конец, когда отряд в полном походном снаряжении выстроилась на линейке, Зиночка не выдержала и по женской слабости наговорила всяких жалких слов: «Помните, что от вашей дисциплины зависит... Покажите, на что вы способны... Не подведите Соколова...» Главное — «не подведите Соколова!»

Эдик Панов не выдержал, высунулся:

— Клянись, босявки!

Ребята весело и насмешливо заверили:

— Клянёмся!

Кто-то для ясности прибавил:

— Только пустите.

Женька насторожённо поднял брови.

— Разговоры в строю!..

Вышли наконец. Вышли на рассвете, пока все спали, чтобы поменьше было завистливых разговоров. К заходу солнца с непривычки изрядно вымотались. Женьку, против собственного его ожидания, слушали абсолютно, в лагере так не слушались, — то ли всерьёз решили его «не подводить», то ли просто в непривычных условиях жались к нему, как цыплята к наседке. Сам Женька в течение первого же дня сделал немало открытий, больших и маленьких, ребята к нему словно новой стороной повернулись: он узнал, кто хороший товарищ, кто плохой, у кого есть чувство ответственности, у кого нет никакого, кто труженик и скромняга, кто так себе — домашний баловень. Узнал, что никто, кроме него, не может быстро развести костёр, никто не умеет сварить кашу, да и сам он справляется с этим не бог знает как, за маминой спиной всё это казалось как-то проще. Узнал, что в массе своей ребята невыдержанны, не умеют превозмочь малейшее желание, преодолеть зной и жажду, рассчитать собственные силы. Очень привыкли во всём, в каждой мелочи на кого-то полагаться.

На первом же ночлеге, уже после того, как поели этой самой злополучной каши, которая, тем не менее, даже с дымком показалась сверхъестественно вкусной, после того, как под Женькиным давлением помыли замаслившиеся от каши кружки и стали было с блаженным кряхтением располагаться на ночлег, Женька предложил:

— Поговорим, может?

— Поговорим! — На это они всегда были согласны. — А о чём, Сокол?

— О вас.

— Здорово! Давайте поговорим...

Подкатились поближе к огню, расселись поудобнее. В устремлённых на Женьку с ожиданием глазах весело запрыгали отблески костра.

— Целый день я сегодня за вами наблюдаю. Сказать, что думаю?

— Валяй.

— Только я ведь много неприятного скажу...

— Давай, давай, чего тут!

— Ну, во-первых, эгоисты вы. Эгоисты! Вадим Борисов, например, — такой верзила вымахал... — Все с удовлетворением отметили, что Вадим и впрямь верзила. — А он целый день только собственное одеяло нёс, вы заметили? Этаким пижон, прошвырнуться вышел вдоль Волги! А Игорёк сегодня все консервы на себе волок — дело это?

— Пусть не несёт!

— «Пусть не несёт!» А кто понесёт, ты, что ли?

— Найдётся кто-нибудь...

— Видишь! Я, ребята, с Вадимовым братом, с Генкой Борисовым, в одном классе учусь. Вот парень! Этот сначала обо всех подумает, а потом о себе — очень хороший товарищ! У нас такой же есть, как Игорёк, маленький, — Бесёнок. Так в классе его как берегут...

Женька сейчас свято верил в то, о чём говорил: и в то, что Генка Борисов никогда не позволил бы себе обидеть товарища, и в то, что бедного Бесёнка как-то там особенно берегут. Ребята уже не улыбались, к старшим классам они относились серьёзно.

— Вы вот всю дорогу ссорились по всяким мелочам. Разве на товарища можно по мелочам обижаться? Я даже не понимаю этого. Вот у нас в классе, знаете, как в этом году было, как мы работали?..

И Женька неожиданно для себя начал рассказывать о «февральском пленуме». В самом деле, как он мог сомневаться, — прекрасный же класс у них, весёлый, дружный! Ну, воли не хватило до конца года вытянуть, в будущем году наверстают — это же воспитывается, воля...

— Волю надо прежде всего воспитывать! — Мысль эта только сейчас пришла ему в голову, но от этого всё, что он говорил, звучало убедительнее. — Я вам расскажу, случай был в отряде, здесь, у нас. Похвастался один пацан, что Волгу переплывёт... — Кое-кто засмеялся, Женька насторожённо спросил: — А чего вы смеётесь? Вы переплывали Волгу, нет? И я не переплывал. Подождите, смеяться потом будем. Ну, почувствовал этот пацан, что заврался, лишнего хватил. Через Волгу ему плыть страшно, боится, что силёнок не хватит, так? Вот он ушёл на реку и, пока его никто не видит, Волгу-то и переплыл...

— Переплыл? Законно!

— Ай да Пашка!

— Вот теперь и посмейтесь! Я вам больше скажу. Почему вы про это ничего не знали? Потому что дисциплина есть в лагере, так? Знаете, как ему похвастаться хотелось, а ведь он молчал. Молчал! Я, ребята, прямо скажу: очень я Пашку с тех пор уважаю.

Ребята оглянулись на Башилова. Тот вспыхнул чуть не до слёз, сказал: «Ну вас» — и ушёл в кусты. Женька серьёзно прибавил:

— Ты не уходи, я сейчас очень важное скажу. Вот говорим мы: воля, воля... По-моему, самая большая воля на простые, такие, знаете, будничные вещи нужна. На то, чтоб учиться, например, изо дня в день. Самому учиться, без погонялки. Есть у нас в классе парень один, Кирилл Пырыаев...

— Сосед мой.

— Видишь, сосед. Я вам расскажу сейчас, как этот Кирилл учился...

Никогда Женьке не случалось так разговаривать с ними, как здесь, у костра, ночью. Не узнавал он сейчас своих насмешливых, строптивых «босявок». И, видя их внимание и доверие, тронутый, чувствуя что-то очень похожее на благодарность, сам раскрывался торопливо и щедро.

— Ругаетесь вы, и сегодня ругались, что я, не слышал! Подумаешь, смелость какая нужна, чтобы ругаться, никто без вас всех этих слов не знает! Противно! Я понимаю, душу иногда отвести, а так...

— Мы, Женя, душу отводим!..

— Не смейтесь. Всё вокруг себя изгадить — это не трудно. И плохое заметить не трудно, — убеждённо сказал он, даже не замечая, что повторяет слова Виктора Васильевича, — плохое всегда наверху плавает, как дерьмо в проруби. А вы сделайте вот, чтоб хорошо было, чтоб было красиво, сделайте, я погляжу...

Единственный недостаток всего, что говорил Женя, был очевиден: наивно и сбивчиво он спешил высказать всё. Но именно это, кажется, и подкупало слушателей больше всего — неумелость и наивная серьёзность всех семнадцати Женькиных лет. Это не то, что взвешенная «взрослая»

речь, здесь ничего уже не оставалось утаённым. Женя неожиданно спросил:

— А когда, по-вашему, Волга самая красивая, в какое время? Ребята отозвались не сразу.

— Женя, на закате! Помните, ребята, хлеб мы везли?..

— Что ты, днём! Знаешь, как сверкает законно, глазам больно...

— А на закате она зато спокойная-спокойная. Розовая, лиловая, всякая...

Женя нетерпеливо кивнул головой.

— Смотрите...

Снизу, горя огнями, шёл пароход — нарядный, царственный, чем-то очень похожий на громадную карусель; сверкающими монетками ныряли в чёрных волнах огненные блики, двумя грядами откатывалась взбаламученная вода к тёмным, затаившимся берегам. Какая тишина вокруг! И не глазами, а словно бы каждой порой чувствуешь всю громадность, всю неизмеримость пространства над величественной спящей рекой. И какая густая мгла — не потому ли, что прошёл пароход? Лишь чуть намечена — далеко-далеко — тонкой, едва заметной полоской крутая излучина реки, да плывут в темноте, словно приближаясь, редкие, мерцающие, неверные огни бакенов.

— А на наш костёр с парохода, — задумчиво говорит кто-то, — тоже, наверное, здорово было смотреть...

Следующий день неуловимо отличался от предыдущих. Женька хохотал про себя и получал громадное удовольствие, но делал вид, что ничего особенного не происходит. Вадим Борисов, например, когда поднимались с привала, стал отнимать у Игорька мешок с консервами, а когда тот попробовал было возражать, яростно замахнулся локтем.

— Хватит! На вот, одеяло моё понеси. Думаешь, оно лёгкое? Как же!

Весь десятикилометровый переход он старался держаться поближе к Женьке, потом не выдержал и, подойдя совсем близко, спросил:

— Изменил ты обо мне своё мнение, Сокол?

— Быстро ты хочешь...

Вадим досадливо ускорил шаг.

— Ладно, увидишь!..

Старался держаться поближе и Пашка Башилов. Когда никого не было рядом, глядя себе под ноги, неловко спросил:

— Сокол?

— Да?

— Какой я человек, по-твоему?

Женька подумал.

— Не знаю.

— Ну да? — Пашка поднял недоверчивые серьёзные глаза. — Ты знаешь...

— Нет. Понимаешь, опыта у меня не хватает. Вот если бы ты нашего Виктора спросил!

— Какого ещё Виктора?

— Классного руководителя. Вот, знаешь, сила!.. Ты парень неплохой, только слабый ещё, по-моему, очень под влиянием подпадаешь...

— Это под твоё, что ли?

— Зачем под моё! Мы с тобой товарищи, о каком тут влиянии речь...

Пашка фальшиво усмехнулся.

— Ты ещё скажи — как это? — друзья...

— Ну, не друзья ещё...

Ага, он сказал «ещё»! Весь день Пашка сосредоточенно молчал: он, быть может, и сам не понимал, как затронута его душа, жаждущая привязанности и настоящей мужской дружбы. Что делать? Очень не хотелось

возвращаться в Москву. Встретится Валька Марафет, или инвалид этот, Иван Иванович, или Гусейн с Аркашкой с проходного двора, начнут навязываться: «Лягавишь, Малек?..»

Пашка огорчённо потягивал носом. Щёл вот так, задумавшись, подсунув руки под лямки вещевого мешка, чтобы было полегче, время от времени наподдавая ногой камушки, — мальчишка и мальчишка, Виктор Васильевич сейчас и не узпал бы его, если б увидел! Или, может, узнал бы — того самого несчастного паренька в кино, своего соседа, с подсолнечной лузгой на губе, с тенями, косо бегущими по возбуждённому лицу...

24

Борис Борисович Лапшинский был дисциплинированным членом партии — во всяком случае, искренне считал себя таковым. Основное в деятельности её он понимал и полностью одобрял, кое-чего не понимал, но одобрял тоже, так как зависело это «кое-что» от людей, которые, очевидно, знали что-то такое, чего не знал Борис Борисович Лапшинский, — этим неизмеримо более осведомлённым людям он и приучил себя безусловно доверять. Что можно требовать от члена партии ещё? Лапшинский был убеждён, что ни о каких других требованиях к нему не могло быть и речи. Для личного употребления его совершенно устраивала формула порядочного, более или менее знающего жизнь человека: во всех обстоятельствах, нравятся они тебе или нет, согласен ты с чем-нибудь или не согласен, говорить то, что думаешь, но не всё, что ты думаешь; с этой формулой он чувствовал себя если и не бог знает как окрылённо, то, во всяком случае, устойчиво и спокойно.

И вдруг всё это нарушилось — вся относительная гармония и устойчивость внутреннего его мира; Борис Борисович не мог не связывать этого с приходом в школу Виктора Васильевича Ушакова. Он и сам не сознавал, как глубоко задело его незначительное и на первый взгляд совершенно случайное замечание Таисьи Васильевны: «Ну, Борис Борисович побоится слово сказать», — не такой Таисья Васильевна человек, ничего она случайно не скажет. Бойтся, он? Ничего он не боится, просто ведёт себя, как ему в данных обстоятельствах и положено, — тактично и осторожно. Ничего не боится, только совесть и разум его раз и навсегда вверены кому-то другому...

Вот до чего он додумался — «вверены кому-то другому», — а всё Ушаков! А всё Таисья Васильевна. И ведь даже не взглянула на него, хитрая старуха; «Борис Борисович побоится слово сказать» — и всё, она и так знает, что Борька Лапшинский теперь будет думать и думать. Для неё-то он как был, так и остался Борькой Лапшинским — учитель всегда учитель, сколько бы лет ни минуло его ученику. «Учитель всё не может отказаться от мысли воспитать или перевоспитать — так с нарастающим раздражением думал Лапшинский, — всё не может не применять этих, как мы там называем их, педагогических приёмов». Сам Лапшинский втайне гордился тем, что на учителя не похож нисколько, что где-нибудь на отдыхе, в какой-нибудь незнакомой компании, его принимают за инженера, за журналиста — за кого угодно, только не за педагога: у него, слава богу, нет этого стремления во что бы то ни стало воспитывать и поучать. Но сколько бы Борис Борисович ни разжигал сейчас этого своего раздражения против «закоренелой учительши», против «хитрой старухи», смутное беспокойство не оставляло его. Что же он в глазах Таисьи Васильевны — приспособленец, трус? Кто бы другой посмел назвать его трусом!

Он вспоминал, как держал себя в самых трудных случаях жизни: во время одной мучительной ночной переправы на фронте, в боях за Брянск, или за Белгород, или при взятии ратуши в одном из упорно сопротивляю-

щихся городов — операция, за которую Лапшинский лично отвечал головой,— везде и всегда люди целиком полагались на него, отмечали его выдержку, самообладание, смелость. А теперь, видите ли, называют трусом, так вот просто, за здорово живёшь.

Что ж, Ушаков заслуживает и симпатии и уважения со стороны той же Таисьи Васильевны — Лапшинский не может с этим не согласиться. Ушаков резок, излишне прямолинеен, кое-что преувеличивает иногда, совершенно — в противоположность Борису Борисовичу — не умеет ладить с людьми, но, недавно вернувшийся в школу, свежий человек, он и сам не подозревает, наверное, до какой степени основательно его беспокоит. Согласен Лапшинский с тем, что говорит Ушаков? Да так, если подумать, с каждым его словом согласен. А сказал бы он сам то же — ну, хоть о той же «говсрильне», например? Ни за что бы не сказал. Тысячу раз подумал бы прежде, что сказать, о чём промолчать: в конце концов в министерстве, как и везде, есть более, чем он, осведомлённые люди!..

А вот Таисья Васильевна — сама молчаливица, скромница, если и скажет что-нибудь, так только в крайности, то что называется под ножом,— она и не скрывает того, что целиком Ушакова поддерживает. Другие учителя — все они относятся к Ушакову если и не лучше, чем к Лапшинскому, то как-то более определённо: или с отчётливо выраженной симпатией — такие, как Зиночка, как тот же Федяев,— или с откровенной, активной неприязнью... Ученики всё чаще говорят: «А нам Виктор Васильевич сказал то-то», «а Виктор Васильевич этого не советует», «а Виктор Васильевич вовсе не так это всё объясняет». Так говорят даже в девятом «А», воспитанники самого Лапшинского,— Ушаков во всех девярых ведёт литературу. Лапшинский не завидует, не ревнует; впрочем, нет, конечно, ревнует — немножко! — он просто хотел бы во всём этом до конца разобраться. В чём тут дело, какая между ними разница? Ну хорошо, Ушаков — прекрасный парень, Лапшинский и сам это с готовностью подтверждает, но ведь и он, Лапшинский, тоже неплохой человек!..

Как-то вечером — уже и учебный год остался позади с экзаменами и послеэкзаменационной суетой, и аттестаты были выданы выпускникам, и уехали из Москвы все, кто собирался на лето уехать,— Борис Борисович, узнав, что Ушаков завтра тоже собирается уезжать по туристской путёвке, осуществил давнее своё намерение — зашёл к Виктору Васильевичу «на огонёк». Ушаков сам открыл Лапшинскому дверь, обрадовался: «Наконец-то собрался!» — обняв его за плечи, повёл к себе через тёмный коридор. Вот сейчас они и разберутся с Виктором, что там у него, у Бориса Борисовича, на душе!..

Всё получилось не совсем так, как предполагал Лапшинский. Первое, что он увидел, войдя в комнату,— это были его собственные, самые любимые ученики Слава Киселёв и Олег Малышев, в замешательстве поднимающиеся ему навстречу. Олег Малышев при этом покраснел, как девочка, и опустил ресницы — дело, по которому оба они зашли к Виктору Васильевичу, касалось, видимо, прежде всего его. Борис Борисович с трудом подавил вспыхнувшее было в душе раздражение и улынулся ребятам так, как один Лапшинский умел улыбаться. Чувствовал он себя при этом ненужным, лишним здесь; он жалел, что пришёл, ему хотелось уйти немедленно. Один только Виктор Васильевич не испытывал, казалось, ни малейшего смущения. Усевшись верхом на стул и положив оба локтя на спинку его, переводил доброжелательный, чуть насмешливый взгляд с классного руководителя на его растерявшихся питомцев.

Ребята поторопились распрощаться. Олег Малышев, медля в дверях, смотрел на Ушакова добрыми, умоляющими глазами: «Виктор Васильевич, вы только не забудьте, пожалуйста...» — он явно чего-то не договори-

вал. Виктор Васильевич вышел за ними в коридор. По мнению Лапшинского, он очень долго пропадал там, очень — всё это и ангела могло взбесить.

— Зачем это они к тебе приходили? — как можно равнодушнее спросил Лапшинский, когда Ушаков наконец вернулся.

Виктор Васильевич сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тайна исповеди? — неискренне усмехнулся Лапшинский.

— Как я могу тебе сказать? — даже удивился Ушаков. — Вот чудак, они же взрослые люди...

— Не можешь?

— Нет, конечно. Представь себе, пришли бы ко мне ученики, спросили бы: а о чём это вы здесь говорили с Борисом Борисовичем?..

— Сравнил!

— Сравнил, представь себе...

— Ну хорошо.

Борис Борисович решил промолчать, как и полагается уважающему себя человеку, потом не выдержал и сказал то, что думал:

— Всё-таки я их классный руководитель...

— Ну, и бери их себе! — Виктор Васильевич начинал не на шутку сердиться. — Скажи им, чтоб не ходили ко мне, чтобы к тебе шли... Я ведь не претендую.

Лапшинский ничего не ответил. Самое время было задать тот вопрос, с которого он и собирался начать: «Как ты думаешь, Витька, какая между нами разница? Оба мы воспитатели, оба учителя, оба, кажется, неглупые люди». Слишком жирно для Виктора — спрашивать его сейчас ещё и об этом!

Комната Ушакова производила впечатление крайней запущенности и беспорядка — так часто бывает в начале лета в квартирах, хозяева которых всей душой уже в предстоящих поездках, в завтрашнем ослепительно сверкающем дне, — кстати, раскрытый чемодан стоял тут же, на узкой койке, по-солдатски застеленной грубым байковым одеялом. Лапшинский и сам жил по-холостячки, но у него была и покрытая ковром тахта с затенённой лампой у изголовья, и изящная, по специальному заказу сделанная полка для книг над письменным столом, и даже буфет с довольно дорогой посудой — Борис Борисович не скрывал пристрастия своего к вещам, не слишком примелькавшимся и красивым. У Виктора Васильевича вместо уютной кабинетной лампы торчал над столом, может быть, и очень удобный, но вовсе не красивый, гармошкой складывающийся кронштейн, книги и газеты лежали не только на полках, но и на подоконнике, и на стульях, и даже на полу, посуда и одежда хранились, видимо, в одном и том же, многое повидавшем шкафу. Борис Борисович подумал, что изрядную толику беспорядка вносят сюда слоняющиеся по делу и без дела ученики, и сказал, невольно возвращаясь всё к той же, казалось, исчерпанной теме:

— Зачем ты их приучаешь домой ходить? Мало тебе школы?

Ушаков улыбнулся почти виновато:

— Я что-то и сам не замечаю, как это получается. С тем не доспоришь, с этим не договоришь...

Лапшинский взглянул на него с бессильной яростью, как на противника, применяющего заведомо недозволенные приёмы. Что ему оставалось делать, чтобы с честью выстоять против него? Тоже так вот безумствовать, надрываться, проводить с ребятами дни и ночи? А он не хотел! Он очень любит свою работу, очень увлекается ею — этого мало?

— В самом деле! — заговорил Лапшинский так горячо и сердито словно Ушаков сейчас вот, немедленно, втащит его насильно в какую-то каторжную, безысходную, совершенно недопустимую жизнь. — Что ж, по-твоему, у учителя не должно быть никаких личных дел — только ра-

бота и работа? С девяти до семи — работа, с семи до полуночи — тоже, выходит, работа?

— Не понимаю я, о чём ты говоришь,— пожал плечами Виктор Васильевич.— Пришли очень симпатичные мне лично люди, посидели, поговорили о всяких интересных вещах...

— Врёшь ты, Виктор!

— Серьёзно! — Виктор Васильевич и в самом деле очень серьёзно взглянул на Лапшинского.— Знаешь, у меня, видно, всё это как-то иначе, чем у тебя. Я и на работу не уйду и с работы не возвращаюсь — живу и живу на свете в полное своё удовольствие, так, как единственно умею и могу...

Собственно, тот самый разговор уже начался, хотел того Борис Борисович или не хотел. Борис Борисович сказал насторожённо, сам понимая, что говорит пошлость, но с упрямым ожесточением добираясь до чего-то очень важного для себя:

— Смотри, застанут они тебя так когда-нибудь...

— Как застанут? — не понял Ушаков. Потом, видимо, понял, помедлил; вставая и отходя к окну, сдержанно ответил: — Не бойся, не застанут.

Лапшинский спросил всё с той же грубоватой настойчивостью:

— Обет безбрачия дал?

Он тут же пожалел о своём вопросе. Виктор Васильевич ничего не ответил, не шевельнулся даже, но остановившийся грустный взгляд, всё его повёрнутое в профиль лицо выражало только одно — очень юную, странную во взрослом человеке, особенно в Ушакове неожиданную, беспомощность и незащищённость.

— Борька,— сказал вдруг Ушаков, всё так же, не оборачиваясь,— давай поговорим...

— Давай поговорим,— с готовностью отозвался Лапшинский.

— Так вот, откровенно, как мужчина с женщиной?

— Давай как мужчина с женщиной, что ж...

— Ты только не думай, что я глупости спрашиваю... Борька, что бы ты сделал, если бы полюбил?

— Действительно, вопрос! Женился бы, конечно. Любить что-то некого.

— Я тоже думал, что некого. Есть.

— Честное слово, Виктор, очень рад за тебя.

— Подожди. Ну, а если на ней жениться нельзя?

— Почему же нельзя? Она замужняя?

— Нет, вдова. Нельзя мне на ней жениться.

Сказал это Виктор Васильевич медленно, неохотно. Видно было, что разговор, как это и часто бывает, затеян им с единственной целью — проверить правильность собственных рассуждений, и что в правильности их он уже убедился, едва произнёс эту первую, исходную, чем-то гипнотизирующую его фразу: «Нельзя мне на ней жениться», и что ему, собственно, от собеседника больше уже ничего и не нужно.

— Она мать одного из моих ребят, понимаешь?

— Витька, так почему же нельзя, что за глупость!..

Терпеть не мог Лапшинский всяких этих рассуждений! Он твёрдо знал одно: самые трезвые, самые мудрые рассуждения, все эти так называемые благороднейшие намерения не стоят одного хорошего глотка простенького человеческого счастья.

— Уйди из класса,— посоветовал он.— Школу переменя. В конце концов что важнее? Мы ведь не дети...

Виктор Васильевич, видимо, уже думал об этом. Он сказал, как о чём-то решённом:

— Класс я не брошу, положим. Не брошу, пока не выпущу его. А как надоело, Борис, как надоело! Вот уже, кажется, встретил родного, близкого человека, такая это редкость, такое чудо после всего, что пережито,— и опять откладывай, опять чего-то жди...

— А ты не жди!

— Нельзя, надо...

Оба замолчали, думая об одном и том же, о самом большом препятствии на свете: беспощадной мальчишеской прямолинейности. Лапшинский спросил:

— Мальчик этот уже знает об этом?

— Нет. — Виктор Васильевич задумчиво покачал головой. Потом усмехнулся: — Что ты! Я его, поверишь, боюсь...

— Честное слово, Витька, я на твоём месте даже бы и не подумал...

Ушаков, впервые за всё это время, быстро взглянул на него, вдруг засмеялся — очень любил Лапшинский в товарище эти неожиданные переходы,— подошёл к Лапшинскому, потряс его за плечи так бережно и любовно, словно из них двоих именно Борис Борисович прежде всего нуждался в утешении.

— Тут у нас, понимаешь, объяснение было на днях. Я ей говорю: «Дурочка, не так это всё страшно! Один год — его ведь и не заметишь...» А она смотрит — вот как ты сейчас. Глаза большущие... Мне бы с самого начала молчать...

— Ещё лучше!

— Лучше, конечно. Молчать, терпеть, не сбивать до времени женщину с толку. Не выдержал! Вот подожди — мы сейчас за её здоровье вина выпьем. Ты ко мне по делу пришёл, с разговором каким-нибудь или так?

Лапшинский невесело усмехнулся:

— Так.

— Ну, значит, выпьем сейчас за её здоровье! — С этими словами Ушаков полез в платяной шкаф, где, как и предполагал Борис Борисович, содержались все его запасы.— И за Чёрное море выпьем, Боренька, а? Представляешь, здоровый мужик, а на море ни разу не был. Готовлюсь к встрече с ним, как к свиданию с любимой, право!..

— Ты монах какой-то, ну тебя совсем, ты и не знаешь, что это такое — свидание с любимой...

Ушаков лукаво прищурился, недавней грустной задумчивости в нём не осталось и следа.

— Думаешь, так уже и не знаю?..

25

Мама едва узнала Женьку, когда он вернулся.

— Вот это так дядька!

Сама она всё лето работала, была чем-то озабочена, рассеянна, немного похудела.

— Что-нибудь случилось, мама?

— Нет, что ты! — И как-то особенно значительно: — Что с нами может случиться!

В дверь без стука ворвалась Валя.

— Вернулся?

— Вернулся.

Валя молча глядела Женёке в глаза и радостно смеялась. Лицо её посмуглело, посвежело за лето, волосы выгорели. Как он мог ни разу о ней не вспомнить! С раскаянием, не отпуская, пожимал Женя её руку. Так и застала их вернувшаяся с кухни Ольга Сергеевна — держащихся за руки и тихо смеющихся.

На радостях сели пить чай вместе. Женька рассказывал, не умолкая: о том, как в колхозе работали, о Пашке Башилове, о том, как он, Женька, со старшим педагогом в лагере поцапался, о походе. О Зинаиде Алексеевне рассказал — о том, какой она человек хороший. Как она обрадовалась, кинулась, едва завидела в воротах потные, ухмыляющиеся физиономии вернувшихся из похода Женькиных «босявок». Может, тогда только и понял Женька, какую ответственность взвалила Зинаида Алексеевна на себя лично. Есть, значит, хорошие учителя — не один Виктор Васильевич на свете!..

— Ну, а как будем в этом году жить? — спросила мама.

— Здорово учиться придётся, — неуверенно предположил Женька: он ещё не думал о десятом классе.

— Моя мама говорит — обязательно надо медаль получить, — сказала Валя. — Обязательно, иначе в институт не поступишь. А я в университет хочу попасть.

— На исторический?

— Конечно. А ты куда, Женья?

— Не знаю.

— Пойди в педагогический, — посоветовала мама. — Как ты хорошо о ребятах рассказываешь, я их, как живых, вижу...

— Ну, и что?

— Ничего. Значит, любишь.

— Вот ещё! В педагогический, знаешь, кто идёт?

— Ну, кто? Такие, как Виктор Васильевич.

— Нет, не пойду. Я с Аликом, наверное, пойду на физико-технический...

Кем быть, куда пойти после школы — этот вопрос вплотную стал перед десятиклассниками. Все они пришли с летних каникул, одержимые одной мыслью: учиться, выкарабкаться на медаль любыми путями. Если послушать их, можно было подумать, что медалями награждают без разбору всех и на двадцать восемь учеников десятого «Б» класса так и причитается — не будь только дураком! — двадцать восемь медалей.

А почему бы и нет! В прошлом году выпускников ругали чуть не на каждом комсомольском собрании, говорили, что в школе не было ещё выпуска эгоистичнее и хуже, а они медалей получили по десять—двадцать на класс. Сумели!

Даже Жора Корецкий и тот претендовал на медаль. Жора! Жорина мама весь сентябрь вела доверительные разговоры с учителями, подкарауливая их у дверей учительской и в коридорах. Лицо её, как бы ни поворачивался разговор, оставалось напряжённо-сияющим — она так во всё вникала, так была заранее за всё благодарна, так восхищалась самоотверженностью педагогов и их мастерством!..

Не у каждого есть такая мама! Володя Никитин поднял шум с первого же дня нового учебного года: никакой общественной работы, хватит, нам в этом году в институт поступать.

Теперь ребят в классе интересовали только отметки — они приходили в школу эти отметки получать и раздражённо ошестинивались, когда что-нибудь их отвлекало. Собрание комсомольской группы? Нашли время, завтра контрольная по физике, послезавтра опрос. Глаза у Володи Никитина становились бешеные и пустые: у тебя, Сокол, может, блат в университете? Так и скажи. А нам, знаешь, в институт коммунального хозяйства идти неохота. Занятие кружка? Свободное время можно провести и лучше. Экскурсия? Куда экскурсия? Вышли из того возраста, товарищ комсорг!..

В общем, всё было очень плохо, значительно хуже, чем в прошлом году. На школьных переменах разговор теперь вертелся только вокруг

каких-то малознакомых девушек, галстуков и заграничных пластинок — озабоченные, деловитые люди со вкусом отдыхали от своих обременительных, никакой радости не доставляющих трудов. В связи с интересом к пластинкам неожиданную популярность приобрёл всё тот же Жора: раз прослушанную мелодию Жора воспроизводил в совершенстве, высоко вскидывая при этом локти и шаркая подошвами, как не слишком умелый, но в высшей степени старательный полотёр. Он ходил такой обласканный, этот Жора, такой самодовольный, чуть озабоченный своими грядущими, гарантированными любящей мамой успехами...

На отчётно-перевыборное комсомольское собрание явились далеко не все, а те, кто пришёл, немедленно углубились в какие-то задачки и книжки. Абрам Фальцатый, стараясь проговорить свой отчёт возможно бессвязнее и быстрее, смотрел в зал унылым взглядом ко многому притерпевшегося человека — в конце концов недолго уж ему осталось страдать, только это вот собрание дотянуть. Об успеваемости комсомольцев он уже сказал, о дисциплине сказал, сказал о выполнении общественных поручений. Анатолий Лукич после каждого его слова одобрительно кивает головой: директор школы, как известно, за работу комсомольской организации отвечает лично. Сейчас будут комсорги выступать — комсорги уже подготовлены, — ну, покритикуют немножко, не без того. Чёрта с два, останется Абрам на этой окаянной работе! Отговорка есть: он, как-никак, десятиклассник, ему в этом году школу кончать...

Всё бы и сошло благополучно, если бы не Женька Соколов. Женька попросил слово сразу же за Абрамом и, немножко, самую малость, рисуясь, — потому что, как вы там ни рассуждайте, приятно чувствовать себя самым принципиальным и смелым, — сказал, что секретарём Абрам был плохим, так как боялся директора, ни о чём собственного мнения не имел...

— А что же ему — против директора идти? — насторожённо усмехнулся Анатолий Лукич.

Женька неловко поправился: не в этом дело, Абрам вообще несамостоятельный, ничего своего у него за душой нет, так, пешка какая-то. Десятиклассники на днях бучу подняли, не хотят больше пионервожатыми работать, он их — пожалуйста! — от работы освободил. Почему, спрашивается, освободил? Времени у них свободного нет? Есть время!

Женька прибавил очень искренне и, как всякий человек с небольшим жизненным опытом, возводя этот опыт в абсолют:

— А мы с пионерами, знаете, как много можем сделать... Больше учителей!..

Анатолий Лукич опять счёл нужным вмешаться:

— Это кто же вам позволил учителей подменять?

— Я и не говорил о подмене.

— Как это не говорил! Если вы забыли решения последнего пленума комсомола, вам надо решения эти напомнить...

Директор напоминал, терпеливо и вразумительно; ребята страстно перешёптывались: Абрам, конечно, шляпа, человек несамостоятельный, только следовало ли о нём при директоре так резко говорить?

Едва Женька вернулся на место, на него накинулись: что ты наделал, теперь Чич характеристику Абраму испортит, а нам в этом году в институт поступать...

Женька воскликнул, срываясь, чувствуя, как на глаза навёртываются слёзы негодования и обиды:

— Вы что — совсем уже с ума сошли?

Со смятением видел он, что выбивается куда-то в сторону из общего потока. Справедливо это было или несправедливо, всё равно — он чувствовал именно так. Очень непросто это — даже если на днях тебе испол-

няется полных восемнадцать лет и ты можешь считать себя взрослым, самостоятельным человеком. Ты ничего не знаешь — даже того, что иные товарищи твои чувствуют то же или примерно то же, а если не чувствуют этого сейчас, то почувствуют позднее: у тебя ничего ещё нет — ни мудрости, ни опыта, ни душевной закалки. У тебя есть только одно, самое, быть может, важное, уже есть, но опять-таки ты ведь не знаешь, что это и есть самое важное, — чувство, что иначе поступать ты попросту не можешь. Не можешь! Женька и сам не понимал, как далеко шагнул в это лето, — он только знал, что никогда не чувствовал себя лучше, значительно и счастливее, чем в те дни, когда по-настоящему был нужен людям.

Сейчас он сидел злой, не поднимая глаз. В зале называли его имя, называли вразнобой, на разные голоса — выбирали новый комитет. Предлагали в комитет и Лёню Лицкевича. Лёня смущённо улыбался, трогал плечом товарища:

— Зашьёмся мы, Сокол, а? Ребята говорят — медаль...

Женька ответил не столько Лёне, сколько собственным мыслям:

— На чёрта мне эта медаль, если из-за неё люди такими идиотами становятся!..

Он ловил себя на странном желании: а что, если бы выбрали секретарём школьной комсомольской организации! В этом желании всё смешалось: и задетое самолюбие, и стремление больше ударить по тупым, эгоистичным, самовлюблённым башкам, и смутная потребность взвалить на себя побольше, испытать себя ещё на каком-то новом, трудном и, может быть, посильном деле.

— Сокола, Сокола! — кричали, между тем, семиклассники — эти знали Женьку прежде всего по лагерю. — Мировой парень, его секретарём надо!..

Слово неожиданно взял Генка Борисов — Женья никогда не был с ним особенно близок и никакой особенной поддержки от него не ждал. Вышел, как всегда невозмутимый, доброжелательно-спокойный, большой — за лето Генка ещё больше вытянулся и возмужал.

— Ну, тихо, — сказал он. — Соколова выбрать надо обязательно. Да, да! Мне братишка рассказывал, как он там командовал над ними, в пионерлагере, — ничего, сможет! У Соколова, главное, что есть? Чувство ответственности — так? Твёрдость есть, когда нужно. Подход к людям. Есть! Ребята эти маленькие, например, сейчас только Соколовым и бредят. Невыдержанный он ещё, это да. — Генка снисходительно усмехнулся, так как выше всего ценил в мужчине выдержку и самообладание, и едва заметно подмигнул Женьке: ничего, дескать, научишься. — Это у него от молодости, это пройдёт. Всё. Я его, если хотите знать, секретарём бы выбрал...

Женьку выбрали в комитет, потом секретарём комитета — он даже растерялся от того, как это всё быстро и легко получилось. Раздвинув толпу ребят, подошёл Виктор Васильевич, очень загорелый после хождения своего по Кавказу, потряс Женьку за плечи.

— Рад за тебя. Ничего, орёл, живи трудней, а то дураком будешь...

Женька слабо усмехнулся.

— Ну, ну, выше голову! Мы им, ребятам нашим, ещё дадим жизни!..

Пробовали вы когда-нибудь играть на сцене? А вы попробуйте! Удивительное всё-таки удовольствие, ради него можно даже кое-чем поступиться — вечерним моционом по улице Горького, например. Ну, конечно, если вам предложат сыграть роль монолитного передовика или какого-нибудь непреклонно перековывающегося консерватора в одноактной пьеске, специально состряпанной на потребу невинной самодеятельности,

вы, может быть, и откажетесь — всего вашего скрытого дарования не хватит, чтобы роль эту очеловечить и расцветить! И роль добросовестного Пети или недобросовестного Васи из остро комедийного скетча «Как мы боролись с двойкой» не воодушевит вас нисколько. Ну, а если предложат сыграть Луку, или Сатина, или, предположим, Актёра, или Бубнова — есть в пьесе «На дне» и такая богатейшая роль, — думаете, устоите? Да не просто сыграть лишь бы сыграть, а всерьёз, на полную силу, так, как играют в настоящем театре?..

Даже если не вся пьеса ставится, а только сцены из неё — что из того? Вы придите-ка на репетицию, придите! В пустом и полутёмном зале перед ярко освещённой сценой сидит классный руководитель десятого «Б» Виктор Васильевич Ушаков, без пиджака, весь какой-то взъерошенный, на себя непохожий. Тревожит то и дело тень гениального Станиславского, напоминает о задачах и сверхзадачах, о настроении и ансамбле, халтуры никакой не допускает, за малейшую провинность или невыученную роль ругает, забывшись, самыми неожиданными словами и без всякой жалости со сцены гонит. Интересно! Интересно даже так вот просто, не участвуя, в зале сидеть, смотреть, как Володя Никитин корочку хлеба с луковицей через силу, словно беззубыми дёснами, жуёт, рассказывает о праведной земле неузнаваемо тихому Юрке Шнырёву и двум девочкам из шестнадцатой школы, как Владик Пелевин в чёрной отцовской жилетке с силой взмахивает широкими рукавами: «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного человека!»

А тут вдруг выясняется, что пьеса без талантливо сколоченных нар, или без русской печи, или без кирпичной стены в третьем акте вроде и не пьеса вовсе, и без тебя, даже если у тебя и нет сценического дарования, без тебя спектакль всё равно состояться не может, потому что ты равный участник его — бутафор, или звукооформитель, или машинист сцены, — ты и сам не заметил, как это всё с тобой произошло. Для машинистов сцены Виктор Васильевич даже специальную репетицию назначает: «А ну-ка, смените декорации за три минуты! Не так. Быстрее! Ещё быстрее, я по часам слежу...»

И вот наступает день спектакля — после того, как с тебя сошло семнадцать потов, и Виктор Васильевич со всеми его придирками сидит в самой твоей печёнке, и ты готов навсегда его возненавидеть, после того, как ты миллион раз поклялся себе, что никогда больше, ни за что, ни под каким видом не коснёшься даже пальцем развевающегося плаща Мельпомены. Вот тогда-то, на самом гребне человеческого терпения, и наступает долгожданный день.

Идёт спектакль. Он не идёт, он катится легко и плавно — ты и сам не понимаешь, откуда она взялась, эта удивительная лёгкость, ведь вчера ещё Виктор Васильевич неумолимо говорил: «Не так. Плохо. Ещё раз...» — спектакль легко катится от реплики к реплике, от действия к действию, от одного выхода к другому. Зал, как это ни странно, где надо — смеётся, где надо — затихает; зал всё принимает всерьёз — и тряпье, сохнувшее поперёк сцены, и жалкий солнечный луч в окошке, который стоил оформителям такого труда, и настоящие слёзы Тани Кузнецовой, которые так потрясли тебя вначале и к которым ты на бесконечных репетициях уже пригляделся. Ты не успеваешь опомниться, как Владик Пелевин уже с досадой, с болью произносит заключительные слова пьесы, и что-то странное происходит в зале, и тебя в толпе твоих товарищей неизвестно зачем выталкивают туда, к публике, — паверное, затем, чтобы посмотреть, как она беснуется и топочет. Занавес сдвигается, задев тебя по носу, потом раздвигается вновь, потом опять сдвигается. У кулис толпятся болельщики и, интимно улыбаясь Саше Саламатину, умоляют его пустить только «вон туда», только «на одну минутку». Они кричат издали, что всё очень здорово, очень, лучше, чем в Художе-

ственным, что Володя — эй, Володька! — Володя Никитин — гений, и Владик Пелевин, оказывается, настоящий гений, и все молодцы, то есть просто страшные молодцы; и Юрка Шнырёв, мокрый до нитки, озадаченно прислушиваясь к ревущему залу, поднимает большой палец и шепчет: «Каковы аплодисменты, а? А вы говорите...»

А потом кто-то вспоминает, что надо ещё побить Бесёнка, и все, даже девочки, дружно идут его бить, потому что Бесёнок единственный уверял, что из постановки ничего не выйдет. Бесёнок, застигнутый где-то в коридоре, визжит, барахтается, как шенок, и кажется чрезвычайно довольным, что его удостаивают своим вниманием, тормозят и щиплют со всех сторон эти симпатичные, перемазанные гримом, смеющиеся люди.

И долго ещё говорят, что подобного вечера не знала школа, и долго участники его, ошеломлённые собственным успехом, ходят за Виктором Васильевичем и ноют: «Что будем ещё ставить? Сирано де Бержерака, а? Или из Шекспира что-нибудь?» Но и Виктор Васильевич и ребята прекрасно понимают, что дело тут, собственно, не в самом спектакле — может быть, «На дне» в Художественном театре идёт всё-таки лучше, — дело в той неперебродившей радости, которую достаточно раз испытать в жизни, которую пронесёшь и дальше, через годы, куда бы ни попал: радости вместе работать, вместе преодолевать трудности, вместе добиться победы.

Ребята это всё понимают прекрасно — почему-то не понимают взрослые. Взрослые — не все, конечно, — судят со странной в их возрасте прямолинейностью: вечер — значит, весёлое времяпрепровождение, развлечение, пустяки. Ещё неизвестно, зачем это всё руководителю нужно!..

Директор после спектакля суховато поблагодарил Виктора Васильевича, сказал, что на подобный вечер не стыдно было пригласить гостей даже из министерства, но настроение поспешил испортить уже на следующий день: «Не забывайте, что ребята должны заниматься, что у них всё-таки не одна литература; сознайтесь, что подобный вечер стоил им немало труда...» Лидия Фёдоровна в учительской несколько дней отшвыривала от себя все попадающиеся под руку предметы: в самом деле, какое безобразие, у них же не одна литература!.. Насторожились иные родители, кто-то их надоумил: всё это очень хорошо, конечно, мой мальчик так был увлечён и счастлив, но, Виктор Васильевич, милый, как же медаль?.. Спихнулись и ребята. С усилием стряхивая с себя очарование, уныло забубнили своё: у нас блата в университете нет, нам в этом году в институт поступать. Свободное время? Свободное время можно провести и лучше...

А Виктор Васильевич тем временем, посмеиваясь, говорил Женьке:

— Видишь, можно, оказывается, пробить броню! Это, милый мой, только цветочки. Наваливай, наваливай на них побольше дел, не давай им опомниться — да живее, да разнообразнее, да поинтереснее, да потруднее...

26

Раечка, худенькая, как подросток, медицинская сестра, с тёплыми, плутовскими, продолговатыми, как у египтянки, глазами, вошла в десятый «Б» класс таинственно и значительно, как никогда. Ребята тут же шумно её обступили.

— Нет, нет, — обеими руками замахала Раечка. — Мне нужен Володя Никитин...

Оказывается, дело вот в чём: предполагается вечеринка. Устраивают вечеринку Раечка и её подруги, такие же, как она, выпускницы медицинского техникума. Приглашают десятиклассников — не всех, конечно, самых, что называется, интересных.

Всё это Володя изложил Женьке в общих чертах, Женя тоже был в числе приглашённых.

— Как, пойдёшь?

— Пойду, почему же, — не очень уверенно сказал Женя. — Алика пригласили?

Володя замялся:

— Может, насчёт Алика ты сам поговоришь с Раей?

Говорить с Раей насчёт Алика Женя не стал — показалось неудобным. На уроке немецкого языка отсел к Володе Никитину: надо было точно узнать, кто будет из ребят, сколько надо принести денег.

Денег, оказывается, совсем не нужно — девушки уже зарабатывают, устраивают вечеринку на собственные средства. Женька усомнился:

— Неудобно вроде без денег?

— Вот ерунда! — Володя в сфере всех этих дипломатических тонкостей чувствовал себя как рыба в воде. — Ну, пригласишь потом в театр какую-нибудь посимпатичней — вот и всё, квиты... — Он неодобрительно добавил: — Если, конечно, у тебя совесть такая особенная...

Да, конечно, он как-то совсем не подумал об этом! А между тем именно с этого вечера, может быть, всё и начнётся — то, о чём он мечтает: дружба, которая так и не получилась с Тусей, тревожная, волнующая девичья близость... Оставалось ещё одно, но Женька почему-то стеснялся спросить. Спросил уже к концу урока, когда Володя и думать, казалось, забыл о предстоящей вечеринке.

— Слушай, а на что мы им нужны, собственно? Какой с нами интерес?

— Что значит — какой интерес?

— Ну, они старше, умнее, наверное, работают уже...

— Вот ты о чём! — Володя, забывшись, даже присвистнул. На лице его прочно установилось то выражение искушённости и превосходства, которого Женька терпеть не мог. — Раздельное обучение, друг! Сначала женская школа, потом медицинский техникум — тоже, доложу тебе, монастырь, — тут не знаю на кого кинешься...

Володя и дальше развивал бы эту тему, с видимым удовольствием и несомненным знанием дела, — прозвенел звонок, Женька заторопился в седьмые классы. Спускаясь по лестнице, упрямо думал: к чертям Володькину мудрость, обойдётся и без неё, пусть только встретится наконец та единственная девушка, навстречу которой открыто всё Женькино существо!..

В субботу вечером, нарядные, все в чистеньких рубашечках, пахнущие одеколоном, десятиклассники чинно входили в подъезд никому из них доселе не известного дома. Дверь открыла полногрудая девушка, темноглазая, с поднятыми над лбом и падающими на плечи волосами, — судя по всему, хозяйка квартиры; радостно воскликнула: «Наконец-то!» По очереди подтаскивала она гостей к тусклой лампочке, висящей над зеркалом в тесной передней, и, знакомясь, со смехом пожимала им руки. Всё в ней было размашисто, броско, всё с первого же взгляда изобличало самоуверенность, добродушие, шумную, несколько навязчивую весёлость.

— Марина, — представилась она и Женьке и, услышав его имя, чуть задержала его руку в своей. — Вы Соколов, да? Это мне о вас говорили? — Она тут же засмеялась, наверное, над молчаливой Женькиной растерянностью, бесцеремонно повернула его, чуть толкнула в спину. — Потом, потом, вы идите...

В столовой, где уже был уставлен бутылками и закусками сдвинутый в сторону стол, играл патефон, девушки добросовестно и озабоченно водили друг друга. Володя Никитин, как самый бывалый, прямо с ходу подлетел к одной из танцующих пар.

— Позвольте вас разлучить, прошу вас...

Женя, прижавшись спиной к притолоке, украдкой разглядывал девушек: они конфузливо пересмеивались в ответ на шутки как-то сразу осмелевших десятиклассников, церемонно поддерживали осторожный разговор по углам, украдкой вытирали потеющие руки. Девушки как девушки: скромные, угловатые, не бог знает как избалованные вниманием. С Тусей ни одна из них ни в какое сравнение не шла. Ни одна — даже самая красивая и взрослая, Тоня, со своей гибкой шеей и крошечными серьгами в ушах. Тоня, то и дело трогая причёску и вновь выкладывая на століке руки, чуть откинув голову, с видимым вниманием слушала Генку Борисова, не отрывая глядя на его губы из-под полупущенных ресниц. Женька завидовал товарищу. Никогда он не видел Генку до такой степени на месте с этими его красивыми и уверенными движениями, свободным разворотом плеч, спокойным и внимательным, очень добрым лицом. Женька мучительно чувствовал себя забытым и неловким. Ничего в нём не было — ни Генкиной уверенности в себе, ни Володиной развязности, ни даже ребячьей непосредственности слоняющегося из угла в угол Владика Пелевина, непосредственности, которая позволяла Владіку всегда и всюду оставаться самим собой.

В общем, Женька обрадовался, когда в комнате появилась наконец Марина — с ней как-то сразу стало веселее и проще.

— К столу, к столу, — шумно заторопила она. — Рая, почему твои мальчишки не садятся?

Женьку она посадила рядом с собой. Сидели тесно, Марина то и дело задевала его то бедром, то локтем, шумно смеялась и при этом сильно откидывалась назад — Женька терпеливо улыбался. Сидеть рядом с ней было всё-таки очень приятно: она была такая тёплая, крепкая, с высокой грудью и полными, тяжёлыми руками.

— Что вам обо мне рассказывали? — тихо спросил он.

Марина не расслышала.

— Девочки, — плачущим голосом воскликнула она, — девочки, за вами ухаживает кто-нибудь? За мной нет! — и быстро посмотрела на Женьку.

Ухаживать так ухаживать — Женя принялся за это с такой же безоглядной решимостью, с какой когда-то переплывал Волгу. Марина, стиснув коленями руки в знак того, что всё равно ничего для себя сама не сделает, посмеиваясь, говорила:

— А мне крабов хочется! Женя, пожалуйста, положите крабов, я их очень люблю...

Раечка, неизвестно когда успев выпить, с замаслившимися глазками кричала с другого конца стола:

— Марина, ты с ним не очень кокетничай, он у нас хороший! Я за Женю перед школьной администрацией отвечаю...

Это Женю задело: за кого его тут принимают! Он поспешно встал, поднял рюмку.

— Внимание, дежурная речь! — восторженно воскликнул Абрам. Вот и Абрам чувствовал себя здесь превосходно.

— За прекрасную хозяйку дома! — испуганно сказал Женя и, ни с кем не чокаясь, одним духом выпил вино.

Никого он не удивил, только Юрка сказал «ого» и, тут же поперхнувшись, изумлёнными слезящимися глазами уставился на блюдо с винегретом. Володя подхватил: «За наших дам!» Марина, расплескивая вино, закричала «ура!» — так, что Женька со смехом заткнул уши.

Стало безалаберно, шумно, совсем просто. Тостов уже не слушали — накинулись на очень вкусный салат, непрерывно подливали вино — столько вина Женька никогда не пил. У него приятно кружилась голова, движения — он чувствовал это! — стали такими же красивыми и свобод-

ными, как у Генки Борисова, и он так же всем нравился и так же всех смешил, как и Владик Пелевин.

И ему все нравились, очень. Все, даже Володька, который воображает только, а сам ничего не понимает в жизни, даже Абрам с его глазами небесной голубизны и свежей, как у ребёнка, кожей — обычно Женька называл её поросычьею. Девушки были особенно милые, для всех них хотелось найти какие-то особенные, добрые слова. Прежде всего, конечно, для этой смешной девчонки, для Марины. Марина, притихнув, старательно тыкала вилкой в крошечную, распластанную перед нею рыбешку, не попадала и снова, всё с тем же упрямым и строгим выражением, сосредоточенно тыкала вилкой в тарелку — Женя ничего не говорил, а только поглядывал на неё искоса и тихо смеялся.

Надо было вставать из-за стола, и сначала казалось, что сделать это решительно невозможно, а потом выяснилось, что возможно и даже хорошо, потому что лучше чувствуешь, какой ты свободный и лёгкий. И танцевать можно. Женька приглашал всех девушек по очереди, чтобы ни одну не обидеть, и все смеялись, и всем было с Женей очень хорошо, и Тоня, танцуя с ним, смотрела на Женьку так же, как и на Геннадия, — не в глаза, как другие девушки, а ниже, на губы.

Больше всех сегодня он любил Генку! Женя внезапно вспомнил об этом и поспешил к Борисову всё это ему изъяснить. Тот с растроганным смешком обнял Женьку, немножко его помял, потом озабоченно предложил: «Может, пойдём — проветришься немного?» Вовсе незачем им куда-то идти!..

Потом Женя танцевал с Раечкой, Раечка виновато спросила:

— Тебе не очень скучно у нас?

— Вовсе не скучно.

— Поцелуй меня. Только тихо, чтоб никто не заметил, сюда вот.

Женька коснулся губами лёгкого завитка волос на Раечкином виске, оба засмеялись.

— А то меня Марина убьёт, — запоздало пояснила Раечка. Очень весело было думать, что кто-то может Женьку приревновать!..

А потом Владик Пелевин и Юрка изображали «Хирургию» Чехова, сами первые хохоча и валясь друг на друга. Женя смотрел на них и блаженно смеялся, прижимаясь к тёплому плечу Марины и чувствуя её руку на своём колене. Он даже подвинулся легонько, чтобы лучше чувствовать эту руку. Марина вдруг перестала смеяться и тихо шепнула:

— Пойдём-ка...

Они прошли в какую-то дверь, которую Марина плотно притворила за собой. В неосвещённой комнате угадывались очертания массивной мебели, на бледном стекле окна вырисовывался тонкий силуэт настольной лампы.

— Свет не будем зажигать, — ломким голосом предложила Марина. — Посидим и так, так даже лучше — верно?

Женя стиснул ей руку. Они сидели на диване рядом и молчали. Женя понимал, что от него чего-то ждут, но, трезвея, чувствовал только мучительную неловкость. Сердце его бешено колотилось.

— Женя... — коснувшись его плечом, еле слышно прошептала Марина.

— Но я же тебя не люблю! — удивлённо возразил Женя.

Она засмеялась в ответ нервным, отрывистым смешком и, повернувшись, грубым движением охватив его шею, крепко поцеловала в губы.

Женя потерял голову. Никогда никого он не целовал так, он Тусю так не целовал, как эту, совсем чужую ему девушку, — так сильно и жадно, норовя коснуться груди дрожащими руками.

— Женя, подожди, Женечка, — растерянно шептала Марина, пытаясь расцепить его пальцы. — Не надо так, подожди...

Она вдруг с силой вырвалась и встала. Женя настойчиво тянул её к себе, она испуганно трясла головой: «Не надо...»

Неожиданно она нагнулась и опять поцеловала его, как-то совсем поновому, медленно, мягко, словно извиняясь в чём-то.

— Пойдём,— попросила она,— пойдём туда, там, кажется, играют...

Женя шёл за ней со смутным чувством досады и облегчения. Колени его ослабели и подкашивались, он был совершенно трезв.

В столовой, сбившись в кружок, играли в «бутылочку». Девушки раскраснелись, растрепались, глаза у них блестели. У стены, не принимая в игре участия, смущённо топтались Владик и Юрка, краснея, переглядывались. Тони и Геннадия нигде не было видно.

— Женька, бутылочку крутить! — весело предложил Володя. С распростёртыми руками он шёл к Абраму, на которого показывало горлышко бутылки. Раечка, пригибаясь от хохота к коленям, кричала:

— Неинтересно, неинтересно!..

Володя вдруг круто повернулся, схватил её. Раечка завизжала, потом замолкла, руки её бессильно скользнули вниз.

Женька исподлобья смотрел, как Володя целует Раечку — слегка оттопырив зад и подрагивая круглым затылком,— смотреть на это было стыдно. Женя неожиданно для себя толкнул дверь, выскочил в переднюю. Торопливо, что-то шепча и проклиная кого-то, стал раскидывать сваленные кучей пальто.

На улице шёл снег, снежинки задевали Женьку по лицу, таяли на губах. Рядом с Женей они падали медленно, плавно — впереди, в свете фонаря, бешено крутились. Потом всё переменилось, Женя не заметил, как рядом всё закружилось, понеслось, а впереди, за мокрым мятущимся вихрем, редкие снежинки падали, словно нехотя, неторопливо, бесшумно припадая к земле. Женя постепенно успокаивался. В нём уже не было ни отчаяния, ни исступления, ни злости — ничего, только странная, усталая, похожая на нежность, какая-то отчуждённая жалость к себе, к Генке, к Владу с Юркой, к этой девочке, которая, как и он, сама не знает, чего ей надо. Неужели, неужели всё это так и будет преследовать его в жизни!..

Что-то шевельнулось у ног его, на мокром снегу. Женька нагнулся, увидел взъерошенного котёнка, испуганно отжимающегося к стене. Сам не зная, зачем он это делает, поднял котёнка, ощутив тонкие кости под жестковатой, свалывшейся шёрсткой, прижал к лицу. Котёнок, почувствовав ласку, благодарно заурчал, завозился, тычась мокрой мордочкой в Женькину шею.

— Глупый, — громко сказал Женя и испуганно оглянулся: переулочек был безлюден и пуст. — Глупый ты, — повторил он. — Ничего тебе не надо, лишь бы тебя погладили, да?

Голос его осекся, лицо против воли распустилось, губы задёрнулись. Женька поспешно опустил котёнка на землю.

27

Виктор Васильевич смотрел в глубину длинного коридора, освещённого неярким электрическим светом, и не мог отделаться от странного ощущения: навстречу двигалась, медленно приближаясь к нему, собственная его ранняя юность. Именно оттуда, из далёких школьных лет, запомнились эти острые плечи — одно выше другого, эти свободно висящие вдоль тела, совершенно прямые при ходьбе руки, эта чуть волочащаяся и в то же время словно пританцовывающая походка — такая походка могла быть только у одного человека на свете. Виктор Васильевич, не веря себе, сказал шёпотом:

— Дмитрий Назарович?

За минуту перед этим он не мог бы назвать фамилии Дмитрия Назаровича — сейчас он её вспомнил. Он большее вспомнил: вспомнил, что очень любит этого человека, не любил, а именно любит; этот человек, начисто, казалось бы, вычеркнутый из памяти, словно вместе с ним, где-то совсем рядом, прожил все эти годы: если бы не Дмитрий Назарович, Виктор Ушаков, может, и не преодолел бы когда-то своего предубеждения к педагогическому труду.

В это не верится, но, конечно же, это он! Вот он подошёл, и всё это его, неотъемлемое: и свободно болтающийся на впалой груди пиджак, и острый запах табака, и это умное, суховатое лицо, которое вечно кого-то напоминало Ушакову — то ли артиста Жакова, то ли Анри Барбюса. Сколько же лет они не виделись, неужели двадцать? Около двадцати. Дмитрий Назарович согнулся и смотрит на Ушакова снизу вверх — а когда-то смотрел сверху вниз! — и в глазах его незнакомое Ушакову выражение, какое бывает только у очень старых людей: приветливое, удивлённое и немного жалобное — он не знает человека, который с дрожащей улыбкой стоит у него на дороге. Не узнаёт! И у Виктора Васильевича что-то подкапывает к горлу, потому что он как-то не думал, что Дмитрий Назарович может постареть так же, как и всякий другой, и он говорит не слишком твёрдым голосом:

— Дмитрий Назарович, вы не узнаете меня?..

Нет, нельзя спокойно смотреть, как всё более приветливыми и всё более жалобными и даже виноватыми становятся эти цепкие, очень быстрые и пронизательные когда-то глаза.

— Это я, Ушаков Виктор... Помните, был когда-то такой знаменитый класс...

— Витя!..

Ну, вот и всё, вот он и узнал. Теперь можно наконец пожать ему руку, очень крепко пожать. Собственно, очень хочется расцеловать его, но Ушаков не решается, только неотрывно смотрит в лицо учителя блестящими смеющимися глазами. И Дмитрий Назарович, сердито оглянувшись на шныряющих вокруг любопытствующих учеников, говорит:

— Что ж, поцелуемся... большой какой!..

А потом Дмитрий Назарович этой своей чуть волочащейся, неровной походкой, сильно махая на ходу руками, ведёт гостя к себе в кабинет, и они сидят там, отражаясь в дверцах застеклённых шкафов. За стёклами, на длинных полках, стоят приборы, назначения которых Ушаков уже и не помнит; нерешительно задерживая в своей руке руку Дмитрия Назаровича, он пытается выразить ему какими-то жалкими, бедными словами, какое это счастье — так вот неожиданно, в чужой школе, встретить самого любимого из своих учителей.

— Ты о деле, о деле, — нетерпеливо торопит его Дмитрий Назарович. — Ты ведь сюда не просто так, ты по делу пришёл...

Он всё такой же! Он и тогда, лет двадцать тому назад, говорил со своими учениками только о деле. Доверительно, просто — как это, помнится, льстило мальчишкам! — делился с ними всякими своими неотложными соображениями, мимоходом, словно невзначай, вводил их в чистый, деятельный, содержательный мир. Какой это честью считалось — быть допущенным к нему в кабинет и в сосредоточенной тишине целые вечера напролёт делать одно общее с ним дело: собирать детекторный приёмник, или монтировать школьный радиоузел, или приводить в годность заваливший, неизвестно откуда добытый автомобильный мотор. И какой это было наградой, когда Дмитрий Назарович, забывшись, сам увлечённый работой, называл тебя не по фамилии и не на вы, как обычно называл учащихся, а ласково, интимно — по имени и на ты.

О деле так о деле. Здесь, как и всегда вокруг Дмитрия Назаровича, та же атмосфера деловитой подтянутости, организованности и труда.

Его то и дело отрывают: перемазанный металлической пылью подросток приносит какую-то блестящую, свежееотполированную железяку, и оба они, учитель и ученик, прищурившись, оглядывают её со всех сторон, пока не решают, что это именно то, что нужно; юноша вовсе не школьного возраста, по всей видимости студент, хотя и неясно, как он сюда попал, докладывает от дверей, что где-то там всё уже готово и ждут только Дмитрия Назаровича,— Дмитрий Назарович говорит, что придёт он не скоро и просит начинать без него; девушка с длинными косами, которые она то и дело поправляет движением головы, приносит Дмитрию Назаровичу какую-то книжку, и тот начинает немедленно её листать: девушка эта, Надя, бывшая его ученица, принесла из своего института какие-то очень интересные задачи, сейчас она будет решать их с ребятами — у него, у Дмитрия Назаровича, на подобные задачи очень большие любители есть...

В стороне, тихо переговариваясь, группа старшеклассников возится над моделью шагающего экскаватора — у них что-то не ладится, и один из ребят, запустив руку в кабину, что-то там определяет, как врач, на ощупь, прикусив губу; здесь же две девочки — они так же сосредоточены и озабочены, как и их товарищи, присутствие девочек в этой мужской школе, видимо, совершенно обычно. Совсем рядом, у ног Дмитрия Назаровича, пристроился на ящике паренёк лет четырнадцати; шумно вздыхая и то и дело вытирая нос рукавом стёганой куртки, обматывает медной проволокой полый металлической стержень. Дмитрий Назарович нетерпеливо поглядывает в сторону моделлистов, с трудом удерживая готовое сорваться замечание, косится на сопящего у ног его, увлечённого своей работой паренёка,— Дмитрию Назаровичу явно некогда, и Виктор Васильевич с удовольствием принимает предложенный ему стиль разговора: он сразу же излагает суть дела.

Дело у него несложное: здесь, в физическом обществе тринадцатой школы, работают его, Ушакова, ученики — Мирзоянц и Лицкевич. («Ах, эти!» — одобрительно кивает Дмитрий Назарович головой.) Очень увлечены, много рассказывают, ходят сюда каждую среду. («Да, да, мы так и работаем — в неделю раз...») У самого Виктора Васильевича очень много всяких сомнений, связанных с работой в школе, вот он и захотел лично посмотреть, что тут делается, у соседей. Всё.

— Отбиваете вы у меня моих учеников! — шутливо посетовал он.

Дмитрий Назарович шутку не принял, нахмурился.

— Да, приходится за всякими бездельниками подбирать. Это ты у них физик?

— Нет, что вы, я словесник.

— Тут многие ребята приходят, не гнать же их! Так ты что — познакомиться с нами хочешь?

— Да, очень!

— Вот и хорошо: пройдишь, посмотри, потом и поговорим. А я пока с этими,— он усмехнулся,— с горе-моделлистами займусь...

Дмитрий Назарович, словно только и ждал этой минуты, встал, всей рукой, свободно висящей от плеча, сделал жест по направлению к двери и чуть отступил, пропуская гостя:

— Милости прошу.

Как он мог забыть этого человека! Виктор Васильевич шёл по коридору и взволнованно смеялся. Потом вспомнил, зачем он здесь, толкнул первую же дверь и вошёл.

Большая группа ребят окружала лежащий на полу большой лист бумаги — то ли план, то ли чертёж,— Ушаков не решился подойти ближе. Какая-то женщина, присев на корточки, что-то объясняла ребятам, вода над листом обнажённой по локоть рукой,— фигура её показалась Ушакову знакомой. Один из ребят, порывистый, смуглый, очень красивый,

ни с кем, видимо, не соглашался, отстаивал своё; речь шла о каких-то столбах, о проволоке, о пересечённой местности, о каком-то овраге.

— Провиснет проволока, я вам говорю, провиснет,— убеждённо доказывал он.— Вот вы смотрите сюда...

— Нечего и смотреть,— отвечали ему.— Так, как ты говоришь, никакого материала не хватит...

— Материала не хватит! А провиснет проволока — лучше, да? Лучше? Вы смотрите сюда...

Женщина выпрямилась, встала, оглянулась — и Ушаков узнал мать Лёни Лицкевича. Вот уж поистине вечер встреч!

— Виктор Васильевич? — удивлённо сказала Лицкевич. Она подошла, с улыбкой оглядываясь на ребят.— Видите, какие тут у нас страсти!..

— Что вы делаете здесь?

— Расчёты заканчиваем для гидростанции. Затяжали, понимаете, летом гидростанцию строить в одном колхозе — маленькую, конечно...

— Я не о том. Как вы сюда вообще попали, в школу?

Лицкевич слегка покраснела.

— Такое дело — тут один мой учитель работает...

— Дмитрий Назарович?

— Да. Вы его знаете?

— Здравствуйте! Я же и сам его ученик.

— Что вы говорите!

— Вы когда учились?

Лицкевич многозначительно улыбнулась.

— Раньше вас.

— Что ж, помогаете ему?

— Конечно! Немного помогаю — по своей специальности.

— Счастливый он. К нам, небось, не приходите...

— Но у вас и работы по моей специальности нет!

В другом классе, где по двое, по трое за партой, трудясь над задачами, сидели ребята, ходила между рядами та самая девушка с длинными косами, Надя, сличала полученные ответы. Над склонёнными головами висело ровное, деловитое жужжание. Виктор Васильевич осторожно притворил дверь.

Третья дверь оказалась запертой изнутри. Чей-то не слишком дружелюбный голос спросил из-за двери:

— Кого это там носит?

Девочка, проходившая мимо, не скрывая своего презрения, сказала:

— Куда вы толкаетесь? По-русски написано: «Фотолаборатория»...

Виктор Васильевич махнул рукой и пошёл дальше.

В замыкающей коридор небольшой комнате, где не было ничего, кроме стола, на котором стоял обнажённый остов разобранного или ещё не собранного до конца телевизора, сидели три парня того самого типа, который доставляет преподавателям наибольшее количество хлопот, и озабоченно рылись в этом остове. Один из них, с холёным каштановым чубом, лежащим едва ли не на верхней губе, отошёл к вделанной в стену розетке и, воткнув вилку, с хмурым отчаянием взглянул на товарищей.

— А, зараза...— сказал другой, с очень низкой талией и цепкими, хватистыми руками.— Ну-ка, выключи...

Он снова полез этими своими руками в хрупкое сплетение проволок — руки его двигались сейчас как-то особенно бережно и красиво.

— Что вы делаете, хлопцы? — решился спросить Виктор Васильевич.

— Всё равно ни черта не получается,— то ли ему ответил, то ли товарищам сказал чубатый и вдруг закричал не своим голосом: — Ты же опять не ту лампу поставил, о чёрт!..

Тот, второй, словно обжёгшись, отдернул руки и с неожиданной злостью обернулся к Виктору Васильевичу:

— А вы кого здесь ищете?

— Никого, смотрю вот...

— Нас разглядывать нечего, у нас от этого нервы портятся!..

Третий из товарищей, помоложе, поднял над работой ясноглазое, смышлёное мальчишеское лицо.

— Вы лучше в подвал сходите, — доброжелательно посоветовал он. — Там гидроузел строят, классная будет штука!.. — и снова склонился над работой.

Виктор Васильевич пошёл и, уже закрывая за собой дверь, слышал как что-то, кажется, не очень почтительное, сказал вслед ему тот, длиннорукий. Все трое засмеялись. Неловко было ходить так, бездельником, среди работающих людей!..

Потом он опять увидел Дмитрия Назаровича — его, взятого в плен, вели в свой класс, что-то горячо доказывая ему на ходу, строители гидростанции; сзади Ушакова открылась дверь, парень с каштановым чубом спросил умоляюще:

— Дмитрий Назарович, вы к нам потом не зайдёте?

Потом Виктор Васильевич встретил своих мальчишек. Алик и Лёня в битком набитом классе слушали доклад о космических перелётах. Виктор Васильевич на цыпочках пробрался к ним. Алик с готовностью подвинулся и шепнул:

— Очень хорошо, что вы пришли.

— Тише...

— Вы посмотрите — они все макеты сами делали!..

Доклад готовили человек пять или шесть. Все они сидели лицом к аудитории и ревниво вслушивались в каждое слово рыженького, веснушчатого, очень, видимо, наивного и восторженного паренька; доклад он делал горячо и стремительно, приятно было его слушать. Тем не менее Виктор Васильевич не выдержал, склонился к Алику.

— Ты об этой их гидростанции слышал?

— Ещё бы!

— Вот бы нам такое поднять!..

— Не выйдет, Виктор Васильевич, мы уже думали — нам этим летом надо в институт поступать...

— Ну, слушай, слушай!..

Сам Виктор Васильевич, воспользовавшись первой же заминкой в докладе, поспешил дальше: ему очень хотелось успеть обойти всё. Сегодня он был явно не на высоте: слонялся без дела, нарушал дисциплину...

Схема, висевшая на стене в коридоре, многое ему объяснила: всё решала прежде всего хорошая, чёткая организация, Дмитрий Назарович, будь он и семи пядей во лбу, ничего бы не смог сделать один. На схеме было точно указано, какой бригаде и что поручено, какие перед нею поставлены сроки, кто ею руководит. Здесь были и оптический, и стеклодувный, и гидродинамический, фото-, радио-, автокружки — Алик в своё время не преувеличивал, когда говорил, что в этом физическом обществе работает одновременно около трёхсот человек. Руководили кружками инженеры, студенты, даже один кандидат наук; кружками младших — учащиеся старших классов. Рядом — может быть, ещё более эффективные и нарядные — красовались схемы работы биологического и химического обществ.

— Читаете? — словно старого знакомого, окликнул его, пробегая, тот самый паренёк в стёганке, что работал в физическом кабинете. — Вы не читайте, там всё одно враньё, липа...

— Подожди! Почему враньё?

— Потому что! — Паренёк подошёл, для солидности потягивая носом.— Никаких у нас вовсе кружков по химии и биологии нет, вы не смотрите зря. Это всё так, для начальства написано.— Несмотря на свою молодость, паренёк обнаруживал незаурядное знание жизни.

— Вот безобразия! — искренне сказал Ушаков.— Кто же за них отвечает?

— Кто! Учителя, конечно. Думаете, все такие, как Дмитрий Назарович?

Этого Ушаков не думал.

— Вы его ещё не знаете, Дмитрия Назаровича,— с удовольствием продолжал мальчишка.— Вы посмотрите, сколько он к нам всякого народу привёл, видали? Дмитрий Назарович такой — он любого уговорит. Он хитрый. Он приходит — кто там ему нужен? — на завод или в институт, так и так, говорит, зайдите к нам один раз только, посмотрите, что и к чему. Ну, они и заходят. А дальше сами не хотят уходить — а что, правильно, у нас интересно! Он вас тоже уговорил, да? Ух, он в прошлый раз такого инженера привёл — сила! Может, слышали — Казаков?..

— Нет.

— Ну, правильно, я тоже раньше не слышал...

Мальчишка убежал дальше по каким-то своим делам, а Виктор Васильевич пошёл вниз, в подвал,— гидроузел, как подтвердил его собеседник, очень стоило посмотреть.

В подвале с низкими каменными сводами пахло сыростью и свежей извёсткой. Человек двенадцать ребят столпилось перед невысоким сооружением, напоминающим издали громоздкий широкий стол,— разглядеть что-либо за их спинами было решительно невозможно.

— А вы подождите,— посоветовал стоявший в стороне юноша лет двадцати с пионерским галстуком на шее — видимо, старший пионервожатый.— У них там передачу заело, они сейчас...

Юноша был свежий, чистенький, очень ухоженный; то, что мама его обожает, почему-то прежде всего приходило в голову при взгляде на его цветущее, доброе, приветливо улыбающееся лицо. Ребята звали его просто по имени — Фимой. Он охотно рассказал Ушакову, что подвал этот ещё недавно был завален углем и накопившимся за последние пятьдесят лет хламом,— ребята, когда расчищали его, в пыли, как в воде, по шейку барахтались...

— И вы с ними? — не выдержал, усомнился Ушаков.

— А как же! — удивился Фима, потом чистосердечно добавил: — Работник из меня, знаете, плохой — в нашей школе как-то совсем иначе воспитывали...

— А директор здесь, видимо, хороший,— не без зависти предположил Ушаков: ему пришло в голову, что Чечевичный ни за что не позволил бы вверенным ему ученикам барахтаться в пыли по шейку.— Видно, сочувственный, да?

— Как вам сказать,— опять улыбнулся Фима, на этот раз уклончиво.— А вы откуда?

Узнав, что собеседник его ниоткуда, так просто, Дмитрия Назаровича бывший ученик, оживился.

— Понимаете, тут у нас парню одному бровь рассекли, когда гидроузел строили. Бывает, правда? В самом деле, у хлопцев всё-таки инструмент в руках, а не какие-нибудь детские цапки. Ну, а родители шум подняли — знаете, какие родители есть? К нам одна комиссия, другая, третья, таскали, таскали Дмитрия Назаровича. Потом в газете написали про него, что он рекламист, очковтиратель, я уж не знаю, кто ещё, что он ребят мучает, они у него каким-то вредным воздухом дышат,— их заму-чаешь, как же!..

Виктор Васильевич усмехнулся: нигде, казалось ему, не встречал он таких подтянутых, деятельных и жизнерадостных ребят, как в тринадцатой школе.

— А директор?

— Это всё директор. Когда успехи, тогда—пожалуйста, он весь здесь, весь на виду, а вот когда неприятности — тогда, конечно, учитель виноват. Кто больше всех работает, тот и виноват — так у нас получается,— и Фима опять улыбнулся, на этот раз явно некстати, пытаясь, видимо, хотя бы этой доброй, снисходительной улыбкой утешить собеседника.

Ребята задвигались, удовлетворённо зашумели, кто-то сказал:

— Фима, вы бы с этим дядечкой подались куда-нибудь в сторонку...

Просто удивительно, как он всем сегодня мешал! Ребята расступились, и Виктор Васильевич увидел прямо перед собой стены шлюза, плотину, какие-то постройки, лампочки... Во всём этом он так вот сразу, конечно, не мог разобраться. Зашумела пущенная из крана сильной струёй вода, наполняя где-то там, в глубине, небольшой бассейн. Потом вода покати-лась через плотину, закрутилась крошечная турбина, засветились лампочки — и Виктор Васильевич тогда только понял, какую большую, кропотливую работу провели здесь ребята. Потом стала наполняться водой камера шлюза — выше, выше, до самого края; медленно разомкнулись ворота — и ребята, словно только того и ждали, закричали «ура», подталкивая и ликующе колотя друг друга.

— Фотоэлемент сработал,— не очень уверенно пояснил Ушакову Фима.— Они тут научились с ним...

Кто-то из ребят погрел спичечным коробком; высыпав спички, положил коробок куда-то в темноту, на воду. Покачиваясь на московской водопроводной воде, коробок двинулся в открытый освещённый шлюз.

— Москва — Ростов! — громко сказал кто-то.

Ребята восторженно оглянулись на Ушакова, словно желая, чтобы и он разделил с ними радость.

Опустела школа, погасли огни в классах, когда Ушаков снова нашёл Дмитрия Назаровича в его кабинете; Дмитрий Назарович, сильно волоча ноги и раскачиваясь, ходил от одного шкафа к другому и, захлопывая дверцы, с силой задвигая ящики, делал отрывистые указания дежурным. Ушакова он ни о чём не спросил, только исподлобья коротко взглянул на него, и Ушаков увидел, что глаза его улыбаются: Дмитрий Назарович заранее знал всё, что может сказать доброжелательный посетитель.

— А у нас вы такого не делали,— пожаловался Ушаков, когда за последним дежурным закрылась наконец дверь и Дмитрий Назарович, пытаясь вывернуть какой-то винт своими цепкими, жёлтыми от табака пальцами, присел против него.

Дмитрий Назарович ответил рассеянно — глазами он искал отвёртку:

— Тогда, Витя, масштаб был другой. Сколько вас у меня было — от силы человек пятьдесят? А сейчас своих триста да ещё подкидышей принимаю...

Насчёт подкидышей Виктор Васильевич уже слышал, положим.

— Ну, и сам — как это теперь говорят? — расту...

И он опять с короткой, милой стариковской улыбкой взглянул Виктору Васильевичу в лицо.

— А народ ходит, помогает — ты заметил? — То, что ему так охотно помогают совершенно, казалось бы, посторонние люди, самая организация дела была, видимо, предметом наибольшей гордости Дмитрия Назаровича.— Мне думается, так и у вас в школе можно было бы сделать, нет?

— ...Кричат о политехнизации,— словно вовсе не слушая его, отозвался Виктор Васильевич.— А зависит пока всё только от чьего-то подвиж-

ничества, от энтузиазма. В одной школе — Дмитрий Назарович, там одно; в другой, в нашей, например, — Давид Наумович, там другое...

— У нас тоже всего хватает...

— Это я представляю себе.

Оба замолчали.

— Я тебе вот что советую, — сказал Дмитрий Назарович. Пальцы его, не знающие ни минуты покоя, сворачивали в моток обрезки проволоки. — Если ты всем этим интересуешься, зайди в Калачёвский переулок к Лёше Гаруличеву — помнишь такого? — у него в школе тоже физическое общество, получше моего. В женскую школу зайди, что за квартал от нас, — там у них, девчурки говорят, очень интересный исторический кружок. Фомичёва ты знаешь, Петра Валентиновича, географа? Он у себя «Клуб знаменитых капитанов» организовал. Тоже очень неплохо. Ты что, работу какую-нибудь пишешь?

— Что вы! Я сам учусь.

— А чем ты расстроен?

— Я? Очень расстроен. Я вот думаю: словесник — что я, собственно, могу? Плохое слово хорошим забивать, только?

— Вот! — Дмитрий Назарович поднял палец. — Вот, Витя, это очень важно. Очень важно! Это, если хочешь знать, тоже немало. Ты, между прочим, ночевать здесь остаёшься?

— Нет, я вас жду — провожать...

— Ну, то-то...

И только тогда, когда Ушаков подал Дмитрию Назаровичу старенькое его пальто и пальто обрисовало худые плечи, одно выше другого, и согнутую спину и свободно повисло на ней, только тогда Ушаков снова подумал то же, что и при первой встрече, в коридоре: что учитель его вовсе не так бодр и не так силен, как это ему всегда казалось, и вовсе не защищён от всяких ударов, и что не пристало ему, Ушакову, об этом забывать.

28

Виктор Васильевич предложил провести диспут на тему «Что такое обывательщина?». Женя быстро взглянул на него, удивлённо спросил:

— А откуда вы знаете?

— О чём?

— Ну, об этом... о вечере.

— Ничего я не знаю.

Женя, кажется, не поверил. Ничего Ушаков не знал, просто хотел бороться тем, чем, оказывается, и должен был бороться: словом. Просто надо было работать дальше, надо было терпеливо накапливать и накапливать с ребятами совместные впечатления, совместные дела.

Женя привык во всём советоваться с Виктором Васильевичем — ему и в голову не приходило, что Ушакова это может стеснять. В конце концов за комсомольскую организацию школы отвечал непосредственно директор; Анатолий Лукич был добросовестен, воспитание комсомольцев считал первейшей своей обязанностью, он имел все основания рассчитывать на доверие секретаря комсомольской организации. Что должен был Виктор Васильевич делать? Говорить «иди не ко мне, иди к Анатолию Лукичу»? Он говорил. Настаивать? Это было бы и вовсе глупо.

Женька шёл к Анатолию Лукичу, но потом, позднее. Он и сейчас пошёл к нему — поставить директора в известность, что, по предложению Виктора Васильевича, комсомольская организация намеревается провести такой-то диспут.

Анатолий Лукич поморщился.

— Без плана, вдруг? По плану у нас беседы о Сталинской Конституции — так, кажется?

Женька взмолился:

— Очень надо, Анатолий Лукич. План мы когда составляли — в сентябре, а нужно стало сейчас.

— Пусть Виктор Васильевич выступающих проверит.

— Он проверит. И докладчика подготовит, он обещал.

Докладчиком был Лёня Лицкевич. С обычной своей доброй улыбкой Лёня говорил хорошо продуманные, правильные вещи о том, что такое, в сущности, обывательщина, о жизни «в брюхо», об общественном эгоизме. Приводил примеры из Чехова, Горького, цитировал Маяковского — всё, как говорится, было на месте, к докладу невозможно было придраться.

Ребята сидели, как и обычно сидят на подобных вечерах и на подобных докладах: кое-что слушали, кое-чего не слушали, то и дело возникал осторожный шепоток. Со странным удовлетворением Анатолий Лукич отметил, что с прошлогодним диспутом сегодняшний и сравнить нельзя: никакой торжественности, всё происходит слишком уж буднично, как-то между прочим. Трибуна для выступающих стоит почему-то не на сцене, а рядом со сценой, да и президиум сидит внизу; ребята из первого ряда застенчиво улыбаются в самое лицо директора.

Лёня кончил, присел рядом с Анатолием Лукичом, все задвигались, оживились, словно теперь только и должно было начаться самое интересное.

— Виктор Васильевич! — тут же поднял руку Бесёнок.

Бесёнка долго уговаривали выйти на трибуну, он упрямылся: «Я же недолго...» Выступал он и в самом деле недолго.

— Самое главное, по-моему, — это то, в чём человек видит собственное счастье.

— Всё?

— Всё. А что же ещё?

Вторым, ко всеобщему удивлению, взял слово Жора Корецкий. Этот шёл прямо к трибуне, неизвестно чему улыбаясь и двумя руками заглаживая волосы.

— Пришлось мне недавно перечитывать Шопенгауэра, — небрежно облокотившись на кафедру, начал он. — Вы не скажете, что Шопенгауэр — мещанин, так? Он всё-таки философ. — Жора помедлил, явно наслаждаясь тем, что находится у всех на виду. Возражений на то, что Шопенгауэр всё-таки философ, не последовало. — Так вот Шопенгауэр очень авторитетно утверждает, что счастье человека в любви, в наслаждении красотой...

— Сукин сын, — удивлённо пробормотал Ушаков, — никакого он Шопенгауэра не читал...

— А у нас как-то странно получается, — продолжал между тем Жора, — если человек любит, предположим, красивые вещи, или красивую музыку, или... ну, предположим, особу какую-нибудь любит, он только и слышит со всех сторон: «пнижон», «стиляга»...

Ребята, нетерпеливо ждавшие случая посмеяться, смеялись всюду:

— Высказался!

— А кто же ты? Стиляга и есть...

— Даёшь изячную жизнь...

Виктор Васильевич возмущился:

— Ребята, дайте человеку сказать...

«Человек» говорил в подобном роде ещё минут восемь:

— Если на вас на всех не похоже, так уж и плохо? Сами вы мещане!

Ребята, фыркающая и подгалкивающая друг друга, глядели прямо в рот Жоре благодарными, счастливыми, плачущими глазами.

Анатолий Лукич, раздражённый, недоумевающий, обернулся к Ушакову.

— Вы проверяли выступление Корецкого?

— Как вам сказать? Проверял...

— Чёрт знает что!..

Виктор Васильевич не очень искренне удивился:

— Анатолий Лукич, но если он действительно так думает?..

«Ничего и никому нельзя доверять, всё и всегда надо делать самому», — только это и думал сейчас Анатолий Лукич. Как выяснилось, Ушаков не мог совершенно точно сказать даже того, кто и за кем будет выступать на этом его диспуте. «Какой-то приблизительный порядок у нас есть, — спокойно пояснил он, — только ведь сойдёт, наверное...» Нет, как вам понравится это его «наверное, сойдётся»?..

Порядок, если, конечно, до сих пор можно было говорить хоть о каком-нибудь порядке, сбился тут же. Вскочил Юрка Шнырёв, петушинный хвост победоносно затрясся над его многодумным лбом.

— А почему, вы мне скажите, у нас все учебники переделали? Всех иностранных учёных русскими заменили — это не мещанство? Мещанство! Дуга Петрова, например. А в магазинах теперь не французские булочки продают, а, между прочим, городские...

— Южные орехи вместо американских...

— Кроши, Юрка!..

Юрка Шнырёв к жизни относился просто: раз с трибуны не гонят — говсри, режь, что называется, правду-матку. На тему, не на тему — всё равно, лишь бы здорово. Хитрющие глаза его сузились и блестели от нескрываемого удовольствия.

— Ты же не о том говоришь! — огорчённо воскликнул Женя. Он сидел тут же, в президиуме.

Юрка удивлённо поднял белобрысые брови, обернулся к нему.

— Как это — не о том? О том. Мы ведь о мещанстве говорим. Почему, например, Жорка носит галстук с обезьяной, ну? Потому что так принято. Среди них, среди папуасов, принято. Что вы кричите? Он, может, и сам понимает, что простой, в полосочку, красивее, а нельзя, нужно, чтоб с обезьяной. Так и здесь — правильно или неправильно, а уж если принято — всё...

— Юрка, подожди! — страстно воскликнула Таня Кузнецова. Девочки были, конечно, приглашены и сидели тут же. — Виктор Васильевич, дайте мне слово...

— Я же не кончил, — запротестовал Юрка.

— Всё равно! — отмахнулась от него Таня. — Ты всё равно не о том говоришь. Я так скажу: самый большой обыватель у вас, мальчики, если уж вы хотите знать, — это Володя Никитин...

— Ты иди сюда, — звал её Виктор Васильевич. — Говори отсюда!..

Таня, ещё раз отмахнувшись, на этот раз от Ушакова, неожиданно села.

— Я сказала уже...

Видно было, что дискуссия ещё не нащупала своего русла — она разворачивалась медленно, неуверенно. Анатолий Лукич начал нервничать и раздражаться не на шутку.

— Готовили вы в конце концов этот диспут или нет?

— Видно, такая твоя судьба, Женя, — вздохнул Виктор Васильевич. — Лезь, занимай трибуну...

На трибуну Женя так и не пошёл, как-то вовсе забыл про неё.

— Говорил здесь Лицкевич, что обыватель — это прежде всего эгоист, — начал он, обычным нерешительным движением оправляя у пояса куртку. — Живёт за счёт общества и думает прежде всего о своём удобстве. А мы? Вы посмотрите, посмотрите, как мы сейчас живём. Ничего для школы не делаем, обо всяких комсомольских обязанностях забыли, с утра до вечера повторяем только одно: нужно учиться. Учиться или

отметки получать, это ведь большая разница. Для чего мы учимся — для медали? Если девять лет не учиться, а на десятый взяться, за что, за какие красивые глаза обязаны тебе давать медаль?..

— Сокол, не ври, а как же в прошлом году получали?

— Мне нет дела, — надменно сказал Женя, — как получали медали в прошлом году. Я говорю, как надо...

— «Как надо»? Мало ли, как надо...

— Я о чём говорю? Лёня тут всё правильно сказал, только у него так всё гладко получается: вот Чехов написал, вот Калинин сказал, вот Горький... Вот у Горького, предположим, Клим Самгин — обыватель. Ну, а сами-то, сами-то мы кто? Если человек, ну, ничего не хочет видеть дальше собственного носа, ничего знать не желает, лишь бы его не трогали, оставили в покое, — обыватель он? Ещё какой! Я, дескать, по литературе, по физике, по химии ответил — и всё, с меня взятки гладки, потом ещё на собрании немножечко, сколько нужно поговорил...

— Молодец Женя! — негромко сказал Виктор Васильевич.

— И всё, и больше ничего от меня не требуется, я теперь, предположим, с девочкой пойду гулять, — Женька мучительно вспыхнул, так как без смущения не мог говорить на все эти темы, — может, с одной и той же сегодня и завтра, а может, сегодня с одной, а завтра с другой — обыватель, как известно, только о своём удовольствии думает...

С той стороны, где обычно сидели приглашённые девочки, раздался в тишине удивлённый, задумчивый голос:

— А ведь это верно, Женя...

Женька всем телом обернулся на голос.

— Конечно, верно! Верно же... И всю жизнь так, понимаете, всю жизнь, во всём. Неважно, какое дело выбрать, какой институт — лишь бы вообще какой-нибудь институт, в институте жизнь ещё лет пять не тронет. Честное слово, некоторые так и рассуждают, только вслух не говорят, конечно. Лишь бы поспокойнее было, поденежнее, почище. И на работе потом так же — я своё положенное отсидел, с меня опять-таки взятки гладки. Этакие чиновнички, не хуже гоголевских...

— Хватил!

— А неверно? Ты поспорь, поспорь, пожалуйста...

Что-то уже произошло в зале: ряды словно сдвинулись, лица ребят как будто слились в одно — умное, задумчивое, очень живое. Анатолий Лукич с каким-то странным беспокойством ощутил вдруг, что уйдя он сейчас — и никто этого не заметит, что самое его присутствие ничего решительно тут не значит. Он издал короткий гмыкающий звук, словно собираясь и от себя лично что-то сказать.

— Женя, помнишь, — сказала вдруг Валя, перебила Женьку так, как сделала бы это в непринуждённой, дружеской, с глазу на глаз беседе — она и встать-то забыла, — помнишь, шли мы с диспута в прошлом году? Володя ещё тогда сказал: до того, что человек думает и чувствует, никому никакого дела нет, важно, чтоб он только говорил, как нужно. Самое обывательское рассуждение, верно?

— А с девочками вообще ни о чём говорить нельзя, — взорвался вдруг Володя. — Очень жалею, что говорил. Сами такие мешанки узколобые, а туда же, лезут, рассуждают! Лучше бы они про свои вопросники рассказали. Вопросники проводят: «Кто твой идеал?» Было это? Было. «Что такое любовь?», «Кто тебе больше нравится — блондины или брюнеты?»

— Неправда, неправда, — запротестовали девочки.

— Как это неправда? Мне Туся сама говорила: «Брюнеты более страстные, зато блондины нежнее...» Разобралась! Туся, говорила ты это?

— А вы вообще никого, кроме Туси, не видите...

— Видим! Туся, говорила ты это или не говорила?

— При чём тут Туся! — вскочил вдруг Алик. — При чём тут вообще девочки, давайте о ребятах говорить, — почти взмолился он, невольным жестом протягивая вперёд руки. — Ребята в последнее время, в самом деле, идиотами стали какими-то, ни с кем по-человечески говорить нельзя. Как с ума сошли: пластинки, галстуки, блюзы. Как вылезут из своей зубрёжки, так и начинают стилиять — они, видите ли, взрослые, им, видите ли, развлечься необходимо. Ни на что путное у них времени нет!

Вскочил и Владик Пелевин.

— Правильно, Алька! Ребята, вы вспомните, как Виктор Васильевич нас учил...

— Виктор Васильевич учил, браво! — криво усмехнулся Анатолий Лукич.

Ушаков, не поворачивая головы, покосился на него.

— Что ж тут плохого?

— Тогда, когда мы «Ионьча» проходили. Виктор Васильевич нам тогда говорил: Ионьча обывательщина засосала потому, что он безыдейный, потому что у него в жизни никакой большой цели нет. Вот он и спасовал. Правильно, Виктор Васильевич? Я вот думаю: может, у нас этой самой идейности и не хватает, а? — Владик, сам ошеломлённый своим выводом, испуганно заморгал.

В зале поддержали его:

— Правильно!

— Если я захочу поцеловать девушку, — возражая кому-то в рядах, сказал вдруг Алик, сказал запальчиво, громко, громче, чем, очевидно, рассчитывал, — я её и так поцелую, мне для этого в «бутылочку» играть не надо.

Ребята засмеялись, может быть, потому, что сказал это именно Алик.

— Прекратите споры, крик какой-то, — поморщился Анатолий Лукич.

— Здорово разошлись! — согласился Ушаков. Неохотно постучал карандашиком по столу: — Кто просит ещё слова?

Опять вскочил Юрка Шнырёв.

— Какое там слово, — заглывая от возмущения воздух, заговорил он. — Сокол вечно говорит, что мы себя коллективу противопоставляем. Какому коллективу, где он? Никакого коллектива нет.

— Хотели создать, — рассердился Женька. — Вечер для этого организовали. Стали вы работать после вечера? Не стали!..

— Хорошо тебе, — пожаловался Бес. — Ты, небось, Барона играл, а я что? Звук организовывал? Сидел весь вечер в радиоузле, как идиот...

Ребята опять засмеялись.

Таня выкрикнула непримиримо:

— Володя у вас главную роль играл, а всё равно он эгоист и обыватель...

— Нет, это в конце концов невозможно. Была бы мальчишкой — давно бы морду набил...

— Это ты можешь!..

— Да прекратите вы этот крик! — Анатолий Лукич двинул стулом. — Просто безобразие!..

— Здорово! — словно не расслышав, отозвался Ушаков. — Наш Никитин, смотрите, пятнами уже пошёл...

— Нет, ты скажи, что ты понимаешь под словом «обыватель»?

— Говорили уже!

— Нет, скажи ты. Скажи, если лезешь...

— Пожалуйста! Человек, которому все идеи на свете безразличны, лишь бы самому было хорошо. Демагог — тот же, обыватель!..

Виктор Васильевич восхищённо мотнул головой:

— Молодец черноглазая!..

Кто-то несмело предложил:

— Пусть Виктор Васильевич скажет...

— Виктор Васильевич скажет, не бойтесь, — отмахнулся Ушаков. — Вы скажите...

Женя вдруг опять вскочил, бледнея от злости.

— Всё ждёте, что для вас кто-то сделает, всё только критикуете...

А коллектив мы всё-таки создадим!..

— Правильно!..

Володя тоже вскочил, тоже бледный и злой.

— Сидите, кудахчете: ко-ко-ко-коллектив, ко-ко-ко-коллектив!.. Вот он и несётся вам, ждите...

Кругом захохотали.

— А как ты сидишь — ты его высидишь?

— Я хоть молчу. Меня, правда, тут демагогом называли...

— Ты и сейчас демагог...

— Тьфу!..

Лёня Лицкевич подал голос:

— Виктор Васильевич нам говорит всегда: коллектив складывается вокруг общего дела. Вы лучше подскажите, какое нам ещё общее дело сделать.

— Что тебе тут — комсомольское собрание?

— А не всё равно?

— Нам в этом году на медаль надо тянуть, какие ещё тут дела!..

Все опять захохотали: «Высказался!» Смеялись молодо, с удовольствием, тем самым весёлым, добрым и вместе с тем уничтожающим смехом, ради которого и стоило затеять весь сегодняшний диспут. Таня торжествующе кричала: «Вот он, ваш Володечка, — весь как на ладони...»

Анатолий Лукич понял во всём этом только одно: необходимо срочно вмешаться.

— Чему вы смеётесь? — поднялся он. — Каких вы ещё особых дел требуете? Ваше первое дело — учёба, поступление в институт, Никитин тут совершенно правильно поставил вопрос. Этого дела вам за глаза хватит, об этом и надо думать — как учиться получше...

Тяжёлое недоуменное молчание было ему ответом, смех нехотя замирал. Потом опять раздалось несколько голосов одновременно:

— Пусть Виктор Васильевич скажет...

Виктор Васильевич встал, помедлил:

— А я, ребята, ничего другого и не скажу: надо учиться...

— А ещё?

— И ещё — учиться. Только ведь учиться по-разному можно, так? И цель перед собой ставить разную. Вы посмотрите, например, как учится Алик Мирзоянц...

Ну, как учился Алик Мирзоянц — это все знали: очень честно. И жадно — словно всё на свете нужно было ему наизнанку вывернуть. На Алика с уважением оглядывались, тот с сердитым видом спрятался за плечи товарищей.

— И посмотрите, как учится тот же Володя Никитин...

При одном взгляде на Володю все опять засмеялись — тот сидел с безнадёжным видом подавленного житейскими превратностями человека. Виктор Васильевич тоже засмеялся.

— Этот целый день в суете — по математике ему нужно обязательно «пять», по литературе — «пять», по химии — знает он ту химию или не знает — по химии опять-таки «пять». Ничего он, кроме этих своих отметок, не видит, словно в мешок тёмный зашили человека. Книжку хорошую почитать? Некогда. Да и не нужно — «пять» и по одному только учебнику можно схватить. Спортом заняться? Некогда. Да и зачем — физкультура в аттестате не учитывается, так ведь? На кружок с ребятами...

тами пойти, вместе, дружно провести, скажем, выходной день? Куда там, некогда! Мечется парень, локтями всех толкает. Лезет до удобного местечка в жизни, как одержимый, лезет...

— Виктор Васильевич!

— Товарищ на дороге случится — товарища оттолкнёт, ловчить будет, изворачиваться, лишь бы пробиться. Кто-нибудь под ноги ему упадёт — он и не заметит...

— Откуда вы знаете?

— Молчи, знаю.— Виктор Васильевич уже не улыбался.— Всё только на одном сосредоточено: правдами, неправдами, достоин того или недостойн — выбиться на самые первые места в жизни. Отсюда вот всё начинается — со школьной скамьи...

Ребята смотрели на Виктора Васильевича с сосредоточенной суровостью.

— Мне одно выступление очень понравилось сегодня,— продолжал Ушаков.

Ему осторожно подсказали:

— Соколова?

— И Соколова. Я не его сейчас имею в виду.

— Чьё же? Танино? Алика Мирзоянца?

— Нет, нет. Владика Пелевина. Как ты, Владик, сказал — идейности у вас не хватает? Верно, не хватает, именно её-то и не хватает, боевой, комсомольской идейности. Вот — Корецкий тут выступал. Простодушный человек наш Корецкий...— Ребята с облегчением засмеялись.— Подождите смеяться. Жора тут говорил: идеал человека в любви, в красоте. Вы спросите, что Жора понимает в этой самой любви? Кого он любил — по-настоящему, сильно, как многие из нас? Что он понимает под красотой? Может, он эллинское искусство предпочитает итальянскому Возрождению или, может, Бетховена — Глинке? Весь его идеал красоты — пиджачок, полубаки, штиблеты на рубчатой резине. Я говорю — простодушный человек наш Корецкий, весь на виду, а сколько среди вас, комсомольцев, скрытых Корецких живёт? У них одно на уме — разделаться поскорей со всей этой «прозой жизни», на уроке словчить, в порученном деле скалтурить, на собрании как-нибудь отсидеть, а там живи в своё удовольствие, чёрт тебе не брат, ни до кого никакого дела нет. Весёлая жизнь! Танцулечки, лёгкий флирт — на всё это ни ума не надо, ни душевных качеств каких-нибудь. Как говорится, было бы на что шляпу надеть. Что смеётесь, неправду я говорю? Мы говорим — учиться. Приносить пользу обществу — этому ведь тоже учиться надо, учиться здесь, в школе, сейчас, а не через двадцать лет. Что такое комсомол? Организация, которая учит молодёжь общественному поведению. Вы, между прочим, «Разгром» Фадеева помните, чем он кончается?

— Левинсон едет с бойцами...

— Нет, раньше. Помните, Мечика и Морозку посылают в разведку?

— Да.

— Мечик едет впереди, Морозка сзади, так? Мечик видит белогвардейцев — что он делает? Кидается в сторону, чтоб спасти свою жизнь. Всех предаёт — Морозку, товарищей, весь отряд. Потом Морозка видит белогвардейцев — что делает Морозка?

— Стреляет вверх.

— Стреляет вверх, чтоб предупредить товарищей. И погибает. Почему так по-разному повели себя эти люди? Оба ведь не имели времени обдумать, взвесить свои поступки, оба в одинаковых обстоятельствах действовали почти инстинктивно. Почти! Жизнь потребовала от них молниеносного решения — и каждый повёл себя так, как привык поступать в течение всей своей жизни. Каждый из них почти механически сработал, если можно так сказать. У одного самым главным в течение всей его

жизни было собственное «я» — и в решительную минуту он позаботился прежде всего о себе. Другой всю жизнь не отделял себя от своих товарищей, о товарищах он прежде всего и подумал. Один был до мозга костей индивидуалист, обыватель; другой — настоящий человек, борец, коллективист. Вот ведь что оказалось в решительную-то минуту: оказалось, что ничего мелкого, неважного, ничего случайного в жизни нет...

Горький сказал как-то: не всегда важно, что говорят, но всегда важно, как говорят. В школе, где со всех сторон смотрят чистые, выскателные, всё на свете замечающие глаза, где ты словно наизнанку вывернут со всем, что там есть в тебе хорошего и дурного, действует и другой, беспощадный закон: всегда важно, кто именно говорит. Анатолий Лукич смотрел исподлобья в битком набитый зал, на обращённые к Ушакову серьёзные молодые лица. Он твёрдо знал одно: работать с Ушаковым он больше не может. Не может, и всё! Он не отдавал себе отчёта в том, откуда в нём это чувство, но чувствовал именно так: от него, от директора, зависит теперь принять меры, возможно более действенные, возможно более решительные — не могут они вдвоём работать!..

У школьного крыльца, всё ещё продолжая спорить, ребята нетерпеливо дожидались Виктора Васильевича: ещё очень много вопросов следовало немедленно разрешить. Женька и Лёня нападали на Абрама, Генка Борисов, снисходительно посмеиваясь, оттащивал то от одной группки, то от другой вконец расхोлившегося Юрку Шнырёва, Таня мёртвой хваткой вцепилась в Володю. Никто не торопился уходить — собственно, всё, что происходило только что в зале, оказалось вынесенным сюда, в тёмный и узкий московский переулок. Особенно нетерпеливо ждали Виктора Васильевича Владик Пелевин и Алик Мирзоянц, их обоих во время диспута озарила гениальная идея — просто гениальная! — ею, конечно же, надо было срочно поделиться: почему бы на зимних каникулах не двинуть всем классом в Ленинград?..

Виктор Васильевич с крыльца оглядел шумную толпу весело и смущённо.

— Что тут у вас — демонстрация мощи и силы?

— Виктор Васильевич!

Алик, как и другие, рванулся было к Виктору Васильевичу, в это время кто-то потянул его за рукав.

— Алик, — грустно сказала Туся — это была она. — Мне очень нужно с тобой поговорить...

Что было делать! Алик наспех изложил Пелевину все свои дополнительные соображения насчёт Ленинграда и, зябко поёживаясь, отошёл вместе с Тусей в сторону. Она тут же взяла его под руку.

— Алик, — начала она, — я так переживаю...

Ещё бы не переживать! Если бы Алика Мирзоянца кто-нибудь обозвал мещанином, он бы... Впрочем, Алик этого даже представить себе не мог.

— Знаешь, — непримиримо сказал он, — по-моему, ты всё-таки сама виновата...

Не виновата она! Никто даже приблизительно не представляет, как мало она виновата. Никто её не любит, друзей у неё нет, девочки — те только завистничают, как всегда, мама... Почему родители считают себя вправе вмешиваться в чужую личную жизнь? Никого у неё нет, никого, а ей так хотелось бы быть хорошей...

Алик покосился на её свеженькое печальное личико, на беспомощно расширенные кроткие-кроткие глаза.

— Кто тебе сказал, что ты плохая?

— Так ведь говорят!..

В общем, ей ничего не осталось, как покончить с собой, — об этом она и хотела посоветоваться... Туся выразительно умолкла, Алик неловко прижал к себе её руку. Он был тронут, потрясён оказанным ему доверием, душа его ширилась от жалости и сочувствия. Как можно думать о смерти, когда такая уйма дел на свете! Столько ещё нерешённых проблем, человечество, можно сказать, только-только ходит начинает. Она же очень способная — Алик чуть не сказал «способная девушка», но почему-то смутился и слова «девушка» так и не сказал, — ну да, он знает о том, что она способная, ему об этом Сокол говорил. Она такую пользу может принести обществу (Туся легонько вздохнула: она мечтает принести пользу, но что делать, если у неё ничего не выходит!), надо только немножко потерпеть, кончить институт, начать зарабатывать самой — и никакой зависимости ни от кого, колоссально!

— Раньше можно, — неожиданно остановился он. — Подумаешь, деньги! Ты бы видела, как мы живём втроём на папину зарплату. Тебе на Катьку нашу посмотреть, как она выкручивается...

Катька — это, оказывается, сестрёнка Алика. Ах, Катя Мирзоянц из седьмого, кажется, класса, как интересно! Туся промолчала. Какой всё-таки хороший мальчик, этот Алик, — так всё принимает к сердцу!

А Алик, между тем, говорил вещи, которые никогда и никому не говорил, — о том, как умирала мама. Нужно было спасти другого человека, и Алик щедро выкладывал всё: какая это безобразная, и жуткая, и непоправимая штука — смерть! Алику, в сущности, было сейчас даже хорошо: всегда приятно делиться тем, что имеешь. Туся шла молча, тяжело опираясь на его руку, и изредка вздыхала. Ей тоже было очень хорошо сейчас: не каждый день, согласитесь, вас так горячо, так искренне, так убедительно уговаривают жить!..

29

Статья, которую писал как-то Виктор Васильевич, помещена была в «Литературной газете», и, так как учителя не часто выступают в центральной печати, в школу на имя Ушакова то и дело приходили теперь письма от читателей, ему звонили из каких-то редакций, в самом школьном коллективе иные побаивались его, иные искренне уважали. С ним нельзя было не считаться — это безусловно учитывал Анатолий Лукич, когда позвонил Варваре Павловне и почтительно просил её при первой возможности заглянуть в школу. Варвара Павловна отвечала, что зайдёт сегодня же.

Что он скажет? Пожалуется на подрыв его, директорского, авторитета? Скажет о разложении коллектива, о нездоровой популярности Ушакова? Не может он больше работать с Ушаковым, вот и всё! Впрочем, демагогия была несомненна, несомненен либерализм Ушакова по отношению к ученикам, дешёвое панибратство.

Этого и на самый снисходительный взгляд оказалось достаточным. Варвара Павловна понимающе поджала губы.

— Может, сначала пройдемся к нему на урок?

Вышли из кабинета. Какой-то запыхавшийся паренёк, пробегая мимо, ошеломлённо сдёрнул шапку.

— Виктора Васильевича не видали?

Варвара Павловна и Анатолий Лукич переглянулись.

— Вернись, — сухо сказал Анатолий Лукич. — Пройди снова и поздоровайся как полагается с нашим гостем, инспектором роно...

Паренёк вернулся, даже не пытаясь скрыть принуждённость свою и досаду, добросовестно проделал всё, что от него требовалось: прижал руки к карманам брюк, подчёркнуто склонил голову. Едва отойдя, стремглав бросился вверх по лестнице.

— Ребята, Виктора не видали?

Пока Чечевичный и Чулкова поднимались по лестнице, пока, рассыпая выговоры и замечания, добрались до десятого «Б», урок уже начался. Ученики шумно встали. Виктор Васильевич с нескрываемым неудовольствием обернулся к вошедшим.

— Ничего, пожалуйста...

— Вы нас извините!..

По тому, как, шкодливо улыбаясь, переглянулись ребята, как растерянно заморгал нависший над тесной своей партией Юрка Шнырёв, по тому, как затянулось неловкое молчание, без труда можно было понять, что прерван разговор хоть и интересный, но в достаточной мере интимный.

— Тема урока? — холодно осведомилась Варвара Павловна.

Виктор Васильевич ответил не сразу и как-то странно:

— По плану «Поднятая целина»...

— Что у вас — опрос? Пожалуйста, продолжайте.

В выжидательно устремлённом на Виктора Васильевича Юркином взгляде были сейчас и растерянность, и бездна сочувствия, и едва уловимая издёвка младшего над попавшим впросак старшим.

— Что же ты? — спокойно поторопил его Виктор Васильевич. — Слушаю тебя, Юра, продолжай...

Надо было немедленно посадить Юрку. Всё-таки это был Юрка Шнырёв, а не какой-нибудь безобидный, бережно взлелеянный папой и мамой, вполне благопристойный Бес; тот самый Юрка Шнырёв, которого при одном лишь приближении инспектора надо начисто изолировать, в стену замуровывать, что ли, чтобы не мельтешил перед глазами с этим вздрагивающим петушиным хвостом и всем своим кротким, невинным, издевающимся видом. Виктор Васильевич только челюстями шевельнул: угодно светлейшему начальству заглянуть в благословенные учительские будни — пожалуйста!

— Продолжай, Шнырёв.

Опросом в классе, видимо, и не пахло, а если и был спрос, то ещё неизвестно, кто и кого тут призывал к ответу. Тон у Юрки был, во всяком случае, весьма агрессивным.

— А Сталинскую премию получал он три раза...

— Два!

— Всё равно — книга ерундовская. — Разговор явно шёл не о «Поднятой целине». — Я читать не мог, тошнило. В самом деле, почему так получается: в книжке одно, а в жизни другое? Я у дяди в колхозе был этим летом: там колхозники три года ничего по трудовням не получают. Представляете? А ведь уже семь лет прошло с войны! Вот о чём надо писать! Там в половине деревни в избах пусто. Надо писать, почему так получается, или не надо? Надо! А писатели вместо этого слюни распускают. — Юрка обожал всякие такие не слишком эстетические слова. — Разносятся, наболтают сиропа, читать противно. Нет, вы скажите мне, я серьёзно спрашиваю: почему они правды не пишут?

— Пишут. Иногда, — деловито уточнил Алик: Алик любил справедливость.

— Спасибо — иногда! Я всегда хочу читать правду. Нам в жизнь идти, — продолжал Юрка совсем не так искренне, как начал, бесстыдно напирая на чувствительнейшие струны учительского сердца, — нам в жизнь идти, должны мы знать жизнь или не должны? Нам, может, бороться придётся, а они нас разоружают...

Этого разоружишь! Виктор Васильевич смотрел на своих ребят и на того же неловкого, длинноногого Юрку — когда Юрка так вот, опираясь о крышку, поднимался в своей парте, парта была ему чуть выше колен, —

смотрел на ребят со странным чувством, очень похожим на нежность. Они и в самом деле вступали в жизнь — сложную, полную противоречий, вовсе не лёгкую, им и в самом деле предстояло бороться. Что он должен был им отвечать? Промолчать, уклониться? А тут ещё чёрт принёс этих недоброжелательных и — Виктор Васильевич чувствовал это — враждебных ему людей. У Варвары Павловны вид лично оскорблённого человека, на постном лице Анатолия Лукича, трудолюбиво склонившегося над блокнотом, только одно выражение: такова неприятная моя обязанность — нравится это кому-нибудь или не нравится, — я просто вынужден всё, что здесь говорится, подробнейшим образом записать...

— Что вам сказать, ребята? (В самом деле, что им сказать?) Я готов согласиться с вами, что то направление, которое обнаружилось в литературе последних лет, по меньшей мере тревожно. Нужны, конечно, книги, говорящие о лучших сторонах нашей жизни, но нужны и книги, честно обличающие всё, что у нас ещё есть плохого. Не правда ли, ребята? Недостатков ведь много, мы это и по себе знаем. Художник описывает жизнь, а в жизни существует и хорошее и плохое, и передовое и отсталое — в противоречиях, в сложности, в борьбе...

— А зачем за такие вот сиропные книжки Сталинские премии дают?

Виктор Васильевич развёл руками.

— Этого не знаю. Я бы лично за такие книжки не давал премий — вас это устраивает?

Ребята охотно поддержали шутку:

— Ещё бы!

— А теперь, может, вернёмся к теме сегодняшнего урока, к «Поднятой целине»? Кстати, к Шолохову, надеюсь, у вас нет претензий?

— К Шолохову нет.

— Ещё есть вопросы?

Вопросы, конечно, были — не стоило их и спрашивать об этом, — и, конечно, опять у Юрки. Опять Юрка заколыхался над партией, как спелый колос над межей.

— А как же всё-таки, Виктор Васильевич, с колхозами, с трудоднями?

— Но это действительно уже не литературный вопрос, — помедлив, отвечал Виктор Васильевич. — Никуда я от вас не денусь, на перемене поговорим. «Поднятая целина», ребята. Спрашиваю характеристику Давыдова. Порываев!

А теперь он вызвал Порываева — очень грациозно! Виктор Васильевич горько усмехнулся. Можно было вызвать Лёню Лицкевича, Женю Соколова, Алика Мирзоянца — кто на его месте не поступил бы именно так? Кирилл Порываев будет сейчас канителить, мямлить, тянуть kota за хвост. Очень добросовестный, очень настойчивый парень, но такой медлительный, такой тяжёлый на подъём, так трудно складывает слова, будто громоздкие брёвна подкатывает одно к другому! И, как никого другого, очень хочется обычно его поощрить: набрал человек силу после того «февральского пленума» и так упорно, так ровно шагает с тех пор, и поощрение, кстати, как ни на кого другого, очень хорошо на него действует. Виктор Васильевич всё наперёд знает, у него заранее оскомины во рту: натянутая отметка, заигрывание с ребятами, недопустимый либерализм... Сказать бы в ответ какое-нибудь этакое мужское слово!..

Кирилл начал неожиданно:

— Давыдов был очень хороший коммунист. Вот почему: он любил правду...

Виктор Васильевич весело и насторожённо поднял одну бровь, разом забыв о Варваре Павловне и о директорском блокноте.

— А ну, ну?..

— Мне кажется так: для коммуниста главное — правда. Иначе с людьми работать нельзя, люди всё видят... Вот, например, Давыдов!..

Кирилл рассказывал о литературном герое так, словно был знаком с ним лично, говорил с ним за чашкой чая о том о сём, обо всяких его делах. Из учебника взял он совсем немного, несколько общих мест, быстро оттолкнулся от них, опять заговорил по-своему. Потом снова сказал, основательно и веско:

— Я, Виктор Васильевич, думаю так...

На этот раз он подумал о том, что Давыдов — тёплый, душевный человек и именно потому, особенно потому, оказывает на окружающих такое большое влияние.

— Потому что если от сердца человек говорит, куда это идёт? К сердцу!

Ребята похитрее злоупотребляли обычно словами «я, Виктор Васильевич, думаю так», зная, что к этим словам Виктор Васильевич испытывает безграничную нежность. Но Кирилл не был человеком хитрым. Серьёзно и добросовестно он делал то, что из урока в урок требовал от него учитель: он в самом деле думал. Думал нелегко, медленно, словно сквозь бурелом прокладывая собственную дорогу. Виктор Васильевич сиял, легонько подмигивал ребятам, те отвечали ему счастливыми, понимающими улыбками.

— Молодец! — сказал наконец Виктор Васильевич. — Молодец, Кирилл, очень хорошо, пять...

Кирилл пошёл на место, пожимая на ходу протянутые ему навстречу руки, провожаемый добродушным смешком и одобрительными восклицаниями. «Ребята, милые друзья ребята, и влетит же нам всем сейчас!..»

К искреннему удивлению Виктора Васильевича, ему вовсе не влетело. Суд удалился на совещание, не дав обвиняемому ни слова сказать в свою защиту, не выслушав ни одного свидетельского показания, удалился величаво и холодно, с подчёркнутым отчуждением притворив за собой дверь. Виктор Васильевич смотрел через головы ребят: может, начальство всё же оглянется? Может, хотя бы знак подаст, что ждёт, дескать, в учительской или в коридоре?

Столпившиеся вокруг Виктора Васильевича ребята настойчиво и нетерпеливо ждали продолжения всех заинтересовавшего разговора, вовсе не литературного — о колхозах. Юрка Шнырёв, ложась на плечи впереди стоящих, смотрел на Виктора Васильевича преданно и любовно — этому Юрке и в голову не приходило, что он только что загубил человека!..

«Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо» — тревожно и бодро выстукивают колёса. Без конца, без отдыха, чуть спотыкаясь на стыках. «Хорошо, хорошо, очень хорошо, хорошо...» Покачивается над головой Виктора Васильевича откиннутая с полки рука Владика Пелевина — больше всех сегодня шумел, хохотал, дурачился, но зато и уснул, как под воду ушёл, сразу. Откуда-то настойчиво ползёт шепоток — это, конечно, опять Таня Кузнецова и Женька Соколов запутались во всяких этих мировых проблемах. Пойти бы и разогнать, но очень («очень, очень, очень...») спать хочется...

Легко было решить когда-то «едем в Ленинград», а вот какво уехать! Как поедут такие, как Алик, Кирилл Порываев, Женя Соколов? Деньги решили зарабатывать, где только возможно, — решили это увлечённо,

дружно, не задумываясь. Деляги и пижоны, словно кто тронул их волшебной палочкой, как-то очень просто превратились в тех, кем и всегда были,— в непосредственных, готовых ко всему ребят: нанимались счищать снег с улиц, разгружали по предложению какой-то организации асфальтовые плиты, утильсырьё собирали. Время от времени Юрка Шнырёв, или Бесёнок, или Владик Пелевин, или ещё кто-нибудь врывается в класс с восторженным сообщением: «А на доске объявлений вывесили: работа по соглашению...» «А в конторе напротив грузчики нужны...» Саша Саламатин в таких случаях расправлял могучие свои плечи: «Что ж, прошвырнёмся...» Даже Саша Саламатин увлёкся, и его проняло! Лёня Лицкевич предлагал задумчиво: «Филиалу Художественного театра рабочие сцены нужны — может, пойдём, найёмся? У нас опыт есть...»

Ребята всегда ребята — была бы увлекательная перспектива, было бы дело! Виктор Васильевич стал понемногу успокаиваться после посещения тринадцатой школы: постановка «На дне», последний диспут, на котором так славно посмеялись над всем, что было в классе плохого, эта вот кровью и потом достающаяся поездка — всё это, следующее одно за другим, не могло не давать результатов. Дмитрий Назарович делает своё дело, он, Ушаков, по мере сил,— своё: школе нужно и то и другое. Если бы они работали в одной школе!..

Выехали в Ленинград в первый же день зимних каникул, первого января; почтовый поезд едва тащился, словно и он всю эту новогоднюю ночь прогулял. На вокзал пришли провожать Алик Мирзоянц и Туся. Ехать со всеми Тусю не пустила мама, а Алика, видимо, не пустила Туся. К сожалению, Виктору Васильевичу пришлось это в голову слишком поздно, только здесь, на платформе, когда он увидел их вместе, продрогших от сквозного ветра и грустных. До этого он ничего не понимал: Алик был одним из инициаторов поездки, первый брался за любую работу, потом, когда всё самое трудное уже осталось позади, начал вдруг отказываться с непонятным упорством. Очень досадно: когда-то у Алика будут средства, чтобы позволить себе посмотреть Ленинград!

Не поехал Жора Корецкий — никого это особенно не огорчило. Не поехал Володя Никитин. Сказал, что знает Ленинград, как свои пять пальцев, что в Ленинграде у него дядя, что поедет он к дяде летом — летом интереснее, а на зимние каникулы у него свои планы. Вольному воля!

Зато поехало человек десять девочек. Очень возражала против их поездки Глафира Григорьевна; Вале Звонковой, например, Глафира Григорьевна так и сказала со всей присущей ей завидной прямолинейностью: «Никаких поездок, вы там переженитесь все!» На родительском собрании возмущалась:

— Наши девицы очень взвинчены приглашением семнадцатой школы. Имейте в виду, у них одни романы на уме, к мероприятиям в нашей школе они равнодушны...

Тусина мама горячо поддержала её:

— Очень верно! Какие-то интересы вне школы, прогулки до часу ночи, секреты — я своей дочери не узнаю...

Алина Андреевна сидела на собрании раскрасневшаяся, оскорблённая, чуть не плача от бессильной обиды: спорить и ссориться она не умела. Кто дал право так говорить о её девочке! Едва получив слово, она довольно нервно заверила директора школы, что её дочь — это, между прочим, её дочь, и куда она отправит свою дочь на каникулы, никого не касается...

— Ну, и пожалуйста!

— Пожалуйста!..

Всё это осталось позади. Целый день в поезде играли в шарады, в фанты, рассказывали всякие истории. Как-то неожиданно решили, что никаких этих так называемых романов быть не должно, «чтоб индюшка утёрлась», так пояснили они друг другу. Кто там знает, кого они называли «индюшкой»!..

Конечно, песни пели:

Здравствуй, будем знакомы,
Дай мне руку, незнакомый спутник мой...

Виктор Васильевич смущённо улыбался: он ни одной песни толком не знал, приходилось довольствоваться невразумительным мычанием. Пробовал взять реванш на песнях собственной юности, ребята к его археологическим изысканиям отнеслись довольно холодно: все эти «моряк, красивый сам собою» и «сыпь, Семёновна» казались им чем-то таким же далёким, как Витьке Ушакову когда-то песня о Ваньке-ключнике или о Хаз-Булате. Знаменитых «Кирпичиков» они вовсе никогда не слышали, а мотив «Златых гор» был им знаком лишь по легкомысленнейшей, неизвестно кем сочинённой песне «Отелло — мавр венецианский» — тень этого мавра они тут же с энтузиазмом потревожили.

С увлечением то и дело возвращались к одной, особенно полюбившейся песенке; Владик Пелевин, с байковым одеялом, картинно переброшенным через одно плечо, лихо подмигивая задерживающимся в проходе пассажирам, дирижировал со второй полки:

Оттого-то, синьорита, оттого-то
Для любви закрыто сердце Дон-Кихота.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля; ля-ля-ля-ля-ля...

Было довольно поздно, когда Виктор Васильевич, спохватившись, разогнал всех по местам. Как будто это так легко — урезонить ребят, если колёса исподволь поют и поют свою радостную, тревожную песню!..

Виктор Васильевич снова встаёт, снова идёт по вагону. Так и есть: шепчутся Женька и Таня. Лежат на одной полке, отжавшись к краям её, подперев подбородки кулаками, смотрят в чёрное стекло, в котором блестят, отражаясь, только собственные их носы, и, отвлекшись от решения какой-то математической задачи (исписанные листы бумаги валяются тут же), тихо о чём-то беседуют.

— Женья, у тебя своей полки нет?

Женья поворачивается мягким движением.

— Не хочется спать, Виктор Васильевич. Вам Достоевский нравится?

— Новое дело! Должен я иметь мнение о нём в первом часу ночи!..

— Танька вот имеет.

— Ненавижу! — радостно откликается Таня.

Надо понимать: разговор с подтекстом. Это всё та же песенка колёс: «Хорошо, очень хорошо, хорошо, прекрасно...»

— Иди, — говорит Виктор Васильевич, — ляг на свою полку и слонов считай, что ли... Не мешай спать людям.

— Спать не хочется!..

На одном из столиков, крайнем в купе, лежит тетрадь: в неё каждый записывает всё, что захочет. За столиком поглядывает в чёрное окно Гена Борисов.

— Дежури, орёл?

— Служу, Виктор Васильевич, Советскому Союзу.

Первые страницы общего дневника. «Сейчас на станции Бологое наблюдал очаровательную картину (так и написано — «очаровательную»): за последним вагоном в красном свете фонаря вихрем неслись снежинки,

было таинственно, тихо...» — это отвёл свою лирическую душу Лёня Лицкевич.

«В соседнем купе едет... поп! Всю дорогу охмурял каких-то тёток (ага, это из лексикона Юрки Шнырёва!), они ему прямо в рот смотрели. Мы хотели с ним поспорить, что бога нет, а Виктор Васильевич не позволил. Зря. Выходит, что поп может агитировать, а мы, значит, не можем?»

«Таня — плохая подруга. От самого Калинина решает с Женькой какие-то задачи — подумаешь, великие математики! — а на меня никакого внимания не обращает. И спать не дают своей болтовнёй. Виктор Васильевич, разгоните их!» — это, конечно, Валя не выдержала, нажаловалась.

Внизу, под этой записью, размашистая, на полстраницы, резолюция Юрки Шнырёва:

«Романов быть не должно!..»

В Ленинград приехали ранним утром, ещё при фонарях. С трудом разыскали туристскую базу. Там долго не открывали, а когда открыли наконец, предложили немедленно идти в баню и до обеда ложиться спать. Ребята глядели трагически, робкие вздохи их раздирали сердце.

— Сбежать бы, Виктор Васильевич?..

Пребывание в Ленинграде с того и началось: они сбежали. Притихшие, взволнованные, шли и шли по огромному городу, зябко просыпающемуся в это туманное утро. Что у них было сейчас? Только глаза и ноги. Только жадное стремление обежать, обойти, оглядеть, вобрать в себя возможно больше, так вот, с первого же раза, проникнуть в самую душу города, который большинство из них видело впервые. Удивительный город! Вот, например, Невский проспект — вся русская литература прошла по его тротуарам. Мосты, набережные, в обе стороны растворяются улицы — в них тоже не терпится свернуть. Не выдержишь, завернёшь в какой-нибудь занесённый снегом переулок — там свои чудеса: мостик с грифонами, или чугунная ограда, или на целый квартал протянувшийся строгой красоты фасад. И нет сил остановиться, и уже вовсе не знаешь, куда идти, только обязательно глубже и глубже, идти и заранее знать, что дальше будет ещё красивее, спешить к перекрёсткам, взбегать на крутые, горбатые мостики, ненадолго прикипать к парапетам. И узнавать. Узнавать, потому что город этот и незнакомый совсем и очень, очень знакомый. Узнать вдруг каменных львов, дремотно глядящих на широкую площадь. Узнать и заиндевшую громаду Исаакия, и плывущий в небе шпиль Адмиралтейства, и взлетевшего ввысь всадника на гранитной глыбе. Узнать морзную Неву, и хрупкие издали роstralные колонны на другом берегу её, и давно-давно знакомую с этой своей колокольной, плоскую и неприступную, как скалистый остров, прямо из реки поднимающуюся Петропавловку. Сколько мужественных, прекрасных людей, обламывая ногти о решётку, пытались взглянуть оттуда, из её казематов, не на реку, нет, и не на этот вот дворец, а в такое же, как сейчас, пустое и тусклое небо!..

Долго, задумавшись, стояли на Дворцовой площади. Отсюда когда-то деды их, люди позпрошлого поколения, с криком вырывались на площадь — вот из-под этой арки. Огибали эту колонну, карабкались вот на эту решётку. Каким затаившимся и злобным, каким ошетилившимся был тогда этот нарядный, похожий на коробку из-под духов, кружевной и воздушный растреллевский дворец. Отсюда всё началось — с этой вымощенной чёрными торцами площади; ради одного этого стоило приехать сюда — чтобы так вот, молча постоять здесь, придерживая отлетающие полы пальто, глядя, как завиваются вокруг Александрийского столпа снежные вихри.

Владик Пелевин, который не переносил никаких затянувшихся переживаний, начал вкрадчиво и всё более отчётливо, всё более увлечённо:

— Какие женщины, какие мужья? Связался с дурнями!..

Не обходилось и без неприятностей. Однажды в Музее обороны Ленинграда Саша Саламатин удивлённо сказал: «Музей называется — нечего смотреть! «На этой доске мы резали хлебушек» — досок мы никогда не видали!» Рядом случился Женья Соколов, ничего не ответил, только глянул бешено. А позднее, когда уже вышли из музея, спокойно и деловито — так, во всяком случае, казалось со стороны — ударил Саламатина по лицу. Сашка помедлил, переминаясь с ноги на ногу и словно в один кулак собирая всю свою впечатляющую мускулатуру, потом как-то нехотя ударил Женьку. Женька отлетел в сторону, разбил себе лицо о водосточную трубу, долго сморкался кровью и был, как и подобает настоящему герою, значителен и немножко печален. С Сашкой же Саламатиным дня три никто не разговаривал, пока тот не взмолился:

— Ладно вам! Чумовой я, что ли?

— А если ты не понимаешь?

— Понял, ладно...

— И про доску понял?

— И про доску.

— Смотри!..

В другой раз Юрка Шнырёв задрался во Дворце пионеров с ленинградскими десятиклассниками. Друг его и покровитель Гена Борисов с трудом вытащил Юрку из не по-хорошему заинтересованной толпы, Юра отбивался от Генки.

— А чего они хвастаются — Ленинград такой, Ленинград сякой. Москва тоже хороший город, так мы же не хвастаемся. Ходят — заспиртованные какие-то... — Почему ленинградцы ходят заспиртованные, Юрка так и не мог объяснить толком, как и многое другое, что он, явно не для печати, наговорил в полемическом задоре...

В третий раз такой всегда ровный и доброжелательно спокойный Гена Борисов, усомнившись, видимо, не страдает ли в глазах девочек его мужественность и взрослость от вечного хождения «за ручку», никому ни слова не сказав, утащил Эльку, а также Юрку с Таней на сногшибательную, как он пообещал, заграничную кинокартину.

— Это вместо редакции «Современника»! — расстраивался Виктор Васильевич. — Честное слово, папуасы!

Картина оказалась скучной, ребята и в самом деле жалели, что ушли, но на турбазу, тем не менее, вернулись с независимым видом — они ни минуты не сомневались, что всем им теперь не сносить головы. Одна только Элька, кошечка, всё пыталась попасться Виктору Васильевичу на глаза и при этом трогательно вздыхала.

— Как это получается нехорошо — сделаешь, а потом жалеешь, жалеешь...

— А ты не подлизывайся-ка, — мирно посоветовал ей Ушаков.

Он всех их словно бы вовсе не замечал. Генка не выдержал наконец, пришёл к Виктору Васильевичу брать вину на себя. Виктор Васильевич взглянул удручённо в открытое, доброе Генкино лицо:

— Кудряшки понравились, да? Девчата, между прочим, не очень это ценят: чтоб из-за них парень какие-то там колени выкидывал. Ты меня спроси, я в этом тоже кое-что понимаю...

Виктор Васильевич чувствовал одно: именно это и требуется от него — быть рядом с ребятами и немного впереди. Вот, кажется, и всё, вот и вся его так называемая педагогика. Просто жить рядом, во всё вмешиваясь, всему давая свою оценку. И ещё одно он чувствовал: счастье. Это было такое большое счастье, что порой напоминало несчастье, потому что Виктору Васильевичу то и дело казалось, что вот именно теперь он и должен что-то такое особенное сделать и что-то такое сказать. Что сказать, что сделать? И Виктору Васильевичу очень хотелось тогда, совсем

по-мальчишески, чтобы кто-нибудь подошёл к нему и спокойненько предложил: умри, Виктор! Умри, чтобы ребята эти выросли здоровыми и счастливыми, настоящими людьми. А он бы взял — и умер.

31

Тусе жизнь положительно не удавалась. Прежде всего исчез дядя Ляля. Исчез он как-то неожиданно — в последний раз, когда Туся видела его в ЦДРИ, на просмотре итальянского фильма, он не выпускал её руки из своей, а потом, уже проводив до дому, всё норовил поцеловать её в губы. Вот и всё, дяде Ляле надоело, видно, возиться со школьницей и недотрогой.

Не то чтобы Туся очень скучала по нему, но ей как-то сразу стало нечем себя занять; жизнь Туси меркла, теряла всякий смысл, когда она не чувствовала на себе влюблённых взглядов. Когда таким образом из жизни ушли безвозвратно две или три недели, Туся узнала в бюро справок адрес дяди Ляли. Чувствуя себя то ли девушкой неотразимо передовых и широких взглядов, то ли просто девчонкой-дурой, бесстыдно бегающей за знакомыми мужчинами, то нерешительно замедляя шаг, то, наоборот, нервно ускоряя его, Туся пошла к дяде Ляле на квартиру. Опять-таки не то чтобы ей очень хотелось этого, но нужно же было приостановить бесплодно уходящие дни. «Ничего особенного тут нет, — уверяла подруга её Аллочка. — Сейчас многие так делают. Мы девушки послевоенной формации, запомни, милая...»

Адрес указан был абсолютно правильно: на медной дощечке около звонка были отчётливо выгравированы имя, отчество, фамилия дяди Ляли. Тем не менее худая, раздражительная женщина, открывшая Тусе, подозрительно оглядев её с ног до головы, сообщила, что человек этот здесь в настоящее время не живёт. Где же он живёт? Таким, как Туся, лучше знать — так, во всяком случае, эта женщина полагает...

Туся, прижимая муфточку к пылающим щекам, бегом спускалась по лестнице. Не хочет она быть девушкой послевоенной формации, не хочет и не может, хоть ты её режь. И никакого ей дяди Ляли не нужно. Она не очень удивилась, когда несколько дней спустя случайно вычитала в «Вечёрке», что снимается фильм «Два капитана». Там была названа фамилия сценариста — к фильму «Два капитана» дядя Ляля не имел, оказывается, ни малейшего отношения.

Вот каковы они, взрослые люди! Не бог знает как весело было и дома. Дядю Лёшу с основной его работы то ли сняли, то ли он сам ушёл; дядя Лёша, как сам он объяснял, ждал более высокого назначения, перемещения, так сказать, — перемещение это странным образом затягивалось. Что-то случилось, как дядя Лёша выражался, «наверху» — какое-то время дядя Лёша не мог представлять от лица всей русской литературы и кричать на собраниях «безобразие» и «долой», кричать так громко, чтобы гражданское негодование его было оценено президиумом. Поэтому дядя Лёша из дома почти не выходил, к письменному столу вот уже больше месяца вовсе не присаживался, а только, шлёпая туфлями, слонялся из комнаты в комнату, вспугивая маминих полуодетых заказчиц. С обычным своим неприступным, значительным видом, самодовольно выпятив нижнюю губу и посапывая, надолго углублялся в толстый, иллюстрированный труд «Красота женского тела» — книга эта издавна хранилась в дяди-Лёшином шкафу, в самом дальнем углу его, на нижней полке; предполагалось, что Туся о существовании этой книги ничего не знает. На все упреки Валерии Николаевны дядя Лёша отвечал, что надо же в конце концов человеку сосредоточиться, что он не конъюнктурщик какой-нибудь, чтобы так вот, сразу, повернуться на сто восемьдесят градусов и что-то такое по чужой указке писать, и вообще, если уж ей так хочется знать,

она, голубушка, ещё дешево отделалась: у других мужа — так же вот, за здорово живёшь — вовсе заплатились партийным билетом.

В доме громадную роль стал играть телефон — дядя Лёша простаивал возле него часами, с грохотом провёртывая диск и швыряя телефонную трубку. Дядя Лёша склонен был под всё, что с ним лично произошло, подводить жёсткую политическую базу, и голос его накалялся, креп, обличал. Собеседника он называл «товарищ Иванов», или «товарищ Сидоров», или вовсе «дорогой товарищ», и «дорогой товарищ» на том конце телефонного провода съёживался, вероятно, как нашкодивший мальчишка. Или же, наоборот, дядя Лёша не собирался придавать случившемуся ни малейшего значения. Александр Арсентьевич (или Борис Михайлович, или какой-то там Павел Фомич), уважаемый Александр Арсентьевич сам знает, как это бывает обычно, — мелкое недоброжелательство, мышьяная возня, сведение, так сказать, личных счётов... Голос дяди Лёши звучал при этом так вкрадчиво, так бережно, так проникновенно — Туся никогда не предполагала даже, что дядя Лёша может с кем бы то ни было так говорить. Как Туся ненавидела этот голос! Оторвавшись от уроков, она жадно прислушивалась к малейшим его оттенкам, она торжествовала, упивалась им, сжимая перо побелевшими от напряжения пальцами. Как она ненавидела этого человека!..

А мама!.. Разве с мамой можно о чём-нибудь говорить? Валерия Николаевна горделиво замкнулась — дочери она почти вовсе не замечала, дядю Лёшу не удостаивала ни единым доверительным словом — ей, оскорблённой в лучших чувствах, пришлось взвалить на себя всю материальную ответственность за семью. Швейная машинка её в эти дни стучала, не умолкая, как-то особенно — мстительно и ожесточённо. Обед Валерия Николаевна подавала с таким видом, словно бросала на стол окровавленный кусок собственного сердца, о вине или о пирожных к чаю не могло быть и речи, гости не приходили. Кстати, Валерия Николаевна недвусмысленно заявила, что спустит с лестницы первого же, кто покажется на пороге, — все эти дяди-Лёшины приятели были, как она, впрочем, и с самого начала предполагала, просто бездельники и мерзавцы, готовые за грош продать порядочного человека.

Душу Валерия Николаевна отводила только со своими заказчицами — с ними заводила она разговоры о том, как трудно теперь найти приличное место, такое, знаете, чтобы и положение было, и белый хлеб к столу, и маслице, и чтобы, конечно, оставалось какое-то время для себя — она всё-таки немолодой человек и, видите, семейный... Валерия Николаевна вздыхала: приходится искать работу, да, да... Всё это говорилось достаточно громко и со значительным поглядыванием в сторону дяди-Лёшиной двери — дядя Лёша ни на одну секунду не должен был забывать, в какое ужасное положение её поставил...

Короче говоря, когда Туся жаловалась Алику, что никому нет до неё никакого дела, она была не так уж далека от истины. Подействовали на неё в тот вечер не слова, не уверения Алика, а его чуть задыхающийся, искренний голос. Всё шло по-прежнему, всё было хорошо, и жизнь имела какой-то смысл, пока Туся кому-то нравилась, пока в неё влюблялись.

А что Алик влюблён, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. На худой конец мог сойти и он с этими своими вечно взлохмаченными волосами и умоляющим выражением горячих, беспокойных глаз. Кто говорит — конечно, он был скучнее Жени! Он робко открывал входную дверь — сколько ни бывал Алик у Огарышевых, он всё не мог превозмочь нелепую свою застенчивость, — а войдя и раздевшись наконец, надолго приникал к приёмнику. Туся, смеясь, с досадой оттаскивала его: непонятно, зачем, собственно, он сюда приходит — радио слушать? Но и затиснутый в девичью её комнатку — уже и дверь была притворена, и Туся, лукаво выжидая, садилась рядом этаким умницей, хорошей девочкой, —

Алик не становился ни развязнее, ни интереснее: тёр между коленями ладони и молчал. Или говорил об этой своей квантовой механике, как там она называется, о тоннеле Москва — Владивосток, о небывалых скоростях — больших, чем скорость света. Туся откровенно позёвывала, слушала рассеянно, отвечала невпопад. Однажды специально к приходу Алика Туся надела гранатовый кулон, подаренный ей дядей Лялей, — она казалась себе такой милой, такой хорошенькой в этот вечер. Алик насмешливо покосился на кулон.

— Что это ты нацепила?

Женя никогда бы так не сказал: Женя был деликатнее, мягче. Женя никогда не поступил бы с ней так, не обманул бы её, как дядя Ляля. Женя, Женя... Мама как-то сказала «телёночек»... Никакой Женя не телёночек, теперь Туся это доподлинно знает!..

Тем не менее, когда все собирались в Ленинград, и Алик, сияющий, воодушевлённый, готов был рвануться вместе со всеми, Туся не пустила его.

— Не хочу я ничего объяснять, — капризно говорила она. — Но если ты уедешь в Ленинград, между нами всё будет кончено, понимаешь, всё! Езжай, пожалуйста...

Больше всего действовало на Алика это слово «всё» — значит, что-то между ними всё-таки было!.. В конце концов Туся была совершенно права — она оставалась одна. Как он даже помыслить мог, чтобы так вот её бросить!..

Бедные ребята, они всей душой были с «ленинградцами»! Их разговоры стали задушевнее, оживлённее. «А сейчас они, наверное, в Эрмитаже — как ты думаешь? Да?» «А сегодня в Петропавловке...» Алик вздыхал: «Я бы прежде всего пошёл в Ломоносовский музей. Говорят, там весь кабинет его сохранён, всё, как было... Ты была в Ломоносовском музее?» В Ломоносовском музее Туся не была, но увлечённо рассказывала, какой Ленинград красивый город, — она гостила там как-то недели две, — и моряки ходят по улицам, чувствуется, что это настоящий морской порт, не то что Москва, и какая там чудесная кондитерская «Норд» — «представляешь, на самом Невском!..»

А потом на имя Алика пришла та самая открытка — Алик показал её Тусе: «Женщины ходят за нами толпами, мужья плачут...» Тусю убедили не глупые слова, конечно, а весь этот легкомысленный, хвастливый тон — она вдруг отчётливо почувствовала, что Женя потерял её безвозвратно. Ничего не поможет — разве только Алик как-то убедит его, поговорит...

— Женя — лучший мой друг, — строго оборвал Алик несвязную её речь. — Ни о чём я не буду говорить. Это и так очень плохо, что я с тобой, — нехорошо, нечестно...

Вот и этот неизвестно зачем принципиальничает — каждый задаётся перед нею, кому не лень!..

— Уходи, — сквозь слёзы сказала Туся. — Очень нужно! Я плохая, вы все, выходит, хорошие — подумаешь, уходи!..

— Никуда я не уйду, — опустив голову, упрямо сказал Алик.

Между тем «ленинградцев» девятого ждали обратно. В последний вечер — уже и железнодорожные билеты были на руках — Виктора Васильевича внезапно вызвали к местному начальству и вежливо, но твёрдо попросили объяснить, почему шефствующее над семнадцатой школой министерство до сих пор не перевело в Ленинград деньги: какую-то часть туристских путёвок оплачивали шефы. Недоразумение кое-как разъяснилось, вернее, должно было разъясниться на месте, в Москве, — с тем Виктора Васильевича мирно и отпустили. На туристской базе его окружили встревоженные необычным вызовом ребята.

— Что случилось, Виктор Васильевич?

Виктор Васильевич махнул рукой.

— Денег нет, представьте...

В общем, дело такое: денег из Москвы до сих пор нет, ленинградское начальство билеты их арестовало, придётся сидеть здесь, пока деньги всё-таки не придут, — Виктор Васильевич смотрел на ребят так озабоченно и удручённо, что они в конце концов всей этой ерунде поверили.

— Вы, Виктор Васильевич, главное, не волнуйтесь, — деловито сказал Женя Соколов. — Я пойду в горсовет и узнаю: может, какую-нибудь работу дадут?

— Жить-то пока чем? — сомневался Виктор Васильевич. — Пить, есть всё-таки надо...

— Ребята, — поднялся Владик Пелевин — все они тесно сидели вокруг Виктора Васильевича на койках, — ребята, объявляю ополчение шестьсот двенадцатого года. Жертвую золотой нательный крест! — И с лёгким наигрышем, как и всё, что он делал, отстегнул с руки и бросил перед Виктором Васильевичем на одеяло гордость свою, подарок отца, часы. — Жертвуйте, братцы, спасайте родное отечество...

Ребята хохотали, ликующе колотили друг друга по плечам — кто мог предполагать, что судьба приготовит им ещё и такой великолепный подарок! Охотно выворачивали карманы, полезли по чемаданам. Генка Борисов, конфузливо высыпав в жменю папиросы, положил перед Виктором Васильевичем портсигар. Часы, часы, фотоаппарат, ещё часы, сложенная четверо заветная сторублёвка... Лёня Лицкевич сомневался: «Можно мою шапку продать, она почти совсем новая? Большое дело холод — шарфом обвяжусь...» Кирилл Порываев застенчиво сунул в общую кучу авто-ручку и смятую пятёрку: «Больше, ребята, нет ничего, вот только...»

Юрка Шнырёв, между тем, вися на спинке кровати, заглядывал в грустное лицо Виктора Васильевича хитрющими глазами и, не смея верить, настойчиво выспрашивал:

— Врёте, Виктор Васильевич, да? Или, извиняюсь, обманываете?..

— Так, между прочим, с преподавателями не говорят.

— Шутите, да? Признайтесь, что шутите...

Виктор Васильевич и сам уже был не рад, что шутка его зашла так далеко. Опасливо покосился на ребят, неохотно сказал:

— Шучу, ладно.

Горестный вопль был ему ответом:

— Видите!..

С каким убитым видом разбирали они назад свои сокровища! Виктор Васильевич смотрел на них соболезнующе, потом, не иначе, как повинувшись наитию свыше, сказал, сделав самое свирепое лицо, на какое только был способен:

— По случаю последнего вечера романы разрешены!..

— Ура!..

Они опять хохотали, милые дурни! Виктор Васильевич и не пытался скрывать этого своего пренебрежительного к ним отношения.

— Что, папуасы, опять в кино пойдёте?

— Да уж куда-нибудь пойдём...

Генка доверительно улыбнулся.

— Так — неинтересно, смысла не имеет, Виктор Васильевич...

Подлетела раскрасневшаяся, счастливая Валя Звонкова. Женька нерешительно мялся за её спиной.

— Нет, серьёзно, романы разрешены?

— Разрешены, идите!..

Как давно они не были вдвоём — вечность! Всё на людях, на людях... Женька берёт лёгкую, послушную руку Вали, и они идут, идут — идут по

освещённому, оживлённому Невскому, мимо взметнувшихся над Фонтанкой коней, мимо чёрной птицей распластавшегося на снегу Казанского собора. Кружным путём выходят к хмурому Инженерному замку с его решётками и старинными рвами. Говорить, оказывается, вовсе не о чем, но так вот идти и молчать тоже приятно.

— А вот это,— вспоминает Валя,— та самая Канавка, где Лиза поджидала Германа...

Они долго стоят и смотрят вниз, на тёмную, подёрнутую салом воду. Валя стряхивает снежинки с Женькиного рукава. В этом нет необходимости, снежинки всё равно падают снова, но она делает это серьёзно и старательно, и Женя тоже очень серьёзно смотрит, что она проделывает с его рукавом. Потом Валя говорит:

— Женя!

— Что?

Валя молчит. Тихо улыбается и не говорит ни слова. Потом опять, осторожнее, едва слышно:

— Женя...

— Слушаю.

— Женя, ты не смейся только — я стихи написала.

— Хорошие?

— Откуда я знаю? Ты только не смейся.

— Прочти.

— Что ты! Это о тебе стихи.

Оба молчат.

— Валя, — говорит наконец Женя. — Ты прочти всё-таки...

— Только ты не смотри на меня. Совсем не смотри, хорошо?

Женя не смотрит — он честно глядит вниз, на тёмные промоины в тонком льду. Валя словно и не читает, а тихо, мягко жалуется кому-то, сама улыбаясь собственной слабости:

В тебя, мой милый, в такого хорошего,
Сердце взяло и влюбилось непрощенно.
Любится сердцу, а мне-то легко ли?
Кричать я порою готова от боли.
Кремлёвские стены и те задрожали бы,
Услышав от сердца идущие жалобы:
«Граждане, где продаются, не видели,
К сердцу любимого путеводители?..»

И опять они молчат. На Женькин взгляд, это очень хорошие стихи, он польщён и тронут тем, что хорошая девушка посвятила ему такие стихи. Кажется, в таких случаях полагается целовать руку?

— Валя,— тихо говорит он,— но я тебя, в самом деле, очень люблю...

В жесте, которым Валя медленно и ненужно поправляет Женьке воротник, отчуждённая нежность и грусть: и он и она прекрасно понимают, что это совсем не то «люблю», которого она ждёт. С затаённой грустью смотрит Валя в Женькино лицо, на его губы — они так близко сейчас, но такие они спокойные, такие далёкие-далёкие. Женя осторожно предлагает:

— Пойдём?

И они опять идут — мимо Эрмитажа, мимо Зимнего дворца, мимо Адмиралтейства, в последний раз по всем полюбившимся местам, — идут, ни о чём не разговаривая, никуда не торопясь, до краёв переполненные сознанием своей большой человеческой близости. Что это — всё, что происходит сейчас между ними,— счастье или, наоборот, несчастье, почему обним им так хорошо?

Валя, чуть прижимая к себе Женькину руку, опять читает стихи — уже другие. Она осмелела, она читает громко, не таясь, — никто не подслушает их в ночном обезлюдившем городе, — читает торжественно: в восемнадцать лет твёрдо знаешь то, в чём будешь сомневаться позднее, — что любовь преодолагает всё. Стихи влетают в зимний пейзаж прекрасного города, вступают под заиндевшие ветви, чётко вышагивают по тротуару вдоль тёмных холодных стен:

Все человечьи радости, муки все человечьи
Связать бы в единый узел, взвалить бы себе на плечи...

Никогда Женька не видел Валу такой — с таким выражением решимости на милом лице, с таким нестерпимым сиянием вовсе не детских, счастливых глаз...

Часы над Гостиным двором показывают без четверти четыре, когда Женя и Валя вспоминают наконец, что нужно вернуться на базу. Тут уже не до лирики — попробуйте-ка вернуться на базу в такой час!

Дверь против ожидания открыта. Крадучись, пытаются они миновать спящего сторожа, и вдруг оказывается, что это вовсе не сторож, а заснувший у самых дверей Виктор Васильевич. Виктор Васильевич встаёт, потягивается и вдруг обращает на ребят тот предельной чистоты и прозрачности взгляд, какой бывает у людей, ещё ничего толком со сна не понимающих.

— Зачем вы это делаете? — расстраивается Женька.

— Я же к тебе не лезу, — кротко возражает Виктор Васильевич. — Или лезу? Что ты ко мне прицепился?

Он запирает дверь и тяжело поднимается вслед за ними по лестнице. Он совсем спит, спит на ходу так искренне, так бесповоротно, что это хуже всяких упреков, и Женя с Валеи не помнят уже, как добираются до своих коек.

А ровно через сутки:

Как крепка на небе солнца позолота,
Так верна любовь и дружба Дон-Кихота,
Ля-ля-ля-ля-ля-ля; ля-ля-ля-ля-ля...

Вот они стоят все, построившись, у высокого крыльца собственной школы — Виктор Васильевич приказа строить не давал, это, так сказать, собственная инициатива. Тёмный переулок безлюден и тих, темна громада обычно освещённого и оживлённого здания — они никогда не видели его в такой час.

— Товарищ главнокомандующий! — торопится вдоль шеренги Женя Соколов. — Смешанная команда шестнадцатой и семнадцатой школ в составе двадцати девяти человек построена. В Москву прибыли благополучно, потерь нет, настроение — лучше не надо!..

— Вольно!..

Виктор Васильевич поднимается на крыльцо. Может, именно теперь и настало время для тех перекипавших в душе, неясных, как музыка, слов? Молодые лица смотрят на него с ожиданием. Виктор Васильевич вздохнул:

— Что же я вам скажу, ребята?

И вдруг все почувствовали, и Виктор Васильевич почувствовал это: никаких слов и не нужно. Ничего не нужно. Этот вот кусочек родной земли — спящий московский переулок, родная школа, куда ты был приведён ещё семилетним ребёнком, эта их дружба, завязавшаяся в её стенах, — всё это — большое, настоящее, всё это на всю жизнь. И тем хуже для тех, кто путает и мельчит, кто ничего, ничего решительно не понимает!..

Статья в «Школьном вестнике» в первую минуту ошеломила Виктора Васильевича — это был запоздалый отклик на его статью в «Литературке». «Автор не знает советской школы, советских детей, — писал некто Конево́й. — Странно, что подобного рода клеветнические измышления находят место в центральной печати».

Дальше приводились выдержки из статьи Ушакова: «Словесная система воспитывает людей недеятельных, непрактичных, легко теряющихся перед трудностями... не даёт возможности создать коллектив... воспитывает неуважение к словам и равнодушие к тому, что эти слова выражают...» «Где, — возмущённо восклицал Конево́й, — где автор нашёл всему этому примеры? В то время как наша школа задыхается от множества неотложнейших задач (каковы конкретно эти задачи, Конево́й в своей статье так и не указывал), выступления, подобные выступлению Ушакова, дезориентируют нашу общественность...» «Болтовнёй о словесном воспитании, — заканчивал он, — прикрываются лишь неумелые и недобросовестные учителя, подменяющие демагогией серьёзную воспитательную работу...» От всей этой статьи Конево́го за версту разило нетерпимостью к малейшему критическому слову и столь ненавистной Ушакову безапелляционной косностью. «Что ж, — со вздохом подумал он, — драться так драться...»

А драка, кажется, и впрямь предстояла нешуточная. На первой же перемене увидел он статью Конево́го, вырезанную из газеты и прикреплённую кнопками к доске объявлений. Виктор Васильевич зашёл в учительскую и сразу же почувствовал, что все при появлении его замолчали, и увидел эту статью и то, что отдельные места в ней подчёркнуты красным карандашом, в том числе, кажется, и последний абзац — об учителях недобросовестных и неумелых. Виктор Васильевич подошёл к Зиночке, понимающе и сочувственно улыбнувшейся ему навстречу, и, посмеиваясь, пошучивая, проболтал с ней всю перемену, не слыша ни одного ни её, ни своего слова и чувствуя устремлённые со всех сторон взгляды. Драка дракой, конечно, но прежде всего нужно видеть противника — противник не подавал голоса.

На следующей перемене он опять заставил себя пойти в учительскую. У него было сколько угодно поводов туда не идти — ребята, как обычно, так и льнули к нему со всякими разговорами, — но он отмахнулся от всех и всё-таки пошёл. В учительской ещё никого не было. Косо взглянув на доску объявлений, Виктор Васильевич увидел рядом со статьёй Конево́го ещё что-то, не выдержал, подошёл — и кровь кинулась ему в лицо, а сердце ощутимо забилося: рядом со статьёй Конево́го висела его собственная статья. Кто-то вырезал её в своё время, сохранил в течение всех этих месяцев, подчёркнул наиболее убедительные строки и вот — повесил...

И опять все вели себя так, словно ничего не случилось. Кто повесил его статью — Зиночка? Он потихоньку спросил её об этом. Зиночка очень славно ответила: «К сожалению, не я...» Кто же тогда — Борис? Разве Борис способен на такое? Виктор Васильевич мысленно усмехнулся: товарищ он неплохой, но вечно оглядывается на вышестоящего дядю — вдруг этот дядя знает что-то такое, чего он, Лапшинский, не знает... Таисья Васильевна? Нет, и не Таисья Васильевна, конечно, это, как говорится, не её манера.

Теперь, войдя в учительскую, все прежде всего смотрели на доску объявлений. Две статьи по-прежнему висели рядом. К ним подходили, читали, молча отходили. Подошёл и молча отошёл Анатолий Лукич, ровно и бесстрастно, как всегда, заговорил с учителями об обследовании микрорайона.

Одного беглого взгляда на последней перемене было достаточно, чтобы увидеть — статья Виктора Васильевича болталась на одной кнопке: кто-то пытался снять её, но, видимо, не успел. Кто? Кто они, эти неуловимые враги, кто друзья? Кто этот Коневой, который никогда в жизни Виктора Васильевича не видел, ничего ровным счётом про него не знает, но одним росчерком учёного своего пера причислил его к учителям недобросовестным и неумелым?

Впрочем, кое-что сегодня так или иначе должно было разъясниться: предполагался педсовет. Виктор Васильевич давно ждал его — всё, что он передумал за эти месяцы, горело в нём, ему не терпелось всем этим поделиться. Кто из нас в конце концов имеет вкус к работе в одиночку? Что это за воспитательная работа такая — в одиночку? Самый талантливый преподаватель не сделает ничего или почти ничего, если не будет поддержан всей существующей в школе системой. Самый талантливый — Виктор Васильевич не себя имел в виду. Когда ему не хватало мастерства — а мастерства, по его глубокому убеждению, ему не хватало частенько, — он брал тем, что было заложено в нём с детства: негодованием честного, нормального человека против всякого зла. Он и сам знал, что всего этого слишком много в его работе: простого человеческого негодования, простого человеческого сочувствия, презрения и гнева, одобрения и любви. Ко всему этому он хотел ещё и учиться. Пусть товарищи скажут, в чём он прав, в чём, может быть, не прав. Люди, так и не пожелавшие сегодня себя назвать, вешавшие какие-то там статьи, снимавшие их, — как бы различны они ни были, здесь, в школе, они собрались для общего дела.

Короче говоря, уже после уроков Виктор Васильевич подошёл к Чечевичному и попросил его поставить в порядке обсуждения ещё один вопрос: некоторые выводы о работе с десятым «Б». Анатолий Лукич взглянул на Ушакова холодно и недоуменно. «Я на твоём месте сторел бы со стыда, — говорил этот взгляд, — если бы был ославлен на весь Советский Союз как преподаватель плохой, никуда не годный. А ты ещё смеешь претендовать на какие-то выводы!..»

— Со своими выводами вы можете выступить в прениях, — сдержанно ответил Анатолий Лукич.

Виктор Васильевич подумал и согласился:

— Пожалуй, вы правы. Я только, понимаете, боюсь не уложиться в регламент.

Анатолий Лукич пожал плечами: его изумляла человеческая наглость!..

Виктора Васильевича предупредили: сразу за основным докладчиком, за Таисьей Васильевной, слово взяла Лидия Фёдоровна — она заговорила именно о десятом «Б». С десятым «Б» она больше работать не может, всё! Их приучили разговаривать — Лидия Фёдоровна никого лично не упрекала, она только говорила «их приучили», — все они работают в литературном кружке, учат одну только литературу...

— Но у вас хорошая успеваемость, — напомнила Таисья Васильевна. Лидия Фёдоровна возмущилась:

— Хорошая успеваемость! Конечно, хорошая. Вы лучше спросите, чего это мне стоит. У меня одна эта математическая олимпиада вот где сидит, вот! (Математическая олимпиада сидела у Лидии Фёдоровны где-то между лопатками.) У меня восемь классов, столько тетрадей, а тут занимайся ещё неизвестно чем...

В общем, Лидии Фёдоровне работать мешали. Она опять-таки лично не упрекала никого, она только жаловалась, что ей мешают. Виктор Васильевич опустил голову. Началось! Он боялся потерять самообладание при мысли о том, что ничего этого не было бы и Лидии Фёдоровне никто до такой степени не мешал бы, если бы не вдохновляющая статья Конев-

вого. Не будет он об этом ничего говорить! Есть вопросы более важные, без решения их он задохнётся.

Фёдор Иванович — и тоже о десятом «Б»! По его мнению, классный руководитель авторитетен тогда, когда ребята хорошо себя ведут не только на его уроке, но всегда и всюду. Правильно! Бедные ребята, как они высидивают сорок пять минут у того же Фёдора Ивановича! На что железный народ учителя, тренированный, терпеливый, но и те начали малопомалу перешёптываться, занялись своими делами...

— Пусть уж каждый сам бережёт свой авторитет! — выкрикнула Зиночка.

Молодец Зиночка, умница, хороший человек, но не об этом, не об этом надо сейчас говорить!..

Так и есть, кинула камень в болото! Тяжело поднялась Людмила Иванова — этой-то что надо, она уже полгода не работает в его классе!..

Оказывается, Людмиле Ивановне всё надо — она давно и с тревогой наблюдает за тем, что делается в десятом «Б». Будут ли ребята слушать других учителей, кто вообще может работать в классе, где классный руководитель чуть не целуется с ребятами!..

— Работаем, ничего, — не выдержал, вступился Лапшинский. — На дисциплину, между прочим, не жалуемся...

— Умный, хороший класс, — поддержал его Давид Наумович. — Шумливый немножко...

— Видите, шумливый! Зато там классного руководителя каждый день чуть не на руках выносят из школы!..

— А вы добейтесь-ка этого, ну! — опять с задором выкрикнула Зиночка.

Виктор Васильевич взглянул на неё с упрёком: как вы все не понимаете, черти, — не во мне сегодня дело и вовсе не обо мне нужно сейчас говорить!..

Но чем дальше шёл педсовет, тем всё яснее становилось Виктору Васильевичу, что разговора о себе миновать не удастся — о себе в том самом мелком и непринципиальном смысле, в каком он всячески пытался этого разговора избежать. Десятый «Б» такой-то... Десятый «Б» такой и такой... Редко кто называл по имени виновника всех безобразий: «Виктор Васильевич, по-видимому, думает...» «Виктор Васильевич считает...» Виктор Васильевич криво усмехался: право, он не претендовал на подобную популярность! Ради него одного не стоило созывать педсовет, так ему кажется.

— Ради меня не стоило, мне так думается, созывать педсовет, — начал он возможно спокойнее.

В ответ кто-то бросил насмешливо, вызывающе:

— Вот именно!..

— Стойте, что у нас тут происходит? — насторожился Лапшинский. — Это всё начинает напоминать травлю...

«Борька, ай-ай, — изумился про себя Ушаков. — Кто такой Коневова, ты знаешь? Вот и я не знаю...»

— Человек работает вдумчиво, честно, — не желая замечать немого изумления товарища, продолжал Лапшинский. — Мы требуем, чтоб о работе его говорили уважительно и по-деловому...

— «Мы требуем!» — возмутился Анатолий Лукич. — Кто это «мы»? За такие слова, как «травля», вы ещё ответите, между прочим.

— Отвечу.

— Со своей стороны должен заметить, что сегодняшние сигналы очень тревожны, очень. Ушакову, видимо, придётся свою, как вы выразились, вдумчивую работу приспособить к нашим требованиям...

— Да к каким требованиям, каким? — запальчиво воскликнул Ушаков. С трудом сдержал раздражение, обиду, гнев: — Вы, надеюсь, разрешите мне продолжать?

— Продолжайте.

— Ради меня, повторяю, не стоило созывать педсовет. Я буду сейчас говорить о другом, неизмеримо более важном: о тех, ради кого мы и собрались здесь, — о ребятах...

Вот и всё — словно из душного помещения вышел на свежий воздух. Словно так вот вздохнул всей грудью, отворил с усилием дверь — и вышел. Многие переглянулись. Таисья Васильевна, молчавшая до тех пор с видом угрюмым и отчуждённым, откинулась на спинку стула, с облегчением сказала:

— Вот молодец!

— О наших ребятах, — настойчиво повторил Виктор Васильевич. — Понимаете, чем больше я сталкиваюсь с ними, тем больше убеждаюсь, что попросту никто до сих пор не занимался ими всерьёз..

«Никто до сих пор» — кажется, это прозвучало не слишком скромно, почему Таисья Васильевна снова нахмурилась, насторожилась? Семь бед — один ответ, ладно; вряд ли ему удастся сегодня как-то особенно выбирать выражения.

— Я приводил как-то слова Владимира Ильича: «учиться коммунизму». Без общественных обязанностей, без коллективных переживаний — как мы собираемся коммунизму учить? Как собираемся прививать им навыки общественного поведения? В школе они только уроки отсиживают кое-как, а дальше расходятся кто куда — по семьям, где тоже не всегда и не всё благополучно, по каким-то своим компаниям, где протекает вторая, истинная их жизнь, о которой мы ничего не знаем. Школа должна стать центром жизни школьника...

Кажется, об этом он уже говорил однажды. В прошлом году! Всё равно — он будет повторять и повторять одно и то же, пока не добьётся своего, как тот античный оратор, что упорно призывал к разрушению Карфагена...

— Знаете ли вы о том, что, когда в прошлом году мы выбирали председателя учкома, вопрос этот решался не столько у нас, как мы вправе были бы предполагать, сколько во дворе дома номер тридцать восемь? — Все невольно оглянулись на окно, за которым высился этот самый дом номер тридцать восемь, огромный, старый, из бывших так называемых доходных домов, — в нём жила едва ли не половина учеников семнадцатой школы. — Именно там, в его дворе, или под лестницей, или в котельной, складывается общественное мнение: что из наших школьных мероприятий поддержать, что послать, извиняюсь, к чёртовой бабушке. По всяким этим тёмным углам наши чистюли комсомольцы, между прочим, не ходят, им не до того. И мы не ходим. Туда всякие блатные элементы идут. Я настаиваю вот на чём: школа, такая, как она есть сейчас, — дырявый невод; мы упускаем ребят, упускаем. Что надо делать конкретно?

Вот сейчас он расскажет о Дмитрие Назаровиче. Ещё недавно Ушаков, может быть, и не ответил бы на вопрос, что надо делать конкретно, — сейчас он это себе более или менее представляет. И он рассказывает обо всём, что видел в тринадцатой школе. О том, как старый скромный учитель, ничем, казалось бы, и не интересующийся, кроме всяких технических и физических проблем, стал душой и организатором — и воспитателем! — огромного коллектива. О том, как охотно идут к нему люди: бывшие его ученики, учащиеся других школ...

— У такого учителя, — заключил Ушаков, — ребята лоботрясами и барчуками не вырастут, шалишь! И на улицу от него не уйдут, он их мёртвой хваткой держит. И если уж такой учитель делает что-то, если работает больше тебя, жаловаться не приходится, что он твой авторитет под-

рывает. Жалуйся не жалуйся, кричи не кричи, тут уже, как в атаке: кто вырвался вперёд, на того и равняйся...

Не прозвучала ли ненароком в словах его личная обида? Виктор Васильевич нерешительно замолчал: он не хотел этого. Анатолий Лукич воспользовался паузой, счёл своим долгом напомнить — не Ушакову, конечно, человеку, не способному считаться с элементарными требованиями, — но притихшей аудитории:

— Товарищи, регламент!

Кто-то выкрикнул:

— Пусть говорит!

— Пусть говорит, — подтвердила и Таисья Васильевна, сидевшая рядом с Чечевичным.

Анатолий Лукич принуждённо кивнул головой: кажется, ему придётся снять с себя ответственность за всё, что происходит в школе, только и всего...

— А сейчас я остановлюсь на опыте, неизмеримо более скромном, но, тем не менее, для меня лично очень поучительном: на собственном. — Виктор Васильевич неловко улыбнулся. — Видите ли, я только недавно понял, что работа воспитателя сводится по существу к одному — к непрерывному возбуждению общественного инстинкта. Непрерывному! Ничего не даёт единственная беседа с учеником — только личный пример, только собственная жизнь рядом с ним в течение ряда лет. Ничего не даёт только одно, пусть даже самое увлекательное, общее дело — только ряд дел, непрерывно следующих одно за другим. Никакой скуки — только общее увлечение, общая страсть, — никакого формализма!.. Только настойчивость и выдержка в доведении каждого дела до конца. Я вам расскажу, как мы жили с моими ребятами в течение этого года. Вам это интересно? Мы как-то вовсе утратили вкус к разговорам чисто профессиональным...

Его поддержали: очень интересно. Виктор Васильевич рассказал. Рассказал о прошлогоднем «февральском пленуме», о неправильном решении райкома ВЛКСМ, надолго сорвавшем его работу, обо всём, что было сделано в этом году. О поездке в Ленинград рассказал, о том, как деньги на неё зарабатывали. «Четыре тысячи четыреста восемнадцать рублей ноль пять копеек», — торжественно огласил Виктор Васильевич сумму заработка. Анатолий Лукич при этом нахмурился: он и не подозревал обо всех этих эксцессах! Рассказал о том, как наказали ребята в Ленинграде Сашу Саламатина, оскорбившего лучшие их чувства, о том, как Кирилл Порываев отдал коллективу последние свои пять рублей в трудную минуту...

Вот, оказывается, какие вещи происходят совсем рядом, в десятом «Б». Сейчас каждый из учителей мог бы рассказать и не менее интересные и не менее значительные факты. Учитель — он ведь живёт в непрерывной спешке, в непрерывной суете. Едва прозвонит звонок с уроков, учитель уже торопится дежурить по этажу. Звонок — опять на уроки, ещё звонок — опять дежурство. Тут чья-то мать пришла выяснять насчёт очередной двойки, тут завуч требует сводку посещаемости, тут надо срочно характеристики писать, а тут вдруг сообщают, что в классе драка, и надо спешить разобрать конфликт и утереть чью-то зарёванную сопливую рожицу — весь учительский день из мелочей. А солидная стопочка ребячьих дневников, а посещение квартир, а килограмма два-три очередных тетрадей? А дома — дом ведь тоже своего требует — и муж, и родители-старички, и, главное, собственные дети... Учителю некогда читать, некогда в кино сходить, некогда так вот, удовольствия ради, пройтись по улице — учителю думать некогда!

И вдруг один из них, Ушаков, говорит: вырвемся из всей этой суеты! Вырвемся, освободимся от её плена, сядем и подумаем вместе: в чём же

конечный смысл всей этой нашей работы? Учитель уже никуда не торопится, он заинтересован, он искренне благодарен такому вот Ушакову за то, что думается сейчас, вместе с ним, только о самом главном.

Потому и слушали сейчас Виктора Васильевича с таким вниманием, с таким интересом. А может быть, всё проще, может, гораздо проще? Когда тебе плохо, врагов сразу видно, они словно с цепи срываются, они злорадны и торопливы, а друзья — ты никогда не можешь их точно пересчитать, но они есть, они рядом; они уверены в тебе, поэтому неразговорчивы и скромны. Ты потому и любишь их, что они хорошие люди.

— Всё это не бог знает какая работа, — продолжал между тем Ушаков. — И наш литературно-драматический кружок, который, кстати, готовит сейчас новый вечер — по истории комсомола, — и наш диспут, и эта вот поездка — всё это не бог знает что. А вот если бы подобная работа была поддержана усилиями других педагогов! Если бы Давид Наумович, например, сказал: «А что, ребята, чем мы хуже тринадцатой школы? Давайте сами, ну, хотя бы такой же гидроузел соорудим...»

Давид Наумович откинулся назад и в испуге замахал руками. Виктор Васильевич с укоризной взглянул на него, засмеялся:

— Что вы, Давид Наумович, вы справитесь — вы же знающий человек... А Нина Владимировна организовала бы кружок переводчиков или кружок разговорного языка... Нина Владимировна, а? Или вечер какой-нибудь на немецком языке — что там в ваших методиках говорится? А Борис Борисович сказал бы ребятам: «Давайте...» — что? Борис, подсажи, я в химии не силен...

— Белок искусственный получим! — сказал Лапшинский и засмеялся.

Виктор Васильевич сделал вид, что шутки не понял.

— Сказал бы им: «Давайте, ребята, получим искусственный белок!» Организовал бы химическое общество, такое же, по примеру тринадцатой школы, человек на триста. Как я это твоё химическое общество вижу! В самом деле, Борис, чем ты хуже Дмитрия Назаровича: ты энергичнее, моложе. Раз в неделю поработать — ведь не убудет же тебя...

Все смотрели на Бориса Борисовича и смеялись. Он делал вид, что всё это его не касается ни капли, — опустив глаза и задумчиво подняв брови, поигрывал завалышеньким карандашиком. Думал он при этом приблизительно так: хитёр Виктор, ведь придётся, придётся что-нибудь подобное делать. Такая моя секретарская участь — надо людям пример подавать...

— А Федяев! — Федяев при этом весело подмигнул Виктору Васильевичу. — Это ведь золотой человек. Он может вместе с Зинаидой Алексеевной великолепный летний туристский лагерь организовать — где-нибудь километрах в ста от ближайшего населённого пункта, в лесу, на берегу реки, с комарами, с палатками, с еловыми лапами вместо матрацев, с подгоревшей на костре кашей. Федяев, что скажешь? А подготовку к этому лагерю развернуть бы уже сейчас — такую, знаете, грандиозную подготовку!.. Товарищи, взяли бы вместе, подожгли бы школу со всех четырёх сторон, а? Каких бы тогда полезных людей выпускала школа — знакомых не теоретически, а практически с любой отраслью человеческой деятельности, всесторонне развитых, свободно определяющих своё призвание... Кстати, это, кажется, и есть политехнизм?

— А учиться когда? — ревниво перебила его Лидия Фёдоровна.

— Вот тогда-то они и будут учиться!..

Анатолий Лукич беспокойно смотрел на оживившуюся, повеселевшую аудиторию: кто в конце концов ведёт педсовет? Не может он с Ушаковым работать!

— Вы кончили? — сухо осведомился он.

Танся Васильевна, не отводя глаз от Ушакова, тихо потрогала Анатолия Лукича за рукав.

— Таисья Васильевна, я решительно не понимаю вас...

— Ничего, ничего...

И действительно, задумавшийся было Ушаков тут же заговорил снова — медленно, очень искренне, как говорят о вещах, пришедших в голову впервые:

— Много значит всё-таки личность самого преподавателя, очень! Может быть, в этом процентов девяносто каждого дела. А мы все как-то устали в последнее время. Не берусь судить о причинах, только устали, факт. Может быть, от войны, может, ещё от чего-нибудь... Все слова до дырок протёрли, всё уже видели, ко всему привыкли. Думается, надо себя в руках держать. Эту свою усталость мы, хотим того или не хотим, ребятам передаём. А ребята ведь ни в чём не виноваты. Ничего они не пережили ещё, им только жить и жить, до этой нашей душевной усталости им никакого дела, между прочим, нет. И правильно. Они имеют право на всё то, что сами мы в юности получали. Им нужно, чтобы школа вела их в большую жизнь — вела бы умно, честно, не фальшивя, не лицемеря, ни на что не закрывая глаз. Им нужны руководители подтянутые, жизнерадостные, бодрые. Идейные, самоотверженные — такие, какие у нас когда-то были. Умеющие, кстати, дружить между собой — мне сегодня показалось, что мы уже вовсе дружить разучились...

Виктор Васильевич, весь во власти каких-то новых, ещё не высказанных мыслей, улыбнулся вдруг неожиданной, мягкой, немного виноватой улыбкой: «Извините, времени отнял много...» Медленно и тоже как-то неожиданно пошёл на место.

— Кто-нибудь будет ещё говорить? — спросил Анатолий Лукич.

Все молчали.

— Вот вам и второй доклад, — с лёгким юморком вздохнула Таисья Васильевна. — Какой будем обсуждать — мой или Ушакова?

33

Вот уже скоро год не может Женька забыть эту девочку. Он знает о ней очень много плохого — наверное, никто столько плохого о ней не знает, — и всё-таки сердце отзывается болью на самое мимолётное воспоминание о ней. Видно, так оно устроено, Женькино сердце, — привязывается однажды и на всю жизнь. К кому привязывается?..

Никто не поверит, что можно во встречном уличном потоке месяц за месяцем искать знакомый тёплый, лукавый взгляд, а столкнувшись наконец с Тусей — с Тусей, которая смеётся с подругами, ни о чём не помнит, конечно, ни о чём не жалеет, — столкнувшись с нею, упрямо отводить глаза и спешить дальше, не помня уже, куда и зачем спешить, и вполголоса повторять, повторять бессмысленные, жалкие, обидные для девушки слова. С кем она сейчас — с Аликом? Ревность, как известно, идёт впереди любви, ревность идёт и позади неё...

Отца Алика взяли в клинику, Алик сказал, кажется, что на какое-то исследование, и Женька пошёл ночевать к Мирзоянцам, хотя никакой особой нужды в этом не было. Катюшка спала, уткнув в стенку свой любопытный, вездесущий нос, а Женька с Аликом, лёжа на одной койке, в чём, кстати, тоже не было особой нужды, открыли совещание: давно и многое следовало им обсудить.

— Пойми, я ни за что не сказал бы тебе этого, — глухо говорил Женья, — если бы мне не было обидно за тебя. Ни за что, потому что ты всё равно мне не поверишь, ты подумаешь, что просто я ревную, как последний осёл...

— Не подумаю, Сокол!..

— Подумаешь! Подожди, ты не говори ничего. — Женья, видимо, сам не очень себе верил. Он помолчал, пытаясь требовательно и до конца

правдиво разобраться в собственной душе, что-то в ней непримиримо откинул, что-то утвердил. — Вот, — продолжал он наконец, — вот теперь будем разговаривать. Думаешь, она любит тебя, да? — Алик молчал. — Пойми, мне же обидно за тебя! Она посмеётся, и всё, а ты будешь переживать, что я, тебя не знаю! Никого она не любит, она неискренняя, ты мне поверь. Ничего в ней нет, только губки, глазки... — Говоря это, он вдруг отчётливо представил Тусю, с этими её радостными глазами, с выражением доверчивой готовности во всём существе, такой, какой она бывала иногда, ласковой и влюблённой, и опять ощутил острую боль. — Ты мне верь, — последним усилием повторил он, — так, как сейчас, я с тобой больше говорить не смогу, не буду...

Алик верил. Как он мог не верить Женьке — всё, что Женька пережил, он пережил у Алика на глазах! Он только пытался оправдать Тусю, подвести, так сказать, солидную философскую базу:

— Человека воспитывает его среда...

— Глупости, какая там среда! Учится, как и мы все, в советской школе...

— Ну и что ж, что учится! А воспитывает её всё-таки её среда...

В конце концов разговором оба были довольны: одному удалось подвести на время всякие личные соображения — это не всегда и не у всех получается, — другой скромно и с достоинством выступал в роли опасного, удачливого соперника — это, что там ни говори, приятно даже в самой крепкой, в самой искренней дружбе.

Вопрос, далеко не философский, так и вертелся у Женьки на языке, он стеснялся его задать. Потом спросил всё-таки:

— Ты целовался с Тусей?

Алику очень хотелось ответить «да», очень! Он помедлил и с трудом сказал правду:

— Нет.

Он покраснел в темноте: была одна попытка с его стороны, об этом лучше было не вспоминать... Хорошо, он скажет полную правду!

— Сокол, — решительно начал Алик, — Туся очень хотела, чтоб ты к ней вернулся...

Женька ответил не сразу, окрепшим, посветлевшим голосом:

— Мало ли кто чего хочет...

Койка была узкая, тесная; чтоб не упасть, приходилось поддерживать, почти обнимать друг друга. Это и разговору сообщало необычную бережность и интимность. Алик первый решился сказать то, о чём говорить между ними было не принято:

— Здорово всё-таки у нас с тобой получается...

— Да.

— Просто классически! Как у Земнухова и Арутюнянца...

Об этом тоже не следовало, может быть, говорить, но, честное слово, хорошо было бы пройти такое же испытание дружбы и верности, как молодоговардейцы! Попасты бы в такое положение, чтоб надо было жертвовать и рисковать, в такие же, например, условия борьбы и подполья!..

Алик вдруг удивился:

— А её бы в подпольную организацию не взяли, верно?

— Тусю бы не взяли. Я бы знаешь кого из девчонок взял? Вальку. Вот она настоящая, правда...

Очень хорошая была эта ночь — после неё, казалось, всё должно было перемениться. А всё осталось по-прежнему. По-прежнему Алик все свободные вечера просиживал у Туси, над её уроками, любовался её оживлённым, свежим, как цветок, лицом и радовался каждому нечаянному прикосновению. А наутро, пряча от Женьки невесёлые глаза, виновато оправдывался: «Люблю, ну...» И всё это по-прежнему мutilо, мutilо их дружбу...

Пашку Башилова приняли в комсомол. Пашка стоял перед членами комитета с обычным строптивым выражением тёмных немигающих глаз и только изредка поводил этими своими глазищами в сторону Женьки, как бы ожидая одобрения его и поддержки. Женька тут же начинал улыбаться и кивать головой: «Ну, ну, ты же всё знаешь, всё читал». Политическим кругозором отпетой своей «босявки» Женька, надо прямо сказать, похвастать не мог.

— Засыпался я? — угрюмо предположил Пашка, когда всё уже осталось позади и Женька с протянутой рукой подошёл его поздравлять.

— Что ты, вовсе нет! — Женька так был доволен, так торжествовал, что Пашка не мог не засветиться робкой надеждой.

— По-твоему, пройду я собрание, Сокол, да?

— Пройдёшь, конечно. Ты только двойку по русскому исправь — не сказал про неё...

— Я исправлю!..

Женька вспомнил что-то, достал из нагрудного кармашка свой заслуженный уже комсомольский билет, снял с него шикарную кожаную обложечку, протянул её Пашке.

— На, бери. На память, так сказать... Двойку исправь!

— Сказал, исправлю.

Пашка осторожно потрогал буквы, оттиснутые золотом на светлой коже: «ВЛКСМ». Случившееся теперь только до него дошло. Поднял на Женьку широко улыбающееся лицо.

— Спасибо, Сокол!

Вот как он, Женька, теперь живёт — «спасибо, Сокол!» Сейчас по дороге домой он может зайти в учреждение с длинным непрозрачным названием — там работает уборщицей Пашкина мать, тётя Фиса. Можно даже не заходить, только медленно пройти мимо; если тётя Фиса увидит его в окно, она непременно выбежит: «Ну, Женечка, как там отчаянный мой?» — «Ничего, тётя Фиса, порядок!..»

Он может зайти домой к Игорьку Малиннику, к Эдику Панову, к любому из своих «босявок» — везде он будет принят, как желанный гость. Милые, преданные «босявки» ходят за ним по пятам, плотной стеной обступают на переменах — для них нет большего авторитета, чем Женька Сокол. Что ему ещё нужно? Они относятся к нему со сдержанной гордостью, как к произведению собственных рук, — впрочем, в какой-то мере Женька и впрямь является их произведением: человек, хоть раз испытавший доброе воздействие своё на других, — это уже совсем другой человек, уверенный в себе, возмужавший, зрелый. Недаром Виктор Васильевич говорит: «Эта работа, работа с такими вот ребятами, она и вам самим, комсомольцам, очень нужна: она потребует от вас выдержки, самообладания, мужества, если хотите...» Виктор Васильевич! Никогда не быть Женьке таким, как он, — настоящим человеком, словно из куска стали выкованным. Вот Виктору Васильевичу действительно больше уже ничего и не нужно, он живёт для победы коммунизма, для других людей. А Женька всё занят личными своими переживаниями, ему всё не хватает чего-то, всё не хватает...

Между тем настоящий, словно из куска стали выкованный человек, завидев издали задумчиво бредущего из школы Женьку, ускорял шаги, торопливо сворачивал в переулок. Что, собственно, нужно Ушакову у стен этого дома? Встретить кого-нибудь? Зачем?

Она ничего уже не ждёт — пусть не ждёт. Ничему не верит. Вспыхнула — и погасла, и махнула на него рукой. Пусть. Пусть потерпит, ничего, ему тоже трудно. Милая, бедная, подожди!.. Прислушайся ночью — под тёмными распахнутыми окнами, по тротуару, усеянному тополиным пухом, — мерные, верные, медленные шаги.

В класс Виктор Васильевич приходил, как обычно. Он похудел, осунулся в последнее время — жилось ему, видимо, не просто. Ребята этого не замечали. Женька ловил иногда на себе странный взгляд Виктора Васильевича — короткий, встревоженный, словно спрашивающий о чём-то, даже умоляющий, — Женька не понимал этого взгляда. Что они знают об учителях? Ничего не знают. Учителя живут для них и ради них — это ведь так естественно. Что вообще они знают о живущих рядом взрослых?

Ребята после уроков собрались навестить больного Лёню Лицкевича, и Виктор Васильевич, почти не расстававшийся с ними в эти весенние дни, пошёл со всеми: первым экзаменом — а экзамены на аттестат зрелости были уже на носу — назначен, как это обычно бывает, экзамен по литературе.

Окружив Лёнину постель, ребята терпеливо и благонаравно выслушивали всё, что Виктор Васильевич внушал выздоравливающему: как именно готовиться к экзаменам и что именно лучше читать. Мать Лёни налила гостям по стакану компота. Гости, переглянувшись, взяли. Эти им интеллигентные мамы: дала бы каждому по куску чёрного хлеба с солью — и в хозяйстве не так накладно и, между прочим, сытнее. Компот высасывали медленно, старались продлить удовольствие, деликатно раскусывали горькие сливовые косточки. Лёня, переводя с одного лица на другое сияющие глаза, расспрашивал о всяких школьных новостях. Правда ли, что «царь Феодор» велит к экзаменам прсчесть три толстенных тома? («Кто это царь Феодор?» — скромно осведомился Ушаков. Юрка ехидно покосился на него: «Историю забыли...») Правда ли, что в этом году темы для сочинений будут разные в каждом районе и каждом городе, а не одна общая для всего Советского Союза, как раньше? Вот беда! Фантазёр Лёня мечтательно улыбался: он совсем уже собрался в день экзаменов, часов этак в шесть утра, звонить к двоюродному брату во Владивосток — во Владивостоке к этому времени должны уже знать темы... Неизвестно, между прочим, что руководило Лёней, — вот уж кто ни одной темы не боялся!..

Многое так вот, между прочим, выяснил Виктор Васильевич. Что Алина Андреевна, например, собирается использовать свои связи в министерстве и дсстать своей дочери темы, а уж через Валю узнают и все, если очень захотят, конечно. Что в вечер накануне сочинения все десятиклассники города Москвы собираются около памятника Пушкину и обмениваются возможными вариантами тем. Что в одном из классов семнадцатой школы — «Виктор Васильевич, вы только не говорите никому!» — в одном из классов билеты пишут как-то особенно: часть на глянцевиной стороне картона, часть — на шероховатой, — никто не подкопается, сила! А в другом пишутся билеты одинаково, но вот нарезаются различно: одни — ножницами, другие — бритвой, одни от других сразу можно отличить. А ещё в одном классе — ну, это совсем здорово! — придумали стенную газету выпустить со всеми формулами в тексте и повесить эту газету здесь же, в классе, так сказать, у комиссии на виду. Ребята хохотали. Виктор Васильевич искренне огорчился:

— Это во что же вы собираетесь экзамены превратить?

— А что? — Ребята смотрели невинно. — Это же не мы!.. Нам это даром не нужно...

— Не бойтесь экзаменов?

— Как вам сказать? Боимся. Боимся, что ничего не боимся. Вы не смейтесь, Виктор Васильевич! Это очень страшно — не бояться ничего.

Подошла мама Лёни собрать стаканы, увидела скорлупу от косточек, расстроилась:

— Вы, наверное, голодные?

— Вовсе нет! — Владик Пелевин даже руку к сердцу прижал. — Абсолютно есть не хотим, спасибо большше...

— Вы и про экзамены так же врётё? — догадался Ушаков.

Владик покачал головой с бережной укоризной.

— Виктор Васильевич!..

Мать Лёни опять подошла.

— Хоть бы вы ему сказали, Виктор Васильевич. Если б вы знали, какие он тут номера откалывает...

— Кто, Лёня?

Лёня, смеясь, оглянулся на мать.

— Чудная она у меня, боится. Я, Виктор Васильевич, хочу после школы на производство идти...

— Рабочим?

— Да.

— Это зачем же? Ты не думай, я ничего, я только понять хочу...

Лёня, улыбаясь, помолчал.

— Как вам объяснить? — сказал он наконец. — Вот вы, Виктор Васильевич, говорили: растём белоручками. Верно. А я не хочу, я же читал в книжке, как другие живут. Как вот она жила. — Лёня кивнул головой на мать. — Мама, ты бы лучше Виктору Васильевичу фотографию показала, какая ты в молодости была — такая комсомолочка от станка, в косянке. Это она только за меня боится, за себя не боялась! Я думаю так: приобрету жизненный опыт, практические навыки какие-нибудь... Что я о жизни знаю? Ничего. Вы говорили, помните: руки строителей коммунизма... — Лёня с усмешкой посмотрел на свои лежащие поверх одеяла белые мягкие руки. — Сами же меня упрекали всегда, что я в стороне от всего, ни нашим, ни вашим...

— Никогда я так не говорил! — возмутился Ушаков.

— Всё равно! Говорили, что я драки боюсь? Говорили! Вот я и хочу, чтоб было труднее...

— Ересь какая-то! — не выдержала мать Лёни. — Способный парень. Вы же, Виктор Васильевич, знаете, с похвальными грамотами переходил из класса в класс. Дмитрий Назарович — вы знаете, какой Дмитрий Назарович требовательный! — говорит, что он очень способный. Первое место занял на университетской олимпиаде...

— С чего ты взяла?

— Видите, так всегда!.. Тихий, тихий, а упрямый, как... — Мать и смеялась, с гордостью поглядывая на Лёню, и чуть не плакала. — Виктор Васильевич!..

— Лёня, — негромко спросил Виктор Васильевич, — это ты серьёзно решил?

— Серьёзно.

— Зря.

На ребят неловкий и застенчивый монолог Лёни произвёл, видимо, впечатление: смешливого настроения у них словно вовсе не бывало.

— Как это зря? — удивились они. — Почему вдруг зря? Вы же сами говорили, Виктор Васильевич.

— А что я говорил? Говорил, что не надо жизни бояться? Правильно. Я не говорил, что надо призванием жертвовать...

— А у Лёни призвание?

— Думаю, что да. По всему своему складу Лёня — готовый кабинетный учёный...

— Видите, вы смеётесь!

— Шучу, а не смеюсь — разница! И что за крайности такие: или все в вуз, или все на производство. Жизнь большая, разная — определите, чего именно хотите, и добивайтесь, и никому уж не давайте голову себе

задурить. Сегодня одно, завтра другое... Добивайтесь! Вы ещё скажите Алику Мирзоянцу надо на производство идти...

— Нет?

— Нет! Алик уже сейчас о теории атомного ядра не меньше иного студента-физика знает. Юра, насколько мне известно, несколько лет мечтает о геологической разведке, Геннадий — о морских плаваниях... Вот и деритесь, добивайтесь своей мечты. Быть рабочим! Быть рабочим — на это, между прочим, тоже призвание нужно. К тому, чтобы стать рабочим, как и к любому другому выбору, очень серьёзно нужно отнестись. Во всём этом одно важно: важно очень сильно, по-настоящему чего-то захотеть. А вот Женя Соколов, например, вбил себе в голову, что непременно пойдёт вместе с Аликом — куда Алик, туда и он. Также мне призвание — дружба с Аликом...

Виктор Васильевич вдруг замолчал, и опять Женька поймал на себе этот слегка испуганный, встревоженный взгляд. На этот раз Женька истолковал его почти правильно: Виктор Васильевич боится, что Женька как-нибудь не так, обидно для себя поймёт обычный его иронический тон, — Виктор Васильевич, дорогой, вы не бойтесь!..

Виктор Васильевич обнял сидящего рядом Бесёнка за худенькое плечо.

— Вот Юрик Бесов не решил ещё, в какой вуз идти, и Кирилл не решил, и Абрам Фальцатый... Это, конечно, школа виновата, что они до десятого класса ещё не определились. Я только говорю: не надо торопиться. Зачем? Идти в какой бы то ни было, лишь бы в вуз? Глупо. Расстраиваться, что ни в какой вуз не попал? Подумаешь, трагедия! Попадёшь, если очень захочешь. Если очень захочешь, понимаете? Не надо ничего бояться. Очень много, ребята, путей в жизни — и все хорошие...

Генка улыбнулся, так сказать, от лица всех.

— Это мы понимаем.

— А тебе, Лёня, обязательно жертва нужна, так? Эдакое пострижение во иноческий чин?

— Нет! — Лёня покраснел почти до слёз, добрые глаза его обиженно заморгали. — Вовсе нет, вы не поняли. Ничего я не хочу из себя показывать, даже не сказал бы ничего, если бы не мама... Я действительно хочу.

— Действительно хочешь?

— Действительно хочу.

Лёня, неуверенно моргая, смотрел прямо в лицо Виктору Васильевичу. Что-то очень тронуло Виктора Васильевича в этом мягком и чистом юношеском взгляде, лёгкое беспокойство шевельнулось в душе: а не проглядел ли я что-то в этом мальчишке?.. «Ничего, — успокоил он себя, — ничего между нами не кончено, у нас с ним ещё целая дружба впереди...»

Обнял Лёню, слегка притянул к себе.

— Может, ты и прав, не знаю... Дай слово, что будешь ещё думать!

— Я подумаю.

Вывалились от Лицкевичей шумной, весёлой толпой. Мать Лёни затворила за ними дверь, как ребята уверяли, с облегчением.

— Неумное вы племя, — уже на улице выговаривал им Виктор Васильевич. — Нет чтоб у постели больного о чём-нибудь умиротворяющем говорить, внести, так сказать, дух милосердия и соболезнования. Не получается, гляжу я, у вас...

— Это у вас не получается, — хохотал Юрка.

Просто удивительно: так переживали в течение года — медаль, аттестат, отметки... А пришла весна — и ни о чём не хочется думать, ни о чём не хочется заботиться, словно эта весна последняя в жизни... Сидишь в читальне, какой-то мужчина против тебя с унылым видом перелистывает «Крокодил». Тебе бы столько свободного времени — чёрта с два, читал

бы ты «Крокодил», только бы тебя тут и видели!.. Но у тебя есть индивидуальный план — Алик, дотошный комсорг, чуть не за месяц до экзаменов потребовал, чтоб у каждого был индивидуальный план, обеспечивал, как он выражался, «гигиену умственного труда». — и пока ты не сделаешь дневной нормы, ты всё равно не человек, и гулять тебе всё равно не с кем, и болтать не о чем; сидят все твои товарищи — сидишь и ты!.. Выйдешь из читальни — солнце уже низко, а тротуары и стены домов ещё хранят теплоту навсегда отгоревшего, навеки потерянного для тебя дня; от него остались только вмятины в асфальте и обронённые, затоптанные проходимыми лапки черёмухи под ногами. Ничего бы не делать, совсем ничего! Висеть целый день на подоконнике или нежиться без рубашки на залитой солнцем поленнице, что на школьном дворе. Голуби, шумно взметённые ввысь, сверкают, растворяются в ослепительном небе. Гулко стучит волейбольный мяч. Впрочем, в волейбол лучше играть не здесь, не на школьном дворе, а подальше от учительских глаз, во дворе дома номер тридцать восемь. А ещё лучше уехать с мячом куда-нибудь в Сокольники. В Сокольниках по аллеям, скромно опустив глаза, ходят девчонки-десятиклассницы из московских школ и делают вид, что учат литературу..

Что говорить, когда день уже догорает, кончился!.. Ты идёшь, как рабочий идёт со смены, — немножко утомлённый и в то же время довольный честно прожитым днём: всё, что требовалось от тебя сегодня, ты сделал, ты совершенно свободен, ничто над тобой не висит. И вдруг ты слышишь из-за глухого забора упрямое постукивание мяча и девичий смех — осенью или, например, зимой девчонки почему-то так не смеются! И ты замечаешь, что солнце вовсе не так ещё низко, а когда оно зайдёт наконец и мяч над сеткой различить будет уже совершенно невозможно, зажгутся огни реклам, витрины, буква «М» над входом в метро, никому не нужные фонари в глубоких, таинственных скверах. Никогда почему-то не бывает столько свободного времени, как в самый разгар подготовки к экзаменам!..

Никогда ещё не жил ты так подтянуто, бодро, никогда у тебя не было такого ощущения полноты жизни!.. Ребята смеются: «Боимся, что ничего не боимся...» Вот и ты ничего не боишься — чего бояться! Ты знаешь столько же, сколько и твои товарищи, подготовлен так же, как и они. Все учатся — учишься и ты. Все идут — и ты идёшь вместе со всеми. Столько говорилось в течение года о коллективе, а ощущение коллектива по-настоящему появилось только теперь — в этой общей ответственности и на первый взгляд обособленной, а на самом деле общей работе. Вот какой у нас класс: один за всех, все за одного! В других классах изворачиваются, хитрят, а у нас запасается шпаргалками разве только Жора Корецкий. Смешно тогда, у Лёни, Виктор Васильевич испугался разговоров о темах для сочинений, об экзаменационных билетах. Не знает он нас! Мы, конечно, легкомысленные ребята, Виктор Васильевич, и, наверное, всё-таки немножко лодыри, если нас не держать в руках, и, может быть, в чём-то немножко эгоисты, но мы, честное слово, не плохие люди!.. И все мы скоро должны расстаться, рассыпаться кто куда — и оттого, быть может, так беспокоино сейчас, и радостно, и просто невозможно грустно, и не диво, что на вес золота отмеряется каждый уходящий день!

...А кисти рук, набрякшие, потяжелевшие, всё время чуть поламывает — наверное, от вчерашней подачи...

Целый день занимались литературой, а вечером собрались у школьного крыльца — решили ехать в Центральный парк культуры и отдыха. Женя всё тянул, всё предлагал позвать то одного, то другого — ждал,

когда пройдёт обратно побежавшая в булочную Валя. Потом увидел, что Валя стоит на углу, у телефонной будки, охватив рассыпающиеся батоны, и, локтем свободной руки убирая со лба волосы, упоённо болтает с подружкой. Тогда он предложил позвать девочек. Володя отозвался насмешливо:

— Ещё что! В Тулу, так сказать, и со своим самоваром...

Они и не сомневались, что им предстоят самые удивительные, самые невероятные романтические приключения. Bravo охорашивались, подмигивали друг другу. На крыльцо вышел Виктор Васильевич, изумился:

— Опять гулять? Смотрите, ребята...

— А чего мы не знаем? — обиделся Владик Пелевин. — Мы всё знаем. Чего мы ещё не читали, спросите для смеха...

— Добролюбова три статьи?

— Читали.

— «Реалисты»?

— Читали!

— «Лев Толстой как зеркало...»

— Читали, Виктор Васильевич!

— Маяковского хорошо бы полистать, тексты вспомнить...

— Первое, — деловито высунулся Алик. — «Угрюмый дождь скосил глаза, а за решёткой чёткой...» Последнее: «Я подниму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек...» Отпечатано в Образцовой типографии имени Жданова, художник Петров, технический редактор Иванов, тираж семьдесят пять тысяч экземпляров...

— Вольно! — сказал Виктор Васильевич. — Можете идти...

На Москве-реке, отваливая от пристаней, низкими, утробными голосами кричали речные трамваи. В спокойной вечерней воде отражались дрожащие беседки, смятые в гармошку мосты, светлый зигзаг набережной; пятнами расплывалась зелень Нескучного, тянулась по воде, как водоросли, за медленно скользящим веслом.

В лодке неожиданно поспорили — о том, какой выбирать институт: такой, который даёт специальность поденежнее и приличнее, или по призванию, по душе. Кто мог затеять подобный спор? По мнению Женьки, только Володя — каждому порядочному человеку всё и так с начала и до конца было ясно. Но Алик — ехало их в лодке трое: Алик, Женька и Володя, — Алик неожиданно поддержал Володю:

— А что, правильно! Мы же не навоз истории. Никому и ничем не жертвуем, сами жить хотим...

Женька возмутился:

— Что ты треплешься? Пойдёшь, как миленький, на физико-технический факультет, а там вкалывают — дай боже, за работой света не увидишь...

— Живём при социализме, — задумчиво отвечал Алик. — Где труднее, там, между прочим, и платят больше...

— Не знаю я тебя? Тебе бы вовсе стипендию не давали, ты туда всё равно бы пошёл...

Володя, развалившийся на корме, беспечно хохотнул, поднимая ноги.

— Нет, ты просто сверхъестественный идеалист!..

Алик, налегая на вёсла, молчал — он думал. Потом честно сказал:

— Не знаю. Отцу надо скорее помочь, ты же в курсе...

Теперь Женька молчал, он изо всех сил вспоминал: отцу надо помочь — в чём? Ну да, конечно, надо помочь, тянет семью один...

Володя посмеивался:

— В общем, идеалист Женечка, на меня злиться нечего — видишь, и Мирза думает так же. Подгреби-ка правым. Вообще, уклоняюсь я от работы? Нет! Иду в геологи — специальность красивая, романтическая и не такая уж денежная, между прочим...

— Я и говорю, треплешься зря,— примирительно пробормотал Женька.

— Только я в геологах долго не задержусь, — мечтательно продолжал Володя, — писать буду. Понимаете, хлопцы, чувствую в себе что-то такое... ну, талант вроде. Обязательно буду писать! Поезжу по свету, жизнь повидаяю, людей, приду в литературу, что называется, «бывалым человеком», из низов, запросто, в открытые двери!.. — Лицо его внезапно вытянулось, заострилось, он взялся за руль. — Нажмём разик, так! Хватит, суши вёсла!..

Лодка, сильно вильнув, ударилась в борт другой лодки, оттуда раздался отчаянный визг.

— Одни девушки! — восхитился Володя. — Девочки, возьмите меня к себе, которая тут из вас самая добрая...

Девочки охотно вступили в весёлую перебранку:

— А зачем ты нам нужен?

— Отцепись, а то из-под весла окатим!..

— Добреньких каких нашёл!..

Володя вдруг встал, выпрямился, стал быстро надевать в рукава накинутый на плечи пиджак.

— Ну, берёте?

И сразу шагнул в лодку девочек. Лодки от толчка раздвинулись, девочки опять завизжали. Одна из них, тоненькая, черноглазая, сердилась искреннее всех:

— Девчонки, это всё вы виноваты. Не качайте лодку, затонем! Да сядь ты наконец, не качай лодку!.. — Последнее относилось к Володе.

Женька, осторожно подгребая одним веслом, не сводил с этой девочки упрямого, ласкового взгляда.

— Ты не кричи! — мирно посоветовал он. — Иди лучше к нам...

— И пойду!

— И иди.

— Ну и пойду, — сердито отвечала девочка. — Перегрузили лодку...

— Ну и иди...

Он протянул девочке руку, та, пошатываясь, встала и решительно шагнула из лодки в лодку.

— Галья, ты с ума сошла! — загомонили подруги.

Лодки опять раздвинулись. Галя от толчка покачнулась, села и, чтобы что-то сказать, негромко произнесла:

— Вот и всё!..

— Порядочек! — раздался из той лодки весёлый голос Володи. — Пишите! Я тут, как в цветнике, хлопцы...

Лодки разъезжались. Других — тех, с которыми вместе отчалили от пристани, — и вовсе не было видно: едва чернели вдали, за мостом, на фоне сумеречных берегов и обрушившегося в реку багряного неба. Галя вдруг смутилась, опустила глаза.

— Поедем назад! — решительно потребовала она.

Отъехать далеко не удалось: полоспел на ворчливой моторке милиционер, потребовал штраф за самовольную пересадку. Мальчишки испуганно переглянулись: деньги остались в Володином пиджаке.

— Влипли!..

— Дяденька, мы больше не будем, — обольстительно улыбнулась Галя.

Милиционер попался несговорчивый — все эти улыбочки и жалобные взгляды были ему, как говорится, ни к чему.

— Мальчик я вам? — сердился он. — Смётся с меня тут будут...

Тогда Галя вздохнула и, вытащив из кармашка школьного передника смятый платок и горстку мелочи, достала лежащую на самом дне сложенную квадратиком двадцатипятирублёвку.

— Плохой он товарищ, этот ваш Володя, — решительно заявила она. — У нас в классе такого давно бы...

Девчонкой она оказалась живой и въедливой и чем-то очень напоминала Таню, только была гораздо красивее. Сидя с видом королевы на корме, она непринуждённо переплетала длинные тонкие косы и говорила, говорила — о том, какая добрая у них директриса, и какая классная руководительница хорошая, и что девочки поэтому все, как одна, решили: идти в педагогический, только она, Галя, идёт на авиастроительный факультет — «перспективная специальность, верно?» — и что очень жаль расставаться со школой, очень, девчонки у них просто мировые...

Потом что-то отвлёкло её внимание, губы приоткрылись, она вздохнула и беспомощно сказала:

— Смотрите, мальчики, чайка!..

И первая засмеялась над тем, как это у неё растроганно получилось. Вся она была в этих внезапных переходах: в наигранной важности и в беззаботном смехе, в озорной улыбке исподтишка и неизвестно откуда берущейся серьёзности. Алик и Женя, дружно работая вёслами, не могли глаз оторвать от её живого, переменчивого лица.

Когда подъехали к пристани, ни девочек, ни Володи там уже не было.

— «Девчонки у нас просто мировые», — не выдержал, поддразнил Женя.

Галя независимо дёрнула плечом:

— Подумаешь! Ваш Володя лучше...

Под дугowymi фонарями Ландышевой аллеи Алик и Женя, пропустив Галя вперёд, устроили небольшое совещание: как использовать обнаруженные в кармане у Женьки полтора рубля. До Арбатской площади, где, как выяснилось, жила Галя, можно было дойти и пешком. Женя, торжественно улыбаясь, преподнёс Гале «Мишку на севере».

— Глупости какие! — возмутилась Галя. — Ни за что не буду есть одна!

И они ели мороженое по очереди, украдкой облизывая пальцы и влюбляясь всё больше в строптивую выдумщицу-девчонку.

Домой возвращались поздно. Денег на метро у них не было, да и опоздали они на метро. Алик, крупно шагая с Женей рядом, озабоченно говорил:

— Сокол, слушай, выходит, не люблю я Тусю, так? Выходит, что не люблю. Или я такой оказался, только подавай: люблю одну, люблю другую?.. Почему сердце так глупо устроено, чего хочет — неизвестно?

Молчал, задумывался, опять взволнованно обращался к Женьке:

— Сокол, почему я такой счастливый сегодня, ну, почему? Просто колоссально счастливый! Сокол, это, наверное, настоящая любовь, да? Как ты думаешь, Сокол? С первого взгляда...

Женя упорно молчал и, так же, как Алик, заложив руки в карманы и крупно шагая, думал своё: как они будут дружить с Аликом, если им всю жизнь нравятся одни и те же?..

...Что было потом — трудно вспомнить. Они уже дошли до большого углового дома, в котором жили Мирзоянцы, когда увидели прижавшуюся к углу парадного маленькую, съёжившуюся фигурку. Это была Катюшка, и Катюшка явно ждала их, и в бледном личике её была такая растерянность, такая тоска, что Алик, невольно схватив Женьку за локоть, как-то странно замедлил шаг и побледнел тоже.

— Тебя нет, нет весь вечер, — неестественно спокойным голосом сказала Катя и вдруг, кинувшись к брату на грудь, отчаянно зарыдала.

— Что с папой?

— ...А тебя всё нет, нет...

Судорога прошла у Алика горлом, он крепко прижал к себе её трясущиеся плечи. Женя ничего не понимал: лицо Алика сразу погасло, поста-

рело, глаза недоуменно расширились, как при сильной боли, взгляд их остановился; скорбно изогнутые, неожиданно выделились на бледном лице словно наведённые брови, стали заметны редкие тёмные усики над полукруглым ртом.

— Алик... — осторожно позвал Женя. — Что, собственно, случилось?

— Такое дело, — не сразу и с усилием ответил Алик. — Понимаешь, такое дело: папа умер.

Катя, прижимаясь к Алику, зарыдала сильнее. И Алик заплакал. Невозможно было смотреть, как он плачет, странно всхлипывая и кривя при этом верхнюю губу, не закрывая лица, почти без слёз. Женя, сам плача, беспомощно топтался рядом, трогая то его, то Катюшку и всё пытаясь увести их — сам не зная, куда увести и зачем.

Спешили запоздалые прохожие. Кто-то задел Женьку, оглянулся, прошёл. Молодая женщина, выпустив руку спутника, подошла, опавнув ребят свежим весенним запахом.

— Чем-нибудь помочь? Что случилось?

Женя поднял на неё глаза.

— Ничего не надо, спасибо.

Потом всё-таки ему удалось увести их в подъезд, потом — в комнату. Женя с облегчением, в котором не решился бы себе признаться, увидел, что комната пуста, никого там нет. Алик сел к столу, стиснул руки и очень спокойно сказал:

— Что же делать? Что теперь делать? Что делать?

Катюшка пыталась рассказать — главным образом Женьке — всё, что случилось; говорить ей было трудно, она вздрагивала сильной, осязаемой дрожью. Болел папа. Обнаружили у него какую-то злокачественную опухоль, как и у мамы, давно уже...

Алик перебил её:

— Сокол знает.

Ничего Женька не знал!

— Собирались операцию делать, в клинику вот положили, исследовали, исследовали — ой, Женечка миленький! — обнадеживали всё...

Алик опять перебил её, страдальчески, нетерпеливо:

— Да знает он, я ему говорил...

Женька молчал, потрясённый, — ничего ему Алик не говорил!

— А сегодня... — Катя опять начала плакать. Сегодня она опять пошла к папе, по субботам, как всегда, а ей сказали...

— Где он сейчас? — сурово спросил Алик.

— В морге.

— Зачем?

— Говорят, это так нужно, Алик... — виновато пояснила Катя.

— Что нужно?

— Вскрывать.

Алик покачнулся, упал на стол и вдруг опять зарыдал, тяжело, в голос, неожиданно женственным жестом простирая перед собой руки, — он искал Катюшку. Катя бросилась к нему:

— Тебя нет, нет весь вечер...

— Папа! — закричал Алик, всё так же качаясь и зачем-то зажимая Катюшке рот. — Папа, папа!..

Что мог Женя сделать? Ничего он не видел в жизни, ничего не умел...

Виктор Васильевич!.. Женя вдруг заспешил, сказал Алику, словно тот мог хоть что-нибудь сейчас услышать:

— Подожди, я сейчас! Ты подожди...

Вот кто мог помочь — Виктор Васильевич!.. Женька влетел к нему на лестницу, хватая воздух открытым ртом. Виктор Васильевич, отворив дверь, сразу же крепко, до боли, стиснул Женькино плечо:

— Что случилось?

Коротко и, как ему показалось, спокойно Женька рассказал, что случилось. Виктор Васильевич не дослушал:

— Пойдём. Нет, впрочем, ты не ходи, придёшь завтра утром — с мамой...

— Я провожу вас.

— Проводи.

Женя на ходу торопливо выкладывал Виктору Васильевичу всякие дополнительные соображения: послезавтра экзамен. Алику медаль нужна, туда, куда он поступает, без медали устроиться почти невозможно, да и заслужил он медаль. Геро Григорьевич так мечтал, чтобы сын его стал физиком, большим учёным... Очень странно было говорить про человека: «Геро Григорьевич мечтал».

— Что-нибудь придумаем, ничего.— Виктор Васильевич круто остановился.— Ну спасибо, Женя...

— Спасибо — за что?

Виктор Васильевич не ответил. Крепко пожал на прощание руку.

Следующий день был длинный-длинный и такой тяжёлый, что хотелось скорее кончить его, забыть, оставить сзади. День пропал у всех, потому что все, даже те, на чью долю не выпало решительно никаких обязанностей, без конца бегали к телефону или ловили в переулке Женьку или Виктора Васильевича и осведомлялись, нельзя ли хоть что-нибудь сделать и помочь хоть чем-нибудь в общей беде. Не пропал день, пожалуй, только у Володи Никитина: Володя упорно завоёвывал медаль. Владик рассказывал, что, когда он нашёл Никитина в читальне и сказал о том, что случилось,— Владика поручено было собрать деньги на похороны и на венок,— Володя брезгливо поморщился и, доставая деньги, пояснил, что терпеть не может всех этих бюро похоронных процессий, покойников, венки... Он даже Маяковского процитировал: ненавижу, дескать, всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь... Владик, по собственному его выражению, совсем обалдел от подобного разговора.

— Гад буду,— заключил он,— руки ему не подам...

А Женька и Алик оформляли документы в морге. Пришлось долго ждать в маленькой комнате с голыми отштукатуренными стенами и закрытым деревянной шторкой оконцем, похожим на чьё-то тяжёлое, плотно сомкнутое веко. Оба молчали и думали каждый о своём, Женька, в частности, о том, как это всё позорно для него получилось: смутно, с усилием припоминал он, что между разговорами о любви, о футболе, о всяких школьных делах Алик действительно что-то такое говорил о своём отце. А вот теперь отец Алика умер, и он, Женька, лучший Алику друг, сидит здесь и не смеет признаться — и никогда в жизни не признается,— что ничему в своё время не придавал значения и ничего, кроме того, что его лично касалось, толком не слышал! Ходил, морочил людям голову всякими своими делами...

— Вот и остались мы с Катюшкой одни,— видимо, тяготясь молчанием, сказал Алик, и Женька похолодел от того, каким тоном это было сказано.— Совсем одни на свете...

— И никого у вас нет?

— Никого. Одна тётка.— Алик говорил медленно, словно заново осмысливая значение каждого слова.— В Ереване, мамина сестра. Катя теперь поедет к ней школу кончать. Так мы с Виктором решили.

— Хорошая тётка?

— Хорошая.— Алик подумал и повторил: — Да, хорошая. Она Катю давно зовёт. А я... я вовсе один останусь.

Женька осторожно напомнил:

— Со мной.

Алик ничего не ответил, только, не оборачиваясь, пожал Женькину руку. Оба опять замолчали.

Потом отщелкнулась шторка. Алик подошёл к окошку, стал отвечать регистраторше на вопросы. Да, отец. Геро Григорьевич Мирзоянц. Да. Пятьдесят четыре года. Да. Да. Служил делопроизводителем в тресте...— Алик долго тёр лоб, вспоминая название треста, потом вспомнил, о чём его спрашивали, назвал. Потом вышла коренастая санитарка в клеёнчатом фартуке, обрызганном кровью и ещё чем-то,— очень страшно было смотреть на этот фартук. Вытирая руки тряпкой, спросила:

— Кто тут к армянину пожилому? Вы?

Женя очень боялся, что Алик будет проситься туда, внутрь,— ждал и смотрел, как у Алика что-то шевелится под кожей, около скул. Алик помолчал, задумчиво отводя Женькину руку. Потом покорно дал себя увести.

— Всё будет завтра,— сказал он позднее, уже в метро.— Вот напишу сочинение, тогда... Нельзя иначе.

Пообедали у Соколовых. Там весь день сидела распухшая от слёз, совершенно разбитая Катюшка. Ольга Сергеевна не отходила от неё ни на шаг.

Вечером прибежал Юрка Шнырёв и прямо с порога сказал одним духом:

— Здравствуй, Алик. Здравствуйте! Сокол, Виктор Васильевич просил предупредить, что мы сейчас придём к вам проводить консультацию. Можно?

— Пойдём погуляем, Катенька? — предложила Ольга Сергеевна.— Или, хочешь, здесь посидим?

А ребята уже входили — они ждали здесь же, на лестнице. Вошёл Виктор Васильевич — спокойный, чуть насмешливый, словом, такой же, как всегда,

— Серьёзно, будет консультация? — удивился Женя.— Я тогда за Валею схожу, ей тоже нужно.

Пришли Валя с Таней, испуганно покосились на неподвижного Алика, скромно присели в уголок.

— Ну, о чём рассказывать? — подсаживаясь к столу, осведомился Виктор Васильевич.— Задавайте вопросы.

— Расскажите о Маяковском,— попросили девочки.

Женя вдруг всё понял.

— Не надо о Маяковском. Потом, если время останется. Пожалуйста, Виктор Васильевич,— Ленин о литературе.

Это была тема, которую Алик оставил на последний день, да так и не успел подготовить. Ребята поддержали Женю:

— Да, да, пожалуйста...

Вот и ребята были такие же, как всегда, разве только чуть сдержаннее, чуть теплее, чем обычно. Осторожно шутили, улыбались, словно ничего не произошло, деловито готовились записывать каждое слово.

Виктор Васильевич стал рассказывать, не глядя на Алика, и никто на Алика не глядел. Тот сидел по-прежнему безучастно. Потом медленно, через силу взялся за блокнот — сразу несколько авторучек потянулось ему навстречу. Алик вдруг закрыл лицо руками; из груди его вырвалось стеснённое, судорожное рыдание. Женька, притянув Алика к себе, скорбным взглядом обвёл поникших товарищей.

— Я продолжаю, Алик,— мягко, настойчиво сказал Виктор Васильевич.— «Литература должна стать частью общепролетарского дела...»

Анатолий Лукич решительно запретил десятому «Б» участвовать в похоронах отца Мирзоянца.

— Вы что, хотите экзамены сорвать?

— Но ведь сегодняшнего экзамена мы не сорвали, — сдерживая гнев и презрение, отвечал Ушаков. Чёрт дёрнул его сообщить директору о случившемся!..

— Я вам, педагогу, должен объяснять, — тоже гневно и тоже презрительно оборвал его Анатолий Лукич. Анатолий Лукич был человеком сдержанным, но и он не считал более возможным скрывать свои чувства; двоим им нечего делать в одной школе, это и самому Ушакову должно, кажется, стать совершенно ясным.

Солнечные лучи пробивались сквозь лёгкие шторы, путались в густой зелени — очень много сегодня в зале цветов, — взбегали на стены, пятнами ложились на свеженатёртый пол, скользили по плечам шестидесяти восьми юношей, склонившихся над работой. У самых окон — десятый «Б», дальше — десятый «А», десятый «В»... В зале стояла тишина, только чуть поскрипывали перья да осторожно перешёптывались за столом члены комиссии. Ребята работали серьёзно, покусывали концы ручек, рассеянно улыбались Виктору Васильевичу, встречаясь с ним глазами. «Идёт дело?» — сочувственно спрашивал взгляд учителя. «Справлюсь, ничего», — отвечал ему спокойный, задумчивый взгляд ученика. «Я так и знал, молодчина...»

Как-то совсем особенно любил он их сегодня — словно что-то самое главное проступало в них сейчас, когда они сидели такие вот сосредоточенные, забыв о себе, не думая ни о чём, кроме работы. Вот Женя Соколов — недвижимым, невидящим взглядом смотрит он на пыльные крыши домов за окном, на майское вздрагивающее небо. Свежая светлая рубашка подчёркивает юношескую чистоту всего его облика — открытого лица, не успевшей ещё загореть шею. Он очень красив сейчас и сам этого не сознаёт: мягкий овал едва тронутых бритвой щёк, добрые и беспощадные мальчишеские глаза, светлые волосы, небрежно откиннутые со лба, крупные, обнажённые по локоть руки. Вот таким и любит его Виктор Васильевич — с этой его душевной мягкостью и юношеской взыскательностью, со злым самолюбием и стремительной прямоотой.

Тихо улыбается своим мыслям выдумщик и мечтатель Лёня Лицкевич. Угловатый, колючий Юрка шумно вздыхает, чешет затылок и безжалостно ерошит волосы в мучительном раздумье. Упрямо, медленно пишет Кирилл. Владик Пелевин крутится, беспокойно заглядывает к соседям в тетради. Виктор Васильевич едва заметно сдвигает брови: «Работай». «Невидадь — работа! — выражает Владик всем своим независимым видом. — Пожалуйста, буду работать...» С большим достоинством, основательно, прочно сидит над сочинением Гена Борисов. У этого совсем особое спокойствие, органичное, только ему присущее; вот таким располагающим к себе и снисходительно-невозмутимым останется он, наверное, в любых условиях — на попавшем в бедствие корабле или под артиллерийским обстрелом. За его широкими плечами едва виден Бесёнок — строчит, строчит лихорадочно, не поднимая головы; кончик носа, щёки, губы — всё это у него вытягивается, шевелится, тянется вслед за пером. Как его выпускать в жизнь, зелёного?..

— А это что у вас за юноша? — спрашивает инструктор райкома партии Сысоев, сидящий как гость тут же среди членов комиссии. — Я за ним давно наблюдаю — здорово работает...

— Кто именно?

Оказывается, Володя Никитин. Да, Володя работать умеет: снял часы, положил их перед собой, повесил пиджак на спинку стула, подкатил рука-

ва; к бутербродам и чаю, которые бесшумно разносили по столам дежурные мамы, даже не притронулся. Заметил, что за столом комиссии что-то говорят про него, едва заметно подмигнул Виктору Васильевичу. Виктор Васильевич равнодушно отвернулся.

— Наш первый кандидат на золотую медаль,— не без гордости сказал Чечевичный.

Виктор Васильевич вдруг встал и, ни о чём никого не предупредив и не спросив разрешения, пошёл по проходу между столами. Члены комиссии недоуменно за ним следили. Подошёл к Алику Мирзоянцу, о чём-то заговорил с ним, положив руку ему на плечо.

— Что такое? — удивился Сысоев.

— У этого мальчика вчера отец умер,— поспешил объяснить Анатолий Лукич.— Прикажете вернуть Ушакова?

— Ничего я не приказываю, ваше дело.

— Пусть поможет ему немножко?

— Пусть поможет, что ж...

— Тоже, между прочим, кандидат,— успокоенно пробормотал Чечевичный.

Он торжествовал. То, что на экзамен прислали Сысоева, доказывало, что в райкоме прислушались наконец к его сигналам. К Сысоеву он пытался отнестись возможно более сдержанно, с холодком: ещё подумают, чего доброго, что он, Чечевичный, в чём-то лично заинтересован. Ничего ему лично не нужно — пусть восторжествует, так сказать, объективная справедливость...

Ушаков вернулся на место. Алина Андреевна, которую в качестве ассистента вызвали в школу на время экзаменов, встретила его встревоженно:

— Пишет?

— Пишет, ничего...

Надолго установилась тишина. Анатолий Лукич занялся ведомостью. Гость, привыкший, видимо, ко всяким бдениям, сидел терпеливо, дисциплинированно, значительно, словно бог весть какое дело делал.

Виктор Васильевич придвинулся поближе к Алине Андреевне.

— Ну, как ваша диссертация?

Алина Андреевна улыбнулась и сразу стала похожа на собственную дочь — Валя Звонкова улыбалась так же охотно и благодарно.

— Лучше не спрашивайте.

— Почему?

Алина Андреевна улыбалась и молчала.

— Засыпаетесь,— убеждённо сказал Ушаков.— Так вам и надо, не берите никому не нужных тем. О отдельном обучении, если хотите знать, через два-три года в нашей стране и не вспомнят...

— Думаете?

— Ошибаюсь, вспомнят! Вспомнят, Алина Андреевна, и долго будут вспоминать. Идиотская воспитательная система, отбросившая нашу школу на десятилетия назад...

— Виктор Васильевич,— виновато, как девочка, сказала Алина Андреевна.— Я переменяла тему...

— Переменяли, вы?

— Да. Так всё хорошо было,— сокрушённо вздохнула она.— В министерстве одобряли, научный руководитель одобрял, такие солидные рекомендации...

— Ай-яй-яй...

— Как это всё получилось, не знаю. С Глафирой Григорьевной поссорилась. Потом Вавка приехала с вами из Ленинграда, рассказывала... Много думала: почему меня ребята так быстро забыли... Вы простите, мне об этом трудно говорить...

— Они не забыли.

Алина Андреевна махнула рукой.

— Забыли. Думала — может, я что-то самое главное упускаю...

— О чём же вы теперь пишете?

— Говорю, не спрашивайте. Стыд такой — повернулась на сто восемьдесят градусов, разве так в научной работе бывает? Всё равно мне теперь не защитить...

Сысоев вежливо постучал карандашиком.

— Мешаем, товарищи...

Виктор Васильевич шкодливо, по-мальчишески оглянулся на него.

— Алина Андреевна, показать вам фокус?

— Показать!..

— Вот перед вами сидят три класса, так? Вы не скажете, чем десятый «Б» отличается от других?

— Чем отличается? — Алина Андреевна добросовестно вглядывалась. — Ну, они веселее, спокойнее... Очень милы!..

— Сидят без пиджаков...

— Да, верно. Все в пиджаках, а они в рубашках...

— Видите! — Виктор Васильевич торжествующе подмигнул. — Мне уже сегодня от Анатолия Лукича попало: все, дескать, пришли на экзамен, как полагается, а ваши чуть ли не в майках. Я говорю: свежие, отглаженные рубашечки — чем плохо? Эстетика абсолютной честности и уверенности в себе. Коллектив! Что вы так смотрите — не понимаете?

— Не понимаю.

— Так ведь они же, другие ребята, задыхаться будут в своих пиджаках, а не разденутся. У них в каждом кармане шпартгалки, в уборных учебники лежат, родители с чемоданами литературы по переулку ходят...

— Ах, это!..

— Мало. Вы мне всё-таки скажите, вот вы учёная женщина: почему всё, что делается в школе хорошего, всё это пока плод разрозненных, самоотверженных усилий?

— Всё?

— Почти всё. Будете сейчас говорить: «А вся наша система...»

— Буду говорить. — Алина Андреевна, словно к немедленному сражению готовясь, подобрала выбившиеся из причёски, повисшие вдоль щёк волосы.

— Слушайте, вы серьёзно убеждены — так вот, между нами, — что школа наша в последнее десятилетие действительно идёт вперёд?..

Ребята заканчивали работу, складывали сочинения на столе перед комиссией, выходили, пытаясь выразить жестом то ли добрые пожелания остающимся, то ли бодрую уверенность в собственном провале. Ученики десятого «Б», уходя, тихонько спрашивали:

— Виктор Васильевич, когда?

— В четыре, около школы.

Анатолий Лукич делал вид, что ничего этого не слышит. Классный руководитель явно не желал считаться с его указаниями — может быть, всё-таки обратить на это внимание постороннего, так сказать, человека?

Улыбаясь своему десятому «А», бесшумно вошёл Лапшинский.

— Пишут?

— Кончают уже.

— Хорошо пишут?

— Твой-то? Твой хорошо.

Лапшинскому было не до этих ушаковских шуточек, он склонился к самому уху Виктора Васильевича.

— Зайди, когда освободишься. Важное дело.

— Что-нибудь случилось?

— Очень важное.

Откланялся Сысоев, выразил желание прийти и на проверку сочинений и на устный экзамен. Почтительно, со сдержанным достоинством проводил его до двери Анатолий Лукич. Ушли наконец последние ребята...

Лапшинский, едва Виктор Васильевич зашёл к нему в кабинет, сдвинул в сторону свои пробирки.

— Слушай, Виктор, дело скверное,— зашептал он, косясь на полуоткрытую дверь, за которой время от времени мелькал синий халат лаборантки.— У тебя Анатолий Лукич на уроках бывал?

— Давно не был.

— А когда был в последний раз?

— Ещё до зимних каникул, а что? Да, вспомнил, незадолго до поездки в Ленинград. С Чулковой был.

— Ещё и с Чулковой!

— Да что такое?

— Может, я не имею права тебе говорить, не знаю. К чертям! Думаю, что имею...

Виктор Васильевич с беглой усмешкой взглянул на товарища, но лицо Лапшинского и впрямь выражало душевную борьбу. Виктор Васильевич стал серьёзен.

— Слушай: Анатолий Лукич написал в райком заявление, требует проверки твоего партийного лица. Ты, дескать, дискредитируешь звание советского учителя, допускаешь на уроке непартийные высказывания...

— Понимаю...

— Что ты наговорил, в самом-то деле? Заявление я видел, там сказано, что ты порочил колхозный строй...

— Колхозный строй я не порочил. Впрочем, не это важно...

— Начинается твоя обычная манера: не это важно! Пойми, тебе не здесь, не в школе, предстоит объясняться, здесь тебя все знают...

— Борька, но чего же мне бояться?

— Как «чего бояться»? Ты что-нибудь про колхозы говорил? Не смейся, говорил?

— Говорил. Не смотри на меня так. Покажи мне в уставе место, по которому я не могу критиковать то, что считаю достойным критики.

— Перед учениками? Идиот!

— Не кричи. А если мне ученики вопросы задают?

— А тебе надо обязательно при инспекторе с ними объясняться?

— Так ты с этого и начинай. А то — «перед учениками»... Чего он хочет?

— Кто?

— Чич.

— Хочет тебя из школы вытряхнуть, а заодно и из партии.

— Здорово придумал! По крайней мере секретаря первичной организации вызовут в райком? Ты-то на что?

— Пойми, я же не был у тебя на уроке, что я сказать могу? А эти две крысы тебя подсилят...

— Борис, ты струсил.

— Не струсил.

— Струсил, я тебе говорю. Сердчишко заколотилось, как овечий хвост. И на меня, между прочим, сердисься: зачем я тебя, такого хорошего, во всю эту историю втравил. Так удобно жить, пока ничего не случается,— порядочным человеком чувствуешь себя...

— Ты так говоришь, будто это я во всём виноват.

— Не виноват, успокойся. Ты мне лучше скажи — веришь ты мне как члену партии?

— Я верю.

— Ну, и очень хорошо, спасибо тебе. А я, понимаешь, партии верю. В правду верю, в человеческий разум верю — чувствуешь, какие я тебе слова говорю? И не пугай ты меня, пожалуйста...

— Я не пугаю.

— Пугаешь! Чёрт знает что, такими фаталистами стали... В предопределение веришь, а, Борька? Если уж какая-нибудь сволочь написала заявление, значит всё — концы, как ребята говорят?.. А что драться можно, это и в голову не приходит? Ну, и влипнут же они все у меня...

— Думаешь?

— Уверен. В правду, говорю, верю, чудак! Ну, если хочешь знать, в себя верю — ты в какое-то там предопределение, а я, между прочим, в себя. Выйду и скажу: вот он я весь, и что со мной ни делай — таким же и останусь...

— Может, ты и прав, не знаю, — с сомнением сказал Лапшинский. — Ты такой какой-то... Я с тобой поговорил, у меня от души отлегло...

— Так я же против Советской власти выступал...

— Наверное, не выступал, если так держишься...

— А усомнился?

Лапшинский не ответил. Оба задумались.

— Нет, ничего не боюсь, — первый нарушил молчание Ушаков. — Понимаешь, никогда и ничего в жизни не боюсь, не знаю, откуда это у меня. Мама, наверное, была отчаянная. И, знаешь, очень драку люблю — открытую, в лоб. Это тебе не статеечки на стенку лепить. Когда это будет?

— Скоро.

— Не робей, Борис. Говорю, не робей, подерёмся. Тебя-то хоть вызовут?

— Вызовут:

— Подерёмся, не робей! — Спыхватился, глянул на часы. — Пора к Мирзоянцам. Вот это в тысячу раз важнее и Чича, и Чулковой, и нас с тобой...

— Что именно?

— Ребята...

Теперь он знал, зачем на экзаменах сидит Сысоев. Знал и с лёгкой усмешкой, с тревогой, которую тщетно пытался в себе подавить, следил, как Сысоев медленно перелистывает сочинения, как добросовестно вслушивается в ответы ребят, хмурясь и настораживаясь там, где сам Ушаков чувствует наибольшее удовлетворение и гордость. Следил за тем, как Сысоев время от времени что-то записывает в свой блокнот, поднося его почти к самым глазам; блокнот этот тут же захлопывает, прячет в карман, не забывая каждый раз застёгивать пуговку. Люди, как известно, бывают разные. Бывают и такие: при одном намёке, что дело принимает политическую окраску, они становятся как-то особенно недобры и значительны, ко всему относятся предубеждённо, по малейшему поводу готовы делать далеко идущие выводы. Что, если Сысоев именно таков? Немалой кровью достанется тогда победа.

Никакого повода для тревоги, казалось бы, не было: устный экзамен шёл безукоризненно. Ребята выходили бодро и независимо, отвечали исчерпывающе, толково, умно, свободно разбирались в текстах.

— Знаете, что особенно хорошо? — откровенно восхищалась Алина Андреевна. — Хорошо, что рассуждают, думают, к этому вы их приучили...

— Не забывайте — и вы! — любезно улыбнулся Ушаков.

Алина Андреевна вспыхнула от удовольствия. Комкая платок, как школьница, обратилась к стоящему перед столом Владиду — он ответил на все вопросы и уже собирался с чистой совестью уходить.

— Ты хорошо читаешь, я помню. Прочти что-нибудь наизусть.

— Из «Тёркина» можно?

— Конечно.

Владик подмигнул товарищам и приосанился:

Нет, ребята, я не гордый,
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль — и то не к спеху...

— Что же ты, продолжай,— удивилась Алина Андреевна.

— А зачем? — удивился в свою очередь Владик. Тёмные ласковые глаза его смотрели невинно.— Зачем, я всё сказал...

Ребята хохотали: «Согласен на медаль! Силён Владька...» Улыбалась комиссия. Последним, уже после объяснения, понял Сысоев и вдруг со вкусом расхохотался.

— Вот шельмецы!..

Анатолий Лукич взглянул на него с неудовольствием: судит поверхностно, как и многие другие. Поддаётся этому внешнему впечатлению подтянутости и в то же время непринуждённости, которые царят у Ушакова на экзаменах. Поддаётся обаянию самого Ушакова — Ушаков развязен и самонадеян, но какое-то обаяние у него, несомненно, есть, об этом все говорят, да и сам Анатолий Лукич отказать ему в этом не может. Всё равно! Всё равно — есть какие-то непроверяемые, объективные факты, никогда в жизни Анатолий Лукич не посмел бы так вот, за здорово живёшь, огород городить!..

Всей комиссией ставили окончательные отметки под сочинениями. Под сочинением Володи Никитина Виктор Васильевич сразу же поставил «пять» и уже предпочитал к нему не возвращаться.

— Вам оно не нравится? — заинтересовался Сысоев.— Почему? Тут о патриотизме очень хорошо сказано...

— Сказано-то хорошо...— неохотно ответил Ушаков.

— Им Виктор Васильевич за моральный облик отметки ставит,— со всей доступной ему иронией вступил в разговор Чечевичный.

Виктор Васильевич пожал плечами.

— К сожалению, стоит «пять».

— А у вашего любимчика Соколова — «четыре»...

— А у моего любимчика Соколова — «четыре». Из-за какой-то описки — такие уж у нас правила, товарищ Сысоев! — лишили парня возможности получить медаль. Вам, Анатолий Лукич, не жаль этого?

— Для меня все ученики равны.

— Что вы говорите! А для меня — не равны.

— Учитель должен быть беспристрастен, нет? — осторожно осведомился Сысоев.

— А почему я обязан к хорошим людям относиться так же, как и к плохим?..

Сысоев поднял брови.

— Не понимаю...

— Это не первоклассники,— терпеливо пояснил Ушаков.— Это, понимаете, взрослые люди, выпускники...

Алику Мирзоянцу поставили «пять», хоть и было у него громадное количество помарок.

— Только отметьте,— настаивал Анатолий Лукич,— что писал мальчик в состоянии аффекта...

Он раздражался всё больше: ни одно сочинение, кроме сочинения Володи Никитина, не казалось ему несомненным: от Виктора Васильевича с его самоуверенностью он вправе был ожидать лучших результатов...

В каждом сочинении отсебятина, какие-то скользкие фразы, которые можно по-разному истолковать... У Шнырёва «пять», у Лицкевича «пять», «пять» у Борисова... Теперь и он чувствовал то, о чём в своё время говорила на педсовете Лидия Фёдоровна: их, видите ли, приучили рассуждать... Ушаков даже Порываеву чуть не поставил «пять» за какие-то там «свои мысли»...

Но самое главное только ещё предстояло. Чистенькое, гладенькое сочинение написал Жора Корецкий: начиналось оно «славными тнями Кутузова и Александра Невского», кончалось «рубиновыми звёздами Кремля».

— Самое лучшее сочинение! — приятно удивился Анатолий Лукич. — Даже не ожидал от Корецкого.

Виктор Васильевич категорически сказал:

— «Пять» не поставлю.

— Неялохо вроде написано? — удивился и Сысоев.

— Не поставлю «пять». Неужели вы не видите, что всё это пустая, не слишком умная болтовня. Товарищ Сысоев, вы не знаете этого юношу...

— Зачем мне его знать? Существует документ...

— Вот-вот! — Анатолий Лукич почувствовал поддержку, воспрянул. — Документ! В горону, где будут утверждать медали, никто меня не спросит, что это за человек, с меня сочинение потребуют...

— А что, — озабоченно спросил Сысоев, — у него и по другим предметам выходит «пять»?

— По геометрии и немецкому языку будет «четыре». Серебряная медаль, что вы хотите...

— Ах, для вас это лишняя медаль? Не будет медали!

— Видите! — не выдержал Анатолий Лукич. — Видите, товарищ Сысоев, так во всём! Невозможно работать. Я настаиваю, чтоб было поставлено «пять»...

— Поймите же, не могу! — Виктор Васильевич говорил не Анатолию Лукичу, говорил Сысоеву. — Я не этому учил ребят. Я должен, чтоб быть до конца последовательным, ставить «пять» Порываеву и «три» Корецкому...

Анатолий Лукич окончательно отказывался владеть собой.

— В конце концов можете оставаться при особом мнении, — раздражённо сказал он. Поставил под сочинением Корецкого «пять», крупно, размашисто, вопреки обычной своей манере, подписался. — Подписывайтесь, Алина Андреевна...

— Видите ли, я считаю, что мнение Виктора Васильевича...

— Подписывайтесь!..

Что должен был сделать Виктор Васильевич — уйти? Он сдержался. Есть шестьдесят восемь выпускников — ребята не виноваты, что директор и учитель не могут сработать. Шестьдесят восемь сочинений лежат здесь вот, перед комиссией на столе, и ждут окончательной оценки...

Не могут сработать? Нет, тут дело сложнее — оба это понимали прекрасно. И оба нетерпеливо, с яростью, со вновь и вновь закипающим гневом заглядывали в завтрашний день. И ничего нельзя было уже остановить, ничего!..

Первого секретаря райкома партии Гришина Виктор Васильевич видел однажды — тогда, когда приходил вставать на учёт. Принял от него свой партийный билет, пожал протянутую руку — всё. Сейчас он приглядывался к нему насторожённо: работники, как известно, бывают разные, иных хлебом не корми, только дай раздуть такое, как вокруг Ушакова, дело...

Гришин, наклонив голову, слушал, что говорил ему Сысоев, — при всей своей осанистости и представительности Сысоев едва доставал Гришину по плечо; на Ушакова Гришин, так, во всяком случае, тому казалось, поглядывал неодобрительно. «Держись как следует, — одёргивал себя Ушаков. — Как он может глядеть, глупости, он же ещё ничего не знает...» Никогда не думал, что будет так вот сидеть в райкоме, от всех отчуждённый, словно обведённый невидимой чертой, и придавать значение каждому мимолётному взгляду: «Сволочь я в его глазах или ещё не окончательная сволочь?..» Хозяйская, уверенная повадка Гришина, и эта во всём сквозящая убеждённость, что каждое его слово для окружающих особенно значительно и веско, — убеждённость, выработанная годами руководящей партийной работы, и тучность, появившаяся в результате сидячей жизни, и даже этот его синий френч, и придиричивый, требовательный взгляд — всё это Ушакову, казалось бы, давным-давно было знакомо. Сколько раз у таких вот секретарей райкома подписывал Виктор Васильевич командировочное удостоверение! Сколько раз, переступая порог райкома, испытывал одно и то же, каждый раз по-новому волнующее чувство: «Вот наездился, наскитался, людей насмотрелся всяких, а здесь я наконец дома. Здесь — дома». И оттого, что он не мог вернуть себе привычное ощущение деловитой подобранности, приподнятости, уверенности в том, что здесь даже совсем не знакомые люди сразу примут тебя, как своего, и что-то самое главное в тебе поймут сразу, оттого, что это радостное и гордое ощущение большого братства было в нём грубо и оскорбительно нарушено, он и страдал сейчас больше всего. Больших усилий стоило ему вновь и вновь вызывать в себе то чувство личной неуязвимости и внутренней правоты, которое так окрыляло его в разговоре с Лапшинским. Лапшинский был, между прочим, тут же. От школьной партийной организации на бюро вызвали Лапшинского и Таисью Васильевну — по тому, как они переглядывались и пытались издали ободрить его улыбками, Виктор Васильевич понял, что он очень бледен сейчас и что друзьям это, во всяком случае, заметно.

Больше всего настораживал его Сысоев — этой своей недоброй значительностью и тем, как тщательно огибал он словно очерченное вокруг Ушакова пространство. И с возрастающей симпатией приглядывался Виктор Васильевич ко второму секретарю райкома Алябьеву: этот, наоборот, ни малейшего значения, казалось, не придавал тому, что должно было произойти. Носатый, белозубый, шумный, Алябьев переходил от одной группы к другой, непринуждённо вмешивался в разговоры, громко смеялся и время от времени поглядывал на Ушакова с доброжелательным любопытством, словно протягивая ему руку через невидимую черту: «Ничего, ничего, браток, держись веселей, разберёмся...» И Виктор Васильевич снова напоминал себе, что дело в конце концов не в нём, Ушакове, лично и не в Чечевичном, а значительнее, шире, и что он, Ушаков, — вот он весь, таков, как есть, и, что с ним ни делай, таким и останется...

А потом начинается бюро, и Виктор Васильевич перестаёт замечать кого бы то ни было, кроме единственного человека, — он может и не смотреть на него, он всё равно его видит. Всё в нём ненавистно Виктору Васильевичу: и эта манера держаться перед начальством — таким благонаправленным мальчиком, усердным и беззаветно исполнительным, который если и позволяет себе чуть-чуть, сухонько покашлять, то с единственной целью обратить на себя наконец внимание, и привычка суетливо приглаживать и без того приглаженные волосы, и одёргивать пиджачок, и сгибать, опять-таки в знак исполненности, почти под прямым углом худую и сильную шею, непосредственно, без малейшей кривизны переходящую в длинный затылок, — всё это изучено наизусть, как надоевший па-

раграф в учебнике, и смотреть на это можно бесконечно, со странным наслаждением, не отрывая глаз.

— ...Срывал воспитательную работу в школе, заражая ребят духом демагогии и нездорового критицизма,— доносится до Ушакова ровный голос Анатолия Лукича.— Систематически подрывал авторитет директора. На уроке иронически говорил о произведениях, удостоенных Сталинской премии. Сообщал учащимся факты, порочащие колхозный строй...

Как себя держать? Усмехаться — глупо. Глупо — выказывать равнодушие: к подобным вещам нельзя относиться равнодушно. Принимать весь этот бред всерьёз? «Послушай,— вновь одёргивает себя Ушаков,— это ведь не просто бред, это твоя партийная судьба решается...»

— Могу привести статью из «Школьного вестника»,— шепестит Анатолий Лукич развёрнутым газетным листом.— В ней даётся совершенно квалифицированная оценка тому поведению, которое...

Статья Коневского идёт по рукам. «Клевета на советскую школу и советских детей... нездоровая демагогия... неумение и недобросовестность...» — всё это не может не производить впечатления, Ушаков замечает кидаемые в его сторону косые, неодобрительные взгляды. Гришин легонько отодвигает газету — кажется, его единственного она не заинтересовала; подавшись вперёд, спрашивает Чечевичного о том, что вообще делается в семнадцатой школе. «Нет, ничего,— насторожённо отмечает Виктор Васильевич,— вопросы ставит толковые...»

А Чечевичный — что ж, Чечевичный и к этому готов! Вынимает из кожаной папки специально на этот случай припасённые бумаги. Вот схема пришкольного участка — пожалуйста! Участка ещё нет, но схема у Чечевичного уже есть. Вот расписание — проведение практики на одном из ближайших заводов; начнётся практика с осени, но уже есть предварительная договорённость. Вот схема — схема, надо сказать, выполнена превосходно — общих мероприятий по политехнизации школы: пятые классы, как видите, — столоярное дело, шестые — слесарное, седьмые — поголовный охват электротехническими кружками. «Всё это,— оговаривает Чечевичный,— будет также осуществлено с начала будущего учебного года». Целая сеть кружков: авиамоделистов, кораблестроителей, юных географов, переплётчиков, фото. Химическое общество, студия молодых художников, даже туристский лагерь — ничто не оказалось забытым. Всё будет с будущего учебного года! Экскурсия на подмосковную ГЭС. В десятых классах — изучение автодела...

Схемы, расписания, металлический угольник, который Чечевичный, спохватившись, вытаскивает из кармана, — «а такие угольники, посмотрите, уже сейчас делают у нас в шестых классах» — всё это, как и старый номер «Школьного вестника», передаётся из рук в руки. Члены бюро сдержанно переговариваются:

— Неплохо задумано.

— С размахом!

— Молодец Чечевичный! — последнее, кажется, говорит Алябьев.

Варвара Павловна Чулкова — она, конечно, сидит тут же — с достоинством поджимает тонкие губы: «Что я вам говорила! Знаем своих работников...» Вслух она добавляет:

— Подобного плана не представила ещё ни одна школа в районе...

Анатолий Лукич поясняет скромно:

— Партийный пленум поставил перед нами, так сказать, задачу... Ещё в бессмертных трудах Владимира Ильича... Подготовка всесторонне развитых, технически грамотных людей...

— Вернёмся к нашему вопросу,— предлагает Гришин.

Анатолий Лукич с достоинством собирает свои прекрасно вычерченные схемы, весь его вид говорит одно: «Вы же понимаете, какой мелочью

на этом фоне является недостойное поведение учителя Ушакова. К сожалению, мы вынуждены заниматься и подобными мелочами...»

— Что скажете вы, товарищ Ушаков?

А товарищ Ушаков, стыдно признаться, волнуется так, словно он и в самом деле вёл себя недостойно. Так ждал прямого, смелого разговора, а сейчас нет ни достаточных сил для него, ни необходимого запала, голос звучит сдавленно и хрипловато.

— По самому существу предъявленных мне обвинений,— чужим, не подчиняющимся ему голосом, медленно, с усилием говорит он,— сказать нечего: обвинения эти смехотворны...

— Насчёт урока, например?

— И насчёт урока. Как прикажете всё это опровергать? Я твёрдо говорю,— Виктор Васильевич чуть покашлял, так как именно твёрдости в голосе у него и не хватало,— твёрдо говорю: ничего подобного тому, о чём говорил тут Анатолий Лукич, на уроке не было — всё это почудилось испуганному его воображению. Анатолий Лукич вообще боится чьих бы то ни было самостоятельных мнений, боится ребячьей живости и любознательности. Не знает ребят — и боится их. И мертвит. Ему бы постричь их всех под одну гребёнку, выровнять по линейке — вот тогда ему было бы и легко и нестрашно...

— Вы о себе говорите!

— Я о себе и говорю.— Виктор Васильевич вдруг возмутился.— А что я могу говорить? На уроке у меня не было никого, кроме Чечевичного и Чулковой. Кому из нас вы поверите больше? Между прочим, то, что ребята слышали от меня из урока в урок, они выкладывали и на экзамене — может, сначала товарищ Сысоев поделится своими впечатлениями? Я вообще предпочёл бы подождать, послушать...

Впечатления у Сысоева были наилучшие. Ему приходилось бывать в семнадцатой школе и пять лет и три года назад — при Анатолии Лукиче школа неузнаваема. Товарищу Чечевичному, несомненно, удалось подтянуть учительский коллектив, добиться безукоризненной согласованности, дисциплины; кидается в глаза чистота, порядок...

— Именно «кидается в глаза»,— не выдержал, усмехнулся Виктор Васильевич.

— Я могу сказать и о том, что не кидается в глаза,— обидчиво откликнулся Сысоев.— Я с большим удовлетворением отметил, например, что ученики прекрасно знают преподаваемый Ушаковым предмет. Мне лично не всё симпатично в самой манере их изложения, но предмет они знают и, несомненно, уважают преподавателя, даже любят его. Но я заметил также и то, что сам Ушаков не желает подчиняться вводимому директором регламенту, что он нарушает прямые указания директора и, хочет того или не хочет, действительно подрывает директорский авторитет. И моё категорическое мнение таково: отношения их так уже усложнились, что Ушакова придётся из этой школы убрать...

— Вот как! — воскликнул Виктор Васильевич.— Дайте мне слово, прошу вас...

Гришин едва заметно пожал плечами: слово Ушакову, сколько ему помнится, он уже давал.

— Речь, как я понимаю, идёт не только о производственном облике Ушакова,— перебил он Сысоева,— но и о его партийном лице?..

— Может быть,— садясь, отвечал Сысоев.— Подобным материалом я не располагаю...

Подобным материалом располагала Варвара Павловна. Речь, конечно, идёт в первую очередь о партийности Ушакова, иначе роно не побеспокоило бы партийные органы — мало ли в школах недобросовестных или попросту плохих учителей...

— А много? — заинтересовался Алябьев.

Варваре Павловне было не до каких-то там реплик с мест, она обличала.

У Варвары Павловны были, оказывается, записаны все вопросы учеников на том самом злополучном уроке, все ответы учителя. Ребята говорили — знаете, это даже повторять неудобно: «колхозники не получают по трудовням», «из колхозов бегут»...

— Так и говорили?

— Представьте себе, так и говорили. Получили они достойную отповедь? Нет, не получили. Что отвечал учитель? Учитель отвечал: «Да, у нас есть, к сожалению, недостатки...» Ребята спрашивали: «За что дают Сталинские премии?» Учитель отвечал: «Я за такие книги не давал бы премий». Это, товарищи, о книгах из жизни нашей колхозной деревни!..

— Здрóрово! — сказал кто-то таким тоном, что Виктор Васильевич сразу понял, насколько плохи его дела. Уловил полный тревоги и упрёка взгляд Лапшинского: «А ты уверял меня... Эх, Виктор!..» Как он может доказать, что всё это и так было и в то же время, честное слово, вовсе не так...

— Знаете, а мне нравится, — сказал вдруг Алябьев и удивлённым взглядом обвёл присутствующих. — Нравится мне такое вот хозяйское отношение к жизни. Как, Василий Миронович?

«Хозяйское? — подумал Виктор Васильевич, ладони его разом вспотели. — Это, к сожалению, товарищ Алябьев, не хозяйское отношение — хозяйского мы воспитывать ещё не умеем. Пытливое, критическое — это да...»

— Очень интересно, — кивнул головой Гришин.

И вдруг Виктор Васильевич понял: всё будет хорошо. Из чего это следовало? Ни из чего не следовало: отдельные реплики никого и ни к чему не обязывали...

Для большинства присутствующих вопрос был ясен — одни считали долгом поделиться своими соображениями, другие молчаливо соглашались: Ушаков заслуживал самого строгого взыскания. Как говорил один из выступавших: «Сейчас, когда вопросы воспитания молодёжи ставятся с особой остротой, член партии, учитель позволяет себе...»

Борис Борисович отказывался понимать товарища: чем хуже по всем данным складывались дела Ушакова, тем он становился подобраннее, веселее; его перебегающий с одного лица на другое взгляд блестел нетерпеливо, зло, насмешливые губы плотно сжались. На что он, собственно, рассчитывает, что в состоянии доказать? Круглый идиот, и всё — с этими своими наивными разглагольствованиями некстати, с этой вечной убеждённостью в собственной правоте. Тем хуже для него, для Лапшинского, что подобный тип — нате вам, не видели таких! — вылез, встретился, сидит вот у него на дороге...

Тем хуже для него, а сейчас, раз уж ему дают слово, он скажет всё, что приходится по данному поводу говорить. Что ж, Чечевичный действительно дисциплину наладил. Хорошо наладил, взял в руки учительский коллектив. Учительский! Никакой связи с учащимися у него нет, все эти линейки по утрам, сдачи дежурств и так далее — всё, что так умилило товарища Сысоева в семнадцатой школе, — всё это носит внешний, казённый, поверхностный характер...

Ушаков взглянул весело, одобрительно, словно тут нуждались в его одобрении! Таисья Васильевна негромко подтвердила: «Это верно».

Обвинения против Ушакова, выдвинутые Анатолием Лукичом, несостоятельны, Лапшинский решительно берёт его под свою защиту. Ушаков

делает то же, что и Чечевичный,— воспитывает из ребят трудолюбивых, дисциплинированных, высокоидейных людей. Да, да, он не оговорился — высокоидейных! Но всё, что делает Ушаков, делает он гораздо глубже, видит больше, подходит к ребятам человечнее. Отсюда и авторитет его среди учеников. Авторитет, которого, к сожалению, почти вовсе нет у Чечевичного...

— Какая ерунда! — возмутилась Варвара Павловна.

— ...Которого нет у Чечевичного,— повторил Борис Борисович.— Может быть, в этом всё дело? — Этот вопрос он задал как-то особенно, помладенчески невинно.— Может быть, в этом всё дело, серьёзно, товарищи? Анатолий Лукич приписывает отсутствие авторитета своей жёсткости, требовательности — это неверно. Просто Анатолий Лукич, как бы это выразиться точнее...

— Формалист, чиновник! — воскликнул Ушаков.— Да дайте же мне слово...

Но Борис Борисович, оказывается, не кончил — он самого главного ещё не сказал; он словно летел, летел куда-то... Лапшинский не знает, что было на том уроке и чего не было, что сказал и чего не сказал Ушаков, вернее, как он там дал возможность истолковать свои слова, но поведение Ушакова — за это Лапшинский головой ручается — всегда и во всём партийно...

— Вы же не были на том уроке! — опять не выдержала Варвара Павловна.

— Всё равно. Я и не должен ходить за товарищем по пятам, чтоб быть в нём всегда и до конца уверенным...

«Сволочь Витька,— подумал он, опускаясь на место.— Как Ушаков сказал однажды про него, про Бориса? Хорошо, говорит, жить, пока ничего не случается,— порядочным человеком чувствуешь себя...»

Таисья Васильевна вдруг тихонько и хитро засмеялась:

— Улыбаешься, новорождённый?

Почему «новорождённый»? Борис Борисович и не заметил, что улыбается.

Опять поднялся Чечевичный. Скромно напомнил, что если бы не тот урок... «Мы несколько уклоняемся, так сказать...» Он даже не счёл возможным возразить на странные, если не сказать больше, обвинения секретаря партийной организации, чтоб не отвлекать внимания присутствующих от существа вопроса.

По существу вопроса выступила Таисья Васильевна: ни о каком партийном взыскании Ушакову, по её мнению, и речи быть не могло. Таисья Васильевна нравилось, что ребята с учителем так откровенны, очень нравилось.

— Говорят, что ответил он им как-то не так. Не поверю. Вот не слышала, а не поверю — дожила, слава богу, до седых волос, что-то и я понимаю в людях...

— Что ж, по-вашему, мы всё это придумали? — холодно, с достоинством осведомилась Варвара Павловна.

Таисья Васильевна отвечала с необычной для неё жёсткостью:

— Не знаю. Не знаю, милая. В жизни ведь и так бывает: что захочешь услышать, то и в ушах звенит...

Варвара Павловна терпеть не могла каких-то там намёков. Так прямо и заявила: терпеть их не могла. Сочла необходимым напомнить членам бюро, что на том уроке, о котором идёт речь, присутствовала лично, что она должностное лицо, инспектор, не какая-нибудь, извините, девчонка с улицы и что с мнением её, казалось бы, можно считаться. Гришин заверил её, что, конечно же, она не девчонка и что с мнением её члены бюро, безусловно, считаются.

В общем, к тому времени, как Виктор Васильевич получил наконец слово, вид у него был как у человека, который давно и безуспешно борется с волнами, то вздымаясь на гребень их, то падая грудью на острые камни,— беззаветно-решительный, измученный и ожесточённый.

— Здесь одно,— сказал он,— одно прозвучало особенно настойчиво, и я хотел бы на этом остановиться. Здесь говорилось о том, что мне и Анатолию Лукичу нечего делать в одной школе. Правильно! Если на то пошло, нам и в одной партии делать нечего!..

Может, он что-нибудь сказал не так, может, его «занесло»? Это с ним иногда бывало. В серьёзном, доброжелательном лице Таисьи Васильевны мелькнул ужас. Виктор Васильевич упрямо отвернулся от неё. Он всё равно уже не мог остановиться.

— Нечего делать в одной партии. И речь, товарищи, конечно, должна идти не обо мне...

— Вот это да! — насмешливо воскликнул кто-то.

— Речь должна идти не обо мне. Школа — поймите это, товарищи! — это прежде всего живые люди. Прежде всего! В школе творится неладное, и не в нашей семнадцатой, а вообще в школе...

— Вы о себе говорите! — напомнил Сысоев.

— О себе? — Виктор Васильевич помедлил, словно изучая недоброе, значительное лицо Сысоева.— Ну, а если дело всё-таки не во мне? Не лично во мне и не лично в Чечевичном и вообще не в ком бы то ни было лично. Если дело в том, что таких, как Чечевичный, надо из школы убрать...

— И оставить таких, как Ушаков,— сухо заметила Варвара Павловна.

Виктор Васильевич круто повернулся к ней:

— Как хотите, не претендую. Впрочем, почему же, да! Да, конечно! Потому что в школе, как нигде в другом месте, важно не только самое дело, но и то, в чьи руки это дело попадает. Очень важно. Потому что такие, как Чечевичный, не имея ни доверия, ни уважения со стороны учеников, способны скомпрометировать в их глазах любое дело, за которое берутся. Та же политехнизация, например. Поверьте, я и сам преклоняюсь перед изобразительным искусством Анатолия Лукича — эти схемы, графики, расписания... Талант! Но для Анатолия Лукича политехнизация — как и ежедневные линейки, как и диспуты, которыми он увлекается,— это лишь форма, которую необходимо соблюсти, ему важен лишь декорум политехнизации. Что в политехнизации самое важное? Помочь каждому ученику уже в стенах школы определить своё призвание. Каждому ученику! Трудная это задача? Очень трудная. Чечевичный по этому пути никогда не пойдёт, ему только видимость важна...

— Факты, факты! — перебил его Гришин.

— Факты? Вот, пожалуйста, этот угольник.— Виктор Васильевич попросил, чтобы ему передали угольник, зачем-то поднял его над головой.— Что нужно, чтобы сделать такой угольник? Немногое — пара тисков. У нас в школе есть не одна, а две или, кажется, три пары таких тисков, стоят где-то в подвальчике, среди сломанных парт. Что это значит для школы, в которой учится около двух тысяч человек? Что они значат — эти три пары тисков?..

Все молчали. Виктор Васильевич швырнул угольник на стол.

— А вот Анатолий Лукич не постеснялся принести этот угольник сюда. Всё равно, что с плохонького поля сорвать случайный, уникально вытянувшийся колос, сказать: вот полюбуйте, какую пшеницу выращиваем мы на своих полях. Чем страшны Чечевичные? Этим и страшны. Ни к какому живому делу они органически не способны. Отдайте советскую школу на откуп таким, как Чечевичный,— что останется от лучших её традиций? Ничего. Ничего, потому что традиции эти мертвы без жи-

вой души. Без живой души они или становятся почётной вывеской, или попросту умирают. Вспомните школу, которую все мы кончали когда-то, — трудовую, совместную...

Кто-то откровенно вздохнул — в годы раздельного обучения многие взрослые люди так вот вздыхали, недоуменно следя за тем, что творилось в школах. Алябьев задумчиво усмехнулся.

— Неплохая была школа!..

— И я скажу, — живо подхватил Ушаков, — школа тридцатых годов — это уже твёрдо ставшая на ноги, немалые традиции накопившая школа. Зачем надо было отказываться от одной из лучших традиций её — от совместного обучения, чего мы этим достигли? Школы, между прочим, назывались когда-то «имени Горького», «имени Радищева», «имени Луначарского» — у каждой было что-то своё. Какому Чечевичному понадобилось всё регламентировать, выстроить по ранжиру, обезличить? Почему о трудовом воспитании заговорили вдруг как о чём-то принципиально новом? Ведь и трудовое воспитание было, мы словно вовсе забыли об этом. Было настоящее общественное воспитание: пионеры были пионерами, комсомольцы — комсомольцами. Войну в основном вынесло на своих плечах поколение, воспитанное школой тридцатых годов, — ничего, неплохо воспитанное. Вы скажете — сейчас жизнь другая? Правильно! И жизнь стала более сложной, и требования наши к воспитанию несколько изменились — что из того? Тем больше возрастает роль школы. Основное осталось неизменным: в социалистическом обществе как до войны, так и сейчас воспитание должно быть пронизано чувством коллективизма, любовью к труду — разве не так? Тем больше должны думать в школе о сохранении традиций, о наращивании, о продолжении их в новых условиях. Думать! Чечевичные, по-вашему, в состоянии думать?..

Анатолий Лукич был задет и оскорблён не на шутку. «Чечевичные!» «Какому Чечевичному понадобилось», «такие, как Чечевичный». Обычно бесстрастное лицо Анатолия Лукича покрылось пятнами, глаза из-под очков поблёскивали беспокойно и насторожённо.

— Нет, вы о себе скажите! — опять выкрикнул Сысоев.

— Я о себе и говорю. Я рядовой учитель, я прошу — уберите из школы таких, как Чечевичный, пусть они не мешают работать. Отовсюду уберите их — из школ, из министерства, из педагогической науки. Министерство инсценирует, видите ли, оживлённую и оперативную деятельность, раздаёт награды, спускает методразработки, сводки запрашивает...

— Мы отвлекаемся, Василий Миронович, — обратился Сысоев к Гришину, всем видом выражая полное бессилие что-либо со своей стороны предпринять.

Гришин медленно склонил голову.

— Пусть говорит. Ничего.

— ...Человека трамваем переедет, а они будут царапины ему йодом смазывать. Лучше откровенно ничего не делать, чем отделяться полумерами. Выкинут из учебников всё, что напечатано петитом, что ученики и так никогда не читают, а шумят и в прессе и повсюду: крупный шаг вперёд в истории нашей школы, программы сокращены. Глупость это, ханжество. Школа по их милости на добрый десяток лет отброшена назад, а чечевичные умиляются, что она ещё не вовсе умерла...

— Бог знает что! — возмутилась Варвара Павловна. — «Чечевичные!» В конце концов Анатолий Лукич имеет право претендовать...

— А Виктор Васильевич тоже, между прочим, имеет право претендовать. — Ушаков недобро сузил глаза. — Вам с Анатолием Лукичом это как-то вовсе не пришло в голову, не правда ли? Вы мне лучше по существу, по существу возрадите. Уровень человеческих знаний с каждым го-

дом растёт.— Виктор Васильевич уже забыл о Варваре Павловне, равнодушно от неё отвернулся.— Растёт стремительно, колоссально, а школьная программа бессильно плетётся где-то сзади. Она, если угодно, уже и не в состоянии охватить всех, даже самых элементарных, сведений, школы давно пора разбить по профилям — скажем, на технический и гуманитарный. Об этом можно спорить — пожалуйста, давайте спорить! — но нельзя же делать вид, будто ничего не происходит. Взять вопросы воспитания — сколько там неразрешённых проблем! Вот — о коллективизме говорят, брошюры, учебники об этом пишут. А как его, этот коллектив, создавать, если в школе живого дела не видно за разговорами? — Он заметил усмешку Алябьева и вдруг остановился. — Я сбивчиво очень говорю?

— Нет, ничего. — Алябьев весело покрутил головой. — Преувеличиваете здорово...

— Преувеличиваю? Я? — вдруг вспыхнул Ушаков.— Послушайте, а что вы, собственно, знаете о школе — то, что вам говорят Варвара Павловна и Анатолий Лукич? Покажут вам такой вот угольник, вы и рады: политехнизация, дескать, осуществлена... А Чечевичному только и надо, чтоб вы были рады,— радуйтесь...

— Вы полегче,— жестковато заметил Гришин.— Тут всё-таки бюро...

— Бог знает что! — с готовностью подхватила Варвара Павловна.

— Извините!— Виктор Васильевич заговорил сдержаннее, спокойнее.— Может быть, членам бюро положительные примеры нужны — пожалуйста! Их сколько угодно — и отдельных классов и целых школ. За примером недалеко ходить — Таисья Васильевна, она в своей работе и понятия не имеет о том, что такое, например, словесное воспитание. Я ведь о чём говорю? О том, что школа — это прежде всего воспитатели, прежде всего живые люди. Что воспитывают такие, как Анатолий Лукич? Равнодушные. Равнодушные, скептицизм, обывательщину, чиновничье, формальное отношение к делу...

— Страшненькую вы картину рисуете,— неодобрительно заметил Гришин.

— Почему? — Ушаков пожал плечами.— Разве со всем этим нельзя бороться? Школа в целом идет вперёд, с этим же никто не спорит. Плы-вёт, как щепка в общем потоке...

— Видите!

— Знаете, я в школу — как в колхозы когда-то двадцатипяти тысячников — лучших коммунистов посылал бы. Чтоб противопоставить что-то всей этой чечевильне...

— Уже и чечевильне!

— Честное слово, специальный набор бы объявил! Чтоб почаще звучало среди молодёжи свежее, живое большевистское слово, чтоб дела делались... Ребята, кстати, истосковались по настоящим делам... Пусть бы, например, директором школы товарищ Алябьев пошёл — ему наши ребята нравятся...

— Нет других дел, кроме вашей семнадцатой школы!..

Виктор Васильевич ответил не сразу:

— Знаете, что я вам скажу? Может быть, и нет. Потому что тем ребятам, которых мы сейчас через пень колоду воспитываем, — им, между прочим, коммунизм строить, да и нас ещё при коммунизме содержать! Потянут они, как вы думаете?

— Так,— терпеливо и не слишком доброжелательно кивнул головой Гришин.— Так. Нас, значит, всех директорами школ разогнать...

— Всех не надо!

— Ну, а дальше? Ещё что?

— Ещё — школу на односменную работу перевести.

— Пустяки!

— Не пустяки, а надо. Школа должна стать центром жизни школьника, это очень важно. И если на это нужны громадные вложения — нужны, только и всего...

— Вы думаете, что вы говорите?

— Думаю. Я коммунист, я не раз слышал это слово «надо». Вопросы воспитания, вот что я вам скажу, заслуживают не меньшего внимания, чем вопросы сельского хозяйства, например. Нужно вернуться к одно-сменной школе — с горячими обедами, с клубными днями, с комнатами для приготовления домашних заданий, с кабинетами и мастерскими. С любимыми уголками, где и ссорятся, и объясняются, и мечтают, и спорят. С этой вот вечной занятостью по вечерам, и романтикой, и настоящим весельем. К школе, в которую не просто приходят уроки отсиживать, — которая крепко держит ребят: она им и коллектив, и дом родной, и самое святое место на свете...

— Здорово! — удовлетворённо сказал Алябьев.

Гришин остановил его взглядом.

— Так. Ещё что?

— Ещё — учителя надо изо всех сил тащить вверх, не давать ему останавливаться. Но я отвлекся, товарищи, — я ведь о чечевичных гово-рил...

— Ничего, ничего, продолжайте.

— Что такое учитель сейчас? Рано состарившийся, задёрванный, ча-сто, чего греха таить, ограниченный человек. Виноват он в этом? Не виноват. Как он живёт, если не промышляет репетиторством, если не на-гружается выше ушей? А он не должен нагружаться, для этого все усло-вия надо создать. Чтоб не снашиваться до времени, чтоб учиться самому. Чтоб думать о своих учениках неторопливо и без раздражения... Ведь он тот же художник — и в его деле так же всё зависит от самой личности его: от его знаний, ума, таланта, от его нервов, от душевного богатства его... И ещё одно: в производстве существуют нормы, в нашей воспита-тельной работе их не существует. В производстве есть какие-то премиаль-ные, какие-то наградные, есть повышенные оклады, а у нас, как и в двадцатые и в тридцатые годы, ставка только на учительскую само-отверженность, учительский энтузиазм.

— Кончили?

— Да. Чечевичных надо из школы убрать...

— Вы, помнится, говорили — и из партии?

— А по-вашему — в партии им место?

— Всё?

— Всё. Я о комсомоле, правда, ещё не сказал — комсомол в ряде школ стал чем-то вроде ведомственной организации...

— Опять преувеличиваете?

Виктор Васильевич хотел что-то ответить, сдержался, сел.

— Послушайте, как же так? — забеспокоился вдруг Сысоев. — Как же всё-таки с тем уроком? Товарищ Ушаков говорил тут о многом, и, надо сказать, очень пламенно говорил, мы его с удовольствием выслушали, но вот о себе, о себе...

— Насчёт меня решайте, как хотите, — отвечал Ушаков. — Прибавить мне больше нечего. Авторитет директора я, кажется, действительно под-рывал — и правильно, между прочим, делал...

— Неправильно.

— Правильно. Вы о ребятах не забывайте — есть на свете ещё и ре-бята...

Гришин и Алябьев с усмешкой переглянулись: что-то в поведении Ушакова, видимо, и всерьёз задевало их и очень нравилось. Ушаков по-своему истолковал этот взгляд, нахмурился.

— В общем, решайте. Я вам про себя всё сказал: что для меня важно, что не важно...

В самом деле, что он мог прибавить ещё? Так бывает иногда: ничего доказать нельзя, сиди и жди, что тебе поверят. Он не испытывал уже никакого волнения, только странную удовлетворённость: что бы там с ним ни было дальше — вот он весь, ничего не осталось невысказанным у него на душе...

А теперь его, может быть, исключат из партии. Честно говоря, не верил он в это, даже представить себе этого не мог. Не исключат! Так человек, беззаветно и страстно влюблённый, никогда не поверит, никогда представить не сможет себе, что эта вот преданность его, эта сила и чистота чувств так и не встретит ответа. До тех пор и любит, пока не может себе этого представить. Нет такой вещи на свете, нет и быть не может — безнадежной любви...

Рассеянно прислушивался Ушаков к тому, как Гришин выпрашивал зачем-то Анатолия Лукича: кто же всё-таки сказал «бегут из колхоза» — учитель, ученик? Ах, ученик. Ну, ученику это, как говорится, положено. А что отвечал учитель? Точнее, ещё точнее? Что ж, совсем неплохо отвечал. А вам, товарищ Чечевичный, вам ученики никогда не задают подобных вопросов? Вот как — вообще никаких вопросов не задают? Я бы на вашем месте задумался над этим...

— Что ж, товарищи... — Гришин с облегчением откинулся в кресле. — Думается, всё ясно? Все, кажется, высказались, давайте что-то конкретное решать...

— Только директором школы меня не посылайте, — испугался вдруг Алябьев. — Да ещё, сохрани бог, к таким учителям, как Ушаков...

38

Что бывает после окончания десятилетки — выдача аттестатов, выпускной вечер? Всё это осталось позади.

Наложили полный рюкзак сырой картошки — испечь её ночью где-нибудь на костре, — на исходе душного июньского дня, полного беготни по институтам, поехали километров за пятьдесят от Москвы, в какое-то Пищулино, о котором Юрка Шнырёв рассказывал, что там, дескать, и лес какой-то особенный, не такой, как везде, и купание мировое, и рыбная ловля, и охота на лосей — впрочем, рыбная ловля и тем более охота на лосей интересовали ребят чисто теоретически. Были они, как и вообще в последнее время, радостно возбуждены, полны готовности ко всему необыкновенному и проникновенно лиричны: очень всё это не просто — вступление в новую жизнь. Против обыкновения неразговорчив и мрачен был один только Виктор Васильевич, раза два даже вздохнул невпопад.

— Виктор Васильевич, случилось что-нибудь? — ещё в вагоне пристали к нему ребята.

Виктор Васильевич отвечал неохотно:

— Ничего не случилось — с вами, чертями, расставаться жаль...

— А куда же мы денемся? — Ребята переглядывались весело и недоуменно. — Никуда не денемся, так и останемся при вас...

— Вам ещё и надоест с нами!..

Виктор Васильевич выслушал всё это с той же мрачной прищуркой и так, вероятно, и не поверил бы им, если бы они хоть какое-нибудь значение придали всем этим его чересчур взрослым переживаниям.

— Сами говорили, помните: ещё целая дружба впереди...

О дружбе сказал Владик Пелевин — сказал просто, легко, стуча себе в грудь кулаком, — Владик, единственный из мальчишек, не стеснялся так называемых громких слов. Виктор Васильевич заметно повеселел, ожи-

вился: чем чёрт не шутит — может, и правда, никуда они не денутся, не забудут, не уйдут; в книжках он читал, что и так бывает. Вот окаянная педагогическая работа — никого так не любишь, ни к кому так не привязываешься, как к собственным ученикам, — и такой ты беспомощный, такой уязвимый в этой своей любви!..

Разговор шёл о том, о чём, естественно, он и должен был сегодня идти, — кто и куда устраивается. Больше всего беспокоила ребят судьба Алика Мирзоянца. Алик скромно заверил товарищей, что беспокоиться нечего, всё хорошо: устроился лаборантом в один физический научно-исследовательский институт, в тот самый, в котором и мечтал бы работать, — кусок хлеба, как говорится, ему обеспечен, учиться будет заочно. «Как тебе удалось в этот институт устроиться?» — радовались ребята. Алик одёргивал их: «Тише! Это всё Виктор — не знаете вы его? — пошёл, наговорил чего-то...»

Лёня Лицкевич так на производство и не попал — подал заявление на математический факультет; был он растерян, явно обескуражен тем, как это всё почти против его воли в последние несколько дней обернулось, и, видимо, сам не понимал, доволен он этим или всё-таки не доволен.

— Смотрите, — со всей возможной для него агрессивностью говорил Лёня Виктору Васильевичу, — вы меня не пустили, вы теперь и ответите...

— Отвечу, ничего. — Виктор Васильевич с добродушной насмешливостью притянул Лёню к себе. — Ты не торопись. Не торопись, ещё всё будет — и трудности будут и драка. Думаете, для чего вас готовят? Для борьбы...

— Незаметно что-то...

Виктор Васильевич чуть оттолкнул Лёню.

— Много вы понимаете!..

В общем, так или иначе определились все: Юрка с Таней шли в геологи, Кирилл — на завод, Валя подала документы на исторический факультет, Геннадий собирался на днях уезжать в Ленинград, в инженерно-морское училище, — поэтому все, особенно, конечно, девочки, наперебой спешили объяснить Геннадию в любви. Единственный человек так никуда документов и не подал, ни на что решиться не мог — Женя Соколов. С тех пор, как Алик устроился на работу, физико-технический факультет, куда Женя собирался идти вместе с Аликом, совершенно неожиданно потерял для Жени всякую притягательность.

— Я же тебе говорил! — расстроился Виктор Васильевич, когда Женя сейчас откровенно сказал об этом. — Не томись, иди в педагогический институт. Иди, это — твоё дело...

Женя задумчиво покачал головой.

— Опять скажете — жить с людьми. Жить с людьми везде можно...

Чего он хотел? Он сам не знал. Одного, пожалуй: как можно скорее, любимыми путями вырваться из обычного, повседневного существования, уехать куда-то далеко-далеко, увидеть совсем новых людей, стать этим людям нужным. Вот так же, как и на комсомольском собрании когда-то, когда его выбирали секретарём, всей душой рвался попробовать свои силы в какой-то совсем иной, ещё не знакомой ему обстановке. Мечтал быть нужным людям, обязательно быть нужным, сделать для них хоть что-нибудь, что напоминало бы подвиг.

Кем быть конкретно — геологом? Геологи много ездят, конечно, но дело-то они имеют не с человеческими душами, а с камнями. Строители, энергетики, рабочие, моряки? Всё было заманчиво — и всё было не то: ему прежде всего нужны были люди.

— Иди в педагогический, — настойчиво повторил Ушаков.

Они уже шли по лесу — Юрка не ошибся, лес и в самом деле был великолепный: стройные сосны, одна к одной, обступили горделивой ко-

лоннадой, неподвижные вершины их горели в предзакатных лучах. Над мягкими полянами, подёрнутыми тенью, розовые, праздничные, прозрачные, сияли облака. Ребята разбрелись, перекликались, кидались шишками, пробовали бороться. Валя, отходя в сторону и словно ожидая чего-то, косясь на Женьку, звонко отсчитывала кукование кукушки:

— Пятьдесят два... пятьдесят четыре... Женя, ты слышишь — пятьдесят четыре!.. Ой, пятьдесят пять... пятьдесят восемь!..

Часть ребят, держась поближе к Виктору Васильевичу, насколько позволяла это узкая тропинка, прислушивалась к его разговору с Женькой.

— Вот если бы какая-нибудь мобилизация, призыв куда-нибудь! — страстно говорил Женя. — Как легко было бы всё решать! Хорошо было комсомольцам раньше — куда ты нужен, туда и идёшь, располагаешь собою просто: на Юденича — так на Юденича, в подполье — так в подполье. Колхозы создавать, Магнитку строить, Комсомольск, потом на фронт — не в чем сомневаться, не о чем долго рассуждать. Делаешь то, что всего нужнее. Виктор Васильевич, вы скажите: что сейчас всего нужнее? Как это узнать?..

— Иди в педагогический.

Все засмеялись.

— Опять!

Всё-таки Виктор Васильевич был сегодня не такой, как всегда, если уж он первый над собой не засмеялся!.. Женя вдруг вспомнил:

— Виктор Васильевич, райком был?

Женя даже похолодел внутренне: совсем забыл о райкоме, а ведь никто не знает об этом, ребята не знают, один он, ему мама сказала. Мама и Виктор Васильевич, как это ни странно, кажется, очень подружились в последнее время...

Виктор Васильевич вопросу не удивился, не рассердился на то, как неуместно он задан, спокойно кивнул головой.

— Был.

— Что там решили?

Виктор Васильевич помедлил.

— Как тебе сказать? В партии оставили...

— В партии оставили? — прислушавшись, замедлил шаг Юрка. — Кого оставили — вас? А разве вас собирались исключать? За что? Бред какой-то. Разве это возможно?..

Ребята остановились. Вынужден был остановиться и Виктор Васильевич.

— Разве это возможно? — настойчиво допрашивал Юрка.

И опять один Владик не испугался так называемых громких слов.

— Для нас вы и есть партия.

Виктор Васильевич невесело усмехнулся.

— Давайте сядем.

...Вот, оказывается, что: Виктор Васильевич больше работать в семнадцатой школе не будет, перевели его в другую школу. Наговорили ему в райкоме всяких хороших слов, а в другую школу всё-таки перевели — потому, дескать, что его и Анатолия Лукича после того, что произошло, в одной школе оставить невозможно.

— А Чича оставили?

— Его оставили. Ничего не поделаешь — учителя найти легче, директора — труднее. Так, во всяком случае, говорят. Анатолий Лукич считается ценным работником — администратор, то, что называется — железная рука...

— Нас не спросили! — горестно воскликнул Алик.

— ...Обещал на будущий год всякие хорошие дела развернуть.

— Ничего он не сделает,— убеждённо сказал Женя.— Как он может что-нибудь сделать, если он людей не любит?.. Виктор Васильевич, вы же не знаете...

— Вот это мне и обидно, ребята,— очень искренне сказал Виктор Васильевич. Обо всём, что произошло в райкоме, он говорил сейчас впервые, словно сам себе только теперь отдавал отчёт в своих чувствах.— Очень обидно, что Анатолия Лукича оставили. Не поверили до конца, не почувствовали, какое это громадное зло для школы — такие, как он...

— Мы понимаем, Виктор Васильевич...

— Мне-то что — я и в другой школе буду работать. Ребята — везде ребята...

— Мы понимаем!

Виктор Васильевич и не сомневался: они всё понимают. Он всегда относился к ним прежде всего как к душевно близким людям. Никаким таким особенным преподавателем не был, искал, осмысливал каждый свой шаг — без этого вообще воспитателя нет, — даже, возможно, ошибался иногда...

— Видишь, Лёня, — задумчиво сказал он, — а ты всё какую-то необыкновенную борьбу ищешь. Борьба у нас в жизни на каждом шагу — очень сложная, очень разнообразная. Вам, чудакам, вечно кажется, что всё осталось позади — войны, трудности, идейные стычки... Вы не робейте!..

— Мы не робеем.

— Нас ведь тоже так вот, просто, не поломаешь, мы ведь не таковские, так? — неизвестно кого убеждал Виктор Васильевич: то ли задумавшихся ребят, то ли самого себя. Глаза у него весело заблестели, он неожиданно поднялся гибким, сильным движением, скинул пиджак, принялся энергично засучивать рукава. Ребята удивлённо за ним следили.— Эх, и дадим мы им ещё жизни — всякой этой дряни, которая у нас на пути встанет. Верно, ребята? Что смотрите? Пошли хворост собирать, пока не стемнело,— темнеет быстро...

Ребята засмеялись:

— А мы думали...

Все ушли — со смехом, с пением, криками созывая товарищей; Женяка не шелохнулся. Никуда не хотелось идти. Сидел, охватив руками колени, думал: кем ему быть — может, и в самом деле, педагогом? Борьба, говорит Виктор Васильевич,— везде борьба, и людям ты везде нужен...

Очень это трудно всё-таки: то, что жизнь даётся человеку только один раз!..

1953—1956 гг.

Москва.



З. ТЕЛЕСИН, Р. БАУМВОЛЬ

★

ВЕРБЛЮЖОНОК

1

Случилось несчастье, такое несчастье!
Пропал верблюжонок коричневой масти.
Куда длинноногий, двугорбенький делся?
Он с вечера сочных колючек наелся,
Колючек наелся, водички напился,
На мягкий остывший песок опустился,
И, вытянув длинную шею, смотрел он,
Как солнце за дальним барханом горело...
И час был не поздний, и вечер был светел,
А как он ушёл — никто не заметил.
А вдруг верблюжонок ушёл на рассвете,
Когда ещё взрослые спали и дети,
Когда ещё спали Дурды и Андрюша
На мягкой кошме под разросшейся грушей?
Дурды и Андрюша, узнав о пропаже,
Встревожились — чуть не расплакались даже:
Кто будет поить верблюжонка отныне,
Кто будет кормить его корками дыни?
Кто будет учить терпеливо, без лени,
Чтоб он становится умел на колени,
Как взрослый верблюд из колхозного стада,
Когда его людям навьючивать надо?

2

Искали ребята и кликали звонко —
В ауле нигде не нашли верблюжонка.
Сначала решили они: у колодца
Мохнатый беглец непременно найдётся.
Но там, у колодца, пойли джигиты
Текинских коней, длинногривых и сытых.
Тогда повернули к арыку ребята,
Где чёрный пустырь находился когда-то.
Но там, за недавно прорытым арыком,
Одни ишаки повстречали их криком.

Тогда побежали парнишки лугами,
Траву на бегу подминая ногами.

Но там, над травую,— колечки, колечки...
Одни лишь каракулевые овечки.

А дальше — пески и пустынные дали.
Цепочку следов они вдруг увидали.

Казалось, что здесь где-то ходят верблюды,
Что вовсе не вязки песчаные груды

И что непременно товарищи смогут
Теперь отыскать к верблюжонку дорогу.

Над ним они с осени шефствовать стали.
Что скажут в колхозе о них? — Прозевали...

3

Два мальчика жили, как будто два брата,
Война их навек породнила когда-то.

И мать и отец у Дурды — хлопкоробы,
На хлопковом поле работали оба.

В семье этой дружной, как свой, был Андрюша:
«Андрюша, пей», «Андрюша, кушай».

Он беленький был и такой синеглазый!
Родным и любимым он сделался сразу.

4

Кто видел детей на дорогах изрытых?
За ними гнались по следам «мессершмитты».

Кто слышал, как выли ночами сирены?
Детей накрывали горящие стены.

Кто помнит, как в тыл отправлялись составы,
Спасая детей от фашистской расправы?..

В одном из составов, в одной из теплушек,
Где ехали сотни спасённых Андрюшек,

Ехал и наш под грохот орудий,
В аул привезли его добрые люди.

Отца потерял он, и мать потерял он,
Но Родина-мать за него постояла.

5

Много воды утекло с тех пор
С белых вершин Копет-Дагских гор.

Андрюша в туркменском ауле живёт.
Одиннадцатый пошёл ему год.

Не может хлопок быть без воды —
Не может Андрюша быть без Дурды.

Не может солнце днём не светить —
 Не может Дурды без Андриюши быть.

Сейчас друзья далеко забрели...

6

Пески,
 пески
 и барханы вдали.
 Негде укрыться от жарких лучей.
 Хоть бы один здесь нашёлся ручей,
 Тень бы упала от ветки одной...
 Всё пересохло.

 Пыль,
 зной.
 Где их колхоз, аул их родной?
 Всё перепуталось...

 Пыль,
 зной.
 Идут,
 бредут
 Андрей и Дурды,
 Нет верблюжонка — одни лишь следы.
 Следы лишь одни, следы лишь одни,
 Всё глубже в пустыню уводят они.

7

Солнце, что без усталости пылало,
 И оно в конце концов устало,
 Огненной щекой к пескам припало.

Стал закат рекою разливаться,
 К той реке багряной не добраться,
 Не напиться и не искупаться.

Вдалеке два облачка алели,
 Шевельнулся вздох, дрогнул еле,
 Мальчики усталые присели.

Быстро ночь спускается в пустыне,
 Быстро воздух делается синий,
 Каждая песчинка быстро стынет.

Положив под головы папахи,
 Мальчики прислушивались в страхе,
 Как в песке шуршали черепахи.

Свежий ветерок пронёсся низко,
 Прошмыгнул тушканчик где-то близко,
 Испугавшись собственного писка.

А когда шакалы застонали,
 Оглушая Каракумов дали, —
 Этого уж дети не слышали...

Маленькие путники пустыни
 В сон вошли верблюжьей тропкой длинной,
 А над ними месяц коркой дынной.

8

Сегодня с самого утра
Переполох в ауле,
Гудит взволнованный народ,
Как рой пчелиный в улье,

Исхожены двory, сады,
Но нет Андрюши и Дурды.

Горнист тревогу затрубил,
И пионеры быстро
У школьных строятся ворот
Под громкий зов горниста.

И вот рассыпались ряды:
— Найти Андрюшу и Дурды!

Одни пошли искать ребят
В колхоз, который рядом,
Другие — чабанов спросить,
Перегонявших стадо,

Не встретились ли им в пути
Два мальчика лет десяти.

В аулсовете телефон
Звонит без передышки:
— Алло! Алло! Ещё их нет?
Где могут быть мальчишки?

Вдруг замолчали все кругом:
На линии — аэродром.

Пришлось недолго объяснять,
Всё ясно с полуслова.
С аэродрома был ответ,
Что к поискам готовы.

Закончен разговор едва,
В пустыню вылетел «По-2».

Уже темнеет. Быстро ночь
Вползает из пустыни,
Синеют дальние поля,
И быстро воздух стынет,

А дети там одни в песках.
Отец встревожен, мать в слезах.

Отец и мать вдвоём стоят
У низкого дувала.
Лежит под грушею кошма,
Как с вечера лежала,

Всё те же ветви и плоды,
Но нет Андрюши и Дурды.

Хвосты и гривки растрепав,
Уснули жеребята,
Уснули тёлки-сосунки,
Безрогие козлята,

Ослёнок огорчает мать —
Он только стоя хочет спать.

А верблюжонок где сейчас?
Куда он вздумал скрыться?
Наелся ли колючек он,
Напился ли водицы?

Он здесь, он здесь, лежит в хлеву,
Все спят, а он жуёт траву!

Но где же был он?
В этот день,
Проснувшись на рассвете,
Он встал и, как всегда, пошёл
Туда, где спали дети,
Чтоб заглянуть через дувал, —
Мол, «просыпайтесь, я уж встал».

Но вот остановился он,
Потёрся о ворота —

Солёньего малышу
Вдруг захотелось что-то.
Солёный ветерок дохнул,
И чудачок с пути свернул.

Легко перешагнул арык,
Что на краю аула,

За сыроварней озерцо
Солёное блеснуло.

Лизал, лизал он, сколько мог,
За бурым холмиком прилёт.

Сливались холмики горбов
С тем холмиком песчаным.
А верблюжонок в этот час
Искали неустанно.

И только он пришёл назад,
Как спохватились: нет ребят...

9

Бархан,
 бархан
 и снова бархан.
По знойной пустыне идёт караван.
Верблюд
 за верблюдом,
Верблюд
 за верблюдом,
Вьюки на горбах будто держатся чудом.
Идёт
 впереди
Верблюд —
 вожак.
Звон
 колокольчика
Что ни шаг.

Каждый след
 верблюжьих копыт
 Прорыт,
 засыпан
 И снова прорыт.

Каждый след
 Верблюжьих ног —
 Воронкой в песок,
 Воронкой в песок...

Погонщики рядом
 В папахах лохматых,
 В папахах лохматых
 И ватных халатах,

Чтобы днём сквозь одежду
 Их солнце не жгло,
 Чтобы ночью в одежде
 Им было тепло.

Идут
 гуськом
 За верблюдом
 верблюду.

Моторы урчат —
 Вездеходы идут.

Крупно написано, что ни выюк:
 «Туркменская Академия наук»,
 «Узбекская Академия наук»,
 «Всесоюзная Академия наук»...

Самумы кружили, и ветры мели, —
 Советские люди в пустыню пришли.

10

Был в караване один человек —
 Пётр Петрович Петров.
 Он родился в лесном краю,
 Сам он из лесников.

Умел перепёлкою он свистать,
 На крик откликаться совы,
 Любой звериный след находил,
 Запрятанный среди травы.

Он знал, где в расщелине старой сосны
 Запасы у белки лежат...
 Однажды зимою принёс он в мешке
 Двух бурых слепых медвежат.

И как он любил перестук топоров,
 Пламя лесных костров!
 Был лесоводом в Брянских лесах
 Пётр Петрович Петров.

Сейчас с экспедицией он идёт,
 От пыли седым он стал,—

По этой жаждущей знойной земле
Пройдёт Туркменский канал.

Здесь, где один лишь зной да песок,
Самумам наперерез
Встанут леса могучей стеной,
Как Брянский родной ему лес.

И видит уже лесовод Петров,
Как здесь леса растут.
Слышит уже лесовод Петров,
Как здесь дрозды поют,
Леса растут, дрозды поют
И белки по веткам снуют.

11

Бархан, бархан и снова бархан...
В лучах рассвета идёт караван...

Машины идут,
Верблюды идут,
Насторожился первый верблюд.

Что он заметил
Там, впереди?
— Хык-хык!
Иди, иди!

Погонщик из-под ладони глядит.
Кто-то спросил:
— Что там лежит?

— Где? Не вижу,—
Сказал другой.
Третий вдаль показал рукой.

В раскалённой чёрной пыли
Две фигурки маячат вдали.
Засуетился в машинах народ,
Выехал Пётр Петрович вперёд.
Вдруг в вышине загудел самолёт...

Он улетел, покачав крылом,
С радостной вестью на аэродром.

Пётр Петрович сажает детей
В крытый кузов машины своей.

Пётр Петрович флягу берёт,
Крепкий чай вливает им в рот.

Мальчики не говорят ничего —
Две пары глаз глядят на него.

Две пары глаз обо всём говорят,
Сон одолел ослабевших ребят...

Путь по пескам не из лёгких путей.
Пётр Петрович глядит на детей.

У черноглазого кожа смугла,
На переносице складка легла.

Чёрные брови взметнулись крылом,
Чёрный вихор над высоким лбом.

У синеглазого волосы — лён.
Как не похож на товарища он!

Носик веснушчатый вздёрнут слегка,
Светлые брови, как два колоска.

Два колоска... два колоска...
Тропка во ржи, рожь высока...

Пётр Петрович поник головой.
Пётр Петрович, что с тобой?

Чёрненький спит, беленький спит, —
Пётр Петрович о сыне грустит.

12

Мальчик белокурый, синеглазый
С озорным смеющимся лицом

Спрячется за ствол большого вяза
И — бегом вдогонку за отцом.

Мальчик крикнет — эхо вторит гулко,
Лес стоит зелёною стеной.

Памятная летняя прогулка —
Сын с отцом за час перед войной.

Вот они по тропке уплывают,
Спрятавшейся глубоко во ржи,

А во ржи купаются стрижи —
Вынырнут и снова в рожь ныряют.

Вот отец на плечи поднял сына
И давай с ним под гору бежать.

Вот крыльцо, а у крыльца рябина,
Из окна выглядывает мать,

Это, кажется, недавно было
Или, может быть, давным-давно...

В тучах дыма это всё уплыло —
Мать и сын, рябина и окно...

Всё в огне войны перемешалось,
Не воротить близких, не найдёшь...

В памяти навек она осталась,
Тропка, убегающая в рожь...

Сердце у Петрова больно сжалось —
Как на сына беленький похож!..

13

Великая радость сегодня в ауле,
 Сегодня ребят из пустыни вернули!
 Сюда завернул караван экспедиции,
 Машины, верблюды вошли вереницей.
 Смешной верблюжонок у каждой машины
 С большим любопытством обнюхивал шины.
 Дехкане для встречи с людьми каравана
 Вина нацедили, забили барана.
 За длинным столом вперемежку сидели,
 Вели разговоры, и пили, и ели
 Виноградари, геологи,
 Чабаны и археологи.
 Шёл большой разговор о большом и о малом,
 Обо всём, что советских людей занимало,—
 О спасённых детишках, о малых арыках,
 О хлебе, о хлопке, о стройках великих.

14

В знакомом саду под разросшейся грушей —
 Пётр Петрович, Дурды и Андрюша.
 Взглянув на ребят и помедлив немного,
 Петров закурил и задумался строго...
 Вдохнул, улыбнулся, взглянул на них снова,
 Не в силах сказать ни единого слова...
 Покуда молчали втроём они, ирис
 Раскрыл лепестки и немножечко вырос.
 Под сливою ветка отвисла немножко,
 Ей листик как будто подставил ладошку.
 У яблока бок зарумянился еле,
 Две бабочки всласть накружиться успели.
 Какой-то жучок синевато-лиловый
 Взлетел и уселся на руку Петрова
 И поднял не то хоботок, не то усик.
 — Смахните его!.. Смахните — укусит!
 Но сам улетел тот жучок. Не иначе
 Ребята ошиблись: он не был кусачий.
 И всё как-то вдруг обошлось, посветлело...
 Дурды у Петрова на кителе белом
 Рассматривал орден, ласкаясь несмело.
 Андрюша медаль рядом с орденом тронул,
 Потупясь, прислушался к лёгкому звону.
 Тот отзвук войны многолетней, суровой,
 Как гром, отдавался в груди у Петрова.

К развилине груши плечом он прижался
И стал разговорчивым вдруг, размечтался:

— А знаете, что мы, ребята, затеем?
Леса на пустынных местах мы посеём —

Акацию, тополь, гледичию, ясень,
И вяз-карагач для пустыни прекрасен.

А ты, мой сынок, ты, дубок мой зелёный,
Великою дружбой народов выращённый,
Той дружбой, что корни пустила повсюду,
Мне сына напомнил, тебя не забуду...

И Пётр Петров посмотрел на Андрюшу,
Не то что в глаза ему — в самую душу.

Андрей розовел от бровей и до шеи,
От нежного взгляда того хорошея.

15

День кончился. Солнца лучи отпылали.
В туркменском оазисе все уже спали.

Не спали лишь двое — Дурды и Андрюша.
— Дурды, ты не спишь?..
— Андрюша, послушай...—

Они укрывались, они раскрывались,
Шептались,
молчали

и снова шептались.

С подушки сползали, ложились повыше,
Горели задорно глаза у мальчишек.

Луна сквозь листву освещала их лица.
Спросить бы ребят: почему им не спится?

За сутки они повидали немало —
Всё время пред ними пустыня вставала,
Пустыня, где нет ни воды, ни прохлады,
Пустыня, где нет ни лужайки, ни сада.

Пустыня немая, пустыня слепая,
Где крутят самумы, следы засыпая.

И вдруг в этой знойной безлюдной пустыне
Вода долгожданная радостно хлынет!

Напьётся земля той водою целебной,
И встанут леса, как из сказки волшебной.

В лесах Подмосковья, в лесах Приуралья
Для этих лесов семена собирали.

А кто собирать помогал?—
Пионеры!

А кто семена отсылал? —
Пионеры!

И двум пионерам уже не терпелось
Скорее приняться за важное дело.

Они как бы видят своими глазами
Корзины семян и мешки с семенами.
Как будто семян уже собраны горы,
И ходят вокруг пионеров дозоры.

И вот верблюжонок пришёл на рассвете,
Двугорбую спинку подставил он детям.

Навьючили дети мешки с семенами.
— Хык-хык! Ты пойдёшь на канал вместе с нами.

Идёт верблюжонок и шейю качает,
Пётр Петрович в пути их встречает.

Заря занялась, светлеет в ауле.
Уставшие мальчики крепко уснули...



Б. КОРОТКОВ

✱

ВСЕГДА В ПАМЯТИ...

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Шёл октябрь 1917 года — холодный, туманный, слякотный. Я работал тогда рассыльным в редакции одной из газет. Работа, прямо скажем, была не из лёгких, уставал я сильно, а жил без особых удобств, ночевал тут же, в редакции, на диване для посетителей, просыпался продрогший до костей и бежал в контору топить печку. С этого и начиналась моя служба. Часам к десяти собирались сотрудники, я разносил пакеты по городу и, выполнив множество заданий, снова возвращался наконец к своей заветной печке.

В те предреволюционные дни работа в нашей конторе проходила довольно беспорядочно. С улицы доносился необычный шум. По мостовой проносились грузовики. Тесно прижавшись друг к другу, в них сидели люди в серых солдатских шинелях. Я с вниманием, а отчасти и с завистью оглядывал их винтовки и пулемёты.

В редакции было шумно. Сотрудники наперебой рассказывали новости, какие кто знал. Наконец все разошлись по местам.

Тут конторщик Иванов подошёл ко мне и сказал:

— Рассказать? Будешь слушать?

— Конечно!

Ведь вот повезло Иванову! В тот день, когда питерские рабочие встречали Ленина, Иванов попал на Финляндский вокзал. Рассказывал он нам об этом не раз, но всегда с новыми подробностями.

Дрова давно прогорели, надо было подбросить. Но я сидел, не шевелясь, у остывшей печки. Всё, что говорилось о Ленине, волновало меня необычайно. Да и не одного меня. Многие из сотрудников оставили свои дела и постепенно тоже перебрались поближе к рассказчику.

Никто из нас не заметил, как в комнату вошёл А. В. Луначарский. Я даже вздрогнул, когда неожиданно услышал его голос.

— Товарищи, — сказал Луначарский, — кто желает перейти на работу в Смольный, в экспедицию газеты «Рабочий и солдат»? Предупреждаю, работа не из лёгких и небезопасная.

Со всех сторон поднялись руки.

— Нет, это много.

Луначарский отобрал шестерых, в том числе Иванова и меня. Сердце у меня ёкнуло: в Смольный! Там, быть может, я увижу Ленина. Пусть любая работа, лишь бы взяли! Одеться мне было недолго — шапка да ватник. Через несколько минут я уже быстро шагал по улице, не обходя луж, в худых ботиночках, полных воды.

В воротах Смольного нас задержали матросы. Товарищ Луначарский предъявил пропуск, сказав, что все шестеро идут с ним.

Снаружи Смольный был пасмурен и суров. Во дворе — броневики, всюду матросы в чёрных бушлатах, солдаты, рабочие, красногвардейцы. На площадке между колоннами — пушки и пулемёты. На лестнице было тихо, и наши дружные шаги гулко отдавались под порталом.

Но едва только открылась дверь, навстречу брызнул свет, в лицо ударило горячим воздухом, в нос — махоркой, и больше я уже не слышал голосов своих товарищей.

Толпа в коридоре нас мигом развела. С минуту я ещё видел шляпу на голове Луначарского, но вскоре и она затерялась среди папах, бескозырок, городских питерских картузов и деревенских треухов.

Я не стал разыскивать товарищей, я был даже рад случаю остаться одному. Теперь-то уж никто мне не помешает увидеть Ленина!

Сняв шапку, чтобы её не сбили с меня ненароком, я стал пробираться по коридору, то и дело привставая на цыпочки и осматривая всех встречных. Я не знал, как выглядит Ленин. Но ни минуты не сомневался, что сразу же узнаю его, как только увижу. Я считал — он не может быть такой, как все, он особенный!

Однако Ленина я не увидел. Тогда я стал спрашивать людей, но ни от кого не добился толку.

Выбравшись кое-как из толпы, пошёл вверх по лестнице, всё так же оглядывая встречных. Лестниц в этом огромном здании оказалось множество, я обошёл их все. Измучился до невозможности. Усталый, огорчённый, присел на ступеньку передохнуть хоть немножко.

— Вот ты где? — услышал я знакомый голос.

Гляжу — Иванов.

— Вот ты как работать пришёл! — говорил он сердито, с упреком.

— Ты Ленина видел, и я видеть хочу! — не менее сердито ответил я.

Иванов поглядел на меня озадаченно. Потом усмехнулся:

— Как же ты узнаешь Ленина?

— Очень просто. Он здесь главный, значит и одет лучше и походка важная.

— Ну, брат, этак ты всю жизнь просидишь и не узнаешь Ленина. Кстати сказать, Владимира Ильича в Смольном вообще нет... Ну, идём, работы много.

Иванов повёл меня в экспедицию.

На моё счастье, экспедиция оказалась всего лишь этажом выше. Но шли мы долго, снова приходилось протискиваться сквозь толпы народа.

Утром 25 октября в Смольном было особенно оживлённо. Появились новые отряды вооружённых рабочих, матросов, солдат. Во дворе устанавливали орудия, пулемёты. Пришли броневики. В экспедиции спешно распаковывались кипы газет «Рабочий и солдат». Во всём чувствовалась какая-то торжественная напряжённость. Ждали больших событий.

Наступила ночь. Весь Смольный гудел. Казалось, тысячами голосов говорят не только люди, но самые стены, колонны. В здании Смольного быстро формировались боевые рабочие отряды. Получив винтовки, патроны, гранаты, люди выбегали на двор, торопливо строились и уходили в город. Похоже, отрядам не было конца. Город погружался в глубину ночи, а улицы с каждой минутой оживали. В общий гул ворвался треск пулемётов, разрывы снарядов. Каменные стены домов и гранит набережных разносили эхо выстрелов. Во дворе Смольного появились первые раненые...

К утру канонада стала стихать. С наступлением рассвета слышались уже только отдельные выстрелы да грохот проезжавших машин с рабочими, матросами и солдатами.

Я не стерпел и вышел из экспедиции. Очень уж хотелось узнать, что в городе.

На третьем и втором этажах всё было, как обычно. Я даже разочаровался. Но внизу неожиданно встретил пулемётчиков. Оказывается, их прислали в Смольный для усиления охраны.

Спрашиваю у пулемётчика: «Что случилось?» Говорит: «Ночью Зимний дворец взяли».

Расспрашивать больше было некого. Я вернулся в экспедицию, но делать так ничего и не смог. Да в то утро никто ничего не делал, только обсуждали кто во что горазд происшедшие события.

Но вот около одиннадцати часов утра в экспедицию привезли воззвание «К гражданам России!», написанное Лениным. В этом воззвании говорилось о том, что народ сверг Бременное правительство и вся власть перешла в руки Советов.

Сразу закипела работа! Каждый торопился разослать эти обращения во все концы России. Вот раскололся веером свежий тючок листовок, и пальцы экспедитора, пробежав по вееру, мигом пересчитали экземпляры. Вот другой мгновенно увязывает заново собранный тючок тугим шпагатом... Из двери в глубь комнаты то и дело втаскивают рогожные кули. У окон их распаковывают, и на полу горами ложатся только что отпечатанные газетные листы и воззвания.

Я прямо-таки загорелся на этой работе, всячески старался не отставать от других. Ведь это Ленин написал воззвание!

Вечером мне неожиданно дали поручение. Надо было распространить литературу среди солдат, которые ещё не присоединились к восставшему гарнизону. Я не знал, как это делается, вообще не имел никакого понятия о том, как раздают листовки, а товарищи из экспедиции надавали мне столько советов и наставлений, что в голове всё окончательно перепуталось.

С кипой газет и брошюр я остановился на площадке второго этажа, не зная, куда мне следует ехать.

«Неужели провалюсь? — думал я с отчаянием. — Неужели на этом и конец моей работе в Смольном?»

Попробовал обратиться за советом к бежавшим и проходившим мимо людям, но многим было не до меня — каждый был занят своим делом, а некоторые сами не знали, как мне помочь. Чувствовал я себя прескверно.

Чьё-то прикосновение к моему плечу вывело меня из тягостного раздумья.

— Здравствуйте, — сказал незнакомец и подал мне руку. — Что это вы насупились? Или тяжело нести?

Я замялся, но участливая улыбка говорившего поощряла к откровенности. Я рассказал обо всём, что меня смущало.

Человек ласково вполголоса сказал:

— Дело серьёзное, но вы его выполните наверняка. Бегите во двор, там стоит грузовик с уезжающими солдатами, и вас доведут до Новочеркасских казарм.

Сказав это, он быстро удалился.

Грузовик сбросил меня за Охтенским мостом. Пакеты я рассовал под ватником и повернул направо, к угрюмым, полуосвещённым казармам Новочеркасского полка.

Чтобы не вызывать подозрения часовых, я шёл вдоль корпусов, глядя прямо перед собой, будто мне и дела нет до этих казарм.

Но вот корпуса кончаются. Ещё несколько шагов, и я промахну мимо полка. А возвращаться нельзя. Набравшись духу, свернул в первый попавшийся подъезд.

— Стой! — раздался окрик.

Я остановился.

— Кто такой? Куда идёшь?

— К дяде, — выпалил я, — хлеб передать.

Часовой поглядел на мои пустые руки, погрозил пальцем, но тут же с усмешкой сказал:

— Может, и мне отломить кусочек?

Я сунул ему в руку листовку и, весь съёжившись, ожидая пулю в спину, побежал вверх по лестнице...

Казарма. Затхлый воздух. Ряды коек. Я поспешно затесался между солдатами. Осмотревшись, разгрузил карманы на чью-то койку, потом вытащил пакеты, запрятанные под ватником, на животе, под мышками. Солдаты заметили и — пошла литература по казарме!

Бочком, бочком я стал пробираться к выходу. Навстречу два офицера. А у меня в руках номер «Рабочего и солдата». Не успел я сунуть газету под койку, как офицер сшиб меня с ног кулаком. Я полетел вниз по лестнице.

Очнулся в грязи посреди мостовой. Слышу — неподалёку кто-то жалобно стонет. Стал прислушиваться. Не сразу догадался, что этот «кто-то» — я сам. Мне было очень холодно лежать в грязи, но встать не мог. Кое-как подполз к фонарному столбу и, цепляясь за него, наконец встал.

Первое, что я припомнил из всего происшедшего, была улыбка и слова человека, встреченного там, в Смольном. Несмотря на боль, я всё-таки сам улыбнулся. — а ведь и верно, поручение-то выполнено!

А перебравшись за Охтенский мост, вспомнил и слова Луначарского, когда Анатолий Васильевич предупреждал нас шестерых о том, что работа будет небезопасная. Мне тогда, грешным делом, не поверилось — какая может быть опасность в экспедиции?

В Смольный добрёл я вконец измученный, но гордый. Товарищи обступили меня, обчистили от грязи и крови, перевязали. Потом стали расспрашивать, как что было.

Когда я подробно описал, как выглядел, как говорил человек, встретившийся мне в коридоре Смольного, кто-то сказал:

— Да это же Ленин!

— Ленин?..

На другой день хотя и с забинтованной головой, но я всё же пришёл в экспедицию. Мне дали поручение съездить за агитационным материалом. Только я устроился в автомобиле, как вдруг дверца распахнулась. У машины стоял Ленин. Он сказал, что ему также надо ехать в типографию, и предупредительно спросил, свободно ли в машине, не помешает ли он.

Я с радостью посторонился. Владимир Ильич приветливо протянул мне руку:

— Здравствуйте, товарищ! Припоминаю, мы с вами однажды встречались. Не так ли?

Но тотчас же улыбка сбежала с его лица, он посмотрел на мою забинтованную голову.

— Что с вами?

Я рассказал о том, что произошло со мной в Новочеркасских казармах. Владимир Ильич внимательно слушал, его брови сдвинулись.

— Ваш труд не пропал даром, — сказал он. — Я получил известие, что новочеркасцы восстали и перешли на нашу сторону... И, кажется, — добавил Владимир Ильич, — офицерам этим, избившим вас, не поздоровилось.

...Работа в экспедиции шла полным ходом. Однажды, когда мы упаковывали газету «Рабочий и солдат» для отправки во все концы России, я услышал:

— Товарищ Коротков здесь?

В дверях стоял вооружённый красногвардеец. Он сказал, что меня требует к себе управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич. Должно быть, я имел очень растерянный вид, потому что красногвардеец дважды повторил мою фамилию.

— Из экспедиции, Коротков, — сказал я, войдя в комнату, где работал В. Д. Бонч-Бруевич.

Он вскинул голову, рассматривая меня сквозь очки, и внушительно сказал:

— Вы переводитесь на работу в приёмную Совета Народных Комиссаров. Зайдите к Владимиру Ильичу, он скажет, что надо делать.

Бонч-Бруевич стал объяснять мне, куда идти, но я от волнения ничего не понимал. Тогда он сам повёл меня в коридор и показал дверь в кабинет Ленина.

Попытался, как мог, привести себя в порядок, тихонько тронул дверную ручку, духу не хватало постучаться. Всё не верилось: и лет мне мало и не сделал я ничего. Чем заслужил такое доверие?

Дверь открылась. На пороге стоял Ленин, он взял меня за руку и повёл к себе. В кабинете сидела какая-то женщина.

Владимир Ильич сказал:

— Ну вот, Надя, познакомься с этим товарищем, про которого я тебе рассказывал.

Оказывается, это Надежда Константиновна Крупская! Я о ней не раз слышал как о лучшем друге Ленина.

Владимир Ильич рассказал подробно о моих новых обязанностях, сказал, что работу надо начинать завтра же в девять утра, и отпустил.

В ПРИЕМНОЙ ЛЕНИНА

Не было и девяти, когда я пришёл на работу, а в приёмной Совнаркома уже собрался народ. Рабочие, крестьяне, матросы, солдаты... Самые обыкновенные люди. Подчас крикливые и шумные в коридорах Смольного, здесь они тихо сидели и стояли, изредка покашливая в кулак.

Кажется, именно в это утро в приёмной Ленина я окончательно убедился, что власть большевиков — доподлинно власть рабочих и крестьян.

Я тихо постучался в дверь к Ленину. Он приветливо поздоровался.

— Итак, товарищ Коротков, приступим к работе, — сказал Владимир Ильич.

Он взял со стола большую книгу в сером полотняном переплёте, перелистал, просмотрел несколько первых исписанных страниц.

— Это мне не нужно. — Ленин вырвал исписанные страницы. — А вот отсюда, с чистого листа, и начинайте. Сядьте в приёмной, пропускайте ко мне по очереди, но предварительно каждого опросите, и если вопрос непосредственно касается меня, то запишите фамилию, звание и по какому делу. Если делегация, — отметьте завод, учреждение. Если товарищи из деревни, — не забудьте записать губернию и уезд.

Народ шёл к Ленину беспрерывно. Многим вначале было не по себе, они явно емушались. Случалось, люди приходили измученные, чем-то недовольные, нерешительные. А выходили они от Ленина преобразённые — будто сильнее стали; видно было — готовы на любое дело. Я думаю, получалось это оттого, что стояло только рабочему, крестьянину вступить в разговор с Владимиром Ильичём, как он чувствовал себя равноправным собеседником главы правительства, понимал, что и речь идёт о делах государственных.

Припоминаю такой случай.

Вышел из кабинета старый рабочий, на глазах слёзы.

— Что произошло? — спрашиваю. — Как дела ваши?

— А так, — отвечает, — шёл я к Ленину, и со страху ноги подкашивались. Порог переступил, а сам за дверную ручку держусь, чтобы не зашелкннулась, — в случае чего, думаю, плечом в дверь, да и обратно. А Ленин: «Здравствуйте, — говорит, — товарищ, как ваше имя, отчество?» Поздоровался со мною за руку. «Садитесь, пожалуйста!..» Это Ленин-то! Самый главный на всю Россию — мне стул подаёт. Что говорить надо — всё из головы вон... Хоть спасибо надо бы сказать! А Ленин смеётся, похлопал меня по плечу, да и говорит: «Что же это вы, Яков Петрович, духом не падали, когда Зимний дворец брали, а здесь совсем расстроились». Давай меня подбадривать. И всё моё горе-несчастье, с чем я пришёл, так помаленьку и выпитал. И сам, без слов, чирк-чирк у себя на столе карандашиком, помощь назначает. Я и прошения не успел подать. «Мы, — говорит, — даже обязаны вам помочь».

Старик часто замигал и поднёс платок к глазам.

— Эх, братцы, братцы, — сказал он, обращаясь к находившимся в приёмной, — об одном жалею, что поздно винтовку в руки взял. Только к старости и хватило ума на Зимний пойти... А к Ленину ещё приду, — вдруг заявил он мне. — За работой приду. Не желаю отставным стариком сидеть. — И он вышел уверенной походкой.

Как-то пришёл на приём солдат. Поздно уже, часов десять вечера. Спрашиваю: по какому делу?

— Да в полку у нас не пойми-поймёшь что делается. Одним словом, контра, Ленин как, поможет?

Я сразу доложил Ленину, а солдату говорю:

— Только прошу вас, товарищ, не задерживайте Владимира Ильича, у него много дела, народ идёт, не убавляется, а ночью — заседание Совнаркома.

— Да я быстро, мигом. Список передам, кто в контре, и всё.

Этого солдатского делегата Ленин принял немедленно. Вошёл он в кабинет, да и пропал там. Пятнадцать минут, полчаса, а он всё не возвращается. Вышел минут через сорок.

— Товарищ, ведь я же просил вас... — заговорил я с упрёком.

— Так наоборот вышло, — смеётся солдат. — Я сказал, что надо, хочу встать, а он меня за рукав придерживает. Велит ещё рассказывать. Рассказываю. Ну, думаю,

теперь уже всё. А он опять меня за рукав и опять с вопросами.. И любопытный же Ленин до нашего брата, солдата!..

Иногда я присутствовал во время приёма в кабинете у В. И. Ленина. И уж, конечно, следил за каждым его словом, движением. Он очень мало говорил, больше слушал, прищуривал левый глаз, приподнимал правую бровь, немного вбок подставлял ухо, наклонялся и с огромным вниманием ловил каждое слово, изредка поглядывая на посетителя.

Иногда Ленин осторожно задавал вопросы, помогая этим товарищу высказаться конкретнее. Можно сказать, он «вцеплялся» в интересные стороны человека, извлекая из него всё существенное, но никогда не расточал времени на беседу ради беседы. Как только предмет разговора исчерпывался, Ленин тотчас переходил к выводам. Владимир Ильич ценил время и приучал к этому других.

Переговорили? Вопрос ясен? Надо решать. Однако Ленин избегал навязывать свой вывод. Он стремился к тому, чтобы каждый, пришедший за советом или помощью, понял, что решение может быть именно такое, а не иное, чтобы посетитель как бы сам — только в присутствии Ленина — принял верное решение. Вот почему, даже получив отказ (такие случаи бывали), человек уходил от Ленина без злобы и досады, с ясным сознанием того, что просьба несвоевременна или неправомочна.

Не обходилось и без курьёзов.

Однажды услышал я за дверями шум и вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, какой-то крестьянин пробивается к В. И. Ленину, а часовой ему что-то доказывает.

Спрашиваю у крестьянина: зачем пришёл?

Он стал объяснять:

— Летом у меня лошадку в деревне отобрали, обещали за неё деньги дать, а вместо денег вот эту бумажку дали. И с этой бумажкой я больше двух месяцев хожу и не могу правды найти.

Тут перебивает его часовой:

— Какой же ты дурень! Я тебе говорю, что у тебя украли лошадь Временное правительство. Правительство это уничтожено, теперь Советская власть, а ты всё своё твердишь — отдай тебе деньги да отдай.

Крестьянин только отмахивается:

— Что ты мне всё толкуешь про какое-то Временное правительство? Загоняло меня это правительство! Я вот слышал, только Ленин может помочь, он хороший человек. Давай пропускай к Ленину!

Я попросил крестьянина пройти в приёмную, взял у него записку и пошёл к Владимиру Ильичу доложить. Ленин прочитал записку, порвал её, сказал несколько крутых слов по адресу Временного правительства, потом рассмеялся и попросил крестьянина к себе.

Я вернулся в приёмную, крестьянин — ко мне:

— Ну, как? Ленин-то что сказал? Отдадут теперь деньги?

— Ленин сам хочет вас видеть.

Крестьянин сразу притих, как-то весь съёжился и говорит тихо:

— Это меня-то?

— Вас.

Минуты шли, а крестьянин всё ни с места: никак не мог поверить.

Тогда Ленин сам вышел и спрашивает:

— У кого лошадь украли?

Мужичок окончательно растерялся. Потом, увидев добрые, внимательные глаза Ленина, приободрился, выпрямился.

— У меня, товарищ Ленин, украли.

Владимир Ильич спрашивает на ходу, возвращаясь в кабинет:

— Расскажите, как это случилось?

Дверь за ними закрылась.

В приёмной завязался разговор про этого крестьянина, про его лошадку и Временное правительство. Начали смеяться, как это, мол, додумался просить деньги у самого Ленина.

А минут через двадцать крестьянин вышел сияющий. Было такое впечатление, что он уже под уздцы ведёт свою кормилицу. В руке у него был листок со штампом Председателя Совнаркома. Тыча пальцем в этот документ, он кричал на всю приёмную: «Вот она! Вот она, моя лошадка! Я же говорил, что Ленин поможет. Про всю нашу крестьянскую жизнь спросил».

Как-то раз — это было уже в Кремле — к самому концу приёмной записи пришли два крестьянина. Народу было очень много, но они не растерялись. Один из них совсем старичок.

Я спрашиваю: с чем пришли? Он отвечает:

— Сыночек, с голоду умираем. Вот хлебушек, чем мы питаемся, пополам с землёй. Вагончик нам нужно получить от Ленина. Мы знаем, где хлебушек взять, только вагончик нужен.

Говорю им, что не к Ленину идти, а к комиссару по продовольствию, товарищу Цюрупе. Они заладили одно: «Нет, только к Ленину!»

Вхожу к Владимиру Ильичу. Он внимательно выслушал меня, прочитал документы, которые я взял от ходоков, и распорядился пропустить обоих вне очереди.

Крестьяне перешагнули порог кабинета и остановились, прижавшись к стенке. Лапти рваные, ошчи вылезли, поддёвки продырявлены, за спиной сумки, в заплатках, пустые. Стоят, затылки почёсывают.

Ленин привстал, приветливо им улыбается, приглашает к столу. Они всё не решаются. Владимир Ильич обождал терпеливо, пока ходоки придут в себя. Просто, как к каждому посетителю, подошёл, протянул руку, поздоровался.

— Ну вот, товарищи, вы — передовые крестьяне, уполномоченные от схода, хотели видеть непременно меня, а сами у двери стоите?

Те переглянулись и молча сделали шаг вперёд.

— Как зовут вас? — спросил Владимир Ильич.

— Меня-то? Лаврентием, — ответил старик.

— А по батюшке?

— Это к чему же? Лаврентий и Лаврентий. Сроду не величали.

— Сроду — это одно, а сейчас — другое. Так как величать?

— Тогда Иванович.

— Так, так, Лаврентий Иванович... — Владимир Ильич усадил старика в одно кресло, молодому указал на другое, рядом.

Я возвратился к своим делам в приёмную. Прошло немало времени. Но вот дверь открылась, и ходоки вышли. В глазах — неопишуемая радость.

— Вот это Ленин! Это — крестьянский человек! А у нас-то в деревне Микитка, как к нему ни сунешься, всё ему недосуг.

И оба наперебой принялись рассказывать:

— Про жену, про детишек и то спросил. Насчёт хлеба полное распоряжение сделал. И ещё в казённый склад велел зайти — гостинцев получить ребятишкам. Вот ведь он какой, Ленин-то!

По окончании приёма я попросил Владимира Ильича разъяснить мне: как это так — в деревне выбранному председателю недосуг с крестьянами разговаривать?

— К сожалению, — сказал Владимир Ильич, — Микиток, о которых они рассказывали, у нас пока ещё много. Имеются они не только в деревне, но и в городе.

Я спрашиваю: как же так? Эти же люди сами из рабочих и крестьян.

Он говорит:

— Да, конечно, верно. Но иному не хватает культуры, умения управлять, становиться к власти и зазнаётся, а всякое зазнайство — это признак нашего бескультурья.

С НАРОДОМ И ДЛЯ НАРОДА

Ленин был удивительно внимателен не только к посетителям, разнотившим каждое слово его по всей стране, но и к любому, самому маленькому работнику аппарата, ко всякому встреченному им человеку.

В аппарате Совнаркома вначале было человек пять сотрудников. Работать каждому приходилось много. Но как скажешь, что ты устал! Видя, как трудится Ленин,

все скрывали свою усталость. Однако Владимира Ильича трудно было провести. Он никогда не проходил мимо тех, на чьих лицах замечал утомление или недовольство. Обязательно узнает причину плохого настроения, спросит, в какой помощи нуждается человек, скажет несколько ободряющих слов.

Вот воспоминания моей матери о том, как она встретила В. И. Ленина, не зная ещё, что это он:

«Подметаю я пол в столовой Совнаркома, и вдруг мне что-то от слабости стало плохо. С питанием было неважно тогда. Остановилась и склонила голову на ручку щётки. Вдруг кто-то подходит, кладёт на моё плечо руку и так ласково спрашивает:

— Что, товарищ, тяжело?

Я молча смотрю на него. Думаю: «Кто это?» Он, не дождавшись ответа, посмотрел на меня так пронизательно, да и ответил сам себе:

— Трудное время переживаем, но ничего, как-нибудь потерпим!.. А скажите, нравится вам нынешняя власть?

Что мне ему ответить?

— Всё равно, — говорю, — какая власть, только бы жилось-то легче.

А он как рассмеётся на это, да так звонко-звонко. Глядя на него, я и сама засмеялась: думаю — весёлый человек, ему и нужда нипочём».

У моей матери, разумеется, тогда и в мыслях не было, что это Ленин. Потом она долго смущалась при встрече с Владимиром Ильичём, считая, что обидела его своим отзывом о новой власти.

Припоминая первый день работы в приёмной Ленина. Весь день шли и шли посетители. Столько было впечатлений, людей! К тому же дело для меня новое, непривычное, и к вечеру я довольно-таки вымотался.

Когда стало смеркаться, Ленин вышел из своего кабинета, включил в приёмной свет и, разминаясь, прошёл из угла в угол.

— Ну как, — спросил он меня, — устали?

— Нисколько, Владимир Ильич.

Ленин строго посмотрел мне в лицо.

— Идите-ка домой, товарищ Коротков, а на будущее сделаем уговор: не привыкать обманывать.

Я смутился, но, уловив добродушную нотку в голосе Ленина, стал просить, чтобы он разрешил мне остаться до конца приёма. Вместо ответа Владимир Ильич хлопнул мою книгу записей и предложил немедленно отправиться на отдых.

А вот ещё случай.

Была у нас машинистка, скромная и старательная женщина. Владимир Ильич очень ценил её аккуратную работу и обычно к ней направлял для перепечатки свои статьи.

Как-то вечером Владимир Ильич попросил её с машинкой к себе в кабинет. Была, видимо, очень срочная работа. Машинистка перепечатывала готовые страницы рукописи, а Владимир Ильич тут же за столом читал и правил остальные.

Вдруг, пробежав глазами один из напечатанных листков, Владимир Ильич отложил перо и посмотрел на машинистку. Она вспыхнула.

— Владимир Ильич, дайте сюда страницу. Я что-нибудь напутала?

— Вы сколько сегодня работаете? — не отвечая, спросил Ленин.

Машинистка замялась. Оказалось, что она в течение дня, помимо своей работы, помогала ещё и не совсем здоровой подруге.

Ленин сказал:

— Вы очень утомлены, товарищ, идите домой и сразу же ложитесь спать.

Машинистка в изумлении смотрела на Ленина.

— А как же работа? Ведь это же вам срочно, Владимир Ильич?

Возник спор. В конце концов Владимир Ильич уговорил уставшую женщину прилечь тут же в кабинете на диване. Машинистка прилегла на несколько минут, потом встала и хотела было снова взяться за работу. Тогда Владимир Ильич со всей решительностью предложил ей немедленно уйти домой отдохнуть. А сам, оставшись один, переписал все листки набело от руки.

Нередко Владимир Ильич работал до ночи. В этих случаях он старался никого дома не беспокоить и заранее предупреждал домашнюю работницу: «Вы меня не ждите, спите спокойно, я приду очень поздно. Только прошу, оставьте, пожалуйста, мне покушать, положите в кухне на плиту». Когда Владимир Ильич возвращался, он очень осторожно, чтобы никого не разбудить, шёл в кухню, брал приготовленное и здесь же ужинал.

Ленин не представлял себе жизни без теснейшей связи с простыми трудящимися людьми. Он всегда был среди своего народа, повседневно узнавал его жизнь и чаяния. Ленин сам лично всё проверял, своими глазами видел, как трудно людям строить новую жизнь. Вот почему его никто никогда не мог обмануть, ввести в заблуждение.

Мне довелось не раз беседовать с Надеждой Константиновной Крупской. Она работала в Сокольниках, и Ленин навещал её, очень часто приходя пешком, и всегда рассказывал ей, что удалось ему по пути наблюдать.

— Владимир Ильич, — говорила Н. К. Крупская, — очень горевал, что плохо ещё живут рабочие, всюду грязь, беднота, наверняка много болеют... Владимир Ильич, идя ко мне, нередко даже менял маршруты, лишь бы побольше увидеть. Я иногда уговаривала его поехать обратно на машине, напоминая, что так, одному, ходить вовсе не безопасно. Он вначале пытался успокаивать меня, говорил, что ничего не может случиться, а если это не помогало, то уходил украдкой и шёл в Кремль всё-таки пешком.

До сих пор не могу представить себе, каким образом, выполняя громадную партийную и государственную работу, Ленин ежедневно, несмотря ни на какие дела, обязательно выкраивал время специально для того, чтобы выяснить, в чём конкретно нуждаются товарищи, преданно и честно проявившие себя на каком-либо участке работы. Он тотчас же приходил им на помощь, независимо от того, обращались ли они к нему сами или не давали о себе знать. Иногда это были люди, потерявшие здоровье в революционном подполье, на баррикадах, иногда — ответственные и рядовые партийные и советские работники, ходяки из деревень. Чаще всего Ленин сам узнавал о нуждах людей и помогал всем необходимым, касалось ли это лечения, питания, одежды, топлива или жилой площади.

Где бы ни находился Владимир Ильич, он сейчас же интересовывался личной жизнью человека, с которым ему пришлось столкнуться. Побеседует о делах и обязательно перейдёт на личную жизнь: «А как вы сами живёте? В чём нуждаетесь? Как ваша семья проживает? Как с квартирой?» До мелочей доходил.

На приёме у В. И. Ленина перебивали тысячи людей — рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, партийные и советские работники, учёные, журналисты, политические деятели, дипломаты, инженеры, врачи, писатели. Сам Ленин то и дело выезжал на заводы, фабрики, в деревню. Личная связь с массами была для него делом первостепенной важности. Массы нуждались в том, чтобы видеть и слышать Ильича, а сам он нуждался в том, чтобы слушать народ. Он просто не мог обходиться без живого соприкосновения с людьми.

Конечно, всё это требовало от Ленина не только времени и выносливости, но и подлинного бесстрашия, потому что враги постоянно искали случая совершить на него злодейское покушение.

Однажды (это было ещё в Петрограде, в Смольном) Ленин, в пальто и шапке, вышел из кабинета и извинился перед посетителями, что вынужден на некоторое время прервать приём. Народу в приёмной было много. Владимир Ильич вынул из жилетного кармана свои часы и, подумав с минуту, сказал:

— Прошу товарищей не беспокоиться, я вернусь через полтора часа, и все будут сегодня приняты.

Затем он наклонился к моему столику:

— Едемте вместе.

Ленин быстро пошёл по коридору, я едва поспевал за ним. На ходу Владимир Ильич объяснил, что ему надо побывать в казармах, где офицеры и юнкера ведут контрреволюционную агитацию, мешают солдатам организоваться.

Я сразу вспомнил, как худо пришлось мне в Новочеркасском полку, и начал отговаривать Владимира Ильича от опасной поездки.

— Нет,— сказал он,— ехать необходимо.

Мы сели в машину. Владимир Ильич стал подробно расспрашивать меня о домашних, как будто мы не во враждебный стан направлялись, а ко мне на Охту в гости. Услыхав, что моя мать слаба здоровьем и ей трудно работать дворником, Владимир Ильич тут же поручил мне непременно узнать, не пожелает ли она перейти на работу в столовую Совнаркома. Я был поражён. Я тогда ещё не знал, что одна из замечательных особенностей характера Ленина как раз состояла в его умении заботиться о простых людях, как только к этому представляется случай.

Приехали.

Выйдя из машины, Владимир Ильич тем же быстрым шагом, каким только что шёл по коридору Смольного, направился к казармам.

У входа толпились солдаты, но Ленин всегда держался так незаметно, что никто не обратил на нас внимания. Мы вошли в обширное помещение столовой. Сидя тут и там у длинных дощатых столов, солдаты лузгали семечки. На трибуне из составленных вместе скамеек размахивал руками офицер. Он поносил большевиков последними словами. Завидев в дверях нас, гражданских, насторожился, стал присматриваться.

Ленин пошёл к трибуне, я за ним.

Офицер, не сводивший глаз с Владимира Ильича, вдруг взвизгнул:

— Вот он, большевистский главарь. Он сам здесь!

Вокруг нас засуетились, вскочили с мест солдаты, кричали каждый своё. А Ленин уверенно шёл вперёд и широко улыбался.

— Я сам его прикончу! — крикнул офицер, соскакивая с трибуны.

Он бросился к Ленину, но наткнулся на солдатские руки. Солдаты отшвырнули офицера в сторону.

Вот Ленин всходит на трибуну. Он начинает говорить.

У меня отлегло от сердца — лишь бы прозвучало ленинское слово, а уж против него никто не устоит.

В столовую хлынули солдаты, за несколько минут их набилось столько, что задним пришлось взобраться на скамьи.

Едко, остроумно, заставляя смеяться весь зал, Ленин разоблачил все наговоры врагов на большевистскую партию и Советскую власть. Словно взял Владимир Ильич каждого из этих солдат за руку да и вывел из трясины на твёрдую дорогу.

Раздались восторженные возгласы:

— Да здравствует партия большевиков! Ура Ленину!

Прямо с трибуны Владимира Ильича подхватили на руки и так донесли до самого автомобиля.

На обратном пути Ленин был особенно оживлён, шутил, смеялся.

Прерванный в Смольном приём возобновился ровно через полтора часа.

По предложению Ленина были введены на митингах по пятницам регулярные выступления членов Центрального Комитета партии и ответственных работников. Никаких отговорок Владимир Ильич не признавал и сам иногда выступал перед рабочими дважды в день.

Сотрудников государственного аппарата, которые отрывались от народа, превращались в бюрократов, он считал потерянными для партии и Советской власти и бичевал их беспощадно.

На собраниях, совещаниях Ленин любил приходить пораньше. В ожидании, пока все соберутся, присядет, бывало, где-нибудь среди рабочих и запросто ведёт с ними беседу. В такую минуту он казался самым обыкновенным человеком. Тому, кто не знал его в лицо, и в голову не могло прийти, что это Ленин.

Помню, на одном совещании в Кремле Владимир Ильич сидел среди крестьян и очень оживлённо с ними разговаривал. Только после того, как объявили: «Слово имеет товарищ Ленин», — Владимир Ильич отделился от группы крестьян и пошёл на сцену. Надо было видеть, с какой любовью смотрели люди ему вслед!

«ПОДАРОК ИЗ СИБИРИ»

О себе Ленин сам никогда не заботился и другим заботиться не позволял. Нетребовательность его не имела предела. В Смольном он решительно отказался от просторной удобной квартиры с богатой обстановкой и поместился с Надеждой Константиновной в самой обыкновенной комнате, заявив: «Нас двое, этого для нас вполне достаточно».

Когда Совет Народных Комиссаров приехал в Москву, Ленину, как и многим другим, предложили временно поселиться в гостинице «Националь».

Не помню уж, кто из москвичей перестарался, устранивая Владимиру Ильичу жильё в этой гостинице, но получилась неприятная история, которая крепко испортила настроение Ленину.

Для Владимира Ильича выбрали лучший номер. Ждут его, ходят, радостно потирают руки. Приезжают Владимир Ильич и Надежда Константиновна, их встречают, проводят торжественно в подготовленное помещение. Ленин идёт. Лицо у него строгое, видно — что-то ему здесь не нравится, и даже больше — как будто предчувствует ещё худший сюрприз.

Так и случилось. Быстрым взглядом окинул Ленин роскошный номер. Раздражённо сказал: «Хуже ничего не придумали?» Резко повернулся и быстро вышел. Всем своим видом дал понять, с каким презрением относится он ко всему лишнему, как ненавидит угодничество.

Однажды и я получил от него замечание. В первые дни работы в Смольном, когда не знал ещё, насколько простой человек Владимир Ильич, как-то вижу — идёт впереди меня Ленин. Я обошёл его и поспешил распахнуть перед ним дверь. А он остановился и говорит: «Напрасно. Никогда больше этого не делайте. Я сам умею открывать двери».

Слова эти настолько меня смутили, что я готов был сквозь землю провалиться. Ленин заметил, что я сильно расстроился, чуть заметно усмехнулся:

— Что, товарищ Коротков, никак ещё не можете отвыкнуть от старых привычек?

Ленин терпеть не мог, когда для него делались исключения из общих правил. Как ни старались его сотрудники незаметно чем-либо улучшить его быт, ничего хорошего из этого не выходило. Скрыть что-нибудь от Владимира Ильича, как-то облегчить его жизнь в то невероятно трудное время никогда не удавалось.

Характерен такой эпизод.

В Смольном, помимо секретарских дел, мне случалось выписывать паёк на наших работников. В общем списке был и Ленин. Мне, однако, как-то и в голову не приходило, что Владимир Ильич при его непрерывной напряжённой работе питается плохо, так же, как каждый из нас, рядовых сотрудников.

Вот что пишет Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о Ленине: «Я целыми днями была на работе... Ильич был порядочно-таки беспризорным... Меня не бывало дома, регулярной заботы о его питании не было».

Моя мать, работавшая в столовой Совнаркома, рассказала мне:

— Приоткрываю дверь, гляжу — перед буфетом Владимир Ильич. Стоит, жуёт кусочки хлеба и хвост селёдки. Увидел меня, смутился и говорит: «Вы извините, пожалуйста, что я без разрешения тут у вас хозяйничаю... Очень проголодался, кушать захотелось». А я сама не рада, что увидела. Убежала в кухню и заплакала... Что же это такое? Передо мной, простой уборщицей, он ещё извиняется — да за что?

Рассказ матери меня очень встревожил. В очередной ведомости на паёк с помощью резинки и карандаша я подделал цифры так, что у меня получилась лишняя порция. Кладовщица не заметила подчистки. Я торжествовал и с двойной порцией хлеба, сахару, селёдки и прочего, что было в пайке, направился к Владимиру Ильичу. Радуюсь про себя: на этот раз Ленин сыт будет. Однако немного волнуюсь: а вдруг догадается? Впрочем, думаю, с такой работой, как у него, не заметит... Но вижу: с лица Владимира Ильича исчезла приветливость, с которой он всегда встречал меня. Смотрит то на паёк, то на меня и выжидает, что я скажу.

Наконец Владимир Ильич сам заговорил:

— А почему мне больше, чем всем?

Я не смог скрыть правды и всё рассказал.

— Нехорошо, очень плохо, — сказал Владимир Ильич, — ведь вы же отняли у другого товарища и даёте мне. Товарищ Коротков, прошу вас никогда этого больше не делать.

Он тут же взял нож, отрезал себе свою порцию, а остальное велел отнести обратно в кладовую.

Однажды В. И. Ленину принесли ведомость на получение жалованья, в которой он должен был расписаться. Владимир Ильич никогда не подписывал документа, не проверив его тщательно. Так и в этом случае. Он начал проверять, кто сколько получает, и увидел, что ему хотели чуть не вдвое (500 рублей переделали на 800 рублей) выплатить заработной платы.

— Кто вам сказал, что я нуждаюсь в деньгах? Вы ошиблись. Прибавить надо вот этому товарищу, а не мне. — И он указал в ведомости на фамилию рядового сотрудника, добавив: — Он очень нуждается, надо ему помочь.

Только после того, как было внесено исправление, Владимир Ильич расписался в получении денег, а потом ещё дал выговор управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу.

Довелось быть свидетелем и такой сценки.

Владимир Ильич иной раз пользовался услугами общей парикмахерской в Кремле. Как-то он зашёл и в ожидании очереди взял со стола газету, стал читать. Когда у парикмахера освободилось место, никто не сел, все приглашали В. И. Ленина. Владимир Ильич начал объяснять, что общие установленные правила нарушать никому не полагается, надо помнить, что они существуют одинаково для всех. Время шло, парикмахер стоял без работы. И только уступив настойчивым просьбам всех присутствующих, Ленин занял место вне очереди.

Помню, в Кремле служащим выдавали мануфактуру, причём на каждого её пришлось немного. Тогда мы, несколько сотрудников Совнаркома, посоветовавшись, единогласно решили не делить между собой один отрез, а сделать коллективный подарок Ленину, тем более, что костюм у него был неважный.

Придумали хорошо, но вот как выполнить? Ведь Владимира Ильича ни за что не уговоришь принять наш скромный дар. Кто-то внёс хитроумное предложение.

Утром на стол Владимира Ильича вместе с корреспонденцией была положена почтовая посылка, перевязанная шпагатом, с сургучными печатями — всё как полагается. Надпись гласила: «В. И. Ленину от рабочих из Сибири».

Пришёл Владимир Ильич, со всеми поздоровался и направился в свой кабинет. Мы стали ждать, что будет. Я, как самый молодой, не вытерпел, потихонечку подошёл к двери и стал глядеть в щёлку. Владимир Ильич вскрывал пакеты, читал корреспонденцию, делал на ней свои пометки, словом, ничем не обнаружил интереса к посылке.

Только покончив с почтой, Владимир Ильич косо посмотрел на свёрток, тут же встал и вынес его к нам.

— Признателен, товарищи, но прошу взять обратно.

Но мы уже были наготове и дружно, в один голос, стали доказывать Ленину, что разрезать сукно на части нет смысла, а из целого куска выйдет костюм. Кому же его дать? Порешили дать старшему нашему товарищу — Ленину.

Доводы наши в конце концов убедили Владимира Ильича, он согласился взять материал себе и очень благодарил за товарищеское внимание.

Скромность Ленина была для нас лучшим примером того, каким должен быть настоящий большевик. Всей жизнью своей Ленин как бы говорил окружающим: трудное время мы переживаем, страна разорена, народ терпит голод, нищету, и о нём прежде всего надо заботиться, а не о себе, не о своём личном благополучии.

1918 ГОД

Фронт требовал людей. Теперь для отпора врагу уже недостаточно было красновардейских отрядов. Контрреволюция развернула против нас регулярные армии. Этим войскам надо было противопоставить свои, советские, тоже регулярные войска.

В кремлёвском кабинете Ленина была повешена большая карта военных действий. Я не раз видел Владимира Ильича размышляющим перед ней с указкой в руках. В соседнюю комнату сходились прямые провода со всех фронтов.

На приёме всё чаще стали появляться фронтовые работники, и свидания с ними у Владимира Ильича порой затягивались на многие часы. В конце июля 1918 года приехали к Ленину представители от командующего дивизией Киквидзе, впоследствии прославленного полководца гражданской войны. Они представили Ленину объёмистую «требовательную ведомость». Но не так просто было достать военное снаряжение. Владимир Ильич разложил ведомость перед собой на столе, взял в руку телефонную трубку и в течение одного дня собрал по Москве всё, что было необходимо дивизии, начиная от портянок и уздечек и кончая артиллерийскими орудиями. А что значило тогда экипировать крупную воинскую часть, можно судить хотя бы по тому, что даже из Кремля был взят один брсневик.

Броневики покатали на вокзал, туда же вереницей потянулись подводы и грузовые машины с тюками и ящиками. Тут-то я и заявил Владимиру Ильичу:

— Хочу на фронт.

Я думал, меня сразу отпустят. Однако Владимир Ильич помолчал, посмотрел на меня очень внимательно, а потом сказал:

— Годков-то сколько? Семнадцать?.. Маловато, конечно. А матушка ваша — человек пожилой, больной. Трудно ей будет здесь одной... Впрочем, попросите-ка её сюда, обсудим вместе.

Мать сначала совсем растерялась от этого приглашения, потом приделась, как могла, и мы пошли к Ленину.

Владимир Ильич поздоровался с нею за руку, усадил в кресло.

— Мария Васильевна, как вы смотрите на решение вашего сына? Дайте ответ, только такой, какой подсказывает ваше материнское сердце.

Мать повернула ко мне своё доброе лицо. Глаза были мокрые, губы дрожали.

— Владимир Ильич, как матери, мне, понятно, жаль с ним расставаться,— сказала она,— но ведь дело-то наше общее. Что ж, пускай едет.

На прощание Владимир Ильич обнял меня и поцеловал в голову. Мать не выдержала: видя, как тепло, по-отцовски прощается со мной Ленин, она расплакалась. Владимир Ильич, сам расстроенный, быстро повернулся к ней и мягко сказал:

— Видите, Мария Васильевна, сердце-то ваше и не согласно. Может быть, вы ещё подумаете?

— Ой, что вы, Владимир Ильич, это так, моя слабость... Ведь всё же мать я ему...

По указанию Ленина меня послали не на фронт, а пока что в город Балашов.

Там вместе с другими товарищами я должен был пополнять добровольцами дивизию Киквидзе.

Вернулся я в Москву только через полгода. Встретил меня Владимир Ильич очень сердечно. Стал подробно расспрашивать о том, как я работал, как чувствовал себя в такой непривычно длительной для меня командировке. Ему было интересно, кто такие ушедшие на фронт добровольцы, какой процент из деревни и какой из городских жителей, каково настроение идущих к нам в армию. Тут же Владимир Ильич спросил, хорошо ли мы одели и обули добровольцев, исправно ли и чем именно кормили их на призывном пункте, насколько быстро и толково шла отправка их в дивизию... Множество вопросов задал мне тогда Владимир Ильич.

Разговаривая с Лениным, я с затаённым волнением следил за каждым его жестом, за выражением лица, глаз... Потрясающее известие о злодейском покушении на Владимира Ильича эсеровских бандитов застигло меня в Балашове. Нет возможности описать всё, что мы там пережили. Люди были полны негодования и требовали немедленной отправки на фронт, чтобы скорее покончить с врагами революции.

Да, здоровье Ленина пошатнулось... Я достаточно много общался с ним, чтобы не заметить перемены. Движения его стали уже не так живы и свободны, как прежде. Лицо бледнее. Мне казалось, что в добрых, внимательных глазах его осталось что-то от перенесённых страданий.

Нет, я не мог больше спокойно докладывать о подробностях работы балашовского пункта. И заговорил совсем о другом, торопясь, не находя нужных слов, — о том, какое было для меня счастье работать с Лениным, видеться с ним, говорить с ним вот так, как в эту минуту. Я рассказал, как бойцы всё время расспрашивали меня о Владимире Ильиче, как они преданы делу партии.

Ленин слушал мою сбивчивую речь с задумчивой улыбкой. Я кончил. Он молчал. Воспользовавшись паузой, я наконец высказал Ленину то, что меня мучило:

— Владимир Ильич, как вы себя теперь чувствуете?

Он встал, прошёлся по кабинету. Потом тихо произнёс:

— Ничего особенного.— И при этом так ясно и хорошо улыбнулся, что я бросился трясти его руку.

— Значит, вы здоровы?

— Совершенно здоров.

Владимир Ильич опять усадил меня, спросил, не нуждаюсь ли я в чём-нибудь — в одежде, в продуктах.

— У вас плохой вид, — сказал он. — Конечно, это была очень утомительная командировка. Не беритесь сейчас ни за что, отдохните хорошенько.

Спросил и о планах на будущее. Ответ у меня был готов ещё в Балашове.

— Я дал слово, Владимир Ильич, вернуться в дивизию. Буду мстить за ваши раны, пойду в бой.

— Ого, какой вы стали! — воскликнул Ленин.

Прожаживаясь по кабинету, он заговорил о том, как хорошо, что я поработал в массах, что это лучшая школа жизни, что только в народе, с людьми, человек проверяет себя и созревает политически.

— Значит, вы дали товарищам слово? — помолчав, повторил Владимир Ильич.— Слово — это клятва. Поезжайте, как решили. Отдохните с недельку, побудьте дома. Вы хорошо поработали, заслужили отдых, а там и поезжайте.

Но у меня не хватило терпения на неделю. Через пять дней я собрался и пришёл к Ленину прощаться.

Владимир Ильич пожурил меня за преждевременный отъезд.

— А впрочем, — сказал он, — я знал, что вы не усидите дома.

Затем он сел за стол и быстро написал записку.

— Тут папиросы, табак, карандаши, бумага. Подарки на фронт. Зайдите в хозяйственный отдел, пусть вам упакуют. А Киквидзе и его боевым товарищам передайте от меня привет. И ещё передайте, что настало время двигаться вперёд и только вперёд.

Я расстался с Владимиром Ильичём на целых два года.

Мне хочется закончить сейчас эти мои отрывочные воспоминания о великом учителе жизни рассказом ещё об одной характернейшей черте этого человека, самого человеческого из всех людей.

ЛЕНИН И ДЕТИ

Детей Ленин любил как-то особенно нежно и чутко. Его личная забота о них была повседневно. Почти на каждом заседании Совнаркома с повестки дня не сходил вопрос о снабжении юного поколения самым необходимым. Ленин говорил: «Мы, взрослые, поголодаем, а детям надо отдать последний кусочек масла, последний кусочек сахара, последнюю щепотку муки».

В начале 1918 года приехал на побывку мой брат, моряк Балтийского флота. Я рассказал ему, как живёт Ленин, что он неважно питается. Дмитрий встрепенулся, полез в свою сумку.

— Знаешь что, у меня с собой три белые буханки, давай я ему подарю.

Сказано — сделано. В тот же день я привёл брата к Ленину.

Владимир Ильич дружески встретил моряка, забросал вопросами. Брат стал рассказывать о жизни Балтфлота. Ленин был таким внимательным слушателем, что, сидя с ним, нельзя было не увлечься. Рассказчик увлёкся, да и забыл, зачем пришёл.

Настало время уходить. Владимир Ильич протягивает Дмитрию на прощание руку, а у того руки свёртком заняты. Смутился парень. Он и подарок не осмеливается Ленину вручить и прощаться не прощается.

Я поспешил на выручку.

— Владимир Ильич, — говорю, — это вам подарок.

— Да, да, — подхватил брат и развернул свёрток тут же на столе. — Белый хлеб, мировой!

— Действительно мировой, — согласился Владимир Ильич, осматривая буханки. — Дети будут очень рады такому хлебу.

Дмитрий разъяснил:

— Нет, это я вам, товарищ Ленин, дарю. Вам лично.

— Что-о? — удивлённо протянул Владимир Ильич. — Мне лично? — Он засмеялся и стал шутить. — Но в честь чего же мне? Я не именинник, и у меня не день рождения. Благодарю вас за внимание, но я совершенно не нуждаюсь в таком ценном подарке. А если вы хотите сделать хорошее дело, передайте этот хлеб детям в рабочую столовую.

Брат, не зная твёрдого характера Ленина, стал настаивать на своём.

Тогда Владимир Ильич, чтобы не тратить времени на бесплодный спор, принял свёрток, поблагодарил, но Дмитрию всё же сказал на прощание:

— Вам ещё больше будут благодарны дети рабочих, когда будут есть этот превосходный хлеб.

Какая была радость в рабочей столовой, как ликовали ребятишки, когда увидели такую диковинку — белый хлеб! Дети, бледные, худенькие, только что вставшие от скудного завтрака, сейчас же побежали обратно к столу.

Я рассказал им, откуда этот хлеб.

— Подарок от Ленина! Подарок от бабушки Ленина!

Каждый получил свою порцию, а отсутствующим больным детям послали булку на дом.

Ленин очень любил быть с детьми — у себя ли в комнате, на улице, на плацу, в кремлёвской аллее, где он часто прогуливался, или в Горках, где жил во время болезни.

Дети всегда искали встречи с Лениным. Иногда они собирались у подъезда и с нетерпением ждали его появления. Как только Владимир Ильич выходил, малыши с радостью, шумно встречали его, прыгали вокруг, кричали, обнимали. И Ленин много шутил и смеялся, гуляя с ними по Кремлю. Если Владимир Ильич куда-либо уезжал на машине, он брал ребят на руки, остальных усаживал на сиденья и так с полной оравой доезжал до кремлёвских ворот.

Если, выходя на прогулку, Ленин не встречал у подъезда своих маленьких приятелей, он сам шёл их разыскивать, прекрасно зная, где они гуляют. Любил он их искренне.

Чаще всего встречались они в Тайницкой аллее. Малыши взбирались Владимиру Ильичу на плечи, другие восседали на руках, третьи цеплялись за полы пальто, и все они шествовали на спортивную площадку, где начинались всевозможные игры. Тайницкая аллея наполнялась весельем и смехом, особенно далеко был слышен заразительный, звонкий смех Владимира Ильича. Играли в жмурки, в прятки, в салочки. Играли, пока все не устанут. Потом Владимир Ильич садился на скамейку или просто на траву, а дети, окружив его, внимательно слушали сказки, которые им рассказывал Ленин.

От Спасских ворот идёт крутой спуск, который столь же круто заворачивает в Тайницкую аллею. Вот тут-то в зимние дни собирались дети кататься с горы.

Иногда сюда приходил Ленин. Все бросались ему навстречу, каждый приглашал покататься именно в его санях. Владимир Ильич старался никого не обидеть. Сани побольше ставились вперёд, в них садился Ленин, а остальные цепочкой привязывались сзади, и так все вихрем спускались вниз.

Раз чуть не случилась беда. Было это в воскресенье. Собралась компания человек двадцать в возрасте от восьми до двадцати лет. Взяли мы большие ломовые сани и

повезли их к Спасской горе. Началось катание. Всей гурьбой мы валились на дровни, двое-трое сталкивали их с места и — пошла. Скрип полозьев, взвизги, ветер, снежная пыль в лицо...

Мчимся мы во всю мочь, и вдруг на самом повороте — человек... Сшибём сейчас! Все в один голос ахнули. Успели только разглядеть, что это Ленин...

В последнее мгновение лицо Владимира Ильича мелькнуло где-то сбоку, — и сани с шумом спустились в аллею.

Притихшие, мы возвращались обратно. Владимир Ильич поджидал нас около дерева, за которое успел спрятаться. Мы поравнялись с ним. Стоим. Молчим.

Владимир Ильич громко рассмеялся.

— Как вы отчаянно катаетесь! Я смотрел вам вслед, и прямо страшно стало: вдруг налетите на какое-нибудь дерево? Долго ли расшибиться.

— А мы, — говорим, — испугались за вас. Ведь чуть вас не сбили...

Но Владимир Ильич стал возражать:

— Нет, вы решительно ни при чём. Тут моя собственная оплошность. Я шёл, не учитывая опасности. Ведь по следам же видно, что с горы катаются.

Владимир Ильич стал осматривать сани.

— А скажите, хорошо здесь кататься? Несёт, а? Здорowo?

Мы ответили весёлым галдежом.

— А мне, как вы думаете, можно с вами покататься?

Это предложение было встречено дружным одобрением. Ленин тут же, наравне со всеми, впрягся тянуть сани, и катание возобновилось.

Никогда, наверное, Спасская гора не видала такого шума и веселья. Владимиру Ильичу очень понравилось кататься на дровнях. Пять раз прокатился он с нами. Потом поблагодарил и пошёл домой. И сразу все почувствовали, что стало как-то пусто. Кое-кто из ребят пытался поддержать упавшее веселье, но шуткам больше не смеялись.

В Горках, под Москвой, уже тяжело больной, Ленин всегда любил встречаться с ребяташками. Деревенские дети, жившие поблизости, часто виделись с ним. Но при этих встречах уже не было прежней резвости и шумного веселья. Ребята понимали состояние Владимира Ильича и старались выбирать игры поспокойнее.

К встрече нового, 1924 года Ленин предложил устроить в своей комнате в Горках большую, красивую ёлку, что и было сделано. С восхищением смотрел он, как веселятся, пляшут и поют детишки. По всему было заметно, что это доставляет ему большую радость.

Лечащие Ленина врачи забеспокоились было, что его утомит шум, но Владимир Ильич ответил: «Нет, не беспокойтесь. Лучший покой и утешение для меня — находиться среди детей и смотреть на их игры».



ОЧЕРК И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ

В пятой книге «Нового мира» за этот год был опубликован очерк А. Безыменского и И. Вайнберга «Дорогу техническому прогрессу!», посвящённый работе Московского завода внутришлифовальных станков.

Редакция журнала «Новый мир» считает необходимым познакомить читателей журнала с тремя документами, связанными с обсуждением этого очерка на том заводе, работе которого он был посвящён, а именно: с решением расширенного заседания партийного бюро завода внутришлифовальных станков от 6 августа 1956 года, с решением открытого партийного собрания завода внутришлифовальных станков, состоявшегося 26—29 октября 1956 года, и с отчётом, составленным редакционной комиссией партийного собрания и опубликованным в заводской газете «Кировец» 10 ноября 1956 года.

РЕШЕНИЕ

расширенного заседания партийного бюро ЗВШС

6.VIII.56 г.

Обсудив очерк «Дорогу техническому прогрессу!», напечатанный в журнале «Новый мир» за 1956 г. № 5, партийное бюро отмечает, что в очерке правильно указывается на ряд недостатков в работе завода, о неправильном стиле хозяйственного руководства и недостаточном контроле, осуществляемом со стороны партийного бюро за хозяйственной деятельностью завода.

Партийное бюро в течение 1955/56 года неоднократно обсуждало вопросы, связанные с техническим прогрессом и новой техникой, однако должных сдвигов в этой области работы до сих пор не добилось. Завод работает неритмично, производственный план выполняется рывками и до сих пор не изжита на производстве штурмовщина. Со стороны министерства и главка должной помощи в расширении узких мест на заводе не оказывается (литейный цех, показатели строительства нового производственного корпуса).

Партбюро отмечает, что писатели тт. Безыменский и Вайнберг допустили грубые выпады против коммунистов Яковлева и Вартаняна («Я в квадрате», «Карманный секретарь») и необъективно осветили жизнь действительную.

Партбюро постановляет:

1. Обязать коммуниста т Яковлева Я. П. в корне изменить стиль работы по руковод-

ству заводом. Всемерно поднимать ответственность руководителей цехов и отделов за порученное им дело, предоставляя им больше инициативы и самостоятельности в решении вопросов.

2. Секретарю партбюро т. Нефёдову М. П. и заместителям секретаря тт. Пузырёву и Котовой глубже вникать в работу цеховых парторганизаций, направлять их работу, воспитывать непримиримость к имеющимся недостаткам, добиваясь их активности и ответственности за порученную работу на участках, больше оказывать практической помощи на месте, сочетая партийную работу с решением хозяйственных задач. Оперативнее реагировать на критические замечания коммунистов и других рабочих, настойчивее добиваться выполнения принимаемых решений.

3. Партбюро и руководству завода повести решительную борьбу с штурмовщиной на заводе. В ближайшее время добиться ритмичности в работе завода и безусловно выполнить государственное задание.

4. Партбюро обязывает коммуниста т. Смурова С. И. потребовать от технических служб завода более оперативно решать вопросы по созданию и освоению новой техники и внедрению новой современной технологии.

5. Партбюро и руководству завода до 10/VIII-56 г. наметить конкретный план по устранению отмеченных недостатков с учётом высказанных предложений на расширенном заседании партбюро.

6. Партбюро усилить контроль за хозяйственной деятельностью завода и не позже ноября сего года доложить на партсобрании о выполнении намеченных мероприятий по устранению недостатков, высказанных на расширенном партбюро по обсуждению очерка «Дорогу техническому прогрессу!». Партбюро обязывает всех руководителей коммунистов быстрее реагировать на критические выступления коммунистов и беспартийных в заводской газете «Кировец».

7. Просить Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности и главк оказать действенную помощь заводу в налаживании литейного производства и вводе в эксплуатацию производственных цехов и жилого дома.

8. Просить партбюро редакции журнала «Новый мир» и Союз советских писателей обсудить критические замечания, высказанные на партбюро завода в адрес писателей тт. Безыменского и Вайнберга.

*Секретарь партбюро
Нефёдов.*

РЕШЕНИЕ

открытого партийного собрания ЗВШС

от 26—29 октября 1956 г.

Обсудив статью В. Овечкина «Писатели и читатели», опубликованную в «Литературной газете» от 2 октября 1956 года, открытое партийное собрание отмечает, что в статье в основном правильно указывается на ряд серьезных недостатков в работе завода, в частности по контролю за хозяйственной деятельностью со стороны партийного бюро, в стиле хозяйственного руководства заводом.

Партийное бюро в течение 1955—1956 гг. неоднократно обсуждало вопросы, связанные с техническим прогрессом и новой техникой, однако должных сдвигов в этой области не добилось. Длительное время срывается выполнение задания по специальным станкам и станкам новой техники. Завод работает неритмично, производственный план выполняется рывками. Слабо ведётся борьба с потерями, простоями и браком.

В статье правильно отмечается то, что со стороны министерства и главного управления должной помощи в ликвидации «узких мест» не оказывается (медленно строится производственный корпус и реконструируется литейный цех и т. д.).

Правильно в статье т. Овечкина отмечается и то, что партбюро завода не до-

вело до сведения редакции журнала «Новый мир» результаты обсуждения очерка.

Вместе с тем партсобрание отмечает, что т. Овечкин, не проверив объективности фактов, изложенных в очерке Безыменского и Вайнберга, допустил вновь искажение действительности и грубые выпады против отдельных работников завода.

Партсобрание констатирует, что т. Овечкин, как и т. Безыменский, написал свою статью, игнорируя партийную и общественные организации коллектива, не побывав на заводе.

Общее открытое партийное собрание категорически отвергает неправильные и ошибочные выводы т. Овечкина, заключающиеся в том, что парторганизация завода сама не в состоянии разобратиться в недостатках работы завода и отдельных работников завода и сделать соответствующие выводы и якобы нуждается в помощи извне.

Партийное собрание постановляет:

1. Обязать партбюро завода усилить контроль за хозяйственной деятельностью администрации, глубже вникать в работу цехов и технических служб завода. Всемерно поднимать ответственность руководящих работников за состояние дел на их участках работы.

2. Партийному бюро и хозяйственному руководству правильно реагировать на все критические замечания в их адрес и своевременно принимать меры для изжития недостатков.

3. Обязать директора завода т. Яковлева сделать серьезные выводы из решения партийного бюро завода от 6 августа с. г., впредь умело сочетать коллегиальность в работе с принципом единоначалия и в своей практической работе не допускать грубостей в обращении с подчинёнными.

4. Партийное собрание считает, что главный инженер завода т. Смуров, а также руководители технических служб не обеспечивают возросших требований к заводу по выпуску станков новой техники, разработке и внедрению новых, передовых технологических процессов. Партсобрание требует от коммуниста т. Смурова сделать серьезные выводы из критических замечаний, высказанных на заседаниях партбюро и на настоящем партсобрании.

5. В целях устранения основных недостатков в работе завода просить министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР т. Костоусова оказать действенную помощь в окончани-

реконструкции завода, жилищном строительстве и в выполнении задач, поставленных перед заводом шестым пятилетним планом.

6. Просить партийную организацию Союза советских писателей обсудить критические замечания, высказанные на открытом партийном собрании завода в адрес писателей тт. Безыменского, Вайнберга и Овечкина, и опубликовать результаты обсуждения на страницах «Литературной газеты».

7. Поручить редакционной комиссии данного партийного собрания в десятидневный срок на основании материалов партийного собрания и решения расширенного заседания партбюро по обсуждению очерка «Дорогу техническому прогрессу!» написать ответ и просить редакции журнала «Новый мир», «Литературной газеты» и «Труда» опубликовать его.

8. Просить главного редактора журнала «Новый мир» К. М. Симонова дать изложение хода нашего собрания в журнале по материалам стенограммы.

9. Поручить партийному бюро завода разобраться в некоторых заявлениях, поступивших в ходе настоящего собрания, о поведении отдельных коммунистов.

10. Обязать коммунистов—директора завода т. Яковлева, главного инженера т. Смурова и начальника производства т. Шашкова обеспечить безусловное выполнение производственного плана 1956 года.

*Секретарь партбюро
Нефёдов.*

С ОТКРЫТОГО ОБЩЕЗАВОДСКОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Два вечера — 26 и 29 октября — продолжалось общезаводское открытое партийное собрание, посвящённое обсуждению статьи В. Овечкина, опубликованной в «Литературной газете» 2 октября 1956 года, «Читатели и писатели».

Помещение заводского клуба было переполнено до отказа — сюда пришло более шестисот человек. Вопрос, обсуждавшийся на собрании, вызвал огромный интерес у рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода. И это вполне понятно, ибо опубликованные в последнее время очерк — в журнале «Новый мир» № 5 «Дорогу техническому прогрессу!» и статьи о заводе — в «Литературной газете» и в «Труде» затронули важнейшие стороны жизни нашего коллектива.

На собрании присутствовали министр станкоинструментальной промышленности т. Костоусов, заместитель заведующего отделом промышленности Московского городского комитета партии т. Чичкин, первый секретарь Кировского райкома КПСС т. Колосова, редактор журнала «Новый мир» К. Симонов, писатели В. Овечкин, А. Безыменский, И. Вайнберг, представители редакций «Литературной газеты», «Труда» и других организаций.

Открытое партийное собрание прошло очень бурно, выступления были острые. Показателем небывалой активности участников собрания является уже одно то, что желание высказаться изъявили шестьдесят четыре человека. Выступили тридцать девять человек.

Что же так взволновало коллектив? Судьба родного предприятия, честь завода, желание скорее покончить с несработанностью отдельных руководящих работников и служб завода, мешающей нормальной работе, стремление сплотить коллектив на решение стоящих перед ним огромных задач.

Люди пришли на собрание, которого они ждали давно, чтобы высказать во всеуслышание то, что накопилось, те мысли, которые вызваны указанными выше выступлениями в печати.

Никто не отрицал, что штурмовщина, брак и другие недостатки, о которых идёт речь в очерке «Дорогу техническому прогрессу!» и в статье «Читатели и писатели», действительно имеют место. Но почти все выступавшие утверждали, что писатели А. Безыменский, И. Вайнберг, а вслед за ними и В. Овечкин необъективно, однобоко осветили жизнь завода.

Не вникнув глубоко в содержание деятельности завода, не изучив как следует производственной деятельности цехов и отделов, писатели А. Безыменский и И. Вайнберг сделали неправильный вывод, что на заводе нет никакого движения вперёд, никакого технического прогресса. Это утверждение опровергается фактами.

Убедительные данные привёл в своём выступлении заместитель главного конструктора т. Лурье.

— В 1954 году было выпущено, — сказал он, — восемь типов различных станков, среди них: два резьбошлифовальных модели 5810 и 5810А, четыре желобошлифовальных модели 01С25, бесцентровые шлифовальные автоматы моделей 02С35 и 02С35А. Часть станков включена в автоматическую линию

Первого Государственного подшипникового завода и работает хорошо.

В 1955 году коллективом завода выпущена гамма планетарно-внутришлифовальных станков моделей МВ60-10, МВ60-20, МВ60-30 для шлифовки фасок седла клапана в блоке мотора автомашины «Победа». Выпущен новый внутришлифовальный станок типа МВ-8.

В 1956 году завод дал ещё четыре модели новых станков, среди них полуавтомат МВ8850 для шлифования корыта турбинных лопаток, который получил высокую оценку государственной комиссии и заказчиков. До сих пор шлифование корыта лопаток производилось вручную, люди работали на этой операции в тяжёлых условиях. На нашем заводе созданы полуавтоматы, во много раз повышающие производительность труда, изготовлен и сдан государственной комиссии новый координатно-расточный станок модели 2Б440, изготовлен резьбошлифовальный станок модели 5822.

О значительной работе по созданию и выпуску коллективом завода новых станков говорили также в своих выступлениях технологи тт. Кавылин и Дёмин, резьбошлифовщик т. Тульпа, шлифовщик т. Александров и многие другие.

Разве после этого можно сказать, что на заводе нет никакого прогресса? Конечно, нельзя. Бесспорно, что он недостаточен. Совершенно необоснованно не заканчиваются сборка и отладка портального координатно-расточного станка модели 2460. Длительное время находятся в производстве нужные стране станки МВ1 и МВ2. И задача коллектива — принять меры к ускорению выпуска этих и других специальных станков.

Но сказать, что на ЗВШС совершенно отсутствует технический прогресс, означает оскорбить целый коллектив людей, которые положили много труда, чтобы в сложных условиях добиться выпуска, скажем, координатно-расточных станков с точностью до четырёх — шести микрон или подготовить сборку станков с экранной оптикой.

Писатели А. Безыменский, И. Вайнберг и В. Овечкин утверждают, что партийное бюро завода не обеспечивает технического прогресса, что директор т. Яковлев зажимает техническую мысль, неправильно относится к кадрам и т. п.

Выступавшие на собрании слесарь т. Лазарев, расточник т. Белов, монтажник т. Иншаков, начальник БИХа т. Юзефов, механик т. Степной и другие говорили, что

это утверждение не соответствует действительности. Бесспорно, отдельные факты грубости со стороны т. Яковлева по отношению к своим подчинённым имели место. Это поведение директора осуждено партийным бюро, а затем партийным собранием. И с его стороны подобные факты не должны повторяться.

Выступавшие не без основания говорили, что под руководством парторганизации и благодаря инициативе и требовательности т. Яковлева за последние год-полтора сделано больше, чем за десять предыдущих лет. Коллективом завода достигнута точность отсчётных механизмов выпускаемых координатно-расточных станков до 4—6 микрон, значительно повышена норма точности шпиндельных групп.

Недавно закончен строительством шестиэтажный жилой дом (пристройка) и заканчивается надстройка над домом № 28; построены новая кухня и новая термичка; строится производственный корпус (один пролёт уже пущен в эксплуатацию); строится новый жилой дом на станции Перловская и т. д. Требовательность директора оказалась не по нутру некоторым работникам, привыкшим к безответственности.

Выступавшие подчёркивали, что писатели напрасно выгородили технические службы и их руководителей: главного инженера, главного технолога, главного конструктора, главного механика, которые в первую очередь несут ответственность за технический прогресс. Эти товарищи представлены в очерке, как невинные жертвы произвола директора, что не соответствует действительности.

И удивительнее всего то, что, несмотря на явный брак в произведениях Безыменского и Вайнберга, последние ни на заседании партийного бюро 6 августа, ни на читательской конференции 20 августа, ни теперь, на партийном собрании, не хотели и не хотят признать критику в их адрес и считают, что у них абсолютно всё правильно написано. Это и вызвало негодование всего коллектива.

Особенное недовольство вызвала последняя статья А. Безыменского в газете «Груд» от 23 октября. Не проверив фактов, не выяснив, что представляет собой слесарь Касаткин, писатель сделал этого дезорганизатора производства, рвача, бузотёра и дебошира настоящим героем, считая его «подлинным представителем нашей советской молодёжи».

— Советская молодёжь, — заявили выступавшие, — стыдится таких «героев», как Касаткин.

Тт. Попов, Вадеев, Клаповский, Гарин и другие дали Касаткину самую нелестную характеристику и предъявили т. Безыменскому претензию за то, что он взял Касаткина под своё покровительство. И только в конце собрания т. Безыменский был вынужден признать свою ошибку.

На собрании было подчеркнuto, что тт. Безыменский и Вайнберг пришли на завод с предвзятым намерением писать о нём только плохое. Для этого они подобрали соответствующие факты. А всего того хорошего, что имеется на предприятии, они не заметили или не хотели видеть. И, когда В. Овечкина в своём выступлении заявил, что он обещает побывать на заводе, хорошенько изучить его работу и правдиво написать о нём, все присутствовавшие под гром аплодисментов с удовлетворением встретили это заявление.

С большим вниманием была выслушана речь Константина Симонова, в которой он подробно остановился на очерке тт. Безыменского и Вайнберга в «Новом мире» и на статьях тт. Овечкина и Безыменского в «Литературной газете» и «Труде».

Отметив, что в очерке правильно указывается на многие недостатки в деятельности завода, т. Симонов вместе с тем сказал, что писатели тт. Безыменский и Вайнберг необъективно подошли к освещению жизни коллектива.

— Видимо, — сказал т. Симонов, — надо понять, что в очерке «Дорогу техническому прогрессу!» задело не отдельных лиц, а коллектив. Что же это, острота критики задела? Едва ли. Задело совсем другое.

Во-первых, заводская жизнь изображена не полностью, не полностью охвачены проблемы, стоящие перед коллективом.

Во-вторых, все эти проблемы сведены к личным качествам директора, между тем как причин для неполадок много и очень разных. Писатели, критикуя грубость директора, сами стали на позиции грубости.

В-третьих, недостаточно объективно критикуются люди, которых хорошо знает коллектив.

В-четвёртых, коллектив почувствовал, что очерк базировался на односторонних разговорах, в основном с людьми, как видно по каким-то основательным причинам в коллективе непопулярными,

Писатель не должен бояться проверки фактов, даже если эта проверка может поставить под сомнение всю концепцию всей статьи или даже книги. И если бы такая проверка была, то верное в очерке осталось бы, а неверное было бы исключено.

Тов. Симонов особенно подчеркнул ошибочность статьи т. Безыменского «История одного беззакония», напечатанной в газете «Труд». Появление этой статьи не помогло делу.

В ходе собрания было внесено много дельных предложений, направленных на улучшение работы завода. Ряд вопросов поставлен для разрешения перед министерством, райкомом и горкомом партии: о строительстве жилья, обеспечении завода нужным оборудованием и другие.

На собрании выступили также министр т. Костузов и секретарь Кировского райкома партии т. Колосова.

Партийное собрание приняло развёрнутое решение.

*Редакционная комиссия
партийного собрания*

**А. Шашков, А. Похоровский, З. Котова,
М. Дребков, С. Сугробов.**

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя эти документы, редакция журнала «Новый мир» считает необходимым сделать некоторые замечания, связанные и с очерком А. Безыменского и И. Вайнберга и с его обсуждением.

В очерке А. Безыменского и И. Вайнберга был приведён большой перечень фактов, отрицательно сказавшихся на работе Московского завода внутришлифовальных станков, и совершенно правильно была подвергнута критике штурмовщина, которая лихорадила и ещё продолжает лихорадить производство. Именно поэтому резолюция открытого партийного собрания, обсудившего очерк А. Безыменского и И. Вайнберга и статью В. Овечкина, в которой было выдвинуто требование так или иначе ответить на критику, содержащуюся в очерке, отметила, что и в очерке и в статье в основном правильно указывалось на ряд серьёзных недостатков в работе завода.

Многое в этом остро полемическом очерке встретило возражения со стороны представителей заводской общественности, как это явствует из вышеприведённого отчёта об открытом общезаводском партийном собрании.

Редакция не считает возможным умолчать об ошибке авторов очерка, которая не нашла отражения в отчёте о собрании. Речь идёт о том, что А. Безыменский и И. Вайнберг неверно передали смысл разговора министра товарища Костоусова с рабочими, занятыми окраской станков, и бросили в его адрес никак не заслуженный и тем самым оскорбительный упрёк.

Обсуждение очерка, хотя и весьма запоздалое, на широком заводском собрании с участием министра и руководящих работников Министерства станкостроительной промышленности, несомненно, принесло немалую пользу как заводу, так и литераторам, писавшим и редактировавшим очерк. Редакция журнала «Новый мир» со всем вниманием и без тени ложного самолюбия отнеслась к критике очерка, тем более, что остро критические материалы по разным вопросам нашей хозяйственной и общественной жизни журнал и впредь будет помещать на своих страницах, видя в этом свою прямую обязанность.

Следует сказать, что в некоторых выступлениях на открытом партийном собрании завода внутришлифовальных станков эта обязанность литераторов прямо и резко критиковать всё то отрицательное, с чем они сталкиваются в жизни, косвенно ставилась под сомнение. В некоторых выступлениях прозвучала такая нота, дескать, мы являемся специалистами в своём деле, сами прекрасно видим свои недостатки и нечего их вытаскивать на такую всесоюзную трибуну, как журнал. Вряд ли эта нота правильна. Недостатки мало видеть — надо их исправлять. Бывает, что недостатки видят, но в той или иной мере замалчивают их, и в этих случаях выступления печати, с широкой трибуны говорящие об этих недостатках, помогают покончить с их замалчиванием, помогают начать их исправление.

Думается, в частности, что один из основных вопросов, поднятых в очерке, — вопрос о необходимости борьбы со всё ещё

захлёстывающей завод штурмовщиной — после собрания, на котором об этом немало и убедительно говорилось, наконец сдвинется с места. Правда, на собрании несколько странно прозвучало то место из выступления министра станкостроения товарища Костоусова, где он сказал: «Могу писателям прочитать (если они, конечно, пожелают) лекцию «Причины штурмовщины и методы борьбы с ней». Это место прозвучало странно не потому, что было высказано такое предложение, а потому, что этой полемической фразой и ограничилось всё сказанное товарищем Костоусовым о штурмовщине. Остаётся надеяться, что эта фраза лишь результат полемического запала и что товарищ Костоусов прочтёт впоследствии лекцию «о причинах штурмовщины и методах борьбы с ней» не только писателям, которые, наверное, с интересом её прослушают, но и руководителям завода, которые пока плохо справляются с этой бедой.

На собрании царил критический дух не только в отношении недостатков в работе завода, но и в отношении недостатков, содержащихся в очерке Безыменского и Вайнберга. Это хорошо. Но, к сожалению, из песни слова не выкинешь — в некоторых выступлениях на собрании и в адрес авторов очерка и статьи и в адрес вообще писателей прозвучали утверждения, не имеющие ничего общего со здоровой товарищеской критикой. В этих выступлениях по адресу писателей были допущены грубые, оскорбительные, в отдельных случаях носившие даже клеветнический характер выпады. К сожалению, ни председатель собрания товарищ Юзефов, ни секретарь парткома завода товарищ Нефёдов, ни секретарь Кировского райкома партии товарищ Колосова в своих выступлениях не дали настоящей, недвусмысленной оценки этим недостойным выпадам, прозвучавшим вразрез с общим деловым критическим тоном собрания.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЕТЧЕНКО

★

ИСТОРИЗМ И ДОГМА

За последние десять лет, если судить по каталогу библиотеки имени В. И. Ленина, по советской литературе защищено свыше пятисот пятидесяти диссертаций. Среди них очень мало в точном смысле слова историко-литературных работ. Большая часть диссертаций представляет странный жанр. Чаще всего это разбухшая до трёхсот — четырёхсот страниц критическая статья, снабжённая обширным списком «использованной» литературы, в котором не хватает разве что букваря.

Работа над диссертацией — это серьёзная исследовательская школа. Но какой школой для исследователя могла стать монография, ставившая своей единственной задачей популяризировать произведение, только что вышедшее из печати и отмеченное Сталинской премией едва ли не раньше, чем книга получила обращение среди читателей и начала свою истинную жизнь? А ведь таких тем было огромное количество. Молодые учёные получали кандидатскую степень, но не получали представления о сущности историко-литературного исследования, никогда не читали журналов и газет двадцатых—тридцатых годов, не знают, что такое работа над источниками, не имеют текстологических навыков, не заглядывали ни в один архив. Следует ли удивляться тому, что к произведению, созданному двадцать пять — тридцать лет назад, такой литературовед подходит так же, как и к произведению, только что опубликованному в каком-нибудь журнале, не чувствуя различия эпох. Откуда у него могло появиться чувство историзма?

Нередки и такие случаи, когда молодой учёный, изучая какой-либо из последних романов известного писателя, иногда к тому же не оконченный, собирает с его письменного стола клочки черновиков и

строит на них «творческую историю» романа. Не говоря уже о том, что в подобных случаях исследователю нелегко сохранить научную объективность, в его подходе к научной задаче есть что-то пародийное.

Естественно, возникает вопрос: кто виноват в том, что историко-литературные работы порой напоминают по стилю критическую статью или несколько кое-как связанных друг с другом рецензий, а работы, которые по тематике и задачам ближе всего к литературной критике, пишутся как наукообразное исследование? Мы были бы правы лишь отчасти, если бы всю вину свалили на тех, кто пишет подобные работы.

Научная разработка истории советской литературы сильно пострадала от того, что огромное количество книг, журналов, альманахов, газет, не говоря уже об архивных фондах, оказалось за семью замками. Это сужало поле зрения исследователей, приводило к тому, что одни и те же разрозненные, случайные факты бесконечно кочевали из одной работы в другую с одними и теми же оценками, менялось лишь, да и то не всегда, словесное оперение. Но никакие ухищрения стиля не в силах были исправить положение, как никакая косметика не в состоянии придать цветущий вид человеку, страдающему худосочием.

Сейчас в этом отношении положение несколько улучшилось, но рутинная бюрократизм, перестраховка ещё дают себя знать на каждом шагу.

Изучение советской литературы предъявляет к исследователю, особенно если он ставит перед собой задачу осмыслить весь историко-литературный процесс, несколько иные требования, чем, например, изучение литературы прежних эпох: он должен сочетать в себе качества учёного, историка ли-

тературы с боевым темпераментом литературного критика. Ведь начиная свой труд изучением явлений, уже ставших достоянием истории, он должен завершить его освещением животрепещущих явлений литературы сегодняшнего дня. Близость критики и истории литературы здесь настолько очевидна, что на первый взгляд кажется абсурдным их разделение. И всё же мы достигли бы значительно больших успехов, если бы чаще считались со специфическими особенностями истории литературы, критики и теории литературы — этих близких, но не тождественных разделов литературоведения.

Нельзя отрицать известной положительной роли, которую сыграл прозвучавший в своё время призыв руководства Союза писателей ликвидировать деление на критиков и литературоведов. Этот призыв был продиктован стремлением обогатить советскую критику опытом научного анализа художественных произведений, с одной стороны, и приблизить исследования классического наследия к задачам современности — с другой.

Выступления В. Ермилова по вопросам советской драматургии и Я. Эльсберга по вопросам сатиры, опирающиеся на историко-литературное изучение опыта русских классиков, всем памятливы и имели несомненное положительное значение.

Но нельзя не заметить и того, насколько убедительнее книги В. Ермилова о Чехове по сравнению с его этюдами «Некоторые вопросы теории советской драматургии» и особенно «Советская литература — борец за мир», а также книги Я. Эльсберга о Салтыкове-Щедрине по сравнению с его работой «Наследие Гоголя и Щедрина и советская сатира». И это на первый взгляд кажется тем более странным, что оба исследователя, прежде чем углубиться в изучение литературы прошлого, много лет работали в литературной критике. Чем объяснить эту «странность»? Конечно, не только тем, что в одном случае мы имеем фундаментальные исследования, а в другом — отдельные, порой остроумные, порой поверхностные наблюдения и выводы. Основным недостатком многих работ по советской литературе является отсутствие исторического подхода. О советской литературе, имеющей уже почти полувековую историю, развивающейся в эпоху «громад-

ного ускорения мирового развития»¹, всё ещё принято писать без должного учёта пройденного ею сложного и трудного пути. До последнего времени в оценке литературных явлений советской эпохи — не только современных, но и отошедших в прошлое, — решающая роль принадлежит критике. Не настало ли время точнее определить функции критики, теории литературы и истории литературы, не забывая об их внутренней связи?

Роль критики огромна и нелегка. Критика — это разведка. Часто — разведка боем. Она выносит первое суждение о произведении, определяет его судьбу; обобщая опыт лучших писателей, намечает пути развития литературы. С восстановлением ленинских норм в общественной и литературной жизни в нашей стране роль критики особенно возрастает.

Общезвестно, что историк литературы призван уточнять и исправлять оценки, вынесенные критикой. (И чем скорее он это сделает, тем лучше.) Он располагает таким критерием, которого нет у критика, но который позволяет более объективно подойти к писателю или произведению, — проверкой временем. Сближение критики с историей литературы применительно к советской литературе должно заключаться не в стирании их специфики, а в том, чтобы максимально сократилась дистанция, отделяющая вмешательство историка литературы в оценки критика. Пока же мы на каждом шагу встречаемся с тем, как долго живут некоторые критические оценки, вынесенные ещё более четверти века тому назад, отличающиеся односторонностью. Марксистская критика — наиболее объективная критика. Но мы знаем также, что и самые несправедливые оценки в нашу советскую эпоху выносились от имени «марксистской» критики. Следовательно, для историка литературы критические оценки — такой же объект научного, марксистского анализа, как и художественное творчество. Ведь даже правильные и нужные для своего времени критические оценки нередко устаревают, превращаются в свою противоположность, если ими пользуются некритически. Одна из самых трудных обязанностей историка литературы — своевременно подметить подобную опасность превращения когда-то верной оценки в мерт-

¹ В. И. Ленин. Собрание сочинений, т. 33, стр. 313.

вещающую догму, не говоря уже о пересмотре ошибочных суждений.

Момент, когда то, что воспринимается как явление сегодняшнее, становится фактом истории, нелегко уловить. И если мы очень высоко ценим умение писателя подмечать в настоящем ростки будущего и умение критика вовремя поддержать писателя, то не меньшее значение, с моей точки зрения, имеет задача воспитания чувства историзма.

Изучая советскую литературу, критик и историк литературы работают рука об руку, помогая друг другу, но не утрачивая своего лица. При этом контролирующее начало при построении научного курса советской литературы должно принадлежать истории. Воспитательные задачи неотделимы в таком труде от научных задач. К сожалению, изучение советской литературы ещё не вышло из стадии популяризаторства и дилетантизма. Причина этого в отставании историко-литературной науки на нашем участке. Это отставание проявляется по-разному.

У нас есть несомненные достижения в изучении наследия Горького, Маяковского, Серафимовича, А. Толстого, Фурманова и других выдающихся советских писателей. Советские литературоведы, как мне представляется, создали новый жанр монографического исследования. Его отличает строго исторический подход к творчеству данного писателя, изучение этого творчества в тесной связи с общественной жизнью эпохи, в единстве идейного содержания и художественной специфики. Однако дальнейшее развитие жанра монографии пока ещё упирается в «узкое место» — в неизученность историко-литературного процесса. Изучить литературный процесс исследователю, например, творчества Маяковского не под силу, а без детального знания состояния литературы, в особенности поэзии 1917—1930 годов, нельзя создать полноценной монографии о крупнейшем поэте эпохи.

Говоря о слабой изученности историко-литературного процесса советской эпохи, я меньше всего склонен нигилистически относиться к коллективному труду Института мировой литературы, труду, благодаря которому мы располагаем пусть и несовершенным, но пока наиболее полным сводом сведений по истории советской литературы. «Критиковать — легко, работать — трудно...» — напоминал Горький. К тому же

сейчас важнее в первую очередь разобраться в общих недостатках нашей работы, вызванных отступлениями от ленинизма.

Мы часто повторяем слова Ленина о необходимости исторически конкретного подхода к явлениям общественной жизни. Но пережитки социологизма всё ещё мешают нам правильно применять принципы историзма.

Эти пережитки сказывались не только в том, что мы рассматривали типичное как выражение сущности данной социальной силы, игнорируя всё богатство, всю многокрасочность типических характеров, созданных реалистическим искусством. От этого мы отказались. Но те же пережитки социологизма и до сих пор сказываются в наших суждениях о литературе. Мы продолжаем отождествлять тему произведения с материалом, жизненные конфликты — с конфликтами в искусстве, плохо учитываем своеобразие отражения социально-исторических закономерностей в искусстве.

Можно высказать множество аргументов за и против тематического способа систематизации материала, который господствует в наших общих курсах и обзорных работах. Было бы серьёзной ошибкой, если бы мы вдруг от этого способа отказались. В развитии советской литературы борьба за большую современную тему всегда играла исключительно важную роль. Высказывания по этому поводу Горького, Маяковского и других писателей хорошо известны. Призыв к глубокой разработке актуальнейших тем современности проходит через все партийные документы.

В чём же тогда уязвимость тематической систематизации материала? Прежде всего именно в том, что тема во многих случаях понимается нами социологически. В своё время выходили рекомендательные указатели в помощь библиотекарям и пропагандистам, в которых вся литература была разнесена по соответствующим темам: тема рабочего класса, тема деревни, тема Красной Армии, тема женщины, тема молодёжи и т. д. Вместе с художественной литературой рекомендовались политические статьи, брошюры. Сейчас уже найдётся людей, которые не видели бы различия между художественным произведением и пропагандистской брошюрой. Однако в формулировке темы произведения ещё далеко не всегда учитывается художественная специфика, о чём спра-

ведливо писал Б. Сарнов в рецензии на книгу Л. Шепиловой «Введение в литературоведение» («Литературная газета» от 18 сентября 1956 года).

Отголоски социологизма сказываются и в том, как ограничиваем мы круг тем, разрабатываемых советской литературой. Советская литература двадцатых годов, оказывается, замыкалась в пределах главным образом трёх тем: темы революции и гражданской войны, темы интеллигенции и темы труда; литература тридцатых годов — в границах темы социалистического сознания, темы обороны, темы воспитания, исторической темы. Однако, если мы примем подгонять лучшие книги своего времени к этим узким тематическим колодкам, то окажется, что не только произведения Пришвина, но и произведения Горького находятся вне этих тем. Можно лишь порадоваться, что большая часть писателей мало прислушивалась к мнению критиков и историков литературы и писала не социологические трактаты, а художественные произведения. Поэтому литература всегда была неизмеримо богаче, чем выглядит она в нашем освещении.

Отождествляя тему с материалом, мы тем самым узко, односторонне освещаем вопрос о связи произведения с современностью, а следовательно, и вопрос об историзме. В письме к жене Короленко Горький в 1925 году признавался: «Я ведь «весь в прошлом». Но едва ли кто усомнится сейчас в том, что опубликованное в том же году «Дело Артамоновых» было одним из наиболее современных произведений. К чему же сводим мы эту связь с эпохой? К тому, что в период нэпа остро встал вопрос «кто кого» и Горький решал этот вопрос в пользу социализма. Однако ведь это лишь одна из линий связи. Разве, когда вопрос «кто кого» был решён, «Дело Артамоновых» потеряло актуальность? Разумеется, нет. На распространённой трактовке этого популярнейшего произведения следует несколько задержаться.

Как трактуется обычно тема «Дела Артамоновых»? Как история восхождения и распада русского капитализма. Причём исследователи всегда спешат подчеркнуть, что именно вопрос о судьбе классов в революции становится главным в «Деле Артамоновых», что в основу произведения писатель положил не историю семьи, а историю русского капитализма. При этом почти никто не забывает процитировать слова

Горького о том, что «нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для неё и в конечном счёте определяет её социальное поведение».

Слова Горького о том, что социальное поведение персонажа определяется его «индивидуальным стержнем», — чистейшая ересь с точки зрения тех, кто считает, что в «Деле Артамоновых» изображена не история семьи, а история капитализма, не судьба людей, находящихся в сложных социальных, бытовых отношениях, а судьба классов. Однако Горький рассуждает как художник, как писатель, учитывающий специфичность отражения классовых отношений в искусстве. А исследователи рассуждают как социологи, идущие от общих схем, игнорирующие специфику искусства, произвольно освещающие творчество Горького в целом и своеобразие «Дела Артамоновых» в частности. Конечно, анализируя «Дело Артамоновых», нужно говорить и о капитализме, и о классах, и о революции, ибо всё это есть в романе, но говорить надо так, чтобы с первого слова о романе, о его теме слушатель или читатель понимал, что речь идёт о художественном произведении, а не о социологическом исследовании.

А как освещается конфликт «Дела Артамоновых»? Как «борьба двух миров, столкновение мира капитализма и мира революции...»¹ Опять социологическая схема, абсолютное невнимание к произведению, как оно есть. Конфликт, о котором в этом случае идёт речь, — это главный конфликт действительности, его отражение мы находим в романе Горького, но отражение своеобразное, не прямое, а опосредствованное. Для прямого изображения здесь не хватает важного звена — изображения рабочих таким же крупным планом, каким показаны Артамоновы. Видимо, задача исследователя и заключается в том, чтобы проследить всё своеобразие тех конфликтов, которые определяют движение сюжета в романе, их отношение к главному конфликту эпохи, который всё время ощущается в романе, воздействует на конфликты, в нём раскрытые, но сам не является магистральным конфликтом романа. Игнорируя это, мы превратили одно из

¹ Лекции по истории русской советской литературы. Издательство Московского университета. М., 1951, кн. I, стр. 23.

лучших произведений нашей литературы в скучную социологическую схему.

За социологической схемой мы проглядели глубокое философско-историческое значение той темы, которую Горький выразил словом «дело», проглядели связь горьковского понимания «дела» с афоризмом «Жизнь есть деяние», с одной стороны, и с афоризмом «Всякое дело человеком ставится, человеком славится» — с другой. Если бы мы учитывали эти необычайно характерные для Горького мысли, может быть, мы тогда не отождествляли бы историю дела в романе только с историей капитализма, а увидели бы, как дело, начатое Артамоновым-старшим и воспринимавшееся им как деяние, перерастает самих Артамоновых, под властью которых ему грозила опасность превратиться в злодеяние, как происходит «отчуждение» Артамоновых от главного, что есть в деле, — его человечности, и как дело переходит в руки тех единственных хозяев, которые в состоянии не только поставить его, но и прославить.

Попутно отмечу, что тот же упрощённо социологический подход к явлениям искусства наложил свою печать на изучение функции пейзажа в наиболее поэтических произведениях советской литературы. Прав молодой исследователь творчества М. Шолохова В. Петелин, критикуя некоторые последние работы о Шолохове за схематическое освещение в них функции пейзажа в «Тихом Доне». Стараясь во что бы то ни стало доказать, что картины природы в этом романе подчинены задаче усилить, сгустить впечатление внутренней опустошённости Григория Мелехова, которая наступает как расплата за отход от народа, авторы этих работ утверждают, будто в те светлые периоды, когда этот герой романа находится на правильном пути, он воспринимает величие и красоту окружающего мира, остро ощущает запахи трав, видит всю многокрасочность природы, а когда он идёт против народа, то и красота мира идёт как-то мимо него, его восприятие природы становится однокрасочным, ущербным. Однако достаточно вспомнить переживания Мелехова и его восприятие природы, когда он с бандой Фомина ускакал от красноармейского отряда, чтобы вся эта социологическая схема разлетелась прахом. Приведём небольшой отрывок.

«Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем

телом к жёсткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел всё окружающее. У него словно бы обострились зрение и слух, и всё, что ранее проходило незамеченным, — после пережитого волнения привлекало его внимание». И далее идёт изумительный «шолоховский» пейзаж, поражающий точностью рисунка, богатством красок, умением выделить из потока впечатлений две-три детали, в которых мастерство пластики сливается с проникновенным лиризмом. Отметим в этой картине всего лишь один образ багряно-чёрного тюльпана, блистающего яркой девичьей красотой.

«Тюльпан рос совсем близко, на краю обвалившейся сурчины. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать его, но Григорий лежал, не шевелясь, с молчаливым восхищением любящий цветком и тугими листьями стебля, ревниво сохранявшими в складках радужные капли утренней росы».

Исследователь-социолог не может примириться с таким «безыдейным» (с его точки зрения) описанием природы, ему необходимо, чтобы ярко-красные тюльпаны вызвали в памяти Григория пролитую им кровь народа и заставляли его закрывать глаза. Подобные нехитрые схемы и убогая символика накладываются на изображение пейзажа у разных художников, в разных произведениях, мешая понять их подлинный идейный смысл, воспринимать их истинную красоту.

Социологические схемы мешают правильно оценить выдающиеся произведения, поднимающие проблемы эпохального значения. Узко понимая актуальность таких произведений, мы нередко частное и преходящее выдаём за главное.

Но было бы глубокой ошибкой, если бы мы, обращая внимание только на то, что поднимает произведение над конкретным отрезком времени и делает его достойным занять место среди вечных памятников искусства, пренебрегли бы тем, что связывает его со «злобой дня» своего времени. Я думаю, что при анализе «Петра I» А. Н. Толстого нельзя обойти признание автора, сделанное в 1928 году: «Это очень интересно и очень созвучно современности»¹. Точно так же заслуживает внима-

¹ Архив ИМЛИ.

ния и другое признание А. Толстого. Мы рассматриваем две последние книги «Хождения по мукам» как произведение о гражданской войне, а всю трилогию — как произведение о судьбах интеллигенции в эпоху революции и говорим, что темы эти были характерны для литературы двадцатых—тридцатых годов. Сейчас я хочу обратить внимание не на то, что и в данном случае остаётся в стороне своеобразие романа, а на то, что сам писатель очень остро ощущал переключку романа с теми днями, когда он создавался, в таких звеньях, которые воспринимаются нами, как чистейшей воды история. Так, собираясь в 1928 году писать о 1919 году, А. Н. Толстой выражал опасение, что изображение маховщины будет воспринято критикой, как его, писателя, ответ на события, происходившие тогда в деревне. «Тема настолько острая, — писал он, — что в нынешней напряжённой обстановке — кто знает, как будет принят роман»¹.

Только учёт всех связей литературного произведения с конкретным историческим периодом и того, что благодаря глубине художественного обобщения делает его произведением эпохи, обеспечит действительную победу историзма в нашей науке.

Изучая историко-литературный процесс, мы до сих пор особенно грешили против принципа, который Ленин определил, как требование «всесторонности». «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения»².

В последнее время много говорится о «белых пятнах» на карте советской литературы. Сейчас для устранения этих «пятен» уже кое-что делается. Через год-два мы будем иметь на своих книжных полках однотомники многих писателей, выпадавших из нашего поля зрения. Это поможет нам охватить «предмет» более всесторонне. Но уже сейчас мы должны отдавать себе ясный отчёт, что для создания подлинно научной истории советской литературы выхода избранных произведений недостаточно. По ним трудно составить представление о действительном пути большей части писателей. Произведения, которые включа-

ются в собрания сочинений, во многих случаях подвергаются авторской переработке, на что авторы имеют безусловное право. Однако, если бы мы писали историю литературы, ориентируясь на эти издания, мы исказили бы историческую правду, не показали бы действительную картину развития советской литературы, сложность, извилистость пути большей части писателей. Думается, что стерилизация во многих случаях производится необоснованно. Невозможно понять, например, почему в последнее собрание сочинений Горького не вошли многие известные произведения, как, например, очерк о Леониде Андрееве, с какой целью изуродованы «Рассказы о героях» и другие.

Скажут, что подобный произвол связан с культом личности. Возможно. Но сейчас, когда идёт борьба с последствиями культа личности, намечаются новые варианты «улучшения истории», которые на деле, как всегда в таких случаях, приводят к искажению истории.

Советское литературоведение уже несколько лет назад начало борьбу против «выпрямления» творческого пути Горького, Маяковского и других классиков советской литературы. Эта работа должна идти и дальше. Задача заключается не в «развенчании» Горького или Маяковского, как кажется или хочется некоторым, не в коллекционировании их «ошибок», а в том, чтобы, показывая со всей полнотой и искусством, на которое только мы способны, величие сделанного ими, не обходить трудностей, заблуждений, которые им приходилось с большим или меньшим успехом преодолевать. Сейчас, когда работа эта ещё не закончилась, мы должны восстановить не только в гражданских правах, но и в правах писательских А. Весёлого, И. Бабеля, М. Герасимова, В. Кириллова, В. Киршона и других поэтов, драматургов, прозаиков, несправедливо устранённых из истории литературы. Делать это надо бережно, стремясь раскрыть прежде всего то ценное, что внёс в литературу каждый из них. Необходимо также дать объективную оценку творчества и тех писателей, которые до сих пор получали одностороннюю, главным образом отрицательную характеристику, — таких, как С. Есенин, Э. Багрицкий и другие. Но делать это надо, не шараясь из одной крайности в другую.

К этому необходимо сделать важное добавление. Если мы хотим показать подлин-

¹ Архив ИМЛИ.

² В. И. Ленин. Собрание сочинений, т. 32, стр. 73.

ный путь советской литературы, путь, полный драматических столкновений, острейшей идейной борьбы, мы должны полным голосом, по-партийному говорить и о вражеском лагере. Он был, этот лагерь, он не раз пытался захватить в свои руки ключевые позиции в критике, в журналах, в литературных организациях. Он выступал под флагом сменовеховства, троцкизма, «чистого искусства» и т. д. Конечно, нельзя ставить знак равенства между людьми и идеями. Сплошь и рядом люди, исповедовавшие ложные идеи, под влиянием мудрой ленинской политики и успехов социалистического строительства переходили на позиции марксизма. Это общезвестно. Но были писатели, последовательно защищавшие реакционные позиции, клеветавшие на советскую действительность. Мы обязаны шире показывать, с какими реакционными идеями и с какими действительными врагами боролась советская литература, обязаны своевременно давать отпор попыткам искажённо изображать эту борьбу. Некоторые литераторы за рубежом второпях поднимают на щит Пильняка. Историки советской литературы старшего возраста помнят, что писал Пильняк, и они могли бы достойно ответить литераторам, которые, черня под флагом борьбы с культом личности все завоевания советской литературы, пытаются звать нас назад к декадентству. Но наша молодёжь порой поддаётся на такую провокацию: она ничего не слышала о Пильняке. Не целесообразно ли было бы о таких писателях, как он, говорить несколько обстоятельнее?

Опираясь на тщательное изучение фактов, необходимо пересмотреть оценки ряда литературных объединений 1917—1932 годов, таких, как Пролеткульт, «Кузница», «Серрапионовы братья». РАПП, ЛЕФ. Для нас сейчас совершенно очевидно, что мы слишком односторонне подходили к этим объединениям, тщательно регистрировали только отрицательные моменты, обходя положительные. И хотя отрицательные моменты не были выдуманы, правда искажалась. Конечно, теоретические основы у Пролеткульта были махистские, меньшевистские, эта организация не могла содействовать развитию пролетарской культуры. Об этом писали Ленин, Крупская. Но в пролеткультах были рабочие. Поэты Александровский, Герасимов, Кириллов, Филиппченко и многие другие испытывали влияние декадентства, писали абстрактные

стихи о революции, но о революции, а не против революции! А у нас они ничем не отличаются от контрреволюционных поэтов, которых в то время было немало. Далее, с «Кузницей» мы связываем главным образом абстрактно-космическую поэзию. Между тем в это объединение входили талантливые прозаики (Ф. Гладков, Н. Ляшко, В. Бахметьев, Г. Никифоров, Ф. Березовский). Почему же в таком случае с представлением о «Кузнице» мы связываем только слабые произведения?

Возьмём, далее, «серрапионов» и лефовцев.

Все помнят, как возник разговор о «Серрапионовых братьях» — группе, распавшейся ещё в конце двадцатых годов. Резолюция ЦК о ленинградских журналах, в которых печатались рассказы бывшего «серрапиона» М. Зошенко, была направлена против аполитичности и обывательских настроений. В этой связи вспомнились и «Перед восходом солнца» и ранние декларации Зошенко, относящиеся ко времени пребывания его в группе «Серрапионовы братья».

Воинствующая защита аполитичности Львом Лунцем уже в начале двадцатых годов вызвала ряд резких возражений со стороны критиков разных направлений (П. И. Лебедева-Полянского, П. Когана, Б. Арватова и других). Но марксистская критика двадцатых годов не смешивала деклараций «Серрапионовых братьев» с их творчеством. «По их повестям, романам, новеллам они лучше, ближе нам, сильнее, красивее. Их вещи временами прекрасны и по содержанию и по технике», — писал П. И. Лебедев-Полянский («Московский понедельник» от 28 августа за 1922 год). Критика же сороковых годов, а за ней историки литературы подошли к докладу Жданова догматически. Выражение «Серрапионовы братья» превратилось в ругательство. Никакие факты уже не принимались во внимание. Единственное полезное, что было сделано, это стремление «спасти» от оханвания таких писателей, как Федин, Каверин, Вс. Иванов, Н. Тихонов, и других, входивших когда-то в группу. Но как это было выполнено? Всё, что было в творчестве этих писателей плохого, относилось за счёт «Серрапионовых братьев», всё хорошее приписывалось влиянию главным образом Горького. Тут были допущены две грубые ошибки, источником которых является всё тот же антиисторизм мышления, скованность догмой.

О «Серрапионовых братьях», как и других творческих объединениях тех лет, судили главным образом по декларациям. С понятием «литературное течение» раз и навсегда связано представление о творческом единстве писателей, «близких друг другу по своей идеологии, пониманию жизни и отношению к существенным её явлениям». Так и записано в «Кратком словаре литературоведческих терминов». В действительности же литературные течения двадцатых годов представляли собой непрерывно меняющиеся, внутренне противоречивые коллективы. Не было единства и в группе «Серрапионовы братья». Партия и прогрессивная критика тех лет учитывали это внутреннее брожение, передвижки и считали группы «Серрапионовы братья», ЛЕФ близкими революции, заслуживающими внимания, поддержки. Об этом свидетельствует, например, выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) от 27 февраля 1922 года № 147, частично опубликованная в двенадцатом номере «Коммуниста» за 1956 год. Привожу её полностью:

«Слушали: 2) О борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской (т. Яковлев, Воронский).

Постановили: признать необходимым поддержку Госиздатом:

- а) группы пролетарских писателей,
- б) издательства «Серрапионовы братья» (при условии неучастия их в таких реакционных изданиях, как «Журнал» и «Петербургский сборник»),
- в) группы Маяковского.

Секретарь ЦК В. Молотов».

Вторая ошибка заключается в том, что, говоря о влиянии Горького, мы представляем самого Горького как нечто неизменное. Утвердилось мнение, будто великий писатель не имел никакого отношения к политической позиции, вернее, к аполитичности «серрапионов», будто влияние Горького ограничивалось сферой творчества. Плодотворное влияние Горького на творчество Вс. Иванова, К. Федина и других писателей, входивших в эту группу,— факт бесспорный, подтверждённый самими писателями. Но, изучая отношение Горького к «Серрапионовым братьям» в период возникновения группы, не следовало бы обходить высказывания Горького в статьях «О русском искусстве», «Всемирная литература» (1917—1919) об отношении искусства к политике. «Искусство или немотствует, или

уныло бродит около политики, бессильное, как дитя на пожаре»,— говорится в первой. Во второй Горький писал, что искусство не может быть вполне свободно от давления времени, но отмечал, что «злоба дня», может быть «чаще, чем это необходимо для свободных «вдохновений и молитв» святому духу красоты и пытливости, отравляет эти вдохновения и молитвы ядовитой пылью текущего дня». Тут же высказана мысль, что мировая литература служит актом оправдания, а не обвинения, что великие гении создали бессмертные творения, «возвышаясь над всеми данными действительности», что для литературы «жестокое противоречия жизни, возбуждающие вражду и ненависть наций, классов, личностей»,— «только вековое заблуждение».

Совершенно ясно, что, занимая такую позицию, Горький не мог осуждать аполитичность «Серрапионовых братьев» в момент возникновения этой группы. Но утвердившаяся догма не позволяла и думать, будто когда-нибудь Горький сомневался в положительном значении политики для художника. Догматизм исключает, как опасную ересь, мысль о том, что бывают случаи, когда недоверие писателя к политике свидетельствует не о его реакционности, а о разочаровании в реакционной политике, о начале прозрения. Так было с Горьким в тяжёлый для него период, когда он постепенно и нелегко освобождался от «новожизненной» политики и не мог ещё сразу понять политику большевистскую, против которой недавно резко выступал. «Аполитичность» Горького в 1919 году была симптомом выздоровления, знаменовала начало возвращения на позиции ленинизма.

Одной из задач истории советской литературы является более дифференцированный подход к литературным объединениям двадцатых годов. Необходимо установить, в каких случаях основой объединения было здоровое ядро советских писателей, искренне и честно стремившихся создавать революционное искусство, но допускавших те или иные, большие или малые ошибки, и в каких случаях, в силу каких причин отдельные революционные писатели временно примыкали к литературным объединениям, отстаивавшим реакционные политические и эстетические взгляды. Все эти объединения необходимо рассматривать в эволюции, учитывая конкретные условия политической жизни и литературной борьбы двадцатых годов. В особенности это относится к

Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). До последнего времени эта организация рассматривается лишь как воплощение всех и всяческих грехов и пороков. Массовая организация, в которую входило много честных, талантливых писателей и преданных коммунистов, которая имела свои конференции, созвала свой съезд, в изображении наших литературоведов оказалась превращённой в вотчину врагов и карьеристов. В нашем освещении дело выглядит так: партия помогала пролетарским писателям зарабатывать историческое право на гегемонию (это записано в резолюции ЦК РКП(б), 1925 год), но ни одна из пролетарских организаций не оправдала надежд партии. Почему? Потому, что к руководству ими пробрались враги народа. Видя везде и всюду происки «врагов народа», мы, в сущности, признали за ними едва ли не все главные позиции в руководстве литературой. И разве случайно, что эта версия утвердилась во второй половине тридцатых годов?

Нужно ли сейчас обелять РАПП? Нет, просто нужно восстановить истину. Бóльшая часть ошибок, которые связываются с деятельностью этой организации, была действительно допущена ею. Конечно же, рапповцы вульгаризировали марксизм, им в высокой степени было присуще комчванство, грубое, нетерпимое отношение к писателям, не входившим в их организацию, они усердно насаждали групповщину, провозглашали ошибочные лозунги, вроде лозунгов: «за живого человека», «за диалектико-материалистический творческий метод», «союзник или враг» и других. При изучении творчества Горького, Маяковского, А. Толстого, М. Шолохова и других советских писателей редко отзовёшься добрым словом о рапповцах. Грехи их в основном сосчитаны, и отпущения им давать нельзя.

Тем не менее есть все основания подойти к РАППу и с другой стороны. Во-первых, в РАППе было много хороших, честных писателей: Фурманов, Фадеев, Ставский, Либединский и другие. И можно лишь пожалеть, что выступления этих писателей по вопросам литературы на страницах журналов РАППа совершенно не изучаются. Разве ошибки, допущенные на пути честных поисков истины, не являются свидетельством прежде всего трудности пути, на который вступила молодая советская литература? Сейчас это история, из которой

надо извлекать уроки. Но не всё было ошибочным в выступлениях этих писателей в двадцатых годах, как и в деятельности РАППа в целом.

Когда мы отрешимся от мысли, будто все ошибки теоретического характера, допущенные рапповцами, являются актом сознательного вредительства, и тем самым перестанем изображать многих честных советских писателей простачками, которых можно было около семи лет безнаказанно водить за нос, то многое в развитии советской литературы встанет перед нами в новом свете. Мы увидим, что крупнейшее завоевание марксистской теоретической мысли в области искусства, сделанное в тридцатых годах,— определение основного метода советской литературы — было подготовлено длительными и упорными исканиями предыдущих лет, исканиями, в которых принимали участие все лучшие советские писатели, в том числе и писатели, входившие в РАПП.

Социалистический реализм не был изобретением Сталина, Жданова и Горького, как пытаются представить дело некоторые зарубежные литераторы. Он был в страдан нашей литературой. Истоки его мы справедливо находим ещё до Октября, родоначальником вполне обоснованно считаем Горького. Но советская литература в целом шла к социалистическому реализму от жизни, от страстного стремления служить революции, от своего собственного опыта.

Мы, несомненно, упрощаем вопрос о становлении социалистического реализма в по-октябрьской литературе, абсолютизируя влияние Горького. Роль Горького и в двадцатых годах была огромна, но всё же для многих писателей в те годы он не был таким непререкаемым авторитетом в поисках новых путей, как мы привыкли думать. У Горького учились и с Горьким спорили. Не всегда в этом споре был прав Горький. Горький и сам многому учился у молодой советской литературы. Роман Горького «Мать» тогда расценивался несколько иначе, чем сейчас. Во все школьные пособия включались статьи Воровского, Кубикова, в которых об этом романе высказано больше критических замечаний, чем хвалебных слов. Это говорится не для того, чтобы подвергнуть сомнению историческое значение романа или заслугу исследователей, показавших его великую новаторскую роль. Но исторически неверно чуть ли не всю

советскую литературу, как это часто делается, выводить из одного романа. Путь советской литературы к социалистическому реализму был сложнее, истоки его — многообразнее и шире. Это был прежде всего путь исканий. И то, что разные писатели, идя разными путями, приходили к общему результату, лишний раз свидетельствует о жизненности нового метода.

Говорят о неправомочности термина «социалистический реализм», ссылаясь на то, что многие лучшие произведения советской литературы были созданы раньше, чем появился этот термин. Подобные возражения являются аргументом не против существования нового метода, а в защиту его. Вот если бы восторжествовала точка зрения, связывающая возникновение социалистического реализма с периодом тридцатых годов (она имела место, но была отвергнута), тогда социалистический реализм действительно оказался бы мифом, выдумкой, теорией, возникшей раньше опыта.

Да, термина «социалистический реализм» в двадцатых годах не было. Партия в те годы поощряла поиски стиля, соответствующего эпохе, не связывая ни себя, ни писателей «приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы». Однако в тот период не только были созданы произведения социалистического реализма, но и теоретическая мысль в области литературы упорно двигалась в этом направлении.

Высказывания Ленина о характере социалистической литературы и соответствующие документы партии общеизвестны. Вся история советской литературы утверждает правоту ленинской политики в области литературы. Одной из первоочередных задач литературоведения, вступившего на путь решительного преодоления культа личности и его вредных последствий, является изучение действительного исторического значения ленинской политики в области литературы.

В обстановке полной свободы исканий, острой борьбы течений обнаружилось, что почти все талантливые писатели, независимо от того, в какие группы они входили, какие стилевые задачи считали наиболее важными, к концу двадцатых годов высказались за реализм. Горький в своих художественных произведениях, в письмах к писателям, в мемуарах о Льве Толстом, Короленко последовательно защищает традиции реалистического искусства, с огром-

ной убедительностью показывает как величайшее завоевание русской литературы утверждение в ней типа писателя-гражданина, общественника, гуманиста, борца за социальную справедливость и художественную правду. Страстным поборником реализма был А. Луначарский. Маяковский в 1923 году объявил борьбу за «тенденционный реализм». А. Толстой противопоставил декадентским традициям «монументальный реализм». Писатели «Кузницы» в декларации 1928 года писали: «Литература должна быть глубоко реалистичной». Рапповцы с самого начала заявили о своей ориентации на реализм. Даже «перевальцы» объявили своей «единственной традицией реалистическое изображение жизни»¹. В данном случае это важно хотя бы потому, что к «Перевалу» примыкали такие писатели, как А. Карavaева, М. Пришвин, П. Павленко, Артём Весёлый, А. Малышкин. Реакционный характер идейных и творческих установок теоретиков «Перевала» не подлежит сомнению, но требование реализма, пожалуй, и было той нитью, которая скрепляла названных писателей с «Перевалом».

Конечно, сущность реализма понималась разными писателями и группами по-разному. В соответствии с этим и в реалистическом наследии прошлого каждый искал то, что ему было нужно. Но к концу двадцатых годов стала ясна несостоятельность всех антиреалистических, декадентских течений.

Однако в двадцатые годы не был решён вопрос, из-за которого шли, пожалуй, самые бурные споры: чем отличается реализм советской литературы от реализма литературы прошлого? Ощущение новизны было присуще большей части писателей, но в чём заключалась новизна — вот тут и начинались разногласия.

Определение метода социалистического реализма на Первом съезде советских писателей как основного метода советской литературы было не гипотезой, а обобщением, в котором получила правильное отражение объективная закономерность развития искусства в эпоху борьбы за социализм: его неразрывная действенная связь с жизнью, с революционной борьбой и преобразующей деятельностью народных масс, одухотворённых идеями социализма.

¹ Все эти высказывания см. в сборнике «Литературные манифесты», Издательство «Федерация». М. 1929.

Кстати сказать, выражение «социалистический реализм» впервые прозвучало не на съезде и не во время встречи писателей со Сталиным 26 октября 1932 года на квартире у Горького, а значительно раньше. В частности, оно встречается уже в одной из редакционных статей «Литературной газеты», разъясняющей значение постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». 29 мая 1932 года в статье «За работу!» «Литературная газета» писала:

«Правдивость в изображении революции — вот требование, которое мы вправе предъявить всем без исключения советским писателям. Художник должен правдиво, революционно, реалистически показать в своём творчестве процессы революции, её труды и победы, картины осуществления на деле такого общественного устройства, при котором не будет эксплуатации человека человеком. Правда опасна нашим врагам. Правдивое изучение нашей действительности, верное отображение её в художественном творчестве — лучший путь к познанию правоты и силы рабочего класса, лучший путь к созданию таких произведений искусства, которых требуют массы, строящие социализм, борющиеся за победу социалистической революции во всём мире. Массы требуют от художника искренности, правдивости, революционного социалистического реализма в изображении пролетарской революции».

Лишь под влиянием культа личности, распространившегося уже после того, как советская литература признала наиболее плодотворным методом социалистический реализм, критика целиком приписала теоретическое обоснование нового метода Сталину. Между тем названная статья «Литературной газеты», защищая идею «революционного социалистического реализма», выводила её из «ленинской школы культурной революции», которую проходили массы, совершившие революцию и строившие социализм.

Приписав все достижения марксистско-ленинской эстетики одному человеку, наша критика стала так излагать принципы социалистического реализма, что вскоре превратила их в свод предписаний и мёртвых догм. Стала обычной формула «Социали-

стический реализм требует...». Закономерным итогом этой работы было утверждение о нормативном характере социалистической эстетики. Теория бесконфликтности, допускавшая лишь столкновение между хорошим и лучшим, теория идеального героя, опиравшаяся не на жизнь, а на некий кодекс умозрительных норм, — это были разные выражения одного и того же явления: стремления возвести в категорию «вечных истин», абсолютизировать всё, что в жизни и в искусстве так или иначе, прямо или косвенно связывалось с именем Сталина. Марксистской эстетической мысли нанесли тяжёлый урон, ей грозили окостенение, остановка развития. В литературоведении установились свои обязательные «требования». Историк литературы должен был показывать, чем литература тридцатых годов выше литературы двадцатых годов. Развитие понималось как непрерывное восхождение по прямой. Монография о писателе должна была заканчиваться главой о его лучшем произведении. Если оказывалось, что последнее произведение было слабым, то разговор о нём либо передвигался в середину, либо откладывался до выхода более удачного произведения. Требование парадности заставляло ломать логику исследования и в тех случаях, когда последним произведением писателя оказывалось хотя и художественно сильное, но сатирическое. Так, очерк творчества Маяковского не мог заканчиваться анализом его сатирической драматургии, да и самая эта драматургия расценивалась как ахиллесова пята выдающегося поэта.

Перед нами, таким образом, стоит задача пересмотреть и переоценить всё, что несёт на себе печать омертвляющего влияния культа личности. Только объективное изучение фактов может обеспечить успех в этом деле.

К сожалению, в решении многих важных вопросов истории нашей литературы слишком часто наблюдаются торопливость и субъективизм. Некоторые писатели и критики решительно противопоставляют литературу тридцатых и сороковых годов, как литературу, будто бы целиком оказавшуюся под влиянием культа личности и пришедшую в состояние полного упадка, литературе двадцатых годов, отличающейся свободой творческих исканий, бурным расцветом. Вернуться к двадцатым годам — значит идти вперёд, говорят они. Другие утверждают, что тридцатые годы, напро-

тив, представляют один из самых блестящих периодов в истории советской литературы, что нужно завязать глаза и заткнуть уши, чтобы не увидеть, не почувствовать художественного изобилия этого десятилетия, достойно продолжившего мятежное начало советской литературы в двадцатых годах... И те и другие приводят доводы в защиту своей точки зрения, поражающие своей односторонностью. Одни, говоря о литературе тридцатых годов, выхватывают факты отрицательного характера, другие демонстрируют лишь факты положительного значения. Между тем совершенно очевидно, что правильное представление о процессе развития советской литературы можно получить, только учтя все тенденции этого развития.

Культ личности, начиная с середины тридцатых годов, оказывал вредное влияние на различные стороны нашей общественной жизни, в том числе и на развитие литературы. В борьбе с культом личности не может быть никаких компромиссов. Уже простое умолчание о вреде, причинённом им нашей литературе, настораживает читателя, воспринимается как лицемерие. Тяжёлые последствия культа личности ещё не до конца преодолены в нашей литературе и литературоведении. Они сказываются и на спорах о характере развития советской литературы на разных этапах. В стремлении рассматривать литературный процесс тридцатых—сороковых годов только под углом зрения влияния культа личности, как и в бездоказательном отрицании этого влияния, проявляется инерция мышления, сложившегося именно под влиянием культа личности.

Причинив советскому обществу серьёзный ущерб, культ личности, однако, не мог изменить социалистическую природу нашего общества. Можно было все успехи в строительстве социализма, как и победы, одержанные в войне с гитлеровской Германией, приписать одному И. В. Сталину, но реальным источником успехов и побед в тридцатые и сороковые годы, так же как и в двадцатые годы, были творческая энергия освобождённого народа, воля и разум Коммунистической партии. Эти решающие факторы развития советского общества и определили главное направление развития советской литературы.

Опыт литературы двадцатых годов должен быть изучен более тщательно, чем это

сделано до сих пор, но едва ли было бы полезным, решая сегодня теоретические и организационные вопросы советской литературы, вернуться к этому опыту, минуя последующие десятилетия. Точно так же, создавая условия для развития творческих течений, было бы ошибкой восстанавливать нечто подобное литературным группировкам двадцатых годов, хотя кое-кто из писателей изображает сейчас эти группировки в ослепительно романтическом свете. Идти вперёд — не значит вернуться назад, к двадцатым годам. Иным стало советское общество, избавившееся от эксплуататорских классов, сплочённое морально-политическим единством. Иными стали советские писатели и читатели.

В литературе тридцатых и сороковых годов мы наблюдаем по сравнению с литературой предыдущего периода в одних случаях очевидное, бесспорное движение вперёд, плодотворно сказывающееся до наших дней; в других — художественные открытия, сопровождающиеся неудачами и даже утратой отдельных достижений, и эти неудачи связаны с влиянием ложных идей, навешанных культом личности; в третьих, — застой, а то и явное движение вспять.

Едва ли кто-нибудь будет отрицать успехи советской литературы тридцатых — сороковых годов в прозе, давшей такие замечательные произведения, как четвёртая книга «Тихого Дона» М. Шолохова, третья книга «Хождения по мукам» А. Толстого, «Педагогическая поэма» А. Макаренки, «Уральские сказы» П. Бажова, «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова, «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» К. Федина, автобиографические повести Ф. Гладкова, «Спутники» В. Пановой, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и другие. Невозможно преувеличить успехи советской литературы в разработке исторической темы. Стоит лишь назвать такие романы, как «Пётр I» А. Толстого, «Пушкин» Ю. Тынянова, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Цусима» А. Новикова-Прибоя, чтобы стало ясно, насколько прочно утвердилась советская литература тридцатых годов на позициях марксистско-ленинского понимания закономерностей исторического развития. В изображении прошлого, мне кажется, особенно рельефно проявляется идейный и эстетический уровень современного искусства.

Трудное положение сложилось, начиная с тридцатых годов, в драматургии и театре. Однако было бы исторической неправдой не заметить даже в этой области не просто ряд талантливых пьес, но пьес, представляющих серьёзное движение вперёд в изображении духовного мира советского человека. Упомяну лишь такие пьесы, как «Таня» А. Арбузова, «Машенька» А. Афиногенова, «После бала» и «Аристократы» Н. Погодина, «Обыкновенный человек» и «Нашествие» Л. Леонова. О драматургическом мастерстве, которого достиг в «Егоре Булычове и других» и во второй редакции «Вассы Железновой» Горький, открывающий этими пьесами блистательную страницу в истории советского театра, нет нужды говорить.

Самый большой урон, начиная с середины тридцатых годов, потерпела советская сатира. В это время прекратилась деятельность таких талантливых сатириков, как М. Кольцов, Ильф и Петров. Один из популярнейших в первое пооктябрьское десятилетие поэтов-сатириков, Демьян Бедный, после ряда неудачных произведений, подвергшихся справедливой, но чрезмерно резкой критике, напоминающей начальственный окрик, в сущности, перестал писать сатирические стихи на темы внутренней жизни.

Наконец, под влиянием культа личности эстетическая мысль всё более приобретала догматический характер. Но даже и в этой области не может идти речь о простом восстановлении уровня, достигнутого нашей критикой и литературоведением к середине тридцатых годов. Перед нами стоит задача: отобрать и развивать то ценное, что было завоёвано марксистской литературоведческой мыслью на протяжении всей истории советской литературы, в том числе и в особенности то, что за последние пятнадцать—двадцать лет завоёвано вопреки культу личности.

Основной недостаток изучения проблемы социалистического реализма заключается, как мне представляется, в том, что это изучение велось с позиций нормативной эстетики. Поскольку исследователи имели дело с фактами живой литературы, то многие их наблюдения и выводы отражали какие-то существенные стороны литературы. Но самый подход сужал задачу, приводил исследователей к регламентации. Выводы не отражали многообразия, богатства литературы, процесса её становления и в конце

концов превращались в догмы. Чтобы преодолеть эти недостатки, необходимо подойти к проблеме социалистического реализма исторически. Кое-что в этом отношении уже сделано, в частности в книгах Л. Тимофеева, Б. Бурсова и других. Но многое нужно углубить, уточнить, конкретизировать.

Наше литературоведение правильно и обоснованно связывает возникновение нового метода с третьим, пролетарским, этапом освободительного движения, с выходом на историческую арену рабочего класса — реальной общественной силы, способной возглавить борьбу народных масс за социалистическое преобразование жизни.

Это не значит, что в литературе Франции, Англии и других стран с развитым рабочим движением не было подступов к новому методу. Но, как и всякое новое могучее движение в искусстве, социалистический реализм есть художественное открытие, для которого, помимо предпосылок общего характера (наличие революционного рабочего движения и теории научного социализма) и особо благоприятных конкретно-исторических условий (такие условия, в частности, сложились в России в начале XX века в эпоху непрерывного нарастания массового пролетарского движения), нужен был большой художник, который силой своего таланта запечатлел бы в бессмертных образах искусства то новое, что нес с собой социалистический пролетариат. Таким художником мирового значения явился Горький. Его новаторство остро почувствовали почти все прогрессивные деятели мировой литературы. Общеизвестны высказывания о роли Горького таких писателей, как Ромен Роллан, Анри Барбюс, Джек Лондон, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Стефан Цвейг, Лу Синь и многие другие. Конечно, не в творчестве Горького и не в советской литературе берёт начало социалистический реализм в современной прогрессивной литературе на Западе и Востоке. В каждой стране, где есть социалистическое движение, есть и свои условия для возникновения нового метода, есть свои истоки и традиции. Опыт советской литературы, когда он используется творчески, а не механически, оказывал и будет оказывать положительное влияние на прогрессивную литературу этих стран. В свою очередь и советская литература не может сейчас успешно развиваться, не используя достижений мировой прогрессивной литературы. Вот почему такое огром-

нсе значение приобретает теоретическое обобщение всего опыта мировой прогрессивной литературы. Чтобы подойти к этой грандиозной задаче, мы должны освободить нашу теоретическую мысль от узкого, обеднённого представления о сущности метода социалистического реализма и его возможностях. Нельзя признать правильным, что до сих пор чуть ли не все обобщающие суждения о социалистическом реализме выводятся главным образом из анализа очень ограниченного круга произведений. Самое значительное произведение, когда его превращают в эталон, теряет какую-то долю своего эстетического воздействия и даёт далеко не полное представление о творческих возможностях нового метода.

Наша критика стократ права, защищая утверждающее начало как ведущее начало в социалистическом реализме, обращая при этом внимание на огромное значение положительного героя. Изображение положительного героя — одно из наиболее серьёзных завоеваний советской литературы.

Однако в освещении проблемы положительного героя наше литературоведение до сих пор не освободилось от догматизма. Привкус догматизма ощущается, когда читаешь самые последние статьи, в которых безапелляционно утверждается, что «положительный герой в искусстве социалистического реализма является главным, ведущим героем»¹. Большая часть творчества Горького этому категорическому требованию не отвечает. «Жизнь Матвея Кожемякина», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», все пьесы Горького не укладываются в это прокрустово ложе. Даже в романе «Мать» ведущим героем является не Павел Власов, а Нилевна, которая становится революционеркой, преодолевая покорность, забитость, суеверие и т. д. Но именно через этот образ сильнее всего показано великое преобразующее действие социалистического идеала. Именно социалистический идеал освещает все явления новым светом и в тех произведениях Горького, в которых положительный герой не играет «ведущей роли». Обходя это, наша критика упростила вопрос о соотношении утверждающего и критического начала в социалистическом реализме, признавая утверждающее начало только в его наиболее оче-

видной форме. Как часто, не найдя этой очевидной формы — положительного героя, она обвиняла автора в идейной незрелости, в отступлении от метода социалистического реализма и других смертных грехах. Особенно пострадала от этого сатира, от которой требовалось, чтобы персонафицированному злу было обязательно противопоставлено персонафицированное добро. Игнорировалось, что утверждающее начало заложено в самом смехе и что этот смех в сатире социалистического реализма претерпел качественное изменение по сравнению с сатирой критического реализма. Об этом когда-то хорошо сказал М. Кольцов:

«Меняются темы и объекты смеха, но и его тон становится новым. Моральное превосходство перестало быть привилегией физически слабых, численно малых. Не отчаяние, а гордость вдохновляет сатиру, её смех не жёлчен, а внутренне радостен и здоров. Сама разграничительная черта между сатирой и юмором начинает стираться, та черта, которая всегда строго проводилась теорией литературы. Самая бичующая, самая гневная сатира должна содержать в себе хоть чуть улыбки, — иначе она теряет свои свойства. И юмор, со своей стороны, всегда содержит в себе элементы сатиры, — если не осуждения, то критики того, над чем человек смеётся».

Теоретической основой социалистического реализма является марксизм-ленинизм. Именно благодаря марксистско-ленинскому мировоззрению социалистический реализм получает возможность по-новому показать жизнь в её глубинных закономерностях, яснее видеть связь настоящего с прошлым и будущим. В теории социалистического реализма есть ещё немало сложных проблем, решённых неполно, просто запутанных теоретиками прошлых лет, порой ещё ожидающих своего вдумчивого, глубокого исследователя.

Нуждается в разработке вопрос о методе и мировоззрении. Можно лишь пожалеть, что наше литературоведение в последнее время по существу сняло этот вопрос. А. Фадеев в своих «Заметках о литературе» в 1955 году писал: «Не существует противоречий между методом и мировоззрением, есть противоречия в самом мировоззрении».

Если мы априорно примем эту точку зрения, то не поймём сложности процесса развития метода социалистического реализма. Единство мировоззрения и метода предпо-

¹ «Вопросы марксистско-ленинской эстетики». М. 1956, стр. 306.

лагает гармонию теории и практики, мысли и чувства в каждом конкретном случае. С точки зрения нормативной эстетики это единственно приемлемое соотношение. А как с точки зрения истории литературы? В действительности такая гармония не всегда присуща даже большим художникам. Мирозрением писателей, признающих метод социалистического реализма, является марксизм. А о том, как сложно преломляется марксизм в искусстве, свидетельствует вся история советской литературы. Мы знаем много случаев, когда писатели через творчество, через общение с правдой советской действительности шли к марксизму. «Художник растёт вместе со своим искусством. Его искусство растёт вместе с тем народом, который он изображает. Художник растёт вместе с героями, над которыми он работает», — писал А. Н. Толстой. Но были случаи и такого рода, когда писатели, как будто крепко стоявшие на позициях марксизма, писали не только художественно слабые, но и идейно незрелые произведения. Тот же А. Толстой тонко заметил: «...понять, освоить политически ещё не значит освоить художнически. Очень часто художническое освоение отстаёт от современности или охватывает её по поверхности, внешне и даже в том случае, когда художник политически стоит как будто на должной высоте».

Вот почему не следует успокаивать себя мыслью о непреходящем единстве мирозрения и метода, особенно в наших условиях, когда все советские писатели считают себя социалистическими реалистами и марксистами.

Если оглянуться назад и посмотреть, как развивалась наша эстетическая, литературоведческая мысль, то мы увидим медленную, но упорную борьбу, которая велась со срывами, неудачами, ошибками, за углубление в специфику искусства. Главная ошибка рапповцев — игнорирование художественной специфики литературы, механическое накладывание на творческий процесс отдельных положений диалектического материализма, отождествление литературного дела с политикой. Здесь брали начало многие другие ошибки. Не может быть и речи об акте вредительства. Даже в глубоко ошибочном лозунге «За диалектико-материалистический творческий метод» нетрудно разглядеть честное намерение: сблизить художественное мышление с научным, марксистским мышлением. Не

случайно это намерение (намерение, а не лозунг) было поддержано Маяковским, А. Толстым и другими писателями. «Мы — первое поколение художников, овладевающих методом в живом процессе строительства жизни по законам великого учения, — мы проделываем трудную работу — научиванья художественных рефлексов», — говорил А. Толстой. Сейчас мы требуем углубления марксистского анализа; мы говорим о специфичности художественной идеи, художественной правды, о том, что партийность писателя это не просто коммунистическая идейность, а идейность, прошедшая через сердце, ставшая совестью, строим чувств и эмоций. На этом пути и лежит решение вопроса о богатстве искусства, о стилевых различиях внутри метода социалистического реализма. Но нет вопроса, который был бы так слабо разработан, как вопрос о стиле и методе.

Как правило, речь идёт лишь об индивидуальном стиле писателя. При этом один из исследователей строго предупреждает: «Индивидуальные особенности стилей в реализме остаются в пределах этого метода, который не допускает отступления от своих принципов»¹. Может быть, это предупреждение и имело бы смысл, если бы особенности стилей были изучены. Л. И. Тимофеев, много и полезно потрудившийся над разработкой трудных вопросов литературной теории, в своей книге «Проблемы теории литературы», говоря, например, о романтизме и реализме, констатирует «...снятие самой постановки вопроса о том, что может быть два разных типа подхода к действительности у представителей социалистического реализма».

Но если в социалистическом реализме полностью снимается различие между реализмом и романтизмом, а стиль рассматривается лишь как индивидуальная черта писателя, то как назвать тогда такое явление, когда романтические тенденции мы обнаруживаем у ряда писателей — у авторов «Молодой гвардии», «Звезды», «Знаменосцев»? Течением? Для течения чего-то не хватает...

Мы до сих пор недооцениваем роль романтизма в формировании социалистического реализма. Социалистический реализм рассматривается главным образом как развитие критического реализма. Что касается революционного романтизма, то он расце-

¹ «Вопросы марксистско-ленинской эстетики», стр. 278.

нивается чаще всего как низшая, незрелая форма искусства. Не сказывается ли в этом наследие РАППа? Ведь тяготение к романтизму мы наблюдаем не только в литературе периода гражданской войны, но и в литературе периода Великой Отечественной войны. Что касается поэзии двадцатых годов, то при всём несходстве индивидуальных манер таких поэтов, как Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов, их сближает романтическое восприятие действительности. Несомненно, что эти поэты пришли к социалистическому реализму от романтизма, сохранив в своём творчестве многое от предыдущего периода. Не случайно Н. Тихонов обратился во время Великой Отечественной войны к романтическим поэмам Лермонтова. А вопрос, от какой традиции идёт писатель к социалистическому реализму или на какую традицию ориентируется, имеет немаловажное значение для освещения проблемы стиля или стилевых течений в советской литературе. Пока он решается в узком плане: «Фадеев и Л. Толстой», «М. Шолохов и Л. Толстой», «Твардовский и Некрасов»... Видимо, надо расширить круг ассоциаций. У советской литературы много истоков — вся прогрессивная мировая литература. Нельзя забывать об этом, отмечая разнообразие стилевых тенденций в пределах единого метода.

В частности, чтобы понять разнообразие стилевых тенденций в советской литературе, необходимо преодолеть и тот страх, который мы испытывали, едва речь зайдёт о декадентстве. Было бы смешно призывать сейчас: «Учитесь у декадентов». Уже давно молодые поэты учатся у тех поэтов, которые преодолели влияние декадентства. Но к поэтам, преодолевшим декадентство, уже давно пора подойти исторически, не только учитывая то, что было ими отброшено, но и то, что было переработано, усвоено из чуждой традиции. В статье «О пользе грамотности» Горький, вспоминая дореволюционный период, писал: «...враги читали и знали друг друга; и если А. А. Блок писал рецензию, скажем, о Горьком, так Горький в этой рецензии находил кое-что техниче-

ски полезное для себя. Враг — хороший учитель». А попробуйте найти в исследованиях о творчестве Горького хоть одно слово о том, что родоначальник советской литературы мог кое-чему поучиться у Блока.

И, наконец, совсем не изучен вопрос об этапах развития метода социалистического реализма. А пока мы не продвинемся хоть сколько-нибудь вперёд в разработке этого вопроса, мы будем испытывать огромные затруднения на каждом шагу.

Споры о социалистическом реализме, которые ведутся сейчас за рубежом, в частности на страницах польской печати, в известной мере отбрасывают эстетическую мысль назад. Выступления Яна Котта, Антони Слонимского, Юлиана Пшибося, Виктора Ворошильского направлены на отрицание метода социалистического реализма, современной советской литературы, но сущность их аргументации такова, что выдаёт несостоятельность исходных позиций. Предпосылки этих авторов различны, во многих положениях они дискутируют друг с другом. Но есть во всех названных статьях объединяющая черта: частное выдаётся в них за общее; искривления метода, отступления от метода, вызванные культом личности, и просто слабые произведения, которые всегда имели место в литературе и не характерны ни для классицизма, ни для романтизма, ни для реализма, выдаются за существо самого метода. Но то, что в этой критике действительно относится к отрицательным последствиям культа личности, должно быть учтено нами. Советская литература и наша эстетическая мысль, освобождаясь от всего наносного, чужеродного, навязанного им, оттачивают, совершенствуют своё оружие — оружие правды, коммунистической партийности, народности. Это оружие выковано лучшими советскими писателями, боровшимися плечом к плечу с советским народом за претворение в жизнь идеалов коммунизма, связавшими судьбу искусства с деятельностью Коммунистической партии, которая была и остаётся олицетворением ума, совести и чести нашей эпохи.



Возвращаясь к тому, с чего я начал, хочется прежде всего заметить, что было бы поверхностным сводить все последствия культа личности, особенно сказавшиеся на нашей литературе в послевоенный период её развития (я буду говорить в своих заметках только об этом периоде), к процветающему у нас славословию в адрес Сталина.

Да, конечно, наиболее наглядное проявление последствий культа личности в литературе есть прямое, неумеренное, некритическое прославление Сталина. Да, конечно, когда в романе Павленко «Счастье», или в романе Бубеннова «Белая берёза», или, чтобы не длить перечня, в некоторых стихах автора этих строк в прямой форме встречаются места, главы, стрфы, некритически оценивающие деятельность Сталина и восхваляющие его, то это сейчас прежде всего бросается в глаза.

Однако, если бы свести весь вопрос только к этому, дело обстояло бы сравнительно просто. Отдельные места, где содержится некритическое изображение деятельности Сталина, можно было бы изъять из книг или отказаться от переиздания тех или иных произведений — это уж дело совести авторов. Но главная проблема заключается в том, что и в этих произведениях и в гораздо большем числе других, где таких мест вообще не содержалось, последствия культа личности в той или иной мере отразились на изображении жизни страны и народа: жизнь лакировалась, желаемое выдавалось за действительное, о трудностях умалчивалось. И в этом-то как раз и состоит главная беда нашей послевоенной литературы, связанная с последствиями культа личности.

Кульм личности, культ непогрешимости Сталина создавал такую официальную атмосферу, при которой много говорилось об успехах и очень мало — о неудачах и ошибках. Реальные, конкретные трудности замалчивались. Очень часто на первый план выдвигалось показное, а тeneвое, трудное отодвигалось в сторону. В итоге всего этого фактически преуменьшался подвиг партии и народа, в неимоверно трудных послевоенных условиях шаг за шагом восстанавливавших страну, ибо вся мера подвига может быть полностью оценена только тогда, когда полностью даётся отчёт во всех препятствиях на пути к этому подвигу, во всех сопровождающих его трудностях. Но литература через лакировку, через выдавание желаемого за действительное фактически призывалась к преуменьшению подвига народа. Призывалась она к этому при помощи активной и несправедливой поддержки произведений, наиболее очевидно приукрашивавших действительность, или при помощи замалчивания некоторых произведений, более правдиво изображавших жизнь.

В тезисах К. Маркса о Фейербахе есть общезвестное высказывание: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Разумеется, Маркс не имеет в виду возможности изменить мир без того, чтобы объяснить его. Так вот в применении к литературе дело обстояло так, что ей как бы оставалась функция изменения мира (в виде правильно поставленной задачи идейной переработки и воспитания трудящихся в духе социализма), но во многом, очень во многом у неё как бы отнималась функция объяснения мира (в виде правдивого изображения реально существующих трудностей, противоречий действительности и подчас весьма суровых жизненных конфликтов).

Но, спрашивается, что можно изменить в действительности, не на словах, а на деле, не объяснив реальной обстановки, в которой должны происходить эти необходимые изменения? В тех случаях, когда литератор терял возможность объяснить, его произведение не обладало никакой силой воздействия на жизнь, теряло возможность что-либо изменить. Так появлялись произведения лакировочные, знакомые с которыми читатель лишь горько усмехался.

Именно в этом и состояло основное вредоносное воздействие культа личности на литературу.

Всё сказанное выше, разумеется, ни в какой мере не снимает ответственности за пороки и ошибки послевоенной литературы с самих писателей. В последнее время, оценивая ошибки нашей послевоенной литературы, у нас очень много пишут о её художественных недостатках и слабостях, о падении её художественного уровня во многих произведениях. Это правда. Падение мастерства в послевоенной литературе заметно во многих книгах, и объясняется оно не тем, что мы оскудели талантами, а прежде всего тем, что, когда талант обрuchается с неправдой, он беднеет. Нельзя

сказать, чтобы наша литература писала о нашей послевоенной жизни прямую неправду, но она в значительной своей части писала полуправду, а полуправда — враг искусства. Всё это так, и всё же, говоря о недостатках нашей послевоенной литературы, надо говорить не только о недостаточно высокой художественности, а о недостаточно высокой идейности ряда её произведений.

Слишком легко многие из нас соглашались на облегчённое изображение послевоенной жизни в своих произведениях, слишком необдуманно многие из нас попадали в плен к теориям «благодетельного» приподнимания литературы над жизнью, якобы соответствующего интересам строительства социализма. Слишком непринципально многие из нас соглашались скользить по верхам жизни, причём как будто бы и не писали лжи, но обходили стороной настоящую суровую правду. В большинстве случаев это не было свидетельством неискренности писателей, потому что многие из них в конце концов искренне поверили в то, что, мол, не время в суровой обстановке писать трудную правду, что, дескать, к ней ещё можно будет вернуться потом, задним числом, когда она останется в прошлом. Но, не обвиняя за это таких писателей в неискренности (я не говорю о тех, кто действительно был циничен и неискренен, — в семье не без урода), следует, и это будет только справедливо, обвинить их в недостатке идейности. Речь идёт о недостатке той идейной закалки, которая позволила бы им стоять на своём и продолжать считать, вопреки всем явлениям, связанным с культом личности, что настоящее служение советского литератора народу и делу социализма возможно лишь с позиций подлинного, а не умозрительного социалистического реализма, то есть с позиций полной, безоговорочной правды, основанной на изображении действительной жизни со всеми её светлыми и тёмными сторонами. И это и есть тот основной упрёк, который вправе предъявить народ многим и многим писателям, в том числе и автору этих строк.

Надо заметить при этом, что недостаток твёрдости в защите своих взглядов на то, как надо изображать современную жизнь, сказался не только в создании ряда уклончивых произведений, скользящих по верхам послевоенной действительности, но подчас и в уходе от тем сегодняшнего дня. Некоторые из нас, писателей, всю жизнь писавших о современности, отошли от её изображения, ушли в историю, иногда очень глубокую, которая до этого никогда не была их творческим призванием. Из-под пера людей, которые в тридцатые годы, в годы войны, отзывались на самые боевые вопросы времени, всё чаще стали появляться мемуары и полумемуары. Разумеется, право любого художника — в разные периоды своего творчества избирать разные темы и разные эпохи, и я далёк от упреков в чей-либо конкретный адрес. Но если говорить об этом, как о явлении в литературе, то в нём была определённая закономерность. Мы наблюдали также и уход ряда писателей от хорошо знакомых им тем окружающей их современной жизни, их Родины, к темам международным, над которыми они иногда работали поверхностно, без настоящего опыта, без подлинного знания дела. Подчас это явление было не чем иным, как бегством от изображения тех конфликтов, которые существовали в нашей жизни, но к которым эти писатели боялись прикасаться, что, конечно, тоже не было свидетельством их высокой идейности.

Надо глубоко задуматься над этим серьёзным уроком во имя того, чтобы у нас никогда не повторилось ничего похожего на такое положение.

Нельзя в связи со сказанным не коснуться и наших современных оценок ряда произведений послевоенной литературы, в которых есть места и главы, прямо связанные с некритическим восприятием личности Сталина и его деятельности. Иногда в критике, в писательских выступлениях прорываются попытки зачеркнуть все эти произведения в целом. Не думаю, что это правильно. Здесь требуется особый анализ каждого литературного явления в отдельности. Есть произведения, в которых некритическому изображению личности Сталина отведено значительное место и где в то же время поверхностно, неправдиво, при помощи лака и розовой краски, изображена вся действительность. Такие вещи сами списываются сейчас со счетов литературы, потому что в них неверно всё от начала и до конца. Но есть произведения, в которых отведено известное место некритическому изображению личности Сталина и в которых в то же время во многом содержится правда жизни. В качестве примера такого рода

Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

1

Общезвестно, что наша литература дала в послевоенный период немало хороших книг. Список их, причём далеко не полный, в последнее время часто приводится в разных критических статьях. Я не буду напоминать его. Читатель любит эти хорошие книги, знает их и не нуждается в напоминаниях, на которые именно по этой причине не стоит тратить места.

Общезвестно и другое, что наша литература в послевоенный период дала меньше хороших книг, чем в период войны и в довоенное время. Это утверждение тоже не ново, в последнее время оно с разными вариациями переходит из статьи в статью.

Говорится, что причиной этого является культ личности и его особенно бурный расцвет в послевоенные годы. Это истина, но критические статьи обычно излагают её в слишком общей форме. Нельзя определить всё влияние культа личности на литературу формулой, влезавшей в одну фразу. Надо коллективными усилиями разобраться в том, каким именно образом воздействовал культ личности на литературу и как конкретно в ней выражалось его влияние. Без анализа ошибок трудно их исправлять.

Дело не в покаяниях, не в очищении себя от «грехов» и не в сваливании вины с себя на других. Дело в том, что без такого анализа затрудняется вся наша дальнейшая работа. Без него невозможно писать правдивую историю литературы, немислима и подлинная литературная критика. Такой анализ необходим всем писателям. Каждый из них, работая над новыми книгами и вспоминая прошлое литературы, оценивая своё былое творчество, всё равно совершает для себя подобный анализ. Не полезнее ли будет проделать этот анализ, который всё равно производится, не разобщённо, в одиночку, а общими, коллективными усилиями? Думается, что в интересах расцвета нашей литературы нам надо коллективно и прямо сказать обо всём том, что обременяет ненужной тяжестью нашу сегодняшнюю творческую работу во имя победы коммунизма.

Я думаю, что в решимости произвести такой анализ (а такая решимость есть у подавляющего большинства наших литераторов) сказывается здоровье и сила нашей советской литературы. Как бы глубоко ни заросли мясом старые занозы, для того чтобы наверняка знать, что они не станут гноиться, надо их вынуть. Пусть это больно для многих самолюбий, но этого требуют интересы нашей литературы, читателей, интересы социалистического общества.

Этого требует и наша идеологическая борьба против усилившихся в последнее время попыток очернить всё прошлое нашей литературы. Против подобных попыток нужно вести не просто оборонительные бои с помощью перечисления выходявших у нас в разное время хороших книг, а бои наступательные, опирающиеся не на отдельные книги, а на всё здоровое во всём опыте советской литературы. А для этого нам самим надо ясно и твёрдо, без умолчаний отделить злаки от плевел, не давая злопыхателям торжествовать по поводу того, что мы пытаемся замолчать те действительные пороки нашей литературы, которые имели место в её истории.

1: В порядке обсуждения.

Мне кажется, что именно этому нас, литераторов, учит XX съезд партии, но мы пока ещё плохо учимся. А пора учиться! Пора, отсекая всё тёмное, нездоровое и даже уродливое, что присутствовало в нашей литературе и что мешало ей, — опереться на всё здоровое, сильное, что всегда было в ней. Идти вперёд, в будущее, можно только на основе справедливой и честной оценки прошлого и настоящего. Только такая позиция даёт подлинную уверенность в борьбе. У нас неисчислимо множество примеров такой честной, открытой позиции, которая придаёт стране огромные силы на современном этапе её развития. Какой нужен сейчас разговор о литературе? Вполне откровенный. Образцов такого разговора у нас, как уже было сказано, немало. Вот, например:

«Только неисправимые хвостуны могут закрывать глаза на то, что в экономическом отношении мы ещё не перегнали наиболее развитые капиталистические страны, что уровень производства у нас пока ещё недостаточен для обеспечения зажиточной жизни всех членов общества, что в стране ещё много недостатков и неорганизованности в хозяйственном и культурном строительстве».

Или:

«Успехи нашей промышленности вскружили головы некоторым хозяйственным и партийным работникам, породили у них зазнайство, самоуспокоенность, привели, в ряде случаев, к недооценке необходимости постоянного совершенствования производства, внедрения новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники. У нас есть ещё немало таких работников, «человеков в футлярах», которые чураются всего нового, передового».

Или:

«У некоторой части наших работников сложились совершенно неправильные взгляды в отношении изучения иностранного опыта. Эти работники считают, что изучать зарубежный опыт им не к чему. На деле такие люди чванливыми фразами прикрывают своё невежество».

Или:

«Мы обязаны добиваться дальнейшего совершенствования и удешевления государственного аппарата и улучшать его работу, искореняя канцелярско-бюрократические методы руководства, повышая уровень организаторской работы и ответственность за порученное дело во всех звеньях управления. Решающее условие дальнейшего совершенствования работы аппарата — это воспитание у всех руководителей, больших и малых, чувства нового, передового, прогрессивного, широкого использование инициативы трудящихся масс, всемерное развёртывание критики и самокритики».

Или:

«Пленум ЦК КПСС отмечает, что в деятельности партийных организаций на селе имеются серьёзные недостатки. Массово-политическая работа во многих колхозах проводится на низком уровне, политическому воспитанию трудящихся не уделяется необходимого внимания. Во многих колхозах, МТС и совхозах плохо налажено культурно-бытовое обслуживание».

Или:

«Обращаясь с настоящим призывом к молодёжи, Партия и Правительство считают нужным прямо и открыто сказать о трудностях, которые ожидают новосёлов. Молодые друзья! На первых порах у вас не будет таких бытовых удобств, к которым вы привыкли в больших городах. Не сразу появятся благоустроенные посёлки с хорошими домами и клубами — всё это вам придётся создавать своими руками. Поэтому на новостройки должны поехать люди волевые, стойкие, сильные духом, не боящиеся трудностей и готовые их преодолеть».

Таким прямым и ясным языком говорят о положении в стране, о трудностях, которые мы преодолеваем, видные деятели нашей партии, из чьих докладов и речей взяты эти цитаты. Таков язык наших партийных решений и обращений.

Я привёл эти примеры потому, что они подсказывают нам, с какой прямоотой мы должны говорить о своей литературе, о её истории, её положении, о пережитых ею трудностях. И я думаю, что, говоря дальше о непосредственно литературных вопросах, мы ещё не раз должны будем вернуться к этим приведённым здесь примерам и задуматься над ними.

я бы назвал «Счастье» Павленко, книгу, в целом отмеченную печатью суровой правды, когда речь идёт о Воропаеве, о Корытове, о трудностях, пережитых народом в первый послевоенный период. Слащаво-парадная глава о Сталине портит эту книгу, но не зачёркивает всего её глубокого содержания. Больше того, эта глава в такой книге, как «Счастье», ощущается инородным телом, и о таких случаях — а их немало в нашей литературе — надо судить здраво, без перегибов, по-хозяйски, не сбрасывая огульно со счетов подобные книги.

В то же время нет нужды объявлять амнистию некоторым произведениям, в которых жизнь была изображена лживо или полуправдиво, поверхностно, с обходом всех острых углов, а поэтому с недооценкой действительной меры подвига партии и народа, — объявлять им амнистию только на основании того, что в них не содержится прямых восхвалений Сталина. Надо помнить, что содержащиеся в наших книгах славословия Сталину не украшают ни одной из них, но что главное и самое тяжёлое последствие культа личности для литературы — это облегчённое, неправдивое, лакировочное изображение жизни народа, независимо от того, упоминалось или не упоминалось при этом имя Сталина.

Мне кажется, что всё сказанное выше — лишь призыв к коллективному разговору по целому ряду проблем, волнующих нас в истории послевоенной литературы. Ни в какой мере не претендуя на освещение всех этих проблем, я в дальнейших заметках коснусь лишь некоторых из них, тех, которые больше всего волнуют меня самого как писателя.

2

Возвращаясь в памяти к тому, что в нашей послевоенной критике вызвало у меня наибольшее внутреннее противодействие, что труднее всего было примирить с выводами собственного жизненного опыта, я вспоминаю статью «Молодая гвардия» на сцене наших театров», появившуюся осенью 1947 года в газете «Культура и жизнь». Хотя внешне в статье речь шла об инсценировках романа Фадеева, но в сущности цель статьи сводилась к переоценке самого романа, во всяком случае, к внесению ряда решительных корректив в ту оценку, которую получил роман после своего выхода из печати у читателей.

В статье содержался ряд, на мой взгляд, верных частных замечаний. Они касаются поверхностности образа генерала, по прозвищу Колобок, или того, что местами автор сделал Кошевого человеком без возраста, вкладывая в его уста философско-политические тирады, уместные только в устах зрелого политического деятеля. Но мне кажется, что такими частными замечаниями и ограничилось то верное, что было в статье, а остальное, и главное — самый пафос её, было неправильно. Статья тянула нашу литературу в сторону от правдивого изображения жизни в её революционном развитии, то есть от того, что мы понимаем под термином «социалистический реализм».

В начале статьи выдвигался абсолютно правильный тезис: «Подвиг героев Краснодона был прямым результатом многолетней деятельности партии по социалистическому переустройству общества, по воспитанию советских людей в духе коммунизма».

Однако, выдвинув вначале этот верный тезис, вполне соответствовавший самому духу романа Фадеева, статья в дальнейшем трактовала этот тезис неверно. Попробуем разобраться в этом.

В романе Фадеева было показано, что в результате нежданного по своей стремительности наступления немцев на Краснодон и явившейся следствием этого поспешной эвакуации, подполье было организовано недостаточно продуманно и чётко. Поэтому, но не только поэтому, а ещё и потому, что подпольная деятельность — это борьба и, как всякая борьба, состоит и из успехов и из поражений, возникшая в Краснодоне молодёжная конспиративная организация оказалась в значительной мере предоставленной самой себе и боролась с фашистами именно в этих, а не в других исторически конкретных условиях. И именно в этой особенно тяжёлой обстановке с полной очевидностью выяснилось, что подвиг молодых героев Краснодона оказался прямым результатом многолетней деятельности партии по воспитанию советских людей в духе коммунизма.

Роман показывал, что настоящую советскую молодёжь трудно, невозможно согнуть, даже когда она оторвана от той повседневной поддержки и руководства, к которым она привыкла. И тем, что роман изображал эту молодёжь в особенно трагических обстоятельствах, он только подчёркивал силу её советского воспитания, объяснял его мощь. Пафос романа выходил далеко за пределы случившегося в Краснодоне. Роман объяснял, если смотреть на вещи шире, многое из того, что произошло в то время с советскими людьми и что мы продолжаем в качестве конкретных фактов узнавать ещё до сих пор, как, например, всю историю героизма татарского поэта Мусы Джалиля, который в моабитской камере остался советским патриотом до последнего мига своей жизни. Роман объяснял, как даже в далёком плену, за решётками фашистских концлагерей, неукротимо сопротивлялись фашизму советские люди, чьё воспитание было результатом многолетней деятельности партии.

Так обстояло дело в романе.

А теперь посмотрим, какие же требования к роману предъявила, задним числом, статья в «Культуре и жизни», стремясь увести читателя от правды жизни к её лакировке, к изображению желаемого вместо действительного. «Крупнейший недостаток спектаклей «Молодая гвардия»... (повторяю, что за критикой спектаклей стояла прямая критика романа. — К. С.) состоит в том, что в них не показана руководящая деятельность партийных организаций в подполье. Это создаёт неправильное представление о том, что комсомольцы Краснодона действовали стихийно, не ощущая направляющей руки большевистской подпольной организации, были не отрядом единой могучей и сплочённой армии, а какой-то изолированной группой энтузиастов».

Так было написано в статье. В чём неправота этого высказывания?

Прежде всего оно противоречит конкретным условиям и формам работы советского подполья в фашистском тылу. Здесь были и разные методы конспирации, и разные способы связи, и разная степень активности, и разная степень разобщённости, и, наконец, различная мера жизненного опыта подпольщиков. Более того, мы знаем, что именно по условиям конспирации различные подпольные организации и группы имели связь с «Большой землёй» по разным каналам, а иногда и вовсе не имели её и подчас, делая своё дело, не знали о существовании друг друга, и часто это было не злом, а необходимостью. Представлять себе задним числом всё подполье в фашистском тылу в виде единой, мощной, нигде и никак не нарушавшейся системы кровообращения — значит подменять жизнь схемой, к тому же неправильной, изображать дело неправдиво и преуменьшать меру подвига людей, боровшихся в фашистском тылу в условиях, весьма далёких от этой радужной схемы.

Другое дело та неразрывная идейная связь с партией, которую дала краснодонцам многолетняя деятельность партии по коммунистическому воспитанию молодёжи. Могли нарушиться конспиративные связи, могла потерпеть провал городская или областная подпольная партийная организация, но духовная связь людей с партией, с идеями коммунизма не рухнула, и именно поэтому, рано или поздно, восстанавливались, хотя бы и с огромным трудом, и практически связи.

Зачем же понадобилось в статье называть краснодонцев, изображённых в романе Фадеева, «изолированной группой энтузиастов»? Не значит ли это, что в данном случае игнорировалась самая идея романа? Да, в Краснодоне произошёл провал, да, порвалась конкретная связь, но изоляции от общей борьбы советского народа, изоляции от коммунистических идей не произошло, и в этом главном смысле краснодонцы действуют в романе Фадеева не изолированно, а сообща со всей страной. И в том-то и величие этого факта, прославляющего многолетнюю деятельность партии по воспитанию советских людей, молодёжи!

Вряд ли верна осуждающая нота, звучащая в утверждении, что «комсомольцы Краснодона действовали стихийно, не ощущая направляющей руки большевистской подпольной организации». Мы прекрасно знаем по многим мемуарам партизан и подпольщиков, да и просто по их личным рассказам, что направляющей руки, имея в виду конкретную связь с руководящими организациями, они иногда подолгу не имели и, однако, активно действовали, так же как краснодонцы в романе Фадеева. **Можно назвать эти действия стихийными? Только в том случае, если считать стихий-**

ным всякое действие, произведённое при отсутствии непосредственных руководящих указаний. Правильно ли это? Вряд ли. Я бы не называл действия краснодонцев стихийными, я бы назвал их инициативными. Связь нарушена, указаний нет, но люди активно действуют во имя борьбы за Советскую власть, а не сидят сложа руки в ожидании восстановления связи и получения указаний. И это следует называть не стихийностью, а идейностью, инициативой, мужеством.

Далее в статье отдаётся должное силе образов молодых героев романа, причём, однако, игнорируется то, что придало им особую силу, а именно: исключительно тяжёлое положение, в котором они оказались, обстановка, требовавшая самостоятельных действий. Вот когда молодые люди показали свою преданность идеям партии, свою политическую зрелость!

Чем восхищались читатели романа? Тем, что этих молодых героев не согнёшь даже в таких страшных условиях. К чему призывала статья? К тому, чтобы задним числом облегчить эти условия, смягчить драматизм событий.

Не поняв пафоса романа и не проанализировав самой основы той изобразительной силы, какую обрели герои Краснодона в романе Фадеева, статья критикует автора за неудачу в разработке образов людей старшего поколения. Мне тоже кажется, что, рисуя эти образы, Фадеев был далёк от совершенства, и с введением во второй вариант романа такой талантливо написанной фигуры, как Лютиков, галерея этих образов стала гораздо значительнее. Но статья критикует писателя не с точки зрения художественной слабости и незавершённости тех или иных образов людей старшего поколения в романе, а с точки зрения произвольных, но категорических требований, сводящихся к тому, какие может и какие не может совершать промахи партийный работник, оставшийся в подполье. «Шульга, — говорится в статье, — прямой, мужественный человек, кадровый горняк, ставший партийным работником. Но он совершает явные промахи, непростительные и недопустимые для большевика. Оставленный партией для работы в подполье, он грубо ошибается в оценке людей. Отвернувшись от честных, преданных Родине людей, он безрассудно пошёл к незнакомому человеку, предателю Игнату Фомину, который выдаёт его гитлеровцам».

Из всего сказанного делается вывод, что Шульга не мог и не должен был так действовать, следовательно, он изображён не так, как должно. Однако эти нормативные требования не применимы не только к художественному произведению, но и к самой жизни. Да, Игнат Фомин — мерзавец и предатель, которого Шульга не раскусил, но что же, не бывало в истории партии случаев, когда люди, несравненно более опытные, чем Шульга, годами не могли раскусить предателей, которые на то и предатели, чтобы тщательно маскироваться? Для опровержения этого нормативного требования статьи достаточно вспомнить хотя бы безнаказанную деятельность в предреволюционные годы таких провокаторов, как Малиновский.

Шульга, как говорится в статье, совершает явные промахи. Да, конечно, это так. Но ведь в романе его промахи лишь подчёркивают трагизм положения, и разве можно в связи с этим требовать создания вместо Шульги образа некоего эталона большевика, не совершающего ошибок. Горняк, прямой, мужественный, доверчивый человек — таким Шульга изображён в романе. Такие люди бывают, такой человек, особенно в первые дни совершенно непривычной для него работы в подполье, может попасть впросак. Как это происходит, Фадеев показывает с большой художественной убедительностью. Шульга горько кается в этих промахах, не может себе их простить, и это тоже показано с большой силой. Спрашивается, в чём же виноват писатель? Может быть, изобразив Шульгу таким, какой он есть в романе, автор показал плохого коммуниста? Нет, мы верим, что Шульга — хороший коммунист, и то, что он ошибся, оказывается трагедией для него, драмой для подпольной организации, но не бросает никакой тени на партию, на её идеи, на её принципы, на её силу. А если так, то требование изобразить Шульгу другим — неправомерно.

Странен и тот частный упрёк, который брошен в статье Фадееву в связи с образами Шульги и Валько. Будто бы неправдоподобно, «что Шульга, руководящий партийный работник, и Валько, инженер, директор шахты, разговаривают несвойственным таким людям простоватым языком малокультурных людей». Здесь опять-таки выдвинуто нормативное требование, чтобы все люди, достигшие определённых должно-

стей, говорили каким-то особым, «культурным», соответствующим этим должностям языком. А ведь в жизни на разных должностях бывают разные люди, и по-разному они разговаривают. Это зависит и от их образования, и от их общей культуры (что вовсе не одно и то же), и от их индивидуальностей.

Кстати сказать, Шульга и Валько в романе говорят вовсе не малокультурным, а простым, живым, разговорным, непричёсанным и неприлизанным языком. Но, очевидно, в статье выдвигался идеал, согласно которому определённого ранга руководители в качестве доказательства своей культурности должны были говорить именно языком стерильным, лишённым сочности и грубоватости. И здесь, даже в этой мелочи, опять-таки сказалось стремление выдавать желаемое за действительное и требовать этого от писателя.

Переходя от образов Шульги и Валько к изображению подполья вообще, статья упрекает писателя в том, что в его романе, а вслед за этим в инсценировках романа, «вместо того, чтобы показать коммунистов... в их работе по сплочению масс на борьбу против оккупантов», показан «главным образом провал партийных работников, действовавших в оккупированном районе. Такая трактовка искажает историческую правду».

И далее в связи с этим делается вывод, что «образы большевиков-подпольщиков не приобрели в романе подлинной типичности». При такой постановке вопроса невольно создаётся ощущение, что типическим следует считать только положительное, только удачу, а отрицательное, несомненное или неудачное является не только не типическим, но искажающим правду. Такое утверждение и в этой и во многих других статьях толкало литературу на лакировку жизни.

Да трагедия Краснодона потому и трагедия, что работа подпольной организации краснодонцев и работа местной подпольной партийной организации на определённом этапе подверглась разгрому. Добавим, что в условиях фашистской оккупации такое происходило не раз (кто может это отрицать?). Как же можно противопоставлять борьбу против немецкой оккупации, сплочение масс в этой борьбе — провалам в этой борьбе, считая одно типичным, а другое нетипичным?

«Конечно, не всё шло гладко, — стыдливо признаёт статья, — возникали всяческие непредвиденные обстоятельства, но неизменно побеждали большевистская сила, разум, организованность».

Подумать только, как вывернута наизнанку правда жизни в одной этой фразе! Да, конечно, в войне победили большевистская сила, разум и организованность, поэтому мы и закончили её в Берлине. Но следует ли из этого, что на каждом этапе войны, в каждом конкретном случае, в том числе в условиях подполья, неизменно побеждали наши силы, разум и организованность? Конечно, нет, иначе бы у нас не было тяжёлых ошибок, тяжких поражений и на фронте и в немецком тылу, в подполье, в партизанской борьбе.

Статья стыдливо указывает, что «не всё шло гладко». Как можно так говорить о войне, в которой к 1942 году фашисты заняли территорию чуть не с семидесятиmillionным населением! Как можно говорить, что «не всё шло гладко», если мы были под угрозой поражения и только с чудовищным напряжением всех сил партии, народа переломили ход войны!

«Возникали всяческие непредвиденные обстоятельства...» Что за формулировка? Так можно говорить об опоздании поезда или о ранних заморозках, а не о войне, весь ход которой с самого начала, к великому для нас несчастью, был «непредвиденным обстоятельством» и таким же неожиданным или, во всяком случае, недостаточно предвиденным был (если вернуться к материалу романа) захват немцами оставшейся у нас к 1942 году части Донбасса после неудачного для нас Харьковского наступления.

Но именно эта непредвиденность и ставится самым решительным образом под сомнение в последней части статьи.

«Война советского народа против фашистских захватчиков с первых дней приняла организованный характер». Это лакировочное утверждение статьи было непосредственно связано с господствовавшей в то время у нас в печати неправдивой концепцией всего первого этапа войны.

Конечно, если считать, что война с первых дней приняла организованный характер, что мы отступили в 1941 году до Москвы, а в 1942 году до Сталинграда согласно заранее продуманному и намеченному плану, то спорить не о чем. Но Фадеев знал, что это не так, и как честный художник выразил в своём произведении правду жизни. Требование же, чтобы он написал всё это иначе, опять-таки было вызвано стремлением задним числом выдать желаемое за действительное и оберечь при этом не авторитет народа, конечно, — народ в этом не нуждается, — а непогрешимость Сталина.

«На сцене некоторых театров, — сообщалось в статье, — обстановка отступления воспроизведена неверно... Мы видим беспорядочное скопление беспомощно мечущихся жителей. Здесь нет никого, кто мог бы организовать, сплотить людей, объяснить им, что делать. С оглушительным рёвом врываются немецкие танки, их лягз сливается с криками, стонами».

И далее делается вывод, что «режиссёры не сумели увидеть и показать организующего начала, которое всюду и везде вносила большевистская партия».

История со всей силой и убедительностью доказала, что во время войны в масштабах всей нашей страны нашлись те, кто смог «организовать, сплотить людей, объяснить им, что делать», и что организующим началом при этом была именно большевистская партия. Но ведь в романе Фадеева речь идёт о тяжёлом и стремительном отступлении, о трагедии, о бедствии. Как же, спрашивается, его было изображать? Как идиллию прекрасно продуманного и спокойно, заранее запланированного отступления? Нет, это бедствие было именно таким, каким оно изображено в романе, и каждый человек, всё это испытавший, подтвердит, что тут правда в романе, а не в статье. И поистине странно звучит нормативное требование показать организующее начало «всюду и везде», показать, как «организовывают и сплывают людей и объясняют им, что делать», в тот самый момент, когда в застигнутый врасплох город врываются немецкие танки. Но только ли странно это требование? Нет, хуже. Это требование прямо и грубо толкало писателей к искажению действительности.

В свете всего сказанного вывод статьи, её обращение к нашему искусству с призывом дать исторически правдивое отображение великих лет Отечественной войны резко противоречит основным положениям самой статьи, которая пропагандировала ложное, прикрашенное изображение той тяжкой военной години, из всех испытаний которой с честью вышел наш народ.

Отрицательное значение статьи было двояким.

Во-первых, критика романа «Молодая гвардия» предъявила ряд нормативных требований, адресованных не только этому роману, но и литературе вообще, ибо эта статья, история появления которой была широко известна, долго расширительно и, добавим, неправомерно трактовалась как партийная точка зрения на задачи литературы и прежде всего в области изображения эпохи Великой Отечественной войны. Версия об организованном характере начала войны и эвакуации, причём «всюду и везде», привела к бесчисленным искажениям исторической правды во многих произведениях. Одновременно эта версия заставила многих художников, видевших войну своими глазами, отказаться от мысли писать о её первом этапе, заставила их отложить свои творческие замыслы, перейти к другим, подчас менее близким им темам. Они не желали кривить душой и рисовать войну на первом её этапе в соответствии с нормативными требованиями, выраженными в этой, а затем и в ряде других статей. Всё это, конечно, нанесло тяжёлый ущерб литературе, мешая ей изобразить всё трагическое величие Отечественной войны и всю меру подвига партии и народа. Ибо этого нельзя было сделать, не показав всей огромности дистанции, пройденной нами от первых поражений до взятия Берлина.

Во-вторых, — это более частный, но тоже важный вопрос — статья поставила в очень трудное положение автора романа «Молодая гвардия». Не случайно Фадеев потратил ровно четыре года на создание второго варианта романа, тех нескольких глав, которые он в него дописал. Для него, как для честного художника, это была мучительная и трудная работа. Он знал, это не было секретом, что установки для этой статьи дал непосредственно И. В. Сталин. Писатель Фадеев верил Сталину, мучительно старался понять, в чём же он, Фадеев, неправ как художник, старался переубедить себя. Он не мог и не хотел холодной рукой ремесленника наложить на роман заплат-

ки, свидетельствовавшие о формальном принятии критики. Он искал путей переработки романа, которые не претили бы ему как художнику, и дописал в него ряд глав. Некоторые из них, относительно менее сильные, связаны с наступлением Красной Армии, а другие, очень сильные, связаны с образом Лютикова и отчасти Проценко. Иные драгоценные вещи ушли из романа, а иные прекрасные страницы появились в нём, и мне меньше всего хочется ставить под сомнение их ценность.

Но я хочу сказать о другом. Вот перед нами лежат два варианта романа «Молодая гвардия». Одним, мне например, в целом больше нравится первый вариант, другим — в целом больше нравится второй вариант. Однако, допуская правомерность и той и другой точки зрения, давайте задумаемся вот над чем: а что, если бы критика «Молодой гвардии» ограничилась высказыванием ряда верных и неверных, спорных и бесспорных замечаний, но не содержала бы стоявшего за этой критикой требования переработки романа? Может быть, в этом случае читатель имел бы на своей книжной полке не только первый вариант романа «Молодая гвардия» (который, как это свидетельствовали все до одной читательские конференции, удовлетворял читателя), но рядом с ним имел бы не второй вариант той же самой «Молодой гвардии», а доведённую до конца эпопею «Последний из удэге», за работу над заключительной частью которой Фадеев взялся в 1947 году и вполне мог бы закончить её за те четыре года, что он потратил на переработку «Молодой гвардии»?

В масштабах всей нашей литературы это в конце концов всё-таки частный вопрос. Но литература, как бы она ни была велика, складывается из книг, а судьбы литературы — из судеб художников, и обязанность всегда и при всех обстоятельствах помнить об этом лежит на нашей коллективной ответственности.

3

Как человеку, много писавшему для театра и зачастую, к сожалению, да и к стыду своему, делавшему это, как мне сейчас кажется, не в полную силу своих возможностей, мне хочется остановиться в истории нашей драматургии на одном пункте, особенно неблагоприятном для её развития.

Стремление обойти острые углы действительности отразилось на состоянии нашей послевоенной драматургии особенно тяжело, и в этом сказался целый ряд причин, в том числе и объективных. Драматургия концентрирует жизнь в три часа сценического действия, она претендует на то, чтобы всё это время держать зрителя в состоянии внимания и напряжения, и поэтому именно в драматургии всякая вялость, половинчатость, неопределённость делаются особенно очевидными и с особенной силой мстят за себя.

С другой стороны, при наличии глубоких конфликтов их острота и резкость в пьесе становятся гораздо более очевидными, чем в романе или поэме. Это естественно, ибо резкость и острота, персонафицированные в прямых речах действующих лиц, сразу бросаются в глаза.

Драматургия никак не может уйти в сторону от изображения материального уровня жизни людей, их быта, — на сцене в той или иной форме существует быт, тот или иной, в зависимости от меры правдивости драматурга.

Вызванные культом личности нормативные призывы критики к приглаиванию жизни и смазыванию остроты её конфликтов ставили в особенно трудное положение нашу драматургию (так же, как и кинематографию).

К сожалению, большинство нас, драматургов, не стало в то время на твёрдые идейные позиции и не выдвинуло в своих пьесах существовавшие в жизни проблемы во всей их серьёзности, остроте и сложности. Вот почему на сценах театров стали появляться одна за другой пьесы, носившие поверхностный и благополучный характер, пьесы, в которых конфликты, очень трудно разрешавшиеся в жизни, да и вообще часто до конца не разрешавшиеся, снимались легко и просто до такой степени, что они начинали казаться мнимыми. Нельзя сказать, чтобы эти конфликты не были почерпнуты из жизни, но во многих пьесах мы, драматурги, их до такой степени облегчали, что они уже не напоминали о реальной действительности.

Некоторые критики, правда в довольно робкой форме, выступили против слабости наших пьес, слабости, которую сейчас, с новой исторической вышки, мы все почти единодушно оцениваем куда резче. Эти критики в своих выступлениях по большей части занимали половинчатые, а иногда и не во всём верные позиции, в их выступлениях были элементы снобизма и эстетства, а подчас проскальзывало и неправомерное противопоставление воспитательной роли литературы её художественному уровню. Однако при всём том в их статьях были разумные соображения. Эти критики говорили о действительных недостатках и слабостях пьес, которые внешне были написаны на важнейшие темы современности, а по существу игнорировали жизненную остроту конфликтов и реальный характер трудностей, стоявших перед народом в его социальном развитии.

Что же надо было сделать в тех условиях? Как литературная общественность была обязана отозваться на эти статьи?

Сколь ясен нам сейчас ответ на этот вопрос! Ну конечно же, следовало отметить то неверное, что было в статьях, о которых идёт речь. Но, разумеется, надо было и встревожиться всем безусловно верным, что в них содержалось, проанализировать до конца причины слабости нашей драматургии и на основе суровой критики недостатков помочь ей встать на ноги.

Однако, к стыду нашему, произошло обратное.

На пленуме правления Союза писателей, состоявшемся в конце 1948 года, критики, обращавшие внимание на реальные слабости нашей драматургии, подверглись разгрому. Было объявлено, что критикам, отмечавшим слабости нашей драматургии, не дороги её судьбы; что они хотят перебить ей ноги и своими выступлениями якобы мешают её росту; что они критикуют её с чуждых, враждебных позиций и что хотя в драматургии и есть недостатки, но мы, дескать, сможем заняться критикой их с наших позиций лишь после того, как разгромим всех тех, кто говорит о ней с чуждых позиций.

Теория «очерёдности» критики, заключающаяся в том, что мы можем критиковать собственные недостатки только после того, как пресечём их критику с якобы чуждых нам позиций или с действительно чуждых позиций, была нелепой, ибо большевистские принципы критики и самокритики требуют от нас, чтобы мы занимались и тем и другим одновременно.

Но дело не ограничилось одной этой теорией. На пленуме были применены недобросовестные демагогические приёмы с целью создать видимость «чуждой» позиции ряда критиков. И главный из этих приёмов состоял в том, что все критические замечания в адрес того или иного героя пьес переадресовывались всему советскому обществу. Если автор критической статьи иронизировал над неудачным, плоским образом парторга, выведенным в пьесе, ему бросалось прямое обвинение в том, что он издевается над партией. Если автор статьи говорил, что в пьесе тема борьбы с низкопоклонством решена примитивно и убого, его обвиняли в том, что он сам низкопоклонник и космополит. Если автор статьи говорил, что персонажи пьесы произносят выпендренные, дидактические речи о Родине и народе, его обвиняли в отсутствии патриотизма.

На пленуме были высказаны и верные замечания об элементах эстетства в статьях ряда критиков, о слабости их позитивной программы в области драматургии. Но эти разумные замечания были обесценены общим направлением ряда недобросовестных выступлений людей, желавших оградить драматургию от критики, замолчать её очевидные слабости, защитить честь своего мундира, понимаемую ложно, а иногда даже и корыстно.

Характер этого пленума сам по себе отрицательно повлиял на развитие нашей драматургии, но вскоре положение было усугублено статьёй «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», появившейся в «Правде».

В этой статье прежде всего была односторонне подчеркнута задача советской литературы как литературы, главным образом и прежде всего посвящённой воспеванию наших достижений и успехов. В перечне того, чем должна вдохновляться и о чём должна писать советская литература, даже отсутствовало слово «борьба».

Если не знать жизни и исходить только из этой статьи, можно было бы предста-

вить себе, что послевоенный путь нашей страны был гладким, без сучка, без задоринки, и что писателям только и оставалось, что описывать вдохновенный подъём, грандиозные подвиги, замечательные успехи. Ни слова не было сказано в статье о том, что подъём этот происходит в обстановке самопожертвования и тяжелейших материальных самоограничений, что подвиги совершаются людьми в самых трудных условиях, какие только можно себе представить, и поэтому-то они и есть подвиги, что каждый успех достаётся с великим трудом и сопровождается бесчисленными жестокими конфликтами между передовым и отсталым и в обществе и в психологии людей.

Ни слова об этом! И именно поэтому статья ориентировала литературу, в том числе драматургию, на однобокое, парадное, неправдивое изображение нашей жизни, а тем самым на снижение подлинной цены подвигов, которые совершал народ.

Ничего не сказав о конкретных конфликтах и трудностях нашей послевоенной жизни, статья с тех же однобоких позиций оценивала и нашу драматургию, изображающую эту жизнь. И в этом была своя логика! В статье отсутствовала конкретная критика нашей драматургии, а, наоборот, присутствовало её прямое захваливание. Больше того. Переходя к задачам театральной критики, статья говорила, что «критик — это первый пропагандист того нового, важного, положительного, что создаётся в литературе и искусстве». И далее: «Подлинный советский критик, любящий своё дело, преданный социалистическому искусству, не может не быть горячим патриотом, не может не гордиться, когда на сцене появляется новое произведение, — пусть ещё и недостаточно совершенное, но смело выдвинувшее новую идею, создавшее новый образ советского человека».

Всё это было бы правильным, если бы рассматривалось только как одна сторона деятельности критика. Но всё это становилось совершенно неверным, когда к этому сводилась вся деятельность критики, все её задачи, а именно так и обстояло дело в статье. Она предавала забвению то обстоятельство, что, являясь «первым пропагандистом того нового, важного, положительного, что создаётся в литературе и искусстве», критик одновременно должен быть первым и решительным противником всего того дурного, лживого, мелкого, что находит себе прибежище в литературе и искусстве.

Статья ни словом не обмолвилась о том, что критик, преданный социалистическому искусству, именно потому, что он патриот, обязан требовательно и сурово критиковать произведения, выдвигающие новые идеи, но, к сожалению, компрометирующие их дурным художественным исполнением, несовершенством художественных образов тех новых людей, которые выводятся в этих произведениях на сцену.

В такой общей однобокой установке и состояло главное отрицательное значение этой статьи.

Подобно тому, как некоторым литераторам, изображавшим в своих произведениях реальные недостатки, сложности и теневые стороны нашей жизни, бросался несправедливый упрёк в недостатке советского патриотизма, так и критикам, отмечавшим недостатки, слабости и теневые стороны нашей драматургии, бросался тот же самый упрёк и предъявлялось обвинение в том, что они «пытаются дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патриотические, политически целеустремлённые произведения, под предлогом их якобы художественного несовершенства».

При этом игнорировался тот совершенно очевидный факт, что большинство патриотических, политически целеустремлённых и при этом художественно полноценных произведений нашей литературы в тот же самый период, о котором идёт речь, наша критика, как правило, единодушно поддерживала, и что такие поэмы, как «Василий Тёркин» и «Дом у дороги» Твардовского, такие книги, как «Молодая гвардия» Фадеева, «В окопах Сталинграда» Некрасова, «С фронтовым приветом» Овечкина, «Буря» Эренбурга, первая книга «Белой берёзы» Бубеннова, «Звезда» Казакевича, «Далеко от Москвы» Ажаева, «Спутники» Пановой, «Знаменосцы» Гончара, были оценены подавляющей частью современной критики с позиций одобрения и поддержки.

Точка зрения на литературную критику, выраженная в этой статье, вводила литературу в сторону от критики теневых сторон жизни, а критику вводила в сторону

от критики слабостей литературы. Вдобавок — и это было принесшей немало бед ошибкой — люди, критиковавшие несовершенства нашей драматургии, были обозваны антипатриотами и обвинены чуть ли не в сознательной, преднамеренной групповой деятельности, направленной во вред советской литературе.

Взгляды и оценки, выраженные в этой статье, инициатором появления которой, как это было достаточно известно в литературных кругах, являлся непосредственно И. В. Сталин, привели к очень тяжёлым для литературы последствиям.

Тогдашние руководители Союза писателей, в том числе автор этих строк, и целый ряд писателей и критиков не нашли в себе мужества сделать хотя бы попытку для доказательства однобокости и неправильности этой статьи и предупредить о её тяжёлых последствиях для драматургии. Напротив, поплыв по течению, и в своих выступлениях (в том числе и в моём докладе на московском собрании драматургов и в выступлении на активе кинорботников) они стали не только отстаивать правильность всего сказанного в статье, но и во многом усугубили её отрицательное значение высказыванием целого ряда уже собственных, грубо несправедливых оценок деятельности наших театральных критиков. Круги от статьи «Об одной антипатриотической группе» и ряда других статей долго продолжали расходиться по воде. Ряд писателей и критиков, в чьих произведениях и статьях отнюдь не всегда и всё было правильно, но которые при всём том совершенно незаслуженно обвинялись в антипатриотизме, был практически на длительные сроки лишён возможности нормально работать в литературе. Многие другие критики и писатели были запуганы случившимся. Очень большое количество статей в литературной критике, появившихся в последующее время, вплоть до 1953 года, не обладало подлинно критическим духом и было проникнуто тенденцией к преувеличению успехов нашей литературы и к умалчиванию о её недостатках.

Наконец, несмотря на нынешнее общее оживление литературы и литературной критики, связанное с партийными решениями последних лет, несмотря на ту справедливую и часто суровую оценку ошибок и слабостей нашей литературы, которая дана ей за последние годы в полном соответствии с тем духом непримиримости ко всем изъянам нашей жизни, которому учит нас партия, несмотря на всё это, мы до сих пор ещё не оценили прямо, без недомолвок, и неверный ход обсуждения вопросов театральной критики на XII пленуме правления Союза писателей в 1948 году, и ряд последовавших за этим выступлений печати.

Между тем, чтобы изучать историю нашей послевоенной литературы, не прибегая к фигурам умолчания, необходимо назвать вещи своими именами, как бы это ни казалось трудным тем из нас, литераторов, которые несут большую долю ответственности за ошибки, о которых я говорю.

Это тем более важно, что исходные положения ряда статей и выступлений, появившихся в 1949 и в последующие годы, такие, как важность борьбы с воинствующим космополитизмом, как необходимость всегда и во всём стоять в жизни и в искусстве на позициях советского патриотизма, несовместимого с низкопоклонством перед буржуазной культурой, — что эти исходные положения были и остаются абсолютно верными во всей нашей борьбе на идеологическом фронте.

Следует вновь недвусмысленно подтвердить безоговорочную правильность этих принципиальных положений, сказав при этом, что то, что произошло в нашей литературной жизни в разбираемый период, было постыдной компрометацией этих совершенно правильных исходных положений.

Попытки под флагом этих положений, с одной стороны, оградить от критики действительные недостатки нашей литературы, а с другой стороны, порвать всякие культурные связи с Западом были вредными для развития нашей литературы и искусства. Время показало это как нельзя нагляднее, и в этот вопрос нужно наконец коллективными усилиями внести полную ясность.

4

Любой из нас, писателей, думая об истории советской литературы, не может пройти мимо понятия «социалистический реализм» и тех споров, которые велись и ведутся вокруг содержания этого термина. Нельзя пройти и мимо участвовавших за последнее время попыток, с одной стороны, обобщить в этом термине все подлинные

и мнимые слабости советской литературы, а с другой стороны, изобразить само появление термина «социалистический реализм» первопричиной её слабостей.

Думается, что нам пора в обстановке творческой дискуссии поделить друг с другом своими соображениями и по поводу установившегося в истории нашей литературы термина «социалистический реализм» и относительно его соответствия реальному содержанию литературы нашей социалистической страны. Мне лично это кажется необходимым по трём причинам. Во-первых, некоторые критики и литературоведы немало потрудились над тем, чтобы превратить понятие социалистического реализма в мёртвую талмудическую догму, чуждую живому развитию литературы. Во-вторых, многие наши писатели, и притом внесшие своим творческим трудом серьёзный вклад в нашу литературу, не принимают ряда догматических истолкований термина «социалистический реализм», установившихся в нашей критике. Наконец, в-третьих, иные из нас слишком легкомысленно готовы отказаться от этого исторически сложившегося термина, не видя, что в ряде случаев атака идёт не на термин, а на содержание социалистической литературы и что существуют на свете люди, которых в этом термине, может быть и не самом удачном из всех возможных, но в общем отвечающем существу дела, главным образом не устраивает прилагательное «социалистический».

К тридцатым годам в нашей литературе накопился живой опыт, наиболее отчётливо, как это всегда бывает в литературе, осуществлённый в лучших её произведениях. Этот опыт требовал, с одной стороны, анализа, а с другой стороны, определённого литературно-критического формулирования. Речь шла о создании терминологии, отвечающей этому опыту.

Поскольку речь идёт о термине, стоит напомнить, что, с точки зрения марксистской философии, всякое научное понятие, выраженное в термине (определении, дефиниции), не может претендовать на исчерпывающую характеристику явления во всей его конкретности. Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «...краткое указание наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных признаков в так называемой дефиниции (определении. — К. С.) часто бывает полезно и даже необходимо. да и не может вредить, если только от дефиниции не требуют, чтобы она давала больше того, что она в состоянии выразить».

Само по себе появление терминов, теоретически формулирующих сумму того или иного опыта в литературе и искусстве,— явление вполне закономерное и вряд ли у кого-нибудь вызывает возражения.

Надо полагать, что даже при наличии разных оценок степени совершенства советской литературы и искусства, достигнутой ими к тридцатым годам, трудно возразить против того, что эта литература внесла в историю мировой культуры достаточно нового, чтобы обобщить этот опыт и сформулировать его как именно нечто новое в искусстве.

В итоге этого и появился в тридцатые годы термин «социалистический реализм». Этот термин, в общем, единодушно был принят литературной общественностью, как отвечающий её пониманию того нового, что возникло в нашей литературе, и был в 1934 году, на Первом съезде советских писателей, записан в Устав в следующем виде:

«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии».

«При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной перedelки и воспитания трудящихся людей в духе социализма».

Двадцать лет спустя, на Втором съезде писателей, при утверждении своего Устава писатели исключили из него второй, дополнительный абзац этой формулы. Они сделали это потому, что практика литературы, а главным образом литературной критики за двадцать лет, показала, что эта как бы уточняющая дополнительная формулировка на деле оказалась лазейкой для людей, требовавших от литературы «улучшения» и приподнимания жизни и отрывавших проблему показа действительно-

сти в её революционнoм развитии от проблемы её исторически-конкретного, то есть до конца правдивого изображения.

Таким образом, в Уставе Союза писателей осталась только основная формула, которая гласит, что социалистический реализм требует от художника правдивого изображения действительности в её революционнoм развитии.

Думается, что такое понимание основных принципов деятельности нашей литературы, закреплённых в термине «социалистический реализм», не вызывает возражений у самых разных писателей, представителей самых разных художественных течений внутри нашей литературы.

А что же вызывает споры, разногласия и ту или иную меру неудовлетворённости самым термином «социалистический реализм»?

Во-первых, слово «реализм». Если мы обратимся к высказываниям А. М. Горького и ряда других крупных наших писателей, то мы увидим, что в понимание социалистического реализма они включали сочетание реализма и революционнoй романтики, то есть в их понимании социалистического реализма снималось существовавшее до этого в литературе противопоставление терминов «реализм» и «романтизм». Известное противоречие здесь, конечно, было. В формуле «социалистический реализм» слово «романтизм» исчезло, оставалось только «реализм», хотя содержание термина предполагало сочетание реализма и революционнoй романтики, добавим, в полном соответствии с живой практикой советской литературы.

Было ли опасным для развития литературы это терминологическое противоречие в условиях, когда при более широком раскрытии формулы говорилось о всех сторонах её содержания? Думается, что никакой опасности для литературы в этом не было и нет. Ощущение этой опасности возникало только тогда, когда те или иные критики или литераторы начинали искать неперемённого перевеса реализма над романтикой в таких, скажем, полных романтической символики произведениях, как «150 000 000» или «Мистерия-буфф» Маяковского, или «Оптимистическая трагедия» Вишневского, или «Дума про Опанаса» Багрицкого.

Это вело к досужим размышлениям о том, что является главным и ведущим в социалистическом реализме, какое направление в литературе основное, а какое — второстепенное, не слишком ли, упаси боже, в этом произведении много романтизма, и ко всякого рода сопутствующей подобным изысканиям казуистике и натяжкам. При этом совершалась характерная для догматического мышления ошибка: художественные приёмы, композиционные и стилистические средства, свойственные тем или иным советским писателям, абстрагировались и объявлялись общей нормой социалистического реализма. Но социалистический реализм — это не собрание эстетических догм, не нормативная эстетика.

Между тем при здравом взгляде на вещи было и остаётся ясным, что главное в социалистическом реализме — это его социалистическая идейность и проведённая через художественную ткань произведения тенденция, то есть вера в социализм и убеждённость в его победе. Причём на главном направлении советской литературы стояли и будут стоять те произведения, в которых эта социалистическая тенденция была и будет выражена с наибольшей художественной силой, будь это преимущественно романтическая «Мистерия-буфф» или строго реалистический «Клим Самгин».

При таком, как мне думается, верном взгляде на вещи слово «реализм» в термине «социалистический реализм» не может отпугивать от него писателей романтического направления, исходящих в своём творчестве из реального факта существования раньше страны, а ныне — уже лагеря социализма и утверждающих своими произведениями веру в победу коммунизма.

Второе положение, вызывающее в среде писателей споры, это записанное в Уставе Союза писателей определение социалистического реализма, как основного метода советской художественной литературы.

Быть может, слово «метод» и не является в данном случае абсолютно верным, ибо, не исчерпывая всей широты, какую мы вкладываем в понятие «социалистический реализм», оно предполагает в двух своих энциклопедических толкованиях и «приём» и «способ», то есть как бы ограничивает художника в возможностях стиливого разнообразия. Правда, остаётся ещё истолкование слова, гласящее, что метод — это «способ

познания, исследования явлений природы и общественной жизни», но хотя это определение, поставленное в энциклопедии на первом месте, и соответствует нашему пониманию задач социалистического реализма, оно слишком совмещается с двумя остальными определениями, и такое совмещение не раз печально сказывалось в нашей критике, пытавшейся свести критерий социалистического реализма к установлению единого ранжира в области приёмов и способов, имеющих в распоряжении художника. Поэтому, возможно, вернее было бы говорить не о «методе», но о принципе социалистического реализма — принципе отношения художника к действительности.

Но это лишь часть терминологической дискуссии, и притом не самая существенная.

Мне не раз доводилось слышать, как немало сделавшие для советской литературы писатели в ответ на вопрос, как они понимают метод социалистического реализма в применении к своему собственному творчеству, отвечали примерно следующее: «Я верю в социализм, я пишу для народа, исходя из этой веры, и стараюсь это делать как можно лучше; если это и есть метод социалистического реализма, то, очевидно, я пишу этим методом».

Я лично думаю, что такое объяснение в устах писателя, действительно верящего в социализм и в своих произведениях донесшего эту веру до читателя, считать неудовлетворительным или недостаточным было бы догматическим буквоедством.

Однако у критики есть, в свою очередь, во-первых, право на отделение субъективных намерений писателя от объективного результата его усилий там, где между тем и другим существует расхождение, и, во-вторых, есть право на обобщение индивидуального опыта писателей в коллективный опыт литературы.

Если говорить о фактах, то факты — это «Клим Самгин» и «Егор Булычов», «Тихий Дон» и «Поднятая целина», «Пётр Первый» и «Хождение по мукам», «Разгром» и «Молодая гвардия», «Барсуки» и «Русский лес», «Города и годы» и «Первые радости», «Спутники» и «Звезда», «Во весь голос» и «За далью даль». Это факты, вернее, часть фактов, и притом взятых только в пределах русской литературы.

Если же говорить об обобщениях, то они сводятся к некоторым важнейшим, выработанным в литературе социалистического реализма принципам.

И я позволю себе сказать о них так, как я их понимаю.

По-моему, социалистический реализм — это реализм, обогащённый социалистическим мировоззрением, миропониманием художника, а также практикой действительности в её развитии.

Именно это социалистическое миропонимание и самый революционный ход жизни вносят в произведения художественной литературы те новые черты, которые отличают социалистический реализм и которые вызвали необходимость в самом появлении этого понятия.

Какие это черты?

Во-первых, это идейно осознанный писателем и художественно претворённый им в его произведениях принцип безраздельного служения литературы общественным социалистическим идеалам и его опять-таки претворённое в художественные образы глубокое убеждение, что служение именно этим социалистическим идеалам наиболее полно отвечает коренным интересам народа.

Во-вторых, это выражающееся во всей ткани художественного произведения умение видеть за частным целое, за индивидуальными интересами людей — общие интересы народа и за превратностями истории и ошибками политических деятелей — общее необратимое движение человечества к социализму.

В-третьих, это проведённая писателем через любую систему художественных образов его вера в будущее, в перспективы социалистического развития общества.

И, наконец, в-четвёртых, это тоже, конечно, выраженное писателем через художественные образы отрицание всех видов субъективизма и эгоизма как в их активных формах противопоставления себя общественным интересам, так и в их пассивной форме ухода от действительности, утверждений, что «моя хата с краю»,

Я, разумеется, не претендую на то, что всё это сформулировано мной наилучшим образом, но думаю, что в общем именно эти черты нашей новой литературы и вызвали к жизни понятие «социалистический реализм».

Если сказанное здесь далеко не всегда полностью и совершенно выражается в нашей художественной практике, то, во всяком случае, в основном соответствует нашим творческим идеалам и нашим взглядам на пути развития литературы.

Мы знаем, что существует иная, буржуазная литература, основанная на иных принципах отношения к действительности. Было бы смешно отрицать факт её существования или сбрасывать со счетов её крупные художественные достижения, однако признание и того и другого в такой же мере не может поколебать нашу веру в плодотворность пути литературы социалистического реализма и во всё возрастающее значение её принципов в развитии человеческой культуры, как существование сильного лагеря капитализма не может поколебать нашу веру в успех социалистических принципов развития общества и в их конечную победу.

До сих пор я говорил об утверждении принципов социалистического реализма. Но в истории нашей литературы, особенно за послевоенные годы, мы имели дело не только с утверждением принципов социалистического реализма, но и с их компрометацией. Говоря так, я имею в виду не просто неудачи и ошибки нашей литературы, этих неудач и ошибок было на нашей памяти множество, и они, разумеется, оставили по себе тяжёлую память у читателя. Но в послевоенный период истории нашей литературы в этих неудачах можно увидеть определённую закономерность, связанную с несправедливыми требованиями, предъявляемыми к литературе, с игнорированием в этих требованиях особенностей художественного творчества и с недостаточной идейной стойкостью тех или иных писателей, ухивавших от правдивого изображения жизни, подменявших утверждение нового славословием, а борьбу с тёмными сторонами жизни — забвением их.

Почему мы на основе коллективного опыта нашей литературы остановились именно на понятии «социалистический реализм», почему мы не предпочли ему более широкое понятие «литература эпохи социализма»? Закономерны ли оба эти понятия? Безусловно, закономерны, но не равнозначны.

Закономерно ли называть нашу литературу литературой эпохи социализма? Да, конечно, но при этом, будь это тридцатые, сороковые или пятидесятые годы, говоря «литература эпохи социализма», надо всегда конкретно рассматривать все явления, составляющие её и взаимодействующие в ней. То, что в целом литература эпохи социализма служит делу построения социализма, — несомненно, но несомненно и то, что в этой литературе, как и в обществе, существуют разные тенденции, разное понимание различных проблем действительности, разная глубина социалистической идейности, существует и то, что мы в широком смысле называем пережитками прошлого в сфере идеологии.

В связи с этим естественно, что вне зависимости или вне прямого соответствия с субъективными намерениями того или иного художника, отражая определённые процессы в жизни общества, в литературе возникают не только произведения, содействующие развитию социалистического общества, но и произведения, в той или иной мере мешающие его здоровому развитию. Для ясности возьмём такой простой факт: если мы признаем, а мы это признаём, что в недавнем прошлом аллилуйщина, замазывание трудностей и теневых сторон жизни, вызывавшие ослабление борьбы с ними, были явлением, тормозившим наше движение вперёд, к коммунизму, то тем самым мы должны признать, что подобная аллилуйщина, подобное замазывание трудностей и теневых сторон жизни и уход от борьбы с ними, нашедшие своё выражение в целом ряде литературных произведений, тоже мешали нашему движению вперёд, к коммунизму, и тормозили это движение. Входили ли подобные литературные факты в общее понятие литературы эпохи социализма? Безусловно.

Были ли эти произведения написаны исходя из принципов социалистического реализма? Безусловно, нет! Но в том и состоял драматизм положения, что такие произведения в послевоенные годы очень часто объявлялись образцами социалистического реализма. Легко себе представить, какая путаница возникала при этом в сознании не только советских, но и близких нам писателей стран социалистического лагеря.

Пора устранить эту путаницу и тем самым полностью реабилитировать метод социалистического реализма в глазах всех тех, кто в порыве недоумения или горькой досады склонен от него поспешно отказаться.

Сами по себе произведения, о которых идёт речь, бросая тень в глазах читателя на добрую славу нашей литературы, не могут, однако, скомпрометировать принципы социалистического реализма. Существование рядом с «Воскресением» Толстого, скажем, романов Боборыкина не могло, конечно, бросить тень на те принципы критического реализма, на которых стоял Толстой, создавая своё «Воскресение». Подобно этому и существование, скажем, «Света над землёй» Бабаевского не могло подорвать своим соседством самых принципов социалистического реализма, нашедших своё выражение, например, в «Поднятой целине» Шолохова.

Вредило понятию «социалистический реализм», как мы уже сказали, другое, а именно то, что такие книги, как «Свет над землёй», выдавались в критике за произведения, написанные с позиций социалистического реализма, хотя они были написаны как раз за счёт отказа от них, за счёт отказа от исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии. Да, это так, ибо историческая конкретность подменялась в подсыных книгах «выборочной» полуправдой, а революционное развитие подменялось выдаванием желаемого за действительное.

Дискредитация принципов социалистического реализма заключалась в том, что сначала такие произведения выдавались в критике за образцы его, потом они признавались официально как наиболее выдающиеся произведения и, наконец, уже в качестве таковых рекомендовались как эталон произведений, якобы написанных исходя из принципов социалистического реализма.

Вместо того чтобы оценить ряд полных лакировки и верхоглядства послевоенных произведений исходя из подлинных принципов социалистического реализма, рождённых опытом всего лучшего, что создано в нашей литературе, наша послевоенная критика всё чаще стала совершать обратную работу — умозрительно подгонять принципы социалистического реализма к фактам, свидетельствовавшим об измене этим принципам.

Я говорю об этом сейчас не для того, чтобы ещё раз обругать то или иное неудачное или мало удачное произведение, будь это «Свет над землёй» Бабаевского или «Чужая тень» Симонова, я говорю об этом потому, что в нашей современной борьбе за принципы социалистического реализма, за их полное осуществление в нашей литературе нам полезно и в этом вопросе поставить все точки над «и». Нам надо, оценивая послевоенную литературу, без недомолвок сказать, как много книг в ней было создано в обход и вопреки принципам социалистического реализма. И как часто наша критика при появлении такой книги, словно болевщик на трибуне стадиона, шумно изъясляла восторг, регистрируя якобы точное попадание произведения в ворота социалистического реализма, хотя ничего подобного и не происходило.

С этим фактом мы обязаны считаться в интересах той самой правды, которая должна быть свойственна социалистическому реализму и в художественной практике и в литературной критике.

Это тем более важно, что нам необходимо мобилизовать все силы для борьбы против попыток поставить под сомнение самые священные для нас принципы социалистической литературы, борьбы, которую, судя по всему, нам предстоит вести ещё не один год и в которой нам нет никакой нужды занимать стыдливо-оборонительные позиции.

* * *

Нелегко говорить горькие вещи в адрес нашей послевоенной литературы, литературы, которую мы создавали своими руками. Но мы обязаны найти в себе силы и мужество самим назвать все наши ошибки и слабости. Это необходимо сделать хотя бы потому, что ответственность за прошлое всего лишь часть нашей общей ответственности в литературе, и притом не самая большая. А самая большая ответственность, которая коллективно лежит на наших плечах, это ответственность за настоящее и будущее нашей литературы. Но было бы пустым занятием говорить об этой ответственности за настоящее и будущее, если бы мы не оценили в прошлом со всей справедливостью

и резкостью всё то, что ещё и поныне то здесь, то там цепляется за ноги нашей литературы и всё ещё продолжает замедлять её наметившееся в последнее время, пока ещё куда более медленное, чем нам бы хотелось, но уверенное движение вперёд.

Писатели, которых я знаю, — а судьба сталкивала меня со многими — честные советские патриоты. Это серьёзные люди, может быть с различными человеческими и творческими слабостями, но неотступно размышляющие о путях своей страны. Они горят желанием помочь своему народу в его движении к коммунизму. Они не хотят фрондировать или посыпать солью раны — им дорог каждый кирпич, вложенный тружениками Союза Советских Социалистических Республик в здание социалистического общества. Они хотят честно служить народу, его великой партии. И они прекрасно, всем сердцем, каждой клеткой своего существа понимают, что литературное дело, которое является частью общепролетарского дела, не может не стремиться по самой своей природе к выражению всей жизненной правды.

Говоря об истории послевоенной литературы, никому из нас, писателей, не пристало заострять внимание только на тех вопросах, где ты лично ошибался меньше, и обходить своим вниманием те вопросы, в которых ты лично ошибался больше и тяжелее. Мне кажется, что наш коллективный разговор о проблемах истории нашей послевоенной литературы — это в то же время для каждого и разговор с самим собой, разговор о собственных ошибках и заблуждениях, о собственной идейной нетвёрдости в тех случаях, когда она проявлялась. Что же касается меня, то я лично никак не намерен отделять себя от всех тех ошибок, о которых я говорил в этой статье и ко многим из которых я в той или иной мере причастен.

Я прекрасно понимаю, что многое из высказанного мной в этой статье покажется спорным. Это и не может быть иначе — вопросы, касающиеся целого периода развития литературы, могут быть верно решены лишь при их широком коллективном обсуждении.

Бесспорным мне кажется одно — такое обсуждение пора начать.



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. ДУБОВА „КАК ГУБЯТ МОРЕ“

Министр рыбной промышленности А. Ишков прислал в редакцию журнала «Новый мир» экземпляр письма, посланного им в редакцию «Литературной газеты» в связи с опубликованной в этой газете статьёй В. Овечкина «Писатели и читатели». Мы публикуем ту часть письма, которая относится непосредственно к статье Н. Дубова «Как губят море», напечатанной в № 6 журнала «Новый мир» за 1956 год. В своём письме товарищ А. Ишков признаёт, что в статье Н. Дубова «в основном правильно отображается тяжёлое положение Азовского моря, одного из крупнейших в рыбохозяйственном отношении водоёмов нашей страны. В статье есть справедливые критические замечания в адрес Министерства рыбной промышленности.

Я сожалею, что не ответил своевременно на статью Н. Дубова, и хотя в этом мне помешала несколько длительная командировка, считаю серьёзный упрёк «Литературной газеты» правильным.

Вопросы рыбохозяйственного состояния внутренних водоёмов и перспектив увеличения добычи рыбы нельзя рассматривать в отрыве от общего направления рыболовства и развития рыбной промышленности.

В прошлые годы, когда в стране ещё не были подготовлены материально-технические условия для освоения открытых морских и океанических акваторий, рыболовство было сосредоточено преимущественно во внутренних морях (Азовском, Каспийском и Аральском) и озёрно-речных водоёмах с высокой интенсивностью промысла, особенно в период войны и первые послевоенные годы, когда снабжение населения продуктами животноводства было недостаточно.

Свыше 60% всего улова добывалось в 1940 году во внутренних водоёмах, и высокий уровень добычи в них рыбы сохранялся почти до 1950 года.

В результате неуклонного проведения курса нашей партии на первоочередное развитие тяжёлой индустрии рыбная промышленность, как и другие отрасли народного хозяйства, получила прочную материально-техническую базу. Промышленность вооружилась крупным рыболовным флотом с практически неограниченным районом плавания, имеющим современную технику не только для добычи, но и для обработки рыбы. Это позволило в значительной степени переключиться с внутренних водоёмов на открытые моря и океаны и именно этим путём обеспечивать непрерывно из года в год значительное увеличение добычи рыбы.

В 1956 году будет добыто рыбы около 28 млн. центнеров против 13 млн., добытых в 1940 году, причём прирост в 15 млн. центнеров достигнут в основном за счёт открытых морских и океанических районов, где уловы в текущем году составят более 18 млн. центнеров. Вылов же в основных внутренних водоёмах не только не увеличивается, а, наоборот, снижается, и его удельный вес в общей добыче рыбы в 1956 году составит не более 36%, а по Азовскому морю уловы снизятся против 1940 года почти в два раза.

Расширение океанического рыболовства является сейчас основной линией развития нашей промышленности, вытекающей из общенародных интересов страны. Это не только обеспечивает непрерывное увеличение выпуска рыбных продуктов, но и позволяет во внутренних водоёмах, где значительно снижается добыча рыбы, коренным образом изменить характер рыболовства и основное внимание сосредоточить на вопросах охраны и воспроизводства рыбных запасов.

К сожалению, Н. Дубов в своей статье «Как губят море», широко освещая тяжёлое рыбохозяйственное состояние Азовского моря, несколько односторонне характеризует причины происходящих в нём из-

менений, что создаёт впечатление, будто бы основной причиной резкого снижения рыбопродуктивности этого водоёма является нерациональное ведение в нём рыбного хозяйства. Если бы это было так, то восстановить былое рыбопромысловое значение Азовского моря было бы сравнительно не трудно.

Однако такая постановка вопроса невольно отвлекает внимание от действительно главных причин создавшегося в Азовском море положения, вызывающих необходимость осуществления крупных биологических и инженерно-технических мер не только рыбохозяйственного характера, далеко выходящих за рамки возможностей Министрства рыбной промышленности.

Что же происходит в Азовском море?

Н. Дубов правильно осветил сочетание тех естественных взаимосвязанных природных факторов, которые раньше обеспечивали исключительно благоприятные условия обитания и размножения рыб в Азовском море. Речь идёт об отличных естественных нерестилищах, создаваемых мощными весенними потоками речной воды, благоприятном солевом режиме, богатой кормовой базе водоёма, мелководности его и хорошей в связи с этим его прогреваемости. Ежегодно поступавшие в Азовское море воды Дона, Кубани, Еи, Миуса, Кальмиуса и других рек постоянно опресняли этот водоём, поддерживая в нём солёность, необходимую для жизни большинства видов рыб. Потоки речных вод вносили ежегодно тысячи тонн различных питательных веществ, которые создавали для них обильную кормовую базу. Во время половодья огромные площади Дона и других рек, заливаемые весенними водами, превращались в мелководные обширные водоёмы — займища, естественные нерестилища рыб.

Теперь эти основные факторы оказались настолько нарушенными, что гидрологическое и биологическое лицо Азовского моря стало совсем не тем, каким оно было пятнадцать—двадцать лет тому назад.

Начавшийся ещё в 1930 году засухливый и маловодный период привёл к тому, что в течение многих лет естественные места размножения рыб в низовьях Дона и Кубани заливались водой не полностью и на короткие сроки.

Возрастающее использование питающих Азовское море рек для сельскохозяйственных и промышленно-бытовых нужд ещё более уменьшило их сток, а такие реки, как Ея, Миус, Кальмиус, вообще утратили ры-

бохозяйственное значение; бурное развитие предприятий химических, металлургических и других отраслей промышленности при систематическом невыполнении директорами предприятий указаний Правительства об охране водоёмов, привело к загрязнению рек сточными водами.

Дополнительным крупным фактором, повлиявшим на режим Азовского моря, явилось зарегулирование стока Дона Цимлянским гидроузлом.

Пресная вода теперь задерживается в Цимлянском водохранилище, отстаивается в нём и затем в обеднённом состоянии, в значительной степени лишённая основных питательных веществ, поступает в нижнее течение Дона и Таганрогский залив, который в связи с этим снизил своё огромное значение природного рыбопитомника Азовского моря.

Таким образом, кроме мелководья и прогреваемости, все другие благоприятные факторы почти перестали действовать, и именно в этом главная причина уменьшения рыбных богатств Азовского моря.

Следует сказать, что рыбохозяйственная наука и промышленные организации не были просто пассивными наблюдателями этих глубоких и тяжёлых изменений. Научные организации провели значительную работу в области разработки методов и практических способов воспроизводства рыбных запасов.

Независимо от обсуждения таких проблем, как сужение Керченского пролива, опреснение отдельных районов моря путём переброски вод Кубани и Днепра, искусственное восстановление кормовой базы моря, и других предложений по восстановлению прежнего режима Азовского моря рыбохозяйственная наука и практика главное внимание уделяют практическим вопросам промышленного рыбозаведения в существующих гидробиологических условиях. Правильность такой линии подтверждают и данные зарубежного опыта, в частности ознакомление с рыбным хозяйством Канады.

На основе рекомендаций рыбохозяйственной науки за годы пятой пятилетки во внутренних водоёмах был проведён ряд крупных мероприятий по воспроизводству рыбных запасов, в осуществление которых вложено свыше 180 млн. рублей, в том числе более 50 млн. рублей в бассейне Азовского моря. Здесь введены в эксплуатацию рыбоводные предприятия, в числе их

рыбоводный завод по выпуску молоди осетровых и 8 нерестово-выростных хозяйств по выращиванию молоди судака, леща, рыбака, тарани и других рыб. Эти предприятия выпустили в истекшей пятилетке в реки, впадающие в Азовское море, более 9 млрд. штук молоди.

Однако проведённые меры как по объёму, так и по темпам их осуществления ещё резко отстают от нужд рыбного хозяйства.

Министерством рыбной промышленности разработаны и представлены на рассмотрение Госплана и Госэкономкомиссии Совета Министров СССР мероприятия по дальнейшему значительному расширению работ в области воспроизводства рыбных запасов.

Проект этих мероприятий охватывает не только Азовское море, но Каспий и другие водоёмы. По Азовскому бассейну предусматривается наряду с работами по мелиорации естественных нерестилищ на площади 30 тыс. га строительство 4 рыбоводных заводов по выращиванию молоди осетровых, 2 заводов по выращиванию молоди рыбака и шемаи и 7 нерестово-выростных хозяйств общей площадью более 35 тыс. га для выращивания 2,7 млрд. штук молоди судака, сазана и леща. Предусматривается также построить 10 нерестово-выростных хозяйств площадью около 5 тыс. га по выращиванию молоди частичковых рыб для заселения новых водохранилищ. Эти хозяйства будут выращивать до 140 млн. штук молоди судака, сазана и леща.

Рыболовные предприятия будут выпускать в водоём на основе новых методов биотехники жизнестойкую молодь в возрасте 2—3 месяцев. Таким образом, с 1960 года всего намечено выпускать в низовья рек Дона и Кубани ежегодно более 6,5 млрд. штук молоди частичковых и осетровых пород рыб.

Если эти мероприятия будут полностью осуществлены, то только путём искусственного рыборазведения будут обеспечиваться устойчивые уловы ежегодно около 1 млн. центнеров судака, леща, сазана и др. ценных пород рыб вместо 270 тыс. центнеров, добытых в 1956 году.

Большую роль в осуществлении этих задач сыграет принятое недавно решение, которое обязывает все организации, ведущие гидростроительство на рыбохозяйственных водоёмах, проводить мероприятия, связанные с рыбным хозяйством, одновременно с

выполнением работ по основному комплексу гидросооружений.

Раскрывая сущность основных факторов, определяющих нынешнее состояние Азовского моря и происшедшие в нём изменения, нельзя, конечно, пренебречь значение охраны рыбных запасов и правил рыболовства, в нарушении которых упрекает министерство Н. Дубов.

Не оправдывая допускавшиеся ранее некоторые нарушения правил рыболовства и, в частности, размещения количества мелкоячеистых орудий лова в Азовском море, я должен сказать, что при регулировании рыболовства, учитывая метеорологические условия, складывающиеся в том или ином бассейне, неизбежно приходится в интересах естественного воспроизводства рыб и рыболовства в отдельных случаях передвигать сроки начала и прекращения лова.

Что же касается затронутого Н. Дубовым вопроса о подрыве запасов хамсы вследствие высокой интенсивности промысла этой рыбы, а также того, что большой вылов хамсы и тюльки в прошлом сказались на кормовой базе других рыб (судака, белуги), надо иметь в виду следующее. Улов хамсы, даже в годы, когда он был высоким, составлял не более 1/4 её запаса. Такая интенсивность промысла при высоком темпе естественного воспроизводства этой рыбы не могла отразиться на её запасах. Падение уловов и запасов хамсы в последние годы обусловлено резким ухудшением кормовой базы планктоноядных рыб, которая понизилась за 1954—1955 годы по сравнению с периодом до зарегулирования стока реки Дон в 10—15 раз.

Большой в прошлом вылов хамсы и тюльки не мог сказаться также и на кормовой базе хищных рыб (судак, белуга), так как численность этих рыб была невелика по отношению к имеющимся запасам корма.

Министерство рыбной промышленности проводило и проводит реальные меры по снижению интенсивности рыболовства в Азовском море путём введения дополнительных ограничений как по срокам и районам промысла, так и по применению различных орудий лова с учётом влияния на рыбохозяйственное состояние моря происходящих гидробиологических изменений. В частности с 1955 года в целях сохранения молоди леща, судака, сазана и сельди запрещено рыболовство мелкочейными ставными неводами в Таганрогском заливе,

количество таких неводов в Азовском море в 1955 году сокращено почти в 5 раз, а с 1957 года этот вид лова запрещается полностью.

В течение нескольких лет запрещён лов осетра, севрюги, белуги в море, а вылов в реках допускается с определёнными ограничениями; значительно сокращено количество орудий лова и ограничены районы промысла бычка; установлен запрет добычи хамсы с апреля по октябрь, в период её наиболее интенсивного роста и нагула.

Для охраны молоди основных промысловых рыб ежегодно осуществляется двухмесячный запрет на всякое рыболовство.

Надо согласиться с Н. Дубовым, что Азово-Черноморский институт морского рыбного хозяйства и океанографии, призванный вести научные наблюдения за состоянием рыбных запасов Азовского моря, не имеет ещё всех необходимых для этого условий. В 1956 году проводятся меры по укреплению института, пополнению его флотом, улучшению снабжения научным

оборудованием. Начато строительство для института нового здания, которое будет закончено в 1957 году.

Можно оспаривать в статье Н. Дубова правильность оценки влияния тех или иных факторов на коренные изменения, происшедшие в Азовском море, но нельзя не признать, что в ней проявлено желание автора придать проблеме восстановления этого моря заслуженно большое народнохозяйственное значение и не только остро, но и основательно поставить и осветить связанные с этим вопросы..

Судьба наших внутренних рыбохозяйственных водоёмов, естественно, волнует советскую общественность, и наша обязанность ознакомить её с теми мерами, которые принимаются для сохранения рыбных богатств наших внутренних морей. Научные сотрудники и работники рыбной промышленности подготовили статьи по этим вопросам, и мы рассчитываем, что редакции газет и журналов окажут помощь в их опубликовании».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Гальперина. Воспитание правдой.— **А. Фадеев.** О книге Веры Инбер «Как я была маленькая».— **Евг. Евтушенко.** Поэзия борьбы.— **Л. Исарова.** О книжке с секретами.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **Ю. Шаралов.** Путь полководца.— Кандидат географических наук **Н. Рыбин.** Путешествие по Болгарии.

Литература и искусство

Воспитание правдой

«Что такое коммунистическое воспитание?» — спрашивает девятиклассник Валерий Саблин у старшей вожатой. И она отвечает: «Воспитание правдой». Это, пожалуй, основная мысль повести М. Бременера «Пусть не сошлось с ответом!».

Повесть М. Бременера наверняка найдёт живой отклик среди молодёжи. Это смелая книга, наносящая резкий удар по тому мертвенному формализму, который кое-где ещё гнездится в советской школе.

Но по значению поднятых в повести больших и острых вопросов она выходит за пределы школы. Она воспринимается в ряду тех книг, которые при всём различии материала — деревни или завода, вуза или школы — говорят о том, что более всего волнует нас всех сегодня.

Конечно, не каждая школа так плоха, как «показательная» школа в повести Бременера. Здесь заострено то, что кажется автору главным злом в воспитании, — разлад между словом и делом, разлад между сверхблагополучной видимостью и крайним неблагополучием на деле. Как же воспитывать подростков в такой школе? Если школьники видят одно, а слышат другое, то подрывается их вера в слово, оно утрачивает силу и цену, ощущается как пустой

штамп, который они охотно и ехидно пародируют.

Для того чтобы заострить противоречие между пышным фасадом и сущностью, автор выбрал школу, которая считается образцовой. С обычной точки зрения роно — школа просто идеальная. Но за её фасадом расцветает долгое время не замечаемая руководителями школы хулиганина. Тут и ограбления малышей хулиганами и избияния тех комсомольцев и пионеров, которые рискуют бороться со шпаной; наконец грабёж, совершённый двумя школьниками, переносит действие в суд, где и обнажается подлинный облик этой «примерной школы».

Внося в сюжет уголовный элемент, автор заостряет основной конфликт и придаёт действию большую напряжённость и занимательность. Но это не должно уводить читателя в сторону от истинной темы книги. Она написана не об уголовщине среди молодёжи. Образы хулиганов едва намечены. Уголовщина — это лишь дошедшее до крайности, предельно уродливое выражение того неблагополучия, которое слишком часто не привлекает внимания, если дело не оборачивается крупным скандалом.

Формализм, «мнимая жизнь» страшны всюду. Но они кажутся особенно угрожающими, особенно разъедают души там, где с ними сталкиваются подростки, ещё вну-

М. Бременер. Пусть не сошлось с ответом! Повесть. Журнал «Юность» № 10 за 1956 год.

тренне не окрепшие и по самому своему возрасту искренние, живые, непосредственные, жаждущие настоящего дела.

М. Бременер нашёл очень точные детали, чтобы воссоздать атмосферу школы, руководители которой заняты только утверждением собственного авторитета. Таков директор, восседающий под портретом Макаренко, который не видит и не хочет видеть того, что творится в школе, и которому герой повести комсомолец Валерий бросает дерзкую фразу: «Зачем же вы тогда сидите под этим портретом?» Сразу узнают читатели-школьники Котову, учительницу и секретаря комсомольской организации, существо, не знающее ничего, кроме штампов, и полностью лишённое юмора. Мнее всего такие бюрократы от педагогики думают о воспитании самостоятельных, творчески и государственно мыслящих граждан, живых и смелых комсомольцев. Да им и не приходит в голову задуматься о будущих судьбах подростков, об их внутреннем мире, интересах, об их отношении к событиям большой и сложной жизни. Все эти подростки делаются для них лишь на пятёрочников и троечников, на дисциплинированных и нарушителей тишины. Всё внимание сосредоточено на чисто внешне понятой дисциплине, на повышении «средней успеваемости».

В сущности, все они очень похожи на описанных в очерках В. Овечкина заеденных бюрократизмом районных руководителей, занятых только «средними показателями».

Каждый поступок формирует или разрушает характер. В повести «Пусть не сошлось с ответом!» мы видим ряд мелких и, в сущности, пустяковых «событий». Но каждое из них незаметно «воспитывает неправдой» и, следовательно, разрушает характеры подростков.

Так действует и классический приём всех бюрократов — «раздувание мухи до размеров слона», зло высмеянный в повести. Ведь котовым нужно делать вид, что они борются против недостатков. И вот налицо показная бдительность, создаются «происшествия», на пустом месте раздуваются персональные дела.

В форточку класса влетает снежок. И хотя сидевший на заборе пятиклассник Хмелик явно не мог попасть в форточку, радиогазета в фельетоне Котовой чернит Хмелика как злостного нарушителя дисциплины. Выясняется, что это неправда.

Но всё равно опровержения уже дать нельзя. Что же будет тогда с авторитетом Котовой, педагогов вообще, радиогазеты, примерной школы? Пусть Хмелик потерпит. И Хмелик терпит. Более того, его товарищи разбирают мнимый проступок Хмелика на совете дружины и требуют, чтобы он исправился. Требуют только потому, что таков заведённый обычай. Снежок имел и более далеко идущие последствия. В момент этой «военной акции» один из школьников, сидевших в классе, дурачась, крикнул «бомба!». И вот возникает наспех раздутое персональное дело комсомольца Кавалерчика, дело, которому та же Котова пытается придать политический оттенок и изложение которого она начинает с Атлантического пакта. Но не только это печально. Печально и то, что друзья Кавалерчика — комсомольцы — удачно придуманной мелкой ложью (крикнул, дескать, не «бомба!», а «полундра!») смягчают ситуацию и добиваются выговора без занесения в личное дело. Все очень довольны, включая потерпевшего: дёшево отделался. Не правда ли, какая знакомая картина?

Такие вещи происходят в школах не редко и на первый взгляд кажутся пустяками. Но именно эта вереница мелких происшествий постоянно и незаметно воздействует на души подростков и может воспитывать их в определённом направлении. В таких случаях они усваивают, что не всегда выгодно быть правдой, иногда «есть смысл» сторговаться на полужли и поскорее отвязаться. Так в характерах могут появиться черты обтекаемости, преждевременной усталости, грусости или скепсиса, затаённого или даже явного отчуждения. Так появляется насмешливое равнодушие не только к котовым, но и к тем заседаниям, на которых всё это происходит. Друг Валерия Саблина, комсомолец Игорь, хороший парень, из тех, кого в школе всегда считают передовыми общественниками, в действительности не берёт всерьёз своих общественных дел. Для него они только фикция.

Мы остановились более подробно на этих сторонах повести, ибо они, пожалуй, глубже проникают в беды школы, чем те внешне более драматические сцены, где Валерий ведёт кулачный бой с хулиганьём.

И нельзя, читая эту повесть, ещё раз (в тысячный раз!) не задуматься о роли общественных организаций в школе. Тут и пионерские отряды, и совет дружины, и

комсомольские группы, и комитет, и учком. Разве школьники, объединённые во всех этих организациях, не должны чувствовать себя хозяевами их настолько, чтобы повести организованную борьбу за подлинно коммунистическое воспитание в школе?

Воспитание из подростков активных советских граждан — в этом пафос повести М. Бременера. Оно предполагает включение их в борьбу, трудную и упорную. «Будущее не придёт само, если не примем мер», — говорит словами Маяковского эпитафия повести. Девятиклассник Валерий Саблин не сразу приходит к мысли, что будущее делается только нашими руками. Он не сразу приходит к пониманию того, что осуждать надо не только хулиганов и бюрократов, но и тех, кто пытается прожить, лишь внутренне их презирая, а на деле мирно соседствуя с ними.

Но прежде всего подростку надо понять, что и в сегодняшних буднях может идти борьба за наше общее дело. Валерий видит избиение пионеров. Рискуя тем, что его пярнут финкой, он сражается с хулиганами. И ему становится ясно, что в скучноватых буднях школы есть почва для борьбы. А ведь многим школьникам это понять нелегко. Пионерам читают доклады о Павлике Морозове. Комсомольцам ставят в пример Зою и краснодонцев. Но между столь понятным героизмом Отечественной войны или революционного подполья и скучным заседанием школьного комитета часто остаётся психологический разрыв. «Пусть не сошлось с ответом!» — одна из тех немногих книг о школе, которая помогает преодолеть этот мнимый, но для многих школьников мучительный разрыв.

Валерий Саблин обретает гражданское мужество. Как знакомы трудности, возникающие на пути этого мальчика! Трудно выступить первому, не зная, поддержат ли тебя другие. Трудно бороться со шпаной, рискуя иногда жизнью, преодолевая соблазнительный принцип невмешательства. Ещё труднее, сорсясь с завучем или директором, рисковать аттестатом, может быть, будущим. И напрасно автор мотивирует временное отступление Валерия тем, что он делает это ради матери. Но самое трудное, без сомнения, — привыкнуть вести свою линию всегда и везде, изо дня в день и всю жизнь. По временам Валерий отступает и устаёт. И это правдиво. Устаёт и маленький Хмелик, не то чтобы он трусит, а именно устаёт, как взрослый, приобретая

недетскую, зрелую «мудрость». Очень тонко раскрыто в повести, что характер разрушают не только совершенные человеком дурные поступки, но и несовершенные хорошие. «Отвоевался?» — осуждающе спрашивает Валерия его подруга Лена.

И всё же они, и Валерий и его маленький Хмелик, выпрямляются, а главное, не остаются одиночками. На поддержку Саблина приходит первая полудетская любовь, раскрытая в повести очень хорошо, мягко, лирично.

На поддержку Саблина приходят и его товарищи и старшие. Человек, ведущий борьбу, естественно, приобретает соратников. В школе оказываются люди, способные не только стать рядом с Валерием, но и объяснить ему смысл этих конфликтов. Так делает студентка Наташа, старшая вожатая школы. Позднее так делает новый завуч, человек, когда-то несправедливо исключённый из партии и снова возвращающийся в школу. В повести он более других воплощает тот принцип «воспитания правдой», который бесспорен для настоящего коммуниста: это старый борец, естественно ведущий за собой молодёжь и все здоровые силы школы. Этот образ сам по себе не вызывает возражений, но кажется художественно неоправданным то, что он как бы введён в повесть извне, как *deus ex machina*, волей случая. И ещё более двойственно воспринимается речь прокурора, произнесённая под занавес: все идеи автора сформулированы в ней с предельной лобовой прямоотой, которая естественна для прокурора, но не очень вяжется с тонким рисунком всей повести. В лице нового завуча, Валерия и его друзей как бы поддерживает сила партии, а в лице прокурора — сила советской государственности. И это, конечно, очень хорошо. Но, может быть, было бы более естественно для развития действия, если бы эти силы автор показал в самом коллективе школы.

Во всяком случае повесть подчёркивает, что дело идёт не только о правдонскателях-одиночках, но о целом коллективе, которому острый финал борьбы — суд — помогает стать на ноги.

Валерий и его друзья видят, что их решение вопросов, которое не сошлось с ответом бюрократического задачника, было правильно. Это не значит, что они подобны прапорщику, шагающему не в ногу с рогой. В конечном-то счёте именно их решение

сходится с настоящим ответом, ответом партии и народа, именно их решение отвечает революционному ходу жизни, отбрасывающей бюрократические пути.

У повести хорошая концовка. После суда для «показательной» школы открываются новые возможности, наступают большие перемены. Работать надо в полную силу. И новый завуч жёстко отчитывает Валерию, в запальчивости заявившего: «Я вам больше не актив!» Из актива никуда не уйдёшь. И маленький Хмелик уже снова прибегает к своему вожатому Валерию, возбуждённо рассказывая о каких-то новых происшествиях.

Между тем временем, когда писалась повесть М. Бреженера, и сегодняшним днём прошло немного времени. А обстановка и в школе и в литературе изменилась и меняется с каждым днём. Одни котовы притихли, больше молчат. Другие, посмекалистее, приспособляются и всё чаще на словах выступают с критикой бюрократизма и формализма. Но борьба партии за то, чтобы принципы коммунистического воспитания на деле восторжествовали повсюду в наших школах, продолжается. Её поддерживают и лучшие учителя и самые активные комсомольцы.

Е. ГАЛЬПЕРИНА.

★

О книге Веры Инбер „Как я была маленькая“

Недавно в Детгизе вторым изданием вышла книга Веры Инбер «Как я была маленькая». Вместо рецензии на неё мы публикуем письмо А. А. Фадеева, присланное им писательнице в феврале 1955 года в связи с выходом в свет первого издания книги. Во втором издании В. Инбер, учитывая некоторые критические замечания А. Фадеева, ввела две новые главы («Луковое колечко» и «Школьная скамья»).

Дорогая Вера Михайловна!

Книжечка «Как я была маленькая» доставила мне истинное удовольствие. Она написана прелестно. Язык необыкновенно простой, прозрачный, точный. Весь конкретный мир природы, вещей, кукол, одежды, животных, птиц выступает, как мир абсолютно материальный, зримый, красочный. Дети и взрослые индивидуализированы вполне в духе того восприятия, какое свойственно детскому возрасту. Здесь есть большие удачи и в изображении лиц эпизодических, как, например, Дарьюшка, Сусанна Ипполитовна, Устинька. А вообще говоря, нет в книге людей, которых не увидел и не почувствовал бы даже такой «солданный» читатель, как я.

Книга хороша тем, что ей абсолютно веришь, в ней нет ни одной детали, ни одного эпизода, о которых можно было бы сказать: «не удалось» или «удалось хуже». Это справедливо, когда речь идёт не только о детских шалостях и капризах или о конкретном мире вещей, окружающих детей, — это в конце концов не так трудно для человека, имеющего за плечами десятки лет литературной работы, — но справедливо и по отношению к таким сложным для решения задачам, как показ детской психологии в разных тонких ситуациях или нюансов в отношениях взрослых к детям (и ме-

жду собой), доступных пониманию маленького читателя. В тех местах, где ты решаешь по-своему задачу трудового воспитания («Пуговица на ножке» и другие), ты счастливо избежала дидактизма и скуки — всё это воспринимается легко и весело и — запоминается. С такой же естественной простотой и свободой вводишь ты в книгу различные сведения научного характера, они не со стороны приходят, а являются необходимым, законным элементом того мира, в котором дети живут.

Есть, однако, одна существенная сторона жизни общества того времени, которая освещена тобой в книге недостаточно и которая, с моей точки зрения, необходима в книге даже для самых маленьких. В сущности говоря, во всей книге есть только два эпизода, которые отличают жизнь маленькой Веры в условиях того общества от той жизни, какой она жила бы в условиях нашего общества: это «Чашка шоколада» и «Настанет день». Оба этих эпизода вполне тебе удались. Но их — мало. У тебя есть ещё возможность для того, чтобы показать социальное неравенство, бедность — то, что так поражало наше детское воображение в условиях старого времени, независимо даже от оттенков той социальной среды, к какой мы сами принадлежали. Вспомни, как потрясали всегда воображение и наводили на разные мысли нищие. Как задерживалось вни-

Вера Инбер. Как я была маленькая. Редактор Э. Эмден. 141 стр. Детгиз. 1956.

мание на обстановке мастерской, на одежде, на характере самого труда, когда приходилось сталкиваться с разного рода ремесленниками — сапожниками, портными и пр. Конечно, не нужно, чтобы в твоей книге было бы этого слишком много, — нет, детство Веры протекало в трудовой интеллигентной семье, это было раннее детство, и нужно, чтобы на всей книге по-прежнему лежал солнечный свет, мироощущение, приемлющее жизнь. Но у тебя так много возможностей дать представление и об этой стороне жизни и в связи с поездкой к бабушке в деревню, и в связи с Устиньской, и в связи с мастером, который лечит куклы, и т. д. Разумеется, это стоит сделать

только в том случае, если, оглянувшись на реальное своё детство, ты вспомнишь переживания этого рода и сможешь ввести их органически, — в противном случае, не стоит портить цельную и светлую книжку. Это не непременно «идеологическое» требование или условие, — это тот необходимый социально-художественный элемент, введение которого только ещё подымет и обогатит твою чудесную книгу.

Мне очень понравились иллюстрации. Маленькая Вера дана так, что именно такой тебя себе и представляешь. Спасибо тебе за книжку...

Р. С. Всю книжку пронизывает юмор — тонкий, милый, не назойливый.

★

Поэзия борьбы

Царь испугался, издал манифест:
«Мёртвым свобода! Живых под арест!»

Эти гневные и презрительные строки вторяла вся Россия в 1905 году, после трусливого и лицемерного манифеста Николая II. Их передавали из уст в уста, они возникали, написанные мелом или углем, на стенах, они печатались в революционных прокламациях. Навсегда вошли эти строки в историю, вернее — стали самой историей. Лишь немногие знают, что автором их является и ныне живущий поэт Павел Арский.

Многие старые большевики и сейчас помнят строки:

Мы, гордые, строим,
Мы, юные, строим,
Мы строим Рабочий дворец!

Размахивая промасленной кепкой, сжатой в кулаке, эти стихи читал рабочий на заводском митинге, их тихо пела молоденькая курсистка на собрании подпольщиков. Написал их Александр Поморский.

В руках у меня маленькая книжечка поэтов дооктябрьской «Правды» — «Из искры — пламя», выпущенная в этом году издательством «Московский рабочий». Хорошее, благородное дело сделало издательство.

В книге, кроме стихов П. Арского и А. Поморского, стихи М. Артамонова, И. Ерошина, Л. Котомки. С её страниц веет суровой революционной романтикой, воинствующим большевистским оптимизмом.

«Из искры — пламя». Сборник стихов. Редактор М. Матусовский. 136 стр. «Московский рабочий». М. 1956.

Трагические интонации не заглушают, а, наоборот, усиливают гордую музыку борьбы, озаряющую всю книгу. Впервые стихи этих поэтов стали появляться в ленинских газетах «Звезда» и «Правда». В них, в этих стихах, тяжело дымилась фабричные трубы, простоволосые бабы со страшными, остановившимися глазами читали похоронные листы, сутулые мастеровые с впалыми щеками шли мимо роскошных особняков, серошинельные солдаты, выпустив винтовки из оплетённых жилами рабочих рук, лежали на вздрагивающей от взрывов галицийской земле.

И горько и трагически звучало:

...Останетесь голы вы
За то, что кляли головы
За честь России-матушки,
Отважные солдатушки...

Мы воздвигали пирамиды,
Мы создавали города...
Вы наши слёзы и обиды
Не замечали никогда...

(П. Арский)

Но поэзия народного горя была и поэзией народной борьбы. Революция поднимала народные массы от ненависти в чувствах к ненависти в действии. На баррикадах пятого года, в заводских стачках, в подпольных кружках — везде стихи поэтов «Правды» и «Звезды» были рядовыми Революции. Они вселяли веру, неистребимую и гордую, издевались над сомневающимися в победе пролетариата, клеймили черносотенцев, прикидывавшихся выразителями народного духа...

Читая эту маленькую книгу, вспоминаешь имена революционных поэтов — Алексея Гмырёва, Евгения Тарасова и многих других, вспоминаешь с чувством гордости и признательности.

Читая эту книгу, думаешь о том, что мало у нас ещё стихов о Революции — о её

славном прошлом, о её трудном и замечательном настоящем и о её великом будущем.

Большое спасибо вам, наши старшие товарищи по Революции! Спасибо вам за вашу жизнь, за вашу поэзию.

Евг. ЕВТУШЕНКО.

★

О книжке с секретами

Представьте себе, что вам десять лет и вы не очень любите читать. Сказки немножко надоели, а повести ещё скучноваты. Вокруг масса интереснейших вещей. Их надо посмотреть, потрогать, поковырять. День же ужасно короток.

Но вот вам попадает в руки большая книжка. На её обложке — три толстяка, похожих на перезрелые груши.

«Интересно», — подумаете вы, раскроете книгу и почувствуете сразу удивительные запахи, «сладкое головокружительное благоухание» необыкновенного. А глаза ваши восторженно распахнутся на ярчайшие краски этой книги. В ней «трава была такой зелёной, что во рту даже появлялось ощущение сладости», «лёгкий ветерок развевался, как воздушное бальное платье», а «фонари походили на шары, наполненные ослепительным кипящим молоком».

Самое же замечательное в книге это то, что каждая глава в ней — гроздь самых удивительных и фантастических приключений.

Чего стоит, например, бегство гимнаста Тибула под пулями после разгрома восстания против Трёх Толстяков... А то, как он чернеет, перекрашенный в негра доктором Гаспаром... А удивительное приключение продавца воздушных шаров, влетевшего в торт для Трёх Толстяков и спасшегося через подземный ход в большой кастрюле... А кукла наследника Тутти, ставшая девочкой Суок и освободившая оружейника Просперо из клетки... А...

Но радоваться и восхищаться так можно очень долго. Приключения продолжают до самого конца этой истории. Они сплетаются, как петельки тончайшего кружева, и образуют чудесный узор книги Ю. Олеша «Три Толстяка». Это не новая книга. Она написана в 1928 году. Но она не увяла. Она свежа и пауча и сейчас, будто вспрыс-

нутая живой водой большого таланта. Поэтому её сейчас переиздал Детгиз. И это очень хорошо.

Книга Ю. Олеша привлекает множеством оттенков его писательской интонации. Книга сказочна: действие происходит в сказочной стране. Она романтична: подвиг маленькой Суок. Она лирична: судьба разлучённого с людьми наследника Тутти. В этой книге много тёплого, как летний дождь, юмора, иногда переходящего в острую буффонаду: охота трёх предателей за Тибулом, страхи тётушки Ганимед и клоуна Августа при виде негра. «Старый Август закрыл глаза и, обалдев от страха, раскачивался, подобно китайскому императору, решающему вопрос: отрубить ли преступнику голову или заставить его съесть живую крысу без сахара».

Хотя образы Трёх Толстяков сказочны и условны, они вызывают у детей реальный гнев и презрение. И ребятам не просто интересно, но и полезно познакомиться с мужественными и ловкими вождями народного восстания Тибулом и Просперо, с самоотверженной умницей Суок, с чудакватым, но добрым доктором Гаспаром. Полезно, потому что эти герои очень привлекательны, в них легко верится, дети за них волнуются, гордятся ими. И до них прекрасно доходит смысл книги, который, в сущности, состоит в том, что смелый человек способен на самый сказочный подвиг ради благородного дела и блага людей. Ю. Олеша всё время стремится, чтобы у читателя, несмотря на всю причудливость красок, создалось ощущение реальности происходящего. Книга так и начинается: «Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было...» В дальнейшем писатель всё время ведёт разговор с читателями, как бы стараясь помочь доверчивым ребятишкам разобраться в чудесах. «Но и не спрашивая доктора Гаспара, можно догадаться о причине. Вспомним...» «Что случилось с разоблачённой

куклой дальше, пока неизвестно. Кроме того, воздержимся пока что и от прочих объяснений...»

Все эти своеобразные отступления, обращения писателя к читателю пронизывают эту книгу светом тонкой иронии — ещё один оттенок авторской интонации.

Писатель не терпит назидания и дидактики. Он понимает, что ребёнок мыслит образами. И он подводит читателя к нужному выводу всем образным стилем книги.

Фразы у Олеси разговорны, прозрачны и просты, освобождены от всего сложного, мешающего детскому вниманию.

И благодаря именно словесному мастерству Ю. Олеси в его книге оказываются свои секреты. Мало того, что она

сказочна и реалистична в одно и то же время, — она музыкальна: так певуче поэтичен её язык, тщательно прополотый от сорняков-шаблонов.

Оформлена книга «Три Толстяка» ярко и увлекательно. Её приятно взять в руки и ребёнку и взрослому. Но всё же, думается, рисунки В. Горяева слишком улыбочивы. В них не хватает юмора и гротеска, не хватает сказочности. Не хватает того богатства интонаций, какое присуще слову автора. Оттого иллюстрации кажутся беднее книги.

Я завидую тем, кто ещё не читал этой повести-сказки. Сколько у них впереди богатых ощущений, сколько радости от встречи с талантом!

Л. ИСАРОВА.

★

Политика и наука

Путь полководца

Ты живёшь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам из биографий...

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров...» С этими вдохновенными словами А. Фадеев обращался к Сергею Тюленину — одному из героев Краснодона, вожак «Молодой гвардии»

Советский читатель проявляет большой интерес к жизнеописаниям выдающихся деятелей Коммунистической партии, под руководством великого Ленина строивших и укреплявших наше государство. Но книг таких ещё мало. Мало мы знаем о героях Октября, о славных подвигах героев гражданской войны. Где, например, книга о С. С. Вострезове, бывшем кузнеце, ставшем командиром полка и четырёхжды награждённом орденом Красного Знамени? Где рассказ о коллективном подвиге 51-й диви-

зии, штурмовавшей Перекоп, о заслугах её начдива В. К. Блюхера? Давно пора рассказать нашей молодёжи о любимцах Первой Конной — начдиве Морозове и комиссаре Бахтурове и о других выдающихся защитниках молодой Советской республики.

«Путь Арсения» — так называется биографический очерк о Михаиле Васильевиче Фрунзе. Автор его, С. А. Сиротинский, был адъютантом выдающегося полководца.

Со страниц книги встаёт облик пламенного революционного борца.

Наибольший интерес в книге С. А. Сиротинского представляют страницы, посвящённые послеоктябрьским событиям. Здесь автор выступает как живой свидетель и участник борьбы за власть Советов. Наблюдая день за днём кипучую деятельность М. В. Фрунзе, он имел возможность узнать многое, представляющее интерес для истории. Начиная с четвёртой главы и до конца книги повествование насыщено интересными фактами, живыми наблюдениями, характерными деталями.

Роль М. В. Фрунзе в разгроме Колчака общеизвестна — этой теме посвящены солидные труды историков, военных специалистов. И автор правильно поступил, отказавшись от повторения военных исследований. Он рисует яркие эпизоды, показывающие облик волевого и бесстрашного полководца, вдохновенного борца за народное дело, вдумчивого и настойчивого воспитателя командиров и комиссаров. Именно М. В. Фрунзе увидел в Чапаеве талантли-

С. А. Сиротинский. Путь Арсения. Биографический очерк о М. В. Фрунзе. Редакторы А. П. Митичкина, А. А. Субботин. 240 стр. Военное издательство. М. 1956.

вого самородка и направил его клокочущую энергию по правильному пути, придав ему комиссаром Дм. Фурманова, тогда ещё молодого, но уже стойкого коммуниста. Это было смелое, но оправданное выдвижение: имена командира и комиссара 25-й дивизии вписаны золотыми буквами в историю гражданской войны.

С прямою убеждённою в своей правоте коммуниста-борца М. В. Фрунзе заявляет группе командиров 4-й армии, вызвавших его на собрание и пытавшихся навязать ему свои ошибочные взгляды на военную дисциплину:

«— Прежде всего заявляю вам, что я здесь не командующий армией. Командующий армией на таком собрании присутствовать не может и не должен. Я здесь — член Коммунистической партии. И вот от имени той партии, которая послала меня работать в армию, я подтверждаю вновь все свои замечания по поводу отмеченных мною недостатков в частях, командирами и комиссарами которых вы являетесь и ответственность за которые, следовательно, вы несёте перед Республикой.

Ваши угрозы не испугали меня. Я — большевик. Царский суд дважды посылал меня на смерть, но не сумел заставить отказаться от моих убеждений. Здесь говорили, что я генерал. Да, генерал, но от царской каторги, от революции. Я безоружен и нахожусь здесь только со своим адъютантом. Я — в ваших руках... Но я твёрдо заявляю вам по поводу сегодняшнего вызова меня сюда как командующего, что в случае повторения подобных явлений буду карать самым беспощадным образом, вплоть до расстрела. Нарушая дисциплину, вы разрушаете армию. Советская власть этого не допустит».

Эти и другие страницы книги «Путь Арсения» привлекают исторической точностью, правдивостью. Воссоздаваемая

автором обстановка на Восточном фронте ничуть не приукрашена, показаны многочисленные трудности, преодолевавшиеся М. В. Фрунзе, — перебои со снабжением, подрывные действия Троцкого и его приспешников, сильный натиск колчаковских армий.

После разгрома Колчака М. В. Фрунзе, как известно, возглавил Туркестанский фронт. Здесь он решал не только военные задачи, но и сложные вопросы национальной политики. К сожалению, глава «Туркестанский фронт» грешит некоторыми недостатками. Автор явно упростил остроту тогдашнего положения в Туркестане. Он ограничивает показ борьбы с басмачеством военными и дипломатическими мерами, умалчивая о правильной национальной политике, сыгравшей решающую роль в победе революционных сил.

Последующие главы книги посвящены крупнейшим событиям в жизни и деятельности М. В. Фрунзе — разгрому Врангеля и военной реформе. И здесь читатель найдёт много интересных, живых подробностей.

Книга «Путь Арсения» обогащает наше представление о М. В. Фрунзе, воскрешает в нашем сознании образ выдающегося полководца и революционера. Жаль только, что автор часто сбивается с жанра воспоминаний, мемуаров на изложение сведений, почерпнутых из учебников и научных монографий. Такая «жанровая чересполосица» вредит книге.

Читатель должен получить значительно более полные воспоминания о М. В. Фрунзе — не только мемуары С. А. Сиротинского, но и других товарищей, близко знавших Арсения. Воениздату следовало бы подумать об издании к сорокалетию Советской Армии обширного сборника, посвящённого М. В. Фрунзе.

Кандидат исторических наук
Ю. ШАРАПОВ.

★

Путешествие по Болгарии

Вот она, Болгария, строящая социализм! — как бы говорит нам автор, развёртывая повествование о братской стране — её городах и сёлах, заводах и шахтах, реках и горах, новостройках и курортах. Книга А. Стекольниковой — не экономико-

географический очерк, а живой рассказ путешественника, собственными глазами увидевшего Болгарию от края до края и с искренним чувством рассказывающего читателю о её сегодняшней жизни.

Повествование ведётся непринуждённо и легко. На смену зарисовке с натуры приходит географическая справка, вслед за изложением беседы с болгарским крестьянином или шахтёром делается экскурс в историю.

А. Стекольников. Путешествие по Болгарии. Редактор О. Мамаева. 304 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.

Так перед взором читателя проходят болгарская столица София, придунайские районы, Черноморское побережье, долина реки Марицы... И что особенно важно: повсюду автор видит то новое, что принёс в жизнь страны народно-демократический строй, раскрепостивший и окрыливший болгарский народ. В книге мелькают имена многих людей, с которыми сталкивается автор. Люди описаны бегло, но всё же автору удалось показать, что огромные сдвиги произошли не только в экономике страны, но и в духовном облике народа.

По мере знакомства с книгой перед читателем раскрывается во всей своей красоте живописная природа Болгарии.

О «чудесном» превращении Болгарии из отсталой аграрной страны в современное индустриально-аграрное государство конкретно, зримо повествуют многие страницы книги. Особенно интересны в этом отношении разделы, посвящённые Софии, Димитрову, Родопах, Дунайской равнине, Верхне-Фракийской низменности.

Большое внимание автор уделяет историческому прошлому Болгарии, деятелям национально-освободительного и революционного движения — Христо Ботеву, Георгию Димитрову и другим славным героям болгарского народа.

Ярко освещены в книге события освободительной русско-турецкой войны 1877—1878 годов, оставившие глубокий след в сознании болгар. Об этих событиях напоминают многочисленные памятники и музеи, созданные в местах былых боёв. Целый раздел книги так и называется «По дедовскому следу». С большим чувством автор рассказывает о героической обороне Шипкинского перевала, о городе русской славы Плевне.

Тема советско-болгарской дружбы, глубоко и прочно, пронизывает книгу.

Есть в работе А. Стекольниковца и недостатки. Жанр литературного повествования не освобождает автора от необходимости быть научно достоверным и точным. К сожалению, в книге «Путешествие по Болгарии» некоторые физико-географические вопросы освещены неверно. Автор связывает, например, образование Искырского

пролома в Стара-Планине с деятельностью озера, занимавшего некогда Софийскую котловину. Между тем болгарские учёные — А. Иширков, С. Бончев, Ж. Радев и другие — придерживаются иной точки зрения. Ошибочно также объясняет А. Стекольников происхождение пролома Кыркария в Родопах землетрясением. На самом деле он произошёл в результате третичных тектонических движений сбросового характера. Развитие Родопского массива описано цветисто, но с научной точки зрения довольно примитивно. Напрасно А. Стекольников называет бухточки в районе города Созопол фиордовыми: фиордов в Болгарии нет.

Не доверяя, по-видимому, эрудиции читателя, автор часто отказывается употреблять точные научные термины и пускается в пространные объяснения там, где можно было бы ограничиться одним словом. Так, например, на странице 41 описываются карстовые формы рельефа на Вратчанской равнине, но самого слово «карст» автор почему-то избегает. Описывая причудливые известковые образования в Лакатникской пещере, автор не считает нужным дать их точное наименование — сталагмиты и сталактиты. Напрасно: советский читатель достаточно грамотен, чтобы разобраться в этом.

Есть в книге и неточности фактического порядка. Вершина Большой Ком (2016 метров), например, ошибочно названа высшей точкой Западной Стара-Планины. На самом деле самой высокой вершиной этой части Стара-Планины является Миджур, имеющая высоту 2168 метров.

Эти недостатки, конечно, снижают ценность книги. И всё же работа А. Стекольниковца «Путешествие по Болгарии» производит хорошее впечатление. Советский читатель почерпнёт в ней много интересного и нового для себя, получит живое представление о стране. Кстати, в самой Болгарии, как показывает рецензия в болгарском журнале «География» (№ 5 за 1956 год), книга встречена с интересом.

Кандидат географических наук
Н. РЫБИН.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

Три дня

(К 50-летию со дня смерти Н. Г. Гарина-Михайловского)

Я видела его только три раза. И оттого, что это были последние дни его на земле, — о чём никто, в том числе и он сам, даже не подозревал, — воспоминания о нём, яркие, светлые, подёрнуты грустной обидой на судьбу. Было ему тогда только 54 года, ему ещё не надоела ни одна земная радость, он был полон жизни, сил, творческого подъёма. Жить бы ему ещё да жить...

Суббота

Это была одна из ноябрьских суббот 1906 года. Нам позвонил по телефону известный экономист П. П. Маслов:

— Приходите вечером: Гарин приехал.

Мы уже сидели у Масловых, когда к ним приехал Николай Георгиевич Гарин-Михайловский с женой Надеждой Валериевной.

Очень трудно передать атмосферу, окружающую этого человека! Когда я сегодня увидела портреты его в обеих Больших Советских Энциклопедиях, я не знала, плакать мне или смеяться, глядя на изображённого там пожилого дядю, бородатого и скучного, как какой-нибудь умеренно либеральный председатель уездной земской управы того времени... Прочитав к тому же во втором издании БСЭ, что герой четырёх романов Гарина, Тёма Карташев, «не сумел стать на путь борьбы с существующим строем», а ещё четырьмя строчками ниже, что и сам Гарин-Михайловский «не сумел с достаточной художественной силой и глубиной показать рост революционных настроений среди студенчества...», я подумала с горечью: «Экие, прости господи, бойкие умельцы! И как это легко было, по их представлению, «суметь» 60—70 лет тому назад сделать то, о чём у них самих нет сегодня никаких представлений, кроме скучно-книжных!»

Н. Г. Гарин-Михайловский был писатель выдающийся, талантливый — так воспри-

нимали его и писатели и читатели. Первые же книги — «Детство Тёмы» и «Гимназисты» — сразу сделали его известным и любимым, потому что в этих книгах читатель узнал и себя и свою

эпоху. Тонкое и глубокое проникновение в душу детей и подростков позволило Гарину беспощадно обнажить порочность современной ему системы воспитания в семье — даже культурной! — и жалкое убожество гимназий, не дававших, в сущности, никаких знаний, цинично-жестоко травивших самых лучших детей, самых честных и чистых... Вместе с тем не было в книгах Гарина тенденциозно-указующего перста, это не были те книги, о которых Чехов говорил, что не надо нарочно писать про злого городского. Нет, даже на самых мрачных страницах голос Гарина был звонкий, радостно уверенный в том, что описываемое им зло будет побеждено, сметено революционным будущим России. Книги Гарина любимы и сейчас, как талантливые и правдивые картины прошлого.

Когда Н. Г. Гарин вошёл в столовую Масловых, где мы все его ждали, он просто ослепил нас своей праздничной яркостью. Он был на редкость красив — высокий, статный, как прекрасное, сильное дерево, глаза казались синими, а волосы были седые, почти белые. Праздничность была и в присущей Николаю Георгиевичу неизменной молодости — казалось, ей нет и не будет износа! — талантливости, которая переполняла его через край, в увлечённости всем, что бы он ни делал, а главное, в поэтическом ощущении жизни. Он был поэтом не только в том, что писал, но, пожалуй, всего больше в своей профессии инженера — строителя железных дорог. Его увлекала картина, ясно им видимая, когда в огромных пустых российских просторах загорятся огни бесчисленных строк, загрохочут взрывы на месте будущих туннелей, поезда понесут новую, умную жизнь в безвестные «пропадинские» медвежьих углы. И сам Николай Георгиевич был похож на такой спящий огнями экспресс, — среди всеобщего смятения и уныния после разгрома революции 1905 года, среди впавших в отчаяние, потерявших надежду он, хорошо знавший жизнь, шёл спокойный, уверенный, и при взгляде на него

думалось, что праздник ещё будет, будет непременно, будет скоро.

Мы просидели у Масловых до поздней ночи. Не помню, что говорили остальные участники этой встречи, — кажется, всё больше молчали и слушали Гарина. У него было что порассказать, и рассказывал он мастерски! Он объехал — а частично и обошёл — полсвета, и никто не мог бы сказать, что он «не сумел» увидеть это умным, зорким глазом или что он забыл хотя бы малую крупницу из того, что увидал. Николай Георгиевич прекрасно знал крестьян и современную ему деревню, где прожил несколько лет в своеобразной «реформаторской» деятельности, помогшей ему изжить народнические иллюзии и написать интересную и правдивую книгу «Несколько лет в деревне». Гарин хорошо знал и рабочих, с которыми жил одной жизнью на изыскательских работах и на постройке железных дорог. Он превосходно знал тогдашнюю интеллигенцию, столичную, провинциальную, земскую. О литературе, театре, искусстве он говорил не по-дилетантски, говорил интересно и свежо. Наконец, Николай Георгиевич был жизнерадостно-остроумен, в его речи сверкал и трепетал чудесный заразительный юмор.

Уходя, Гарины пригласили нас на следующую вечер, в воскресенье, к себе.

— Вот где всех увидим! — сказал, шутя, П. П. Маслов. — Уже сегодня бежит по Петербургу весть: «Гарин приехал! Гарин приехал!»

— Это что же, по-вашему, как в «Бесприданнице» трактирные половые и цыгане кричат: «Барин приехал, барин приехал!» — сказал Николай Георгиевич с приторной обидой, но глаза его смеялись. — Покорнейше вас благодарю!

Дом Николая Георгиевича, его душа и кошелек были всегда широко раскрыты для друзей — и в особенности для революции, на которую он с красивой лёгкостью давал тысячи так, как другой не даст рубля. Первая в России ежедневная легальная марксистская газета «Самарский вестник» была создана в значительной степени благодаря щедрой поддержке Н. Г. Гарина-Михайловского. Широко давал он деньги и на другие издания — в частности, на большевистский журнал «Вестник жизни» — и вообще на революционную работу.

Воскресенье

Назавтра, в воскресенье, мы с мужем поехали на вечер к Михайловским.

Все комнаты прекрасной квартиры в Свечном переулке были полны людей, радостно слетевшихся для встречи с Николаем Георгиевичем. Тут были писатели, художники, актёры и актрисы, учёные, общественные деятели — и все с большими, известными именами. Единственный среди них молодой «просто инженер» оказался всё-таки племянником Веры Николаевны Фигнер! Очень поразила меня, помню, молодая женщина-астроном, передвигавшаяся при помощи двух костылей и совершенно глухая. Слуховых аппаратов тогда не было, и ей просто кричали в самое ухо, а она отвечала очень весело и остроумно. Надо было видеть, с какой доброй лаской говорил с ней Николай Георгиевич, как сердечно смотрел в её умное, очень привлекательное лицо! Он был центром всего, все светлели при его приближении — тут бросит на ходу весёлую шутку, там, присев, примет участие в споре. Казалось, уйдя он — и все затоскуют, замолчат, даже лампы начнут светить вполнакала.

Было тут и немало курьёзов. Например, среди гостей ходил, позируя и рисуясь, сын одного знаменитого художника (и сам художник), похожий на итальянского красавца натурщика, драпируясь в широкую античную чёрную хламиду на красной подкладке. Ещё была среди гостей очень эффектная дама, и решительно никто не знал, кто она такая. Когда я спросила об этом у самого Николая Георгиевича, он сделал необыкновенно таинственное лицо.

— Хорошо, я скажу вам. Но вы никому не расскажете?

— Никому!

— Честное слово?

— Честное слово!

— Ну, слушайте. Эта женщина... Понятия не имею, кто она! Первый раз в жизни её вижу!..

Таких «незнакомцев» было, вероятно, немало в этой пёстрой и шумной толпе гостей.

Немного позднее сидевшая рядом со мной за столом дочь Николая Георгиевича, курсистка, Надежда Николаевна, показала мне на отца, который на противоположном конце стола, разговаривая, считал что-то, загибая пальцы.

— Знаете, что папа там сейчас делает?— спросила, смеясь, Надежда Николаевна. — Он детей своих считает. Это у него любимое удовольствие! От первой жены — столько-то, от второй — столько-то...

Но Николай Георгиевич не только нежно любил всех своих детей — он умел по-настоящему серьёзно уважать их. Чуть ли не все его дети сочувствовали разным политическим партиям, каким сам Николай Георгиевич иногда нисколько не сочувствовал. Старший сын, Гаря, юноша с симпатичным, умным лицом, называл себя эсером. А самый младший, Тёма, необыкновенно живой мальчик лет двенадцати, гордо говорил о себе:

— Я анархист!

— Ну, почему, собственно, ты анархист? — серьёзно спрашивал Николай Георгиевич. — Чем тебе анархисты так понравились?

— А тем, что анархисты — молодцы, а все остальные — слякоти! — решительно отвечал мальчик.

Но уже под утро, когда многие гости разошлись и сам Тёма-анархист давно лёг спать, за столом завязалась беседа, и именно об анархизме. Видный теоретик марксизма неторопливо и уверенно стал излагать доказательства порочности анархизма.

— Одну минуту! — остановил оратора Николай Георгиевич и, обращаясь к домашним, спросил: — Тёма где?

— Давно спит.

— Разбудите. Пусть придёт сюда и послушает.

Через две-три минуты заспанный мальчик в длинной ночной рубашке, жмурясь на свет и протирая глаза, появился в столовой. Николай Георгиевич усадил его рядом с собой.

— Вот. Сиди и слушай. Это тебе полезно.

Сколько отцов в то время ответило бы своим сыновьям руганью и угрозами:

— Я т-тебе т-так-кой анархизм покажу, сидеть забудешь!

Николай Георгиевич уважал своего сына и верил в его способность самостоятельно разобраться в труднейших вопросах эпохи, хотел по-товарищески помочь ему... Тёма уходил спать, что-то ворча, но, несомненно, призадумавшийся. А Николай Георгиевич после ухода мальчика подмигнул нам:

— Кажется, немного подействовало!

Понедельник

А на следующий день, в понедельник, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский скончался. На редакционном совещании в журнале «Вестник жизни» ему внезапно стало худо, и он умер от паралича сердца.

Те же люди, которые накануне заполняли его гостеприимный дом, теперь толпой окружали его мёртвого. Гроб стоял под висевшим на стене прекрасным портретом Николая Георгиевича. Гроб утопал в цветах, но не было обычного страшного контраста между цветами, полными жизненных соков, и мёртвым телом, которое покинула жизнь: Николай Георгиевич лежал, как живой, спящий человек.

Ранним петербургским утром, похожим на поздние сумерки, гроб снесли вниз и поставили на катафалк. Вся похоронная процессия двинулась за гробом по Свечному переулку к Лиговке. Один цветок, оторвавшийся от венка, остался лежать посреди улицы. Какой-то ребёнок поднял цветок и унёс.

В опустевшем переулке было чувство тоски и затерянности, как на глухом полустанке, мимо которого только что проплыл сияющий огнями экспресс, проплыл — и пропал в пустой тьме.

Александра БРУШТЕЙН.

★

СТОЛЕТИЕ ТРЕХ ЗАМЕЧАТЕЛЬ- НЫХ КНИГ

Вот три сборника стихов. Заглавные листы двух из них почти совпадают, кроме фамилий авторов: «Стихотворения Н. Огарёва. Издание К. Солдатёноква и Н. Щепкина. Москва. В типографии Александра Семёна. 1856». Заглавный лист второго сборника отличается от первого только одним словом: вместо «Огарёва» здесь «Некрасова». Кое-что необычное есть на заглавном листе третьего сборника: «Стихотворения Ивана Никитина. Издал гр. Д. Н. Толстой. Воронеж. 1856/7364»¹. В отличие от первых двух сборников, здесь есть статья издателя об авторе стихов.

Эти три сборника, изданные в 1856 году, замечательны тем, что в них явственно обозначился переход от поэзии декабристов к поэзии революционных демократов.

¹ По старинному церковному летоисчислению, которое велось от «сотворения мира».

У Огарёва и Никитина это были первые их книги, у Некрасова — вторая.

У каждого писателя первая и вторая его книги являются для него экзаменами, и не только его литературных способностей, но и степени его самокритики. Автора ждёт или слава, или относительное признание, или провал. Провалы обычны, когда автор, ещё не найдя своего творческого лица, торопится печататься. Так было с Некрасовым, который в 1840 году, когда ему было девятнадцать лет, издал сборник подражательных стихов «Мечты и звуки» и после отрицательной рецензии Белинского скупал и уничтожал этот сборник. Целых шестнадцать лет после этого не выступал он со второй своей книгой. Никитин и особенно Огарёв не спешили и с первой книгой. Никитину в 1856 году было тридцать два года, а Огарёву — сорок три.

Прижизненные издания поэтов никогда не бывают полными, но по ним очень интересно следить, как, в каком виде являлся поэт перед своими современниками, каков был его отбор. При этом нельзя не учитывать, что, желая выразить себя, поэты вынуждены были бороться не только с вкусами редакторов, как было у Никитина, но и с более серьёзным препятствием — с цензурой. Друг Герцена, всю свою жизнь отдавший пропаганде революционных идей, Огарёв именно поэтому не мог в подцензурном издании выразить самое характерное, что у него было: свою революционность.

Три темы характерны для сборника Огарёва 1856 года: дружба («Друзьям», «Старый дом», «Не многим»), скитания («Зимний путь», «Дилижанс» и другие), нищета и тяготы крестьянской жизни («Деревенский сторож», «Изба», «Кабак»). Третья тема — самая ценная: в этой теме Огарёва надо считать предшественником и учителем Некрасова. Сборник ещё не был закончен печатанием, когда Огарёв навсегда оставил родину, переселился к Герцену в Лондон, где в 1859 году напечатал второе (и последнее) издание своих стихов, уже с включением революционных.

В сборнике Некрасова громадное значение имело самое начальное стихотворение, означенное особой нумерацией, как бы программное, — «Поэт и гражданин». Здесь в

трёх местах по требованию цензуры текст был заменён точками, но самые важные строки — «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — прозвучали в полную силу. Книга имела необычайный успех.

Тут, в первом разделе, было помещено стихотворение «В дороге», прослушав которое Белинский в своё время сказал, что Некрасов «поэт — и поэт истинный»; здесь впервые в отдельном издании появились «Влас», «В деревне», «Огородник», «Забывтая деревня», «Тройка», ставшая песней, «Школьник», «Внимая ужасам войны» и другие. Характерно, что этот сборник Некрасова был запрещён к переизданию и переиздан был только в 1859 году в Лейпциге.

Некрасову подражал, как указывала критика, Никитин, который и сам не отрицал этого. Но, будучи воронежским уроженцем, он не мог не отразить на себе влияния своего предшественника и земляка поэта Кольцова. Не Некрасов, а Кольцов чувствуется, например, в таких строках Никитина:

В горе, в чёрный день,
Соловьём поёшь;
При нужде, в беде
Смотришь соколом...

Никитин недоволен был своим издателем и редактором реакционером Д. Толстым, который старался представить Никитина более благонамеренным, чем он был. Редактор не включил в сборник стихотворение «Мщенье», где рассказывается, как мужик убил барина, зато включил много длинных описательных стихотворений бытового характера, главным образом на тему семейных неурядиц. Книга вызвала отрицательный отзыв Чернышевского. Никитин согласился с этим отзывом и в 1859 году выпустил второй сборник стихов, составленный самостоятельно.

Из трёх поэтов, издавших в 1856 году замечательные сборники своих стихов, наименьшее внимание читателей привлёк к себе Огарёв, что Чернышевский считал несправедливым. В наше время постоянно и всё более полно переиздаются стихи всех трёх поэтов. Но прижизненные издания никогда не теряют своего очарования: в них чувствуется трепет жизни.

Ив. РОЗАНОВ.

Р Е П Л И К И

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Бывает, что у поэта не сразу выковывается нерушимая крепь, бывает, что из одного выплавленного куска в конце концов получаются две поковки, а то и больше.

Есть в рукописях Александра Блока одна большая выплавка размером в 46 строк, датированная 1 августа 1908 года и начинающаяся известной фразой: «Когда замрут отчаянье и злоба». К 1910 году из этой заготовки выделилось и было напечатано стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...», в 1914 году — особое стихотворение «Когда замрут отчаянье и злоба» и, наконец, в 1915 году стихотворение «И час настал. Свой плащ скрутило время...». Об этом год назад рассказал на страницах журнала «Новый мир» В. Орлов.

Семь лет вынашивал поэт нужную форму для трёх поэтических мыслей и в конце концов нашёл для каждой из них своё особое выражение в соответствии с их масштабами. Длительным был этот процесс само-редактуры. Блок отсекал побочное, прояснял главное, тем самым раскрывая и развивая основную тему и добиваясь монолитной цельности каждого из этих стихотворений. Поучительный пример, которому, к сожалению, далеко не всегда следуют поэты.

У нас, видно, ослабел интерес к короткому законченному стихотворению. Поэтому иной раз, читая талантливые и яркие лирические стихи, не можешь решить, что это: недовершённая заявка на полифоническую разработку одной темы, так сказать, замах на поэму, или намеренное многотемье, стиснутое и сжатое в размеры лирического наброска?

Всё это вспомнилось мне, когда в номере 106 «Литературной газеты» от 6 сентября этого года я читал стихотворение одного из виднейших наших поэтов, Владимира Луговского, «Кондо-озеро»:

Выются листья —
червонные козыри.
Ходит синей волной
Кондо-озеро,
Кондо-озеро,
ширь тревожная,
На отцовскую землю
положенная.
С моря Белого
журавли летят,
К морю Чёрному
журавли трубят.
Снова тянется
песня вечная,
Перелёта нить
бесконечная.
В небе
древний клич
уходящих стай.
Уплывает путь
за верстой верста.
...Все берёзы стоят
завороженные,
Листья
кровью кружат,
на смерть брошенные.
Осень, осень,
червонный
летучий лист.
Синева ледяная,
синичий свист.
Дикий камень гранит,
что на зорях звенит.
Пни, болота, мхи,
рыжих туч верхи.
Жизнь с тобою,
север, не пройдена —
Вогатырская моя родина...

Хорошие, крепкие строки! И вполне законченное целое. Но эти восемнадцать строк лишь начало и середина той вещи, которая была напечатана в газете. В эти восемнадцать строк вклинены автором ещё тридцать. Их я опустил. На мой взгляд, они составляют совершенно особое стихотворение, которое иной читатель, может быть, предпочтёт моему выбору.

А пока перечитываешь газетный вариант, невольно возникает тот же вопрос: что это — превосходная в отдельных частях заготовка, которая должна вырасти в большую поэму, либо теперешнее «Кондо-озеро» станет истоком для нескольких разных по тону и настроению лирических струй? Я не сомневаюсь, что и в полном виде стихотворение это для самого автора живёт своей полнокровной жизнью, но до читателя долетают лишь её отголоски.

Конечно, это не более как пример, пришедшийся к случаю. Конечно, если напечатанный в «Литературной газете» вариант — это кусок поэмы или фрагмент будущего цикла, охватывающего и Север, и Восток, и Урал, тогда настоящая реплика неправомерна. Но если задумано было автором единое, самостоятельное лирическое стихотворение, тогда приходится остаться при своём особом читательском мнении, считая, что прав был Блок, когда он порознь и в разное время выпустил на волю трёх птенцов, хоть и выплестованных в одном гнезде.

Иван КАШКИН.

★

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИМЕЧАНИЯМ

1. Новые пути в комментировании

Оказывается, они возможны. Их при благосклонном попустительстве редактора Б. Арон демонстрирует миру Н. Гальперина, составитель примечаний к «Преступлению Сильвестра Бонара» Анатоля Франса, выпущенному Гослитиздатом. Раньше комментаторы, разъясняя читателям, кто такие Дюкре-Дюмениль, Эркман-Шатриан и Сирано де Бержерак, по простоте душевной считали своей первейшей обязанностью сообщать читателям годы рождения и смерти этих лиц. Необходимость указывать точные даты ни в ком сомнения не возбуждала.

Иначе построены комментарии Н. Гальпериной. Взяв за образец изречение некоего гоголевского персонажа: «День был без числа», комментатор, чтобы не утруждать себя нелёгкими поисками точных датировок, даёт о персонажах, упоминаемых Анатолем Франсом, сведения с точностью... до столетия: «Полен Парис — французский историк литературы и филолог в XIX в.», «Рекамье, Юлия-Адслинда — известная своей красотой французская аристократка, хозяйка салона, где собирались выдающиеся люди того времени (конца XVIII — начала XIX в.)», «Скриб, Огюстен-Эжен — француз-

ский драматург конца XVIII — начала XIX в.» и т. д.

Н. Гальперину не смущает, что в конце XVIII века Скриб был не драматургом, а девятилетним мальчиком, игравшим в лошадки. Зачем читателям точные даты? И так сойдёт!

Справедливость требует отметить, что иногда в примечаниях сообщаются точные даты. Но именно тогда их лучше бы и не давать. Вот, например, Рабле. Сообщается точная дата его рождения — 1495. А напрасно! Специалисты с ног сбились в поисках точной даты рождения автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» и в конце концов пришли к выводу, что она неизвестна. Так зачем же утаивать от читателей то, что точно установлено, и одновременно вводить их в заблуждение, выдавая за точно установленное то, что на деле является неразрешённой проблемой?

Можно представить себе, что получится, если работники других отраслей справочного дела подхватят почин Н. Гальпериной. Тогда появятся расписания поездов с приблизительными данными прихода и отхода, календари с приблизительными указаниями о долготе дня и о времени восхода и захода солнца, а письма и телеграммы будут отправляться «на деревню дедушке».

А. К.

2. Гослитиздат спорит с Гослитиздатом

Писатель Джек Лондон умер в 1916 году. Это знают все, в том числе и Гослитиздат. В сборнике

избранных рассказов, выпущенных недавно в свет, говорится: «Имя американского писателя Джека Лондона (1876—1916) хорошо известно советским людям».

Спустя год после своей смерти Джек Лондон написал два рассказа: «Прибой Канака» и «Как аргонавты в старину...». Как это могло произойти, никому не известно. Кроме Гослитиздата. Ибо в сборнике, о котором мы говорим, оба рассказа датированы 1917 годом.

Впрочем, Гослитиздату это известно нетвёрдо. Ибо в собрании сочинений того же писателя, выпущенном в свет тем же издательством, эти рассказы датированы уже без всякой мистики 1916 годом, что правильно.

Быть может, редакторам обеих книг, благо они работают под одной крышей, стоило бы встретиться, чтобы обсудить вопрос о способах проверки дат?

В. С.

3. Объяснение наоборот

Раскройте на семидесятой странице книгу прогрессивного итальянского писателя Карло Леви «Христос остановился в Эболи», вышедшую недавно в Издательстве иностранной литературы (переводчик и автор предисловия и примечаний Г. Рубцова). На этой странице рассказывается, как автора, живущего в глухой итальянской деревушке под полицейским надзором, посещают представители местной власти. Карло Леви пишет: «Но вот появились, чтобы проконтролировать мою работу, диоскуры, хозяева местечка — разряженный и

чопорный бригадир с саблей и сияющий улыбками, церемонный, полный подчёркнутого благожелательства подеста...»

Слово «диоскуры» переводчик решил объяснить в подстрочном примечании. Диоскуры, разъясняется в примечании, — «Созвездие Близнецов».

Если бы уважаемый переводчик (кстати сказать, в целом хорошо справившийся с переводом книги), не углубляясь в дебри астрономии, обратился хотя бы к такому не являющемуся библиографической редкостью справочному изданию, как Большая Советская Энциклопедия, то на 399-й странице её четырнадцатого тома он смог бы прочесть следующее: «Диоскуры... — в греческой мифологии сыновья Зевса и Леды, герой-близнецы (смертный Кастор и бессмертный Полидевк...)» (которого иначе звали Поллуксом).

Вот, оказывается, почему Карло Леви иронически назвал «диоскурами» этих двух, всегда вместе появляющихся у него людей!

Созвездие Близнецов действительно существует. Больше того, в нём действительно есть две звезды, названные в честь легендарных диоскуров именами Кастора и Поллукса. Но утверждение, что слово «диоскуры» стало нарицательным для обозначения двух неразлучных людей потому, что в Созвездии Близнецов есть эти две звезды, равносильно предположению, что богиня Афина заимствовала своё имя у города Афины или что Нева названа так в честь Невского проспекта!

В. РОГАЧЕВСКИЙ.

★

ДВА СЕРЬЕЗНЫХ ОТКРЫТИЯ

Журнал «Иностранная литература» совершил два открытия, связанные с именами известных писателей разных веков и народов.

В свете этих открытий приходится, например, признать поколебленным доселе всеобщее убеждение, что Бунин скончался в 1953 году. Очерк В. Антонова, посвящённый встречам с Бу-

ниним, иллюстрирован фото. Под фото, изображающим писателя, сидящего в обществе своей жены в саду виллы Бельведер, мы находим подпись: «Грас, 1955 г.» («Иностранная литература», 1956, № 9).

И о Диккенсе «Иностранная литература» располагает новыми сведениями. В заметке «Выставка псевдонимов» («Иностранная литература», 1956, № 9, стр. 281) мы читаем: «Помимо Диккенса, Джозефа Конрада и других известных писателей, писавших только под псевдонимами...»

Раньше мы полагали, что, кроме нескольких случаев, когда Диккенс выступал в печати под псевдонимами (Боз и некоторые другие), он всегда подписывал свои книги своей подлинной фамилией, но теперь оказывается, что дело обстоит совсем не так. Но как же? Чей же это всё-таки псевдоним — Диккенс?

И ещё один вопрос. Занимается ли кто-нибудь в журнале «Иностранная литература» проверкой дат, имён и тому подобной прозой?

П. К.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АРОН КОПШТЕЙН. Стихотворения. Перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1956. 176 стр. Цена 3 р.

Арон Копштейн погиб на финском фронте, погиб, «спасая под ураганым огнём своего раненого друга». Так сообщил о его смерти командир взвода. О короткой жизни поэта расскажет нынешним и будущим читателям только что вышедшая небольшая книжка с портретом молодого солдата.

Жизнью Арона Копштейна была поэзия, которую он любил и знал, как любят и знают очень немногие.

В сборник вошли стихотворения, отобранные из шести книг. Это лучшее, что написал Копштейн,—его избранное. Многие стихи даны в переводах с украинского, многие были написаны по-русски. И по ним с удивляющей отчётливостью видишь, как мягко, свободно звучала у Копштейна, для которого родным языком был украинский, русская речь, как безоговорочно «подчинялись» ему единственно нужные слова, как точно и поэтично выражали они его мысль и чувство...

Без преувеличения, с чувством гордости за человека, прожившего такую короткую и такую большую жизнь, можно сказать: для тех, кто впервые познакомятся с поэзией Арона Копштейна, это будет счастливая встреча, волнующее открытие.

ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ. Учпедгиз. М. 1956. 176 стр. Цена 2 р. 55 к.

Необходимость в таком своде правил назрела давно, если учесть, что язык наш претерпел некоторые орфографические и пунктуационные изменения и в правописании существовал разнобой, особенно затруднявший работу издательств и школьное преподавание. Аннотируемое издание — итог длительной работы советских филологов и педагогов — должно содействовать устранению разнобоя и упорядочению русского языка.

Полный свод правил русской пунктуации читатель найдёт в этой книге впервые.

В сборнике две части (орфография и пунктуация), каждая из которых делится на главы, объединяющие основные правила правописания.

Книга, несомненно, станет практическим руководством для каждого, кто интересуется вопросами русского правописания.

И. ПОРТЯНКИН. Большевицкая печать в годы первой русской революции. Госполитиздат. М. 1956. 128 стр. Цена 2 р.

В книге И. Портянкина даётся обзор нелегальной и легальной большевицкой печати в период подъёма революции 1905—1907 годов, рассказывается о газетах, выходивших после поражения декабрьского вооружённого восстания. Отдельная глава посвящена солдатской большевицкой печати.

Несмотря на невероятные трудности, партии удалось развернуть широкую сеть своей периодической печати. В 1905—1907 годах одновременно выходило больше ста периодических печатных органов большевицкого направления. Тираж некоторых центральных газет достигал почти ста тысяч экземпляров, а в отдельных случаях разовый тираж доходил до 200—250 тысяч экземпляров.

Всё развитие большевицкой печати в годы первой русской революции проходило под направляющим воздействием В. И. Ленина. В эти годы Ленин стоял во главе всех центральных периодических изданий нашей партии. С 1 января 1905 года по 3 июня 1907 года он написал свыше 265 статей и политических заметок. Книга даёт представление об активном участии в печати видных деятелей большевицкой партии.

М. ЦУНЦ. Великие стройки на реках Сибири. Госполитиздат. М. 1956. 79 стр. Цена 1 р.

Природа щедро одарила этот край. Здесь всё огромно, обширно, величаво: бескрайние равнины, могучие горы, нескончаемые леса, богатые реки. По сибирской земле несут свои воды могучая Обь, стремительная Ангара, величавый Енисей.

Живо повествует автор о покорении сибирских рек человеком. Читатель не только знакомится со строительством крупных гидроузлов у Иркутска и Братска, у Красноярска и Новосибирска, но и видит, какое значение имеет обуздание рек для будущего Сибири. Именно в сибирских реках, таящих восемьдесят процентов всех запасов «белого угля» страны, находится тот «электрический ключ», с помощью которого советский человек отобрёт богатейшие подземные кладовые Сибири.

Заключительная глава «Это будет в 1960 году» рисует завтрашнюю Сибирь.

Сдаются в печать...

Не будет преувеличением сказать, что сотни тысяч советских читателей выписывают подписные издания и потому кровно заинтересованы в своевременном выходе в свет добротного оформленных томов собраний сочинений любимых писателей.

Что ожидает подписчиков в конце нынешнего года и в наступающем, 1957 году? Расскажем о планах работы нашего крупнейшего литературного издательства — Гослитиздата, основного «поставщика» подписных изданий. Начнём с тех собраний сочинений, которые начаты изданием в текущем году или даже раньше.

В декабре должны выйти в свет 5-й том собрания сочинений А. Герцена, 4-й том Ф. Достоевского, 11-й том И. Тургенева, последние томы собраний сочинений С. Сергеева-Ценского (10-й том) и Б. Горбатова (5-й том), 3-й том М. Шагинян, 7-й том Ж. Верна, 4-й том А. Ирасека, 5-й том Р. Тагора, 4-й том Ф. Шиллера. Остальные томы, завершающие собрания сочинений перечисленных писателей, выйдут в свет в 1957 году. В будущем году будет закончено также издание сочинений Г. Успенского, А. Чехова, В. Вишневского, М. Пришвина, В. Катаева, Р. Роллана и И. Вазова.

В нашей печати неоднократно появлялись упреки в адрес Гослитиздата по поводу значительных опозданий с выпуском тех или иных подписных изданий. В настоящее время Гослитиздат во многом исправил это положение. Однако по-прежнему далеко ещё от завершения издание сочинений В. Вишневского и особенно Л. Толстого. Полное собрание сочинений Л. Толстого было начато ещё в 1928 году, во исполнение указания В. И. Ленина (к слову сказать, это одно из очень и очень немногих полных собраний сочинений).

Причины задержек с выходом в свет очередных томов различны и в ряде случаев зависят не только от Гослитиздата, но и от научных учреждений, полиграфистов, бумажников.

Это видно хотя бы на примере того же собрания сочинений Л. Толстого (из 90 томов до настоящего времени ещё не вышли в свет 14). В течение 1956 года ленинградская типография «Печатный двор» не принимала к набору семь томов. До сих пор не полностью сданы тиражи томов 15—16-го и 81—82-го. Причин здесь немало, и они настолько важны, что могли бы служить темой для специального разговора. Укажем

лишь на то, что экономические интересы типографий идут порой вразрез с интересами издательства. При существующих условиях для типографий нерентабельно выпускать объёмные издания, выходящие сравнительно небольшими тиражами, — именно это имеет место с печатанием сочинений Л. Толстого.

Какие новые подписные издания Гослитиздата начнут выходить в 1957 году?

Собрание сочинений Н. Гарина-Михайловского будет состоять из четырёх томов, А. Куприна — из шести. Читатель познакомится с некоторыми новыми для него произведениями писателя, написанными в зарубежный период его жизни.

В будущем году выйдут первые три тома пятитомного собрания сочинений А. Караваевой. Собрание сочинений С. Маршака будет состоять из четырёх томов. Первый том включает стихи, сказки, пьесы для детей; второй — лирические стихотворения, повести в стихах, пьесы; третий — переводы; четвёртый — литературно-критические статьи.

Три из шести томов собрания сочинений К. Паустовского (они выйдут в 1957 году) будут содержать повести, расположенные в хронологическом порядке, включая «Золотую розу».

Будет начато изданием пять собраний сочинений зарубежных писателей.

Сочинения Ч. Диккенса составят 30 томов, А. Франса — 14 томов, Г. Манна — 8 томов, С. Жеромского — 4 тома, Прем Чанда — 4 тома.

В будущем году выйдут в свет четыре из восьми томов сочинений Генриха Манна.

Сочинения одного из крупнейших польских писателей-реалистов, Стефана Жеромского, были очень популярны в России в дореволюционные годы. В советское время они давно не переиздавались и, к сожалению, мало известны нашему читателю. В первый том войдут повести и рассказы, во второй — автобиографическая повесть «Сизифов труд» и роман «Бездомные», в третий и четвёртый — большой исторический роман «Пепел» (из времён наполеоновского нашествия), повесть «Верная река» и «Из дневника писателя». Это произведение было недавно впервые опубликовано в Польше.

Четырёхтомник классика новой индийской литературы Прем Чанда будет состоять из романов «Обитель любви», «После битвы», «Жертвенная корова» и ряда рассказов.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

за 1956 год

Константин Симонов. Памяти А. А. Фадеева. VI—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, КОМЕДИИ

Александр Бек. Жизнь Бережкова. Роман. I—115; II—96; III—140; IV—70; V—102.

Бертольт Брехт. Господин Пунтила и его слуга Матти. Народная комедия. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова. X—108.

И. Горелик. Точная позиция. Рассказ. III—180.

Д. Гранин. Собственное мнение. Рассказ. VIII—129.

В. Дудинцев. Не хлебом единым. Роман. VIII—31; IX—37; X—21.

С. Залыгин. Свидетели. Повесть. VII—44.
Любовь Кабо. В трудном походе. Повесть. XI—105, XII—82.

Эмиль Людвиг. Рембрандт. Перевод с немецкого Р. Розенталя. VII—163.

Артур Миллер. Человек, которому так везло. Пьеса. Перевод с английского Е. Гольшевой и Б. Изакова. II—157.

Валентин Овечкин. Трудная весна (Продолжение очерков: «Районные будни», «На переднем крае», «В том же районе», «Своими руками»). III—30; V—37; IX—121.

Фёдор Панфёров. Недавнее прошлое. Повесть. XI—41; XII—23.

В. Тендряков. Саша отправляется в путь. Повесть. II—25; III—79.

Татьяна Тэсс. Главный редактор. Рассказ. V—183.

Назым Хикмет. А был ли Иван Иванович? Пьеса. Перевод с турецкого А. Бабаева и М. Павловой. IV—18.

Бернард Шоу. О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории. Одноактная пьеса. Перевод с английского И. Гуровой. Ответ простакам, стрывки из радиоречи. VII—146.

Степан Щипачёв. Верёзовый сок. Повесть. I—33.

Бруно Ясенский. Заговор равнодушных. Первая часть неоконченного романа. Предисловие Анны Берзинь. V—71; VI—46; VII—96.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Арагат Айвазян. Из стихов армянских поэтов: Русскому народу. Перевод Елены Николаевской и Ирины Снеговой. V—98.

Сагател Арутюнян. Из стихов армянских поэтов: Фронтовой псымонссец. Перевод В. Звягицовой. V—101.

Яков Белинский. Звёзды; Об стол ударил кепкой храбро... Стихи. III—27.

Ольга Берггольц. Стихи из дневников (1938—1956 гг.): Испытание; Родине; Взял неласковую...; Я тайно и горько...; Ответ; О золотой свадьбе; Тот год; Перед разлукой; Бабье лето. VIII—26.

Валентин Берестов. Семена на снегу. Стихи. XII—81.

Виктор Бонов. Три стихотворения: Снег; Пороша...; Весна; Дождь. IV—171.

Нина Бялосинская. Одиночество; Одно слово. Стихи. III—137.

Константин Ваншенкин. Под взглядом многих скорбных глаз... Стихи. VII—95.

К. Ваншенкин. Весной; Немое кино. Стихи. XII—77.

Евгений Винокуров. Любимые. Стихи. III—135.

Евгений Винокуров. На платформе; Лебеди. Стихи. V—69.

Евг. Винокуров. Юность. Стихи. XII—22.

Вильям Вордсворт. Пролог к поэме «Питер Бэлл»; Бессонница. Стихи. Перевод с английского Натальи Кончаловской. IX—119.

Константы Ильдефонс Галчинский. Стихи: Лирическая беседа; Две гитары. Перевод с польского Ал. Ревича. XII—20.

Расул Гамзатов. Грузинским девушкам. Стихи. Перевод с аварского Я. Козловского. VII—144.

Нил Гилевич. Из детских лет. Стихи. Перевод с белорусского Якова Хелемского. III—29.

Владимир Гордейчев. Наше время. Стихи. II—95.

Владимир Гордейчев. Земная тяга. Стихи. XII—79.

Ю. Гордиенко. Туркменские стихи: Аму; Над раскопками Нисы; Человек из пустыни. VII—31.

Николай Грибачёв. Утро и мы. Стихи. V—7.

Семён Гудзенно. У памятника; Я здесь с утра...; Пейзаж. Стихи. IX—34.

Дмитрий Гулиа. Ленни с нами. Стихи. Перевод с абхазского Марка Собля. IV—16.

Сергей Давыдов. Привал. Стихи. II—94.

Евг. Евтушенко. Цельность. Стихи. III—137.

Евг. Евтушенко. Дорога. Стихи. V—3.

Евг. Евтушенко. Новые стихи: Октябрь; Студенты; Пионерский горн; Давай поедem вниз по Волге. XI—36.

Юрий Ефремов. Как землянка... Стихи. II—93.

Тамара Жирмунская. Ожидание. Стихи. III—136.

Н. Заболоцкий. Утро; Лесное озеро; Портрет; Читая стихи; О красоте человеческих лиц. Стихи. VI—133.

Н. Заболоцкий. Противостояние Марса. Стихи. X—104.

Генрик Ибсен. Два стихотворения: Пролог к первому представлению «Ивановой ночи». Перевод с норвежского В. Адмони и Т. Сильман. Четверостишие. Перевод с норвежского В. Адмони. V—206.

Из дагестанской народной лирики. Старые песни: Я на тебя работал. Аварская; У купца в магазине. Аварская; Уходящему. Даргинская; Если, парень, сокола... Кумыкская; Ты был. Кумыкская; Труссы. Кумыкская; Трудно ли быть мужчиной? Лакская; И сад орошает дождём... Лакская. Переводы Н. Гребнева. IX—179.

Аветик Исаакян. Сатана и его дочери (Шуточная средневековая басня). Перевод с армянского Сергея Михалкоца. I—152.

Василий Казин. Лирические стихи: На выставке индийского искусства; Индийская танцовщица; На могиле матери; Другу; Стих Пушкина читать начни. VII—86.

Сильва Капутинян. Из стихов армянских поэтов: Впервые в Цимлянском море... Перевод Ирины Снеговой. V—98.

Сильва Капутинян. Тайное голосование. Стихи. Перевод с армянского Веры Потаповой. VIII—124.

Лев Квитко. Стихи для детей: Островок; Мальчик с гор; Ремонт; Ворона и ласточка; Дождь в сумерки; Ливень. Переводы с еврейского Т. Спендиаровой, Павла Шубина, Ел. Благининой. VIII—119.

Семён Кирсанов. Семь дней недели. Поэма. IX—16.

Н. Коржавин. Воспоминание. Стихи. X—19.
Н. Коржавин. Родившимся в двадцатых. Стихи. XI—35.

Кайсын Кулиев. Из фронтовой тетради. Стихи: Перед боем; Женщине. IX—33.

Владимир Лифшиц. Аист. Стихи. IV—67.
Вл. Луговской. Осенью; Звезда. Стихи. IV—173.

Вл. Луговской. Памяти друга. Стихи: Сердце; Бременчатый дом; Прошлое. VII—39.

Вл. Луговской. Та, которую я знал; Чимган; В сельской школе; Веснянка. Стихи. VIII—18.

Михаил Лунонин. Новые стихи: Далёкое; Ты — всё...; Звёзды; Стихи дальнего следования; Лето моё началось с полёта...; Чьё-то лето. I—146.

Михаил Лунонин. Товарищам; Старик. Стихи. III—177.

Мих. Лунонин. В новогоднюю ночь. Стихи. XII—18.

Марк Максимов. Встреча однополчан. Стихи. II—89.

Перец Марниш. Твой взгляд; Миру не вдать второй Галилеи; В сумерки у моря; Завота. Стихи. Переводы с еврейского А. Ахматовой, Сергея Наровчатова, Александра Голембы. X—101.

Мухран Мачавариани. О Партии впервые я пишу... Стихи. Авторизованный перевод с грузинского Егг. Евгушенко. II—23.

Владимир Маяковский. Письмо Татьяне Яковлевой. Неизвестное стихотворение. Комментарии Н. Реформатской, заведующей Научным отделом Музея В. В. Малковского. IV—59.

Лев Мочалов. Жаворонок. Стихи. II—91.

Сергей Наровчатов. К партии. Стихи. II—21.

Витезслав Незвал. Баллада из Пограничья. Стихи. Перевод с чешского Якова Хелемского. VII—36.

Е. Николаевская. Едалеке. Стихи. III—139.

Лев Ошанин. Душа народа. Стихи. II—22.

Пиллен Панченко. Моим героиням. Стихи. Перевод с белорусского Якова Хелемского. III—25.

Аленсис Парнис. Сказание о Никосе Белояннисе (Из книги второй. См. «Новый мир» № 6 за 1954 год). Перевод с греческого Н. Разговорова. VI—38.

Борис Пастернак. Хлеб. Стихи. X—18.

Н. Рыленков. Коктебель; Галья; Во время шторма; После шторма. Стихи. X—99.

Паруйр Севак. Из стихов армянских поэтов: Разговор с сыном. Перевод М. Максимова. V—99.

Паруйр Севак. Нелёгкий разговор. Перевод с армянского Евг. Евтушенко. VI—121.

Борис Слуцкий. Счастье; Все слабели...; Домой; То слышится крик... Стихи. X—159.

Ярослав Смеляков. Маленькие праздники. Стихи: Был вечер...; Первый бал; Признание. IV—63.

Ярослав Смеляков. Переулочек. Стихи. V—5.

Сергей Смирнов. Рядовой гражданин. Стихи. IV—17.

Сергей Смирнов. Сибирское. Стихи. V—9.
Тициан Табидзе. Стихи разных лет: Петроград; Светает; Карменсита; Стихи о Мухранской долине; Лежу в Орпири...; Праздник Аллаверды; Моя книга. Переводы с грузинского Б. Пастернака и Н. Заболоцкого. VII—90.

З. Телесин, Р. Баумволь. Верблюжонок. Поэма. XII—190.

В. Фирсов. Война; О листьях. Стихи. VIII—137.

Яков Хелемский. Два стихотворения: Иной твердит с утра...; В далёком ауле. VIII—126.
Назым Хинмет. Песня; Осень. Стихи. Перевод с турецкого М. Павловой. III—134.

Сергей Ченмарёв. Из трёх тетрадей. Предисловие Михаила Луконина. I—81.

Екатерина Шевелёва. Снег в апреле; Токонома; «Что матер!». Стихи. X—106.

Ованес Шираз. Из стихов армянских поэтов: К родине. Перевод Льва Гинзбурга. V—97.

Г. Эмин. Из стихов армянских поэтов: Армянское зодчество. Перевод В. Звягинцевой. V—99.

Юрий Яковлев. В пригородном поезде. Стихи. IX—182.

А. Яшин. У кабинета Ильича; Вагон в степи; Елочка; Извечное; Утром не умирают; Приметы. Стихи. VI—33.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Иван Франко. Стихотворения: Майские элегии; Притча о подлинной ценности. Переводы с украинского Н. Заболоцкого и Леонида Хинкулова. VIII—138.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Л. Айзерман, учитель 278-й московской школы. Продолжаем разговор о школе. Живое и омертвевшее. VII—16.

К Алабян. Архитектура и жизнь. I—17.

А. Безыменский, И. Вайнберг. Из серии очерков «Заводские будни» (См. «Новый мир» № 10 за 1955 год):

Дорогу техническому прогрессу! V—10.

Широкий шаг. VI—7.

И. Белов. Заметки о техническом прогрессе. II—3.

Анатолий Злобин. Репортаж с наплавного моста (Бесконфликтный очерк с прологом и эпилогом). VIII—3.

П. Кацев, кандидат технических наук. Заметки директора МТС. IX—3.

Сабит Муканов. На вершине Таскабака. Перевод с казахского. X—3.

Валентин Овечкин. Об инициативе и талантах. I—3.

Е. Померанцева. Продолжаем разговор о школе. Начало большого пути. VII—3.

Н. Толубеев, секретарь Сталинского райкома партии Днепродзержинска. Из записок секретаря райкома. IV—3.

А. Хавин. Шаги индустрии (Из записок старого журналиста). III—3.

А. Ханьковский. Год перелома. XII—3.

ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ

ОКТАБРЬ 1917 ГОДА...

Е. Д. Стасова. Накануне (Страницы воспоминаний). XI—3.

С. И. Аралов. Да здравствует власть Советов! XI—10.

Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир (Фрагменты из книги). XI—19.

Альберт Рис Вильямс. Встречи с Лениным (Фрагменты из книги). XI—28.

М. Филипс Прайс. Русская революция (Фрагменты из книги). XI—31.

ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

Генрих Белль. Два рассказа: Почтовая открытка; Весы Балеков. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова. IV—175.

Педро Хорхе Вера. Вечный траур. Перевод с испанского Ел. Колчиной. VI—144.

Джеральд Керш. Люди без костей: В запотевшем зеркале; Благодарность; Запрятанное сокровище. Перевод с английского Г. Шишкина. V—197.

Франсиско Колоанэ. Как умер Отей из Чилоэ. Перевод с испанского Г. Полонской. VI—136.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Ванда Василевская. В Китае. Перевод с польского Е. Василевской. VIII—143; IX—184.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В. Борисов. Издано в Бейруте... Ливан. «Ас-Сакафа аль-ватанийя» («Национальная культура»), ежемесячный журнал по вопросам культуры и политики. №№ 8—11. 1955. II—249.

Н. Гаврюшина. Рассвет над Индией. Индия. «Ная патх» («Новый путь»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 11. 1955. III—243.

Ещё раз о взаимности. США. «Нью-Йорк таймс бук ревью» («Книжное обозрение Нью-Йоркского времени»), еженедельник, № 14. 1 апреля. 1956. VI—212.

И. Константиновский. Песнь человеку. Румыния. «Газета литерара» («Литературная газета»), еженедельник, орган Союза писателей Румынской Народной Республики. №№ 38—41. Сентябрь, октябрь. 1955. I—238.

К. Наумов. Стол-то не круглый! Франция. «Табль ронд» («Круглый стол»), ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 95—96. 1955. III—240.

Р. Орлова. Кое-что о взаимности. США. «Нью-Йорк таймс бук ревью» («Книжное обозрение Нью-Йорк таймс»), еженедельник. № 47. 20 ноября 1955. II—246.

Р. Орлова. Оды бизнесмену. США. «Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), критико-биографический еженедельник. № 3. 1956. V—231.

Н. Разговоров. Только о поэзии. Бельгия. «Журналь де поэт» («Журнал поэтов»), ежемесячник поэтического творчества и информации. Февраль. 1956. V—227.

Н. Разговоров. Сплетённые корни. Франция. «Эроп» («Европа»), ежемесячный литературно-критический журнал. № 3. Март. 1956. VI—214.

Н. Разговоров. Толкать или удерживать? Франция. «Фигаро литерер» («Литературный Фигаро»), общественно-литературный еженедельник. № 529 от 9 июня 1956 года. IX—226.

Е. Романова. Два тенденции. США. «Этлэнттик» («Атлантический»), литературно-публицистический ежемесячный журнал. №№ 5—8. 1955. I—242.

Вл. Рубин. Вести из Торонто. Канада. «Нью Фронтис» («Новые границы»), ежеквартальный журнал. № 4. 1956. V—235.

Вл. Рубин. Автор, гонимый, книга. Англия. «Отор» («Автор»), ежеквартальный журнал. № 3. Весна 1956 г. VII—207.

Е. Сашеннов, Л. Симонян. Только название. ГФР. «Вельт унд ворт» («Мир и слово»), ежемесячный литературный журнал. №№ 9—12. 1955. III—246.

В. Стеженский. Искания и сомнения. ГФР. «Тексте унд цейхен» («Тексты и знаки»), ежеквартальный литературный журнал. № 4. 1955. I—234.

В. Стеженский. Дух времени. ФРГ. «Гейст унд цейт» («Дух и время»), двухмесячный журнал по вопросам искусства, литературы и науки. №№ 1, 2. 1956. VI—218.

Л. Эйлин. Литература и план. Китай. «Вэньбао» («Литература и искусство»), двухнедельный журнал по вопросам литературы и искусства. № 8. 1956. VII—204.

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Виленский. Страхи и сомнения (Западная печать о проблемах автоматизации производства). V—209.

Ю. Долматовский. Сутки на автомобиле (Критические путевые заметки). VI—179.

Е. Драбнина. «Спид-ап!» (По страницам зарубежной печати). XI—207.

Александр Казанцев. Рабочие полей. VII—169.

Т. Леонтьева. Ленинская Шатура. IV—185.

Елена Микулина. Год первый... VIII—189.

Ответ завода. XI—225.

Очерк и его обсуждение. XII—217.

По поводу статьи Н. Дубова «Как губят море». XII—258.

Л. Подвойский. Заметки инженера (Первая часть «Заметок» была опубликована в № 2 журнала «Новый мир» за 1948 год). X—162.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Николай Дубов. Как губят море. VI—195.

А. Маркин, инженер. Энергетики склоняются над картой мира. I—210.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

Г. Борисовский, кандидат архитектуры. О красоте и стандарте. VIII—223.

А. Каменский. Размышления у полотен советских художников. VII—190.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Иранлий Андронинов. Тагильская находка. I—153.

Н. Боташев (публикация), **И. Андронинов** (пояснительный текст). Из писем Карамзинных. I—163.

А. И. Веретенникова. Записки земского врача. III—205.

Виталий Волович. Год на полюсе (Из дневника полярника). IV—204.

Генрих Гейне. Письма. Перевод с немецкого и примечания Д. Уманской. II—220.

Из переписки И. А. Бунина. Публикация и примечания А. К. Бабореко. X—197.

Эффенди Капиев. Из блокнотов военных лет (1942—1944). II—226.

Б. Коротков. Всегда в памяти... XII—201.

Переписка А. М. Горького с М. Е. Кольцовым (Публикация Архива А. М. Горького. Вступительная заметка, подготовка текстов и комментарии научного сотрудника Архива, кандидата филологических наук З. М. Карасик). VI—149.

В. А. Римский-Корсанов. Письма о Китае (Публикация, предисловие и примечания А. Розенпуда). VI—167.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. Ажаев. Молодые силы советской прозы III—250.

Б. Бялик. Творческая лаборатория **А. М. Горького.** VI—222.

Валерия Герасимова. Два письма. «Нелёгкий разговор» продолжается. X—187.

Л. Денисова, В. Жданов. Модернизация и произвол в освещении прошлого. VIII—237.

С. Езерский, учитель 28-й ленинградской школы рабочей молодёжи. Поэзия воспитанника. II—255.

В. Кардин. Целина и книги. I—245.

М. Кораллов. Калидаса. XI—237.

Сергей Львов. Большой мир героя. IV—228.

Сергей Львов. Письмо другу. XI—227.

А. Метченко. Историзм и догма. XII—223.

Л. Михайлова. Слушая читателя и читая критиков... (Поездка в Закарпатье). VII—212.

В. Перцов. О Всеволоде Вишневском. IX—230.

В. Ребрин, кандидат исторических наук. Два письма. Разговор о любви. X—181.

А. Турнов. Океан на карте поэзии. V—238.

С. Штут. У карты нашей литературы. IX—239.

Марк Щеглов. Есенин в наши дни. III—280.

ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

Николай Атаров. Можно ли читать книжки не думая? I—229.

Драматург и театр. Разговор в редакции. **Алексей Арбузов:** Драматург должен вернуться в театр. **А. Штейн:** О грехах своих и грехах чужих. **В. Розов:** Дело, конечно, не в должности. **Ю. Чепурин:** Как я расстался с Театром Советской Армии. **А. Караганов:** Бунт против режиссуры? **А. Анастасьев:** Друзья, а не противники. **В. Плучеч:** Арбузов ошибается! **А. Арбузов:** Возражения оппонентам. **Наше мнение.** VIII—198.

С. Залыгин. Мысли после совещания. I—218.

Александр Ивич. Учебники пишутся для детей... VI—202.

Анна Караваева. О прямой дороге и проёлах (Открытое письмо моим корреспондентам). II—237.

Мустай Карим. Глазами души (Заметки делегата XX съезда). V—221.

Вл. Лидин. Путь книги. VII—184.

Н. Носов. Поговорим о поэзии. Заметки сатирика. III—233.

Константин Симонов. Литературные заметки. XII—239.

ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Георгий Березно. По поводу двух рассказов. V—245.

Валерия Герасимова. По поводу рассказа **Е. Рязановой.** IV—248.

Анна Караваева. По поводу повести **А. И. Шубина.** VII—242.

Алексей Колосов. По поводу одного очерка. I—257.

Ольга Марнова. Доставлено по адресу. I—260.

М. Прилежаева. По поводу рассказов **Перча Зейтуляна.** III—286.

Илья Сельвинский. По поводу стихотворения **Геннадия Могилевцева.** II—252.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

- Л. Александров**, пенсионер. Три повести В. Герасимовой (Валерия Герасимова. Простая фамилия. Повести). II—262.
- М. Алексеев**. Поиски и находки (А. Володин. Фабричная девочка. Пьеса). XI—257.
- В. Андреади**, машинистка Мосооблспецстроя. Стихи об Азии (А. Гитович. Под звездами Азии). II—266.
- В. Афанасьев**. Новый библиографический справочник (Н. Мацуев. Художественная литература, русская и переводная, 1938—1953 гг. Т. 1). VIII—260.
- Е. Белов**, солист Государственного Академического Большого театра. Путешествие с книгой (В. Латов. Искусство в свободной Корее. Записки советского журналиста). II—269.
- А. Берестов**. Плохая книга о досуге рабочего человека (М. Кондрашова. После шести часов вечера). VIII—259.
- М. Блинова**. Любовь или снисходительность? (Татьяна Игумнова. За горами. Повесть). X—224.
- Мих. Брагин**. Биография героя (И. Крамов. Яков Осипов). VIII—256.
- П. Бучинов**. На пороге жизни (О. Донченко. Золотая медаль. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Е. и Вл. Росельс). III—297.
- Б. Бялик**. Ошибка Геннадия Гора (Геннадий Гор. Ошибка профессора Орочева). IV—254.
- Г. Владимов**. Тридцать три дня в Америке (Борис Полевой. Американские дневники). VIII—253.
- Евгений Воробьев**. Всемогущие руки (Евгений Мар. Дом, в котором ты учишься. Евгений Мар. Точка на карте. Евгений Мар. О простом железе). VI—249.
- Е. Гальперина**. Воспитание правдой (М. Бремениер. Пусть не сошлось с ответом! Повесть). XII—262.
- С. Гехт**. Что было в Пенькове? (Сергей Антонов. Дело было в Пенькове. Повесть). X—215.
- Д. Гранин**. Роман Уилсона «Брат мой, враг мой» (Митчел Уилсон. Брат мой, враг мой. Роман. Перевод с английского Н. Тренёвой). VI—254.
- Н. Грибачёв**. Степь и человек (Яков Вохменцев. Степная песня. Стихи). IV—257.
- З. Гусева**. Полесская новь (Людия Обухова. Глубынь-Городок (Повесть о людях Полесья). I—261.
- А. Дирингерова**. События и люди (И. Кремльёв. Солдаты революции. Роман). I—264.
- Евг. Долматовский**. Десять лет спустя (М. Максимов. Десять лет спустя. Стихи). X—218.
- Евг. Евтушенко**. Поэзия борьбы («Из искры — пламя». Сборник стихов). XII—266.
- Бор. Ефимов**. Мастерство иллюстратора (Н. С. Лесков. Левша. Иллюстрации и оформление художника Н. В. Кузьмина). VII—258.
- М. Живов**. Мировое признание («Adam Mickiewicz 1798—1855». Hommage de l'UNESCO à l'occasion du centième anniversaire de sa mort. «Адам Мицкевич. 1798—1855». Сборник статей к столетию со дня смерти). VI—253.
- Б. Зубрилина**, работник 9-го почтового отделения. Люди будущего (В. Сытин. Покопатели вечных бурь). II—264.
- Н. Игнатьева**. Право любви (Р. Буданцева. Соловьи поют. Литературный сценарий). III—295.
- А. Илупина** Живой Рахманипов (С. В. Рахманинов. Письма). VII—259.
- Л. Исарова**. О книжке с секретом (Ю. Олеша. Три Толстяка). XII—267.
- Ал. Исбах**. Трагедия социального одиночества (Roger Vailland. 325 000 francs. Roman. Роже Вайян. 325 000 франков. Роман). V—261.
- Н. Капиева**. Книга о певце Адыген (Д. Костанов. Цуг Теучеж. Критико-биографический очерк). V—260.
- Ю. Капусто**. «Ухабы» (В. Тендряков. Ухабы). IX—254.
- Иван Кашкин**. Завоеванное право («Из европейских поэтов XVI—XIX вв.». Переводы В. Левика). XI—253.
- З. Кедрина**. Свидетельство дружбы (В. Кожевников. Тысяча цзиней. Рассказы и очерки). V—247.
- Е. Книпович**. Жизнь, устремлённая в будущее (Вадим Кожевников. Заре навстречу. Повесть). VI—241.
- А. Коган**. Дыхание нового (Г. Бакланов. Новый инженер. Очерк. Г. Бакланов. В Снегирах). VII—252.
- Г. Койранская**. Образы минувших лет (В. Смирнов. Открытие мира. Повесть, книга вторая, часть первая). V—254.
- Л. Копелев**. Летопись отчаяния и страха Siegfried Sommer. Und keiner weint mir nach. Roman. Зигфрид Зоммер. И никто по мне не заплачет. Роман). IV—264.
- Л. Копелев**. Вы уже причастны! (Грэхем Грин. Тихий американец. Роман). X—231.
- В. Лавринович**, рабочий машиностроительного завода. Несколько замечаний (Роже Вайян. Пьеретта Амабль. Роман). II—271.
- Л. Левин**. Именно рассказы (Л. Волынский. Рассказы). IX—261.
- И. Лежнев**. Биография Чернышевского (Н. Богословский. Николай Гаврилович Чернышевский). IV—262.
- А. Ливеровский**, доцент Лесотехнической академии. Не пугайте детей! II—270.
- С. Липкин**. Власть разума (В. Смирнов-Ракигина. Повесть об Авиценне). VII—256.
- С. Липкин**. Поучительно и интересно... (Хачим Теунов. Литература и писатели Кабарды). X—228.
- А. Лучак**, учитель 29-й средней школы. Страницы великой жизни («М. Горький в воспоминаниях современников»). II—261.
- Сергей Львов**. После того, как роман прочитан (Эм. Казакевич. Дом на площади. Роман). IX—250.
- А. Мамонов**. Стихи друзей («Стихи поэтов Египта». Перевод с арабского). XI—264.

Р. Миллер-Будницкая. Спор о Гойе (Л и о н Фейхтвангер. Гойя, или тяжкий путь познания. Перевод с немецкого Н. Касаткиной и И. Татариновой). I—272.

Н. Муравина. Непримириость молодости (Роберт Рождественский. Моя любовь. Роберт Рождественский. Флаги весны). I—266.

М. Никулин. Песни донских казаков (А. Листопадов. Песни донских казаков. Пять томов). I—270.

Владимир Огнев. Лирика Леонида Мартынова (Леонид Мартынов. Стихи). VI—244.

А. Орфёнов, заслуженный артист РСФСР. Так работал Станиславский (П. Румянцев. Работа Станиславского над оперой «Риголетто»). VI—251.

А. Палей. Рассказы и повести И. Ефремова (И. Ефремов. Великая дуга. Повести и рассказы). XI—262.

З. Паперный. Прошлое — с нами (Я. Смеляков. Строгая любовь. Главы из повести в стихах). V—249.

З. Паперный. Два из двадцати восьми (В. Ардов. Ваши знакомые). IX—257.

В. Перцов. Не только объяснять, но и изменять! (Б. Рюриков. О богатстве искусства. Сборник статей). VII—246.

А. Письменный. Повесть о гуманности (П. Нилин. Испытательный срок). IV—251.

В. Поп. Стихи Дмитрия Ванарова (Дмитрий Ванаров. Избранные стихи). III—293.

С. Попрыкин, капитан запаса. Афганские народные сказки («Афганские сказки». Перевод З. Калининой, К. Лебедева, Ю. Семёнова). II—272.

М. Прилежаева. Книга о труде поэта (Б. Галанов. С. Я. Маршак. Очерк жизни и творчества). IX—266.

И. Рахтанов. Для любого возраста... (Л. Тынянова. Друг из далёка. Повесть о путешественнике Н. Н. Миклухо-Маклае). IV—258.

И. Рахтанов. После долгого ожидания (З. Шниова. Джек-Соломинка. Историческая повесть). X—226.

В. Рымашевский. Трудное начало (В. Логинов. Начало пути). III—292.

Е. Сашеннов. Фриц Иензен — поэт и переводчик (Fritz Iensen. Opfer und Sieger. Nachdichtungen, Gedichte und Berichte. Фриц Иензен. Жертвы и победители. Переводы, стихи и очерки). IX—268.

В. Серёгин, инструктор политотдела Н-ской части. Роман об Иване III (В. Язвицкий. Иван III — государь всяя Руси. Книга V. Вольное царство). II—264.

Л. Симонян. Об одном рассказе Кришана Чандра (Кришан Чандр. Избранное. Перевод с урду). VII—261.

Лев Славин. Большое в малом (А. Письменный. В маленьком городе. Повести и рассказы). VIII—250.

Нат. Соколова. Большой путь (Б. Галин. Годы нашей жизни. Очерки). X—212.

В. Соколов. Место писателя в жизни (Константин Паустовский. Золотая роза. Книга о писательском труде). III—288.

Е. Старикова. Народ — это люди (Сергей Бородин. Звёзды над Самаркандом. Трилогия. Хромой Тимур. Роман. Первая книга). VII—249.

Н. Степанов, профессор. Искусство композиции у Пушкина (Д. Благой. Мастерство Пушкина). V—257.

Н. Степанов. Путь поэта (Николай Асеев. Раздумья. Стихотворения). IX—259.

Н. Толченова. Средствами сказки (Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей). I—268.

Елена Успенская. Труженики революции (А. Бруштейн. Дорога уходит в даль...). XI—247.

А. Фадеев. О книге Веры Инбер «Как я была маленькой» (Вера Инбер. Как я была маленькой). XII—265.

Говард Фаст. Литературная трагедия (John O'Hara. Ten North Frederick. Джон О'Хара. Дом № 10 по Северной улице Фредерика). IV—266.

Радий Фиш. Поэзия Орхана Вели (Orhan Veli. Bütün şiirleri. Орхан Вели. Все стихи). VIII—262.

Ю. Ханютин. Широта и непримиримость (Г. Приеде. Лето младшего брата. Поставлена Художественным театром имени Я. Райниса. Рига. Хотя и осень! Пьеса обсуждалась в рукописи на 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей). III—299.

Гр. Ципенко, диспетчер завода автопогрузчиков. Шестеро отважных (А. Л. Борщаговский. Пропали без вести). II—267.

М. Чарный. Вдохновение и упорство (Е. Строгова. Вдохновение и упорство. Очерки). IV—260.

М. Чарный. Душевные люди (В. Ильенков. Рассказы). XI—260.

Г. Шунст, заведующий библиотекой Института питания. Встреча с юностью (Н. Почивалин. Юность. Повесть. Н. Почивалин, Б. Малочевский. Твоя жена. Русская тропинка. Пьесы). II—265.

А. Шумский. Новый том горьковского архива (А. М. Горький. Письма к Е. П. Пешковой. 1895—1906. Том V). VI—239.

М. Щеглов. Рассказы Норы Адамян (Нора Адамян. Начало жизни. Рассказы). V—252.

М. Щеглов. Корабли Александра Грина (А. Грин. Избранное). X—220.

М. Щеглов. Роман о восставшем народе (Юрий Бессонов. Восстание. Роман). XI—250.

Юрий Яковлев. Для детей и для взрослых (Я. Тайц. Рассказы и повести). VIII—258.

Политика и наука

М. Арлазоров. Путешествие на строительную площадку (Л. Жигарев. Начало века). IX—271.

Л. Барановский. Вынужденное признание («La Revue de Paris», août 1956. «La Revue des deux Mondes», 1 août 1956. «Ля Ревю де Пари», август 1956. «Ля Ревю де де Монд», 1 августа 1956). X—239.

- И. Батюшкова**, кандидат геолого-минералогических наук. Отец русской геологии (Ольга Баян. Отец русской геологии (Рассказы о жизни и деятельности академика А. П. Карпинского). VIII—267.
- С. Беглов**. Разоблаченный миф (Э. Терсен, Ж. Дотри, К. Виллар, Ж. Шамбаз. Европа. Мифы и действительность). I—276.
- В. Болховитинов**. Жизнь моделей (А. Морозов. Тайны моделей). IX—274.
- А. Варшавский и А. Данилов**, кандидаты исторических наук. Новая книга о Грановском (С. А. Асиновская. Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский). V—272.
- Л. Василевский, С. Семёнов**. Разведка космического пространства (По материалам иностранной печати). X—240.
- И. Васильева-Южина**, студентка. Записки авиатора (И. Спирин. Записки авиатора). II—277.
- Н. Воронин**, доктор исторических наук, профессор. Открытия советских археологов (А. Л. Монгайт. Археология в СССР). VIII—270.
- Н. Воронин**, доктор исторических наук, профессор. Памятники древнерусской культуры («Памятники культуры». Труды Государственного Исторического музея. Выпуски I—XVI). X—244.
- Е. Гневушева**, кандидат исторических наук. Путешествие по Индонезии («Современная Индонезия». Перевод с английского). V—274.
- М. Голей**, инженер. Издание второе, улучшенное (Г. Э. Зарницкий. Энергетика будущего). IV—276.
- Г. Голубев**. Дневники правдивого наблюдателя (И. П. Минаев. Дневники путешествий в Индию и Бирму). I—279.
- И. Горелик**. Разгаданный секрет (Юрий Вебер. Разгаданный секрет). IX—272.
- Л. Дадзани**, кандидат юридических наук. Книга об Индонезии (Д. В. Беклешов. Индонезия. Экономика и внешняя торговля). X—235.
- Ефим Дорosh**. Дело в организаторах («Дело в организаторах». Из практики руководства колхозами). VI—259.
- А. Елкин**. Поэзия борьбы (М. Ольминский, М. Александров. В тюрьме (1896—1898). V—264.
- Ю. Ефремов**. Природа Северо-Восточного Китая (Э. Мурзаев. Северо-Восточный Китай. Физико-географическое описание). VIII—272.
- Вал. Зорин**. Новая «Книга фактов о труде» («Labor Fact Book». 12 бу. «Книги фактов о труде». 12). III—303.
- Вал. Зорин**. Мифы и факты (L. L. Matthews. Autopsie des Etats-Unis. Л. Л. Маттис. Открытие Соединённых Штатов. Low Income Family. Низкооплачиваемые семьи). IX—269.
- А. Иглицкий**. Политика национальной катастрофы (Paul Wandler. Der deutsche Imperialismus und seine Kriege — das nationale Unglück Deutschlands. Пауль Вандель. Германский империализм и его войны — национальное несчастье Германии. Э. Дзедепи. Уметь за Германию? Перевод с французского Е. Рубинина). VII—265.
- Л. Калужин**, профессор. Серьёзное в забавном (Б. А. Кордемский. Математическая смекалка). VI—270.
- Р. Кинжалов**. О чём рассказали египетские иероглифы (Н. Петровский, А. Белов. Страна большого Хапи). VI—268.
- В. Ковда**, член-корреспондент Академии наук СССР. Исчезнувший остров (Игорь Васильков. Исчезнувший остров). VII—271.
- С. Козлов**, полковник. Неполноценный труд о великой победе («Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945»). VIII—265.
- В. Корнилов**. Послевоенная Корея (В. Орехов. В Народно-Демократической Корее после войны. Записки советского журналиста). IV—270.
- Д. Лебедев**, доктор географических наук. Трагедия капитана Скотта («Последняя экспедиция Р. Скотта»). II—279.
- В. Левачёв**, инженер. Опыт одного леспромпхоза (А. А. Турчанинов. Работа леспромпхоза по новой технологии). II—276.
- О. Б. Лепешинская**, действительный член Академии медицинских наук СССР. Как возникают микроорганизмы (Г. П. Калина. Развитие микробных клеток из доклеточного вещества). I—281.
- Мих. Леснов**. Молодость древнего народа (Энвер Ходжа. Албанский народ — за мир и социализм). XI—275.
- И. Манарьев**. Воспоминания о Марксе и Энгельсе («Воспоминания о Марксе и Энгельсе»). VI—260.
- И. Манарьев**. Прекрасная жизнь (Феликс Дзержинский. Дневник и письма. Перевод с польского). XI—271.
- Сергей Марков**. На плоту через Тихий океан (Тор Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». На плоту от Перу до Полинезии. Перевод с английского Т. Л. и В. И. Ровинских). III—308.
- Сергей Марков**. Следопыт Дальнего Востока (М. К. Азадовский, В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. Опыт характеристики). VIII—269.
- Г. Менделевич**. Горький — пропагандист науки (М. Юнович. А. М. Горький — пропагандист науки). VII—269.
- А. Морозов**, инженер. Путь к машине (З. Перля. Повесть о машине). VII—273.
- Э. Мурзаев**, доктор географических наук. Географические исследования в Китае (В. Т. Зайчиков. Путешественники древнего Китая и географические исследования в Китайской Народной Республике). IV—274.
- Э. Мурзаев**, доктор географических наук. Рождение географической карты (Н. М. Щукина. Как создавалась карта Центральной Азии). X—243.
- С. Небесный**, агроном. Массовая литература о целине (Д. Виленский. Что даёт со-

ветскому народу освоение новых земель. «Год работы новых совхозов». Составитель Н. И. Терещенко. Н. Н. Пальгов. Там, где поднимается целина. II—275.

А. Николаева. США и независимость арабских стран (Mohammed Shafi Agwani. The United States and the Arab World. Мохаммед Шафи Агвани. Соединённые Штаты и арабский мир). XI—277.

Л. Овалов. Вчерашние «дикири» (Н. Бобрышев, С. Малюта. Из опыта механизации возделывания лекарственных культур). V—275.

Г. Петровский. Воспоминания о В. И. Ленине (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. I). XI—265.

Е. Приманов. Наследие колонизаторов (Абду-р-Разик Мухаммед Хасан. Кризис экономики Египта. Перевод с арабского). I—278.

Н. Рыбин, кандидат географических наук. Путешествие по Болгарии (А. Стекольников. Путешествие по Болгарии). XII—269.

Л. Савинский, кандидат юридических наук. Китайские записи (Н. Федоренко. Китайские записи). III—301.

Н. Сергеева. Книга президента Сукарно (Сукарно. Индонезия обвиняет. Сборник статей и речей. Перевод с индонезийского и английского). XI—273.

Иван Сергеев. Лицо страны («Природа нашей Родины». Фотоальбом). XI—281.

А. Середа. Зимний взят! («Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде». Воспоминания активных участников революции). XI—269.

И. Ставицкий, инженер автозавода имени Сталина. Сверлильные станки (Ф. П. Маликов. Сверлильные станки). II—279.

Б. Степанов, кандидат химических наук. Столичный автор в областном издательстве (Б. Розен. Химия зелёного золота). IX—275.

Г. Стратанович, кандидат исторических наук. Жизнь Никиты Яковлевича Бичурина (А. Таланов, Н. Ромова. Друг Чжунго). VI—267.

М. Стура. Правда об «империи нефти» (Harvey O'Sopp. The Empire of Oil. Гарвей О'Коннор. Империя нефти). X—237.

А. Тимашев. Успехи польской географической науки (Stanislaw Lenczewicz. Geografia fizyczna Polski. Opracowałi uzupelnil Jerzy Kondracki. Станислав Ленцевич. Физическая география Польши. Переработал и дополнил Ежи Кондрацкий). VII—267.

М. Тихомиров, академик. Первый русский букварь (Ivan Fedorov's Primer of 1574. Facsimile edition, with commentary by Roman Jakobson and appendix by William A. Jackson. Букварь Ивана Фёдорова 1574 года. Факсимиле издания с комментариями Романа Якобсона и приложением, составленным Вильямом А. Дженсоном). V—268.

А. Трайнин, член-корреспондент Академии наук СССР. Особая точка зрения («Nurnberg». German Views of the War Trials «Нюрнберг». Германская точка зрения на суды над военными преступниками). III—304.

А. Трайнин, член-корреспондент Академии наук СССР. Жан Поль Марат — теоретик уголовного права (А. А. Герцензон. Уголовно-правовая теория Жана Поля Марата). XI—279.

С. Утченко, доктор исторических наук. Первый том «Всемирной истории» («Всемирная история». Том I). III—306.

А. Цейтлин, заслуженный деятель науки, профессор. Путь учёного (В. П. Филатов. Мои пути в науке). IV—272.

Е. Черняк, кандидат исторических наук. О мирном сосуществовании (A. Rothstein. Peaceful coexistence. Э. Ротштейн. Мирное сосуществование). I—274.

Е. Черняк, кандидат исторических наук. Из истории международных литературных связей (D. Brewster. East-West Passage. A Study in Literary Relationship. Д. Брюстер. Сношения между Востоком и Западом. Исследование литературных связей). IV—268.

Е. Черняк, кандидат исторических наук. Лейбористский журнал о единстве рабочего движения («The new Statesman and Nation». «Ньюстейтсмен энд Нейшн»). VI—264.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Путь полководца (С. А. Сиротинский. Путь Арсения. Биографический очерк о М. В. Фрунзе). XII—268.

В. Шилковский. «О разнообразии мира» (Книга Марко Поло. Перевод старофранцузского текста И. П. Минаева). V—266.

М. Шутый, инженер. Энергия великих рек (М. Давыдов и М. Цунц. Рассказ о великих реках). II—273.

М. Юрьев, кандидат исторических наук. Героическая эпопея китайского народа (Фань Вэнь-лаць. Новая история Китая. Том 1. 1840—1901. Перевод с китайского). VII—263.

ОТГОЛОСКИ МИНУЩЕГО

Ираклий Андроников. Источник одного недоразумения. III—311.

Ф. Белелюбский. Восстание тайпинов и революционная агитация «Современника». III—312.

Александра Бруштейн. Три дня (К 50-летию со дня смерти Н. Г. Гарина-Михайловского). XII—271.

В. Воронов, В. Земсков. Английская пресса об «Андрее Кожухове». VI—273.

Ан. Елкин. Письма и рисунки Емельяна Ярославского с каторги. VI—272.

Л. Ланский. Неизвестный фельетон Герцена. IX—278.

Сергей Марков. Милухо-Маклай на Суэцком канале. X—247.

Б. Реизов, профессор. Почему Стендаль назвал свой роман «Красное и чёрное»? VIII—275.

Ив. Розанов. Редчайшая из книг Радищева. V—278.

Ив. Розанов. Столетие трёх замечательных книг. XII—273.

А. Рубинштейн. В. Г. Короленко в гостях у сербов и хорватов. IV—272.

Л. Светлов, кандидат филологических наук. Рукописное наследие А. Н. Радищева. VI—274.

Л. Светлов. Забытый писатель и публицист. VIII—278.

Мих. Цунц. Судьба Падунского порога. VII—276.

В. Шепелев. Новые документы о Льве Толстом. VII—275.

В. Шепелев. Басня «Ослы и лев». IX—279.

РЕПЛИКИ

М. Алпатов, действительный член Академии художеств СССР. Музеи и кинематография. VII—278.

Н. Богословский. Ещё раз о словарях. VII—279.

Александра Бруштейн. О мемуарной литературе. II—282.

А. Гегелло, доктор архитектуры. Кто построил этот дом? IV—280.

Наири Зарян. О гостях и гостиницах. VIII—280.

Евс. Захарченко Книги-спутники. IV—280.

Василий Казин, профессор **И. Розанов,** **С. Фомин.** Почему не издаётся поэт Александр Ширяевец? VIII—281.

Л. Кассиль, **С. Михалков,** **Я. Тайц.** Золотой ключик. II—282.

Иван Кашнин. Особое мнение. XII—275.

Семён Кирсанов. Об одном магазине. VI—278.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. О журнале «Вокруг света». III—315.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. О докторантуре. V—281.

Непонятно! IV—281.

Л. Никулин. О жанрах эстрады. I—283.

Анатолий Новиков, композитор. Вкус к музыке. VI—276.

От редакции. II—283.

М. Прилежаева. Забытые имена. I—283.

М. Прилежаева. Домик поэта. X—249.

И. Рахтанов. Пять окон на улице Горького... IX—280.

И. Розанов, профессор. Очевидная истина. IX—280.

Елена Стасова, **Г. Кржижановский,** **Г. Петровский,** **М. Муранов,** **Ф. Петров.** Ненаписанные страницы истории. V—280.

Т. Трифонова. Афишу, а не ведомость! X—250.

Вероника Тушнова. О долголетию фильмов. III—314.

В. Фаворский, художник. О реставрации храма Василия Блаженного. III—314.

Геннадий Фиш. Сотни новых книг. VI—277.

Ан. Шишко. Историческая тема. VII—280.

Виктор Шиловский. Чтобы лучше знать друг друга... VI—276.

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

Утраченный вкус. — Спор через столетие. IV—282.

Скверный сквайр. — Судебная ошибка. — Новое в литературоведении. — Без помощи телескопа. — Открыт паноптикум печальный. V—282.

Объяснения загадочные, смешные и даже обидные. — Редактор-вундеркинд. — Вопреки воле автора. VI—279.

Фаст не этого хотел... — Кто написал «Бориса Годунова»? — Пожалейте учащихся! — Арбуз не арбуз... VII—281.

С. Лурье, библиотекарь, **Н. Ильина.** В мире чудес. — **А. Я.** Что же такое юмор? VIII—282.

Печальное единомыслие. — География и библиография. IX—282.

Примечания к примечаниям. — Два серьёзных открытия. XII—276.

Коротко о книгах: I—285; II—284; III—317; IV—283; V—284; VI—281; VII—284; VIII—284; IX—283; X—251; XI—284, XII—278.

Книжные новинки: I—287; II—286; III—319; IV—286; V—287; VI—285; VII—287; VIII—287; IX—287; X—255; XI—287.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, **А. М. Марьямов,** **Е. Успенская,** **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 13·XI·56 г.

Подписано к печати 1·XII·56 г.

А 13340. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2168.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.